

ЕЖЕГОДНИК



ВЫСОКИЕ
СТУПЕНИ
2025





POEZIA.US

DIGITAL BOOKS



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

ВЫСОКИЕ СТУПЕНИ
2025



ВЫСОКИЕ СТУПЕНИ2025. Литературный ежегодник.

Чикаго, США. POEZIA.US, 2025. — 464 стр.

Составители: Татьяна Ивлева (Германия), Михаил Рахунов (США)

Первый выпуск литературного ежегодника «ВЫСОКИЕ СТУПЕНИ» вышел в свет в 2024 году в Чикаго, США, в издательстве «POEZIA.US». «ВЫСОКИЕ СТУПЕНИ» – новый литературный проект, объединивший современных российских литераторов и авторов Русского Зарубежья под эгидой поэтического форума «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Эта книга является вторым выпуском ежегодника и посвящена памяти большого русского поэта казахского происхождения Бахыта Шукуруллаевича Кенжеева, оказавшего значительное влияние на всю современную поэзию. Ежегодник предлагает читателю образцы современной русской поэзии и прозы. Идея данного проекта возникла в «эти огненные годы», в «эти пламенные дни» – в тревожную эпоху вражды и ненависти, массовых миграций, отрицания человеческих ценностей, в смутное время нестабильности, неравенства, несправедливости и нетерпимости... Все эти обстоятельства, конечно же, не могли не отразиться в произведениях современных поэтов и писателей – очевидцев и свидетелей нашего весьма неблагоприятного времени.

Главный редактор Татьяна Ивлева (Германия)

All rights reserved.
Russian Edition

Library of Congress Control Number: 2025935977

ISBN: 9781734874266

©2025 POEZIA.US

Составители сердечно благодарят Бориса Левита-Броуна и Ирину Соловей (Италия), Дину Дронфорт (Германия), Владимира Делбу (Россия) и Елену Ханен (Германия) за существенную помощь в издании этого литературного ежегодника.

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО

В притче о Царе Соломоне говорится, что он трижды испытал силу кольца, подаренного ему одним мудрецом. Когда в страну пришли голод и мор, царь Соломон, будучи в смятении, увидел надпись на кольце: «ВСЁ ПРОХОДИТ». Во второй раз надпись появилась после смерти его любимой жены: «ВСЁ ПРОХОДИТ, ПРОЙДЁТ И ЭТО». И в третий раз, в глубокой старости, перед смертью он увидел надпись: «НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО». И понял Соломон, что жизнь его не прошла зря, и память о нём и его великих делах будет жить вечно.

Глубочайшая мудрость и истинная правда заключены в этих трёх знаменитых фразах. Действительно, всё, что происходит, рано или поздно заканчивается – проходит. А всё, что проходит, оставляет след.

И сегодня, когда со всех сторон слышны приближающиеся отголоски войн, а беды, горе и страдания человеческие повсюду неисчислимы, не устаю повторять известную фразу великого немецкого поэта – романтика, политика и философа – Генриха Гейне: «Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта». Однако, не все видят страдания других, и не все, оберегая свой личный покой, принимают глобальную трагедию мира близко, как свою беду... И только поэты и писатели, наделённые чутким сердцем, острым взором и вещим словом, не в силах молчать – они говорят и пишут об этом, взывая к разуму и гуманности.

В нашей второй книге «ВЫСОКИЕ СТУПЕНИ – 2025» приняли участие 33 автора. Это писатели и поэты современной России и Русского Зарубежья, объединённые творчеством, идеями гуманизма, родным русским языком и культурой. Все они – очевидцы и свидетели происходящих в мире грозных событий, отразившихся в их творчестве: в прозе и в стихах. Летописцы своего времени. Каждый по-своему, своим голосом, своим неповторимым почерком.

Важно отметить, что этот сборник посвящён памяти большого русского поэта казахского происхождения, моего земляка, друга и участника поэтического форума «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» Бахыта Кенжеева. Бахыт Шукуруллаевич Кенжеев фигура знаковая в русской современной поэзии. Обладая особым стилем стихосложения, он оказал значительное влияние на формирование и дальнейшее развитие русской поэтической школы. Многие из участников форума помнят этого талантливого, обаятельного человека: встречались с ним лично, слушали его выступления, читали его книги. Несомненно,

Бахыт Кенжеев оставил глубокий след в русской поэзии, в сердцах своих читателей и собратьев по перу:

*Что им Бог, безобидным, готовит? Чем поддерживает на плаву?
Для чего они вдумчиво ловят, как любовь, золотую плотву?
Не выпытывай тайны, зануда. Мы и так в этом мире кривом
только ради наскального чуда, ради чистой позёмки живём.*

Хочется верить, что и следы авторов этой замечательной, искренней книги не останутся незамеченными.

Благодарю всех за участие в проекте. Всем ДОБРА и МИРА!

*Ваша Татьяна Ивлева –
автор проекта, составитель, редактор, поэт, переводчик.
Апрель 2025, Эссен.*



**Бахыт Кенжеев / США /
(2 августа 1950, Чимкент, Казахская ССР —
26 июня 2024, Нью-Йорк, США)**

Бахыт Шукуруллаевич Кенжеев, поэт, прозаик. С трёх лет жил в Москве. Казахского языка не знал, однако при выборе национальности указал в паспорте, что он казах, и считал себя казахом. Окончил химический факультет МГУ. Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977). В юности публиковался в периодической печати («Комсомольская правда», «Юность», «Московский комсомолец», «Простор»), однако первая книга его стихов вышла только в Америке в 1984 году. В начале 1970-х Кенжеев стал одним из создателей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским). Публиковался с 1972 года. В 1980 году Бахыт женился на канадке и в 1982 году эмигрировал в Канаду, а в 2008 переехал в США (Нью-Йорк). Это не помешало Кенжееву проводить встречи с читателями и коллегами по цеху в России, а издание его книг в основном осуществлялось в российских издательствах. 3 книги изданы в Чикаго (издательство POEZIA.US). Член Русского ПЕН-клуба. Входил в жюри премии «Дебют» (2000), в жюри международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна» (2011), премии «Русская премия», «Кубок мира», «Волошинский конкурс». Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский, и шведский языки. Умер в ночь на 26 июня 2024 года в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital после тяжёлой болезни в возрасте 73 лет]. Похоронен на кладбище Green-Wood в Бруклине (штат Нью-Йорк).

Светлой памяти Поэта

ДВА ИНТЕРВЬЮ И ОДНО ПРИ СВЕЧАХ

Интервью № 1

Ардак Букеева. FORBES Казахстан, 2016 г.

Бахыт Кенжеев: Я - патриот России, а не её начальства.

Классик современной поэзии – о времени и о себе (в сокращении)

Бахыт Кенжеев.

Когда я был маленьким, начал писать стихи. Вижу – получается не так плохо. А я живу в России, стране с великой поэтической культурой, где поэтов все должны любить. Думаю – как все хорошо получается: стану

членом Союза писателей, получу дачу в Переделкино, буду жить, грубо говоря, как Кушнер или Чухонцев... Но Господь мне жестоко отомстил, отправив в изгнание. Давайте называть вещи своими именами, это была никакая не эмиграция, а именно изгнание.

В 1982 меня вызвали в КГБ и сказали: «*Парень, тебе страшно повезло – у тебя жена канадка. Поэтому выбирай – или ты уедешь на Запад, или поедешь на восток*». Жить на поэзию сейчас невозможно, надо где-то еще работать. Я довольно хороший переводчик, в том числе синхронист. В последние годы именно этим зарабатываю на жизнь. На службу ходить не надо, что прекрасно.

С 1990 по 2000 примерно год я работал переводчиком в МВФ. Теперь знаю все ухищрения мировой закулисы, направленные на то, чтобы погубить Россию и Казахстан (*смеется*. - F). Если серьезно, какое-то время даже увлекался спорами с теми, кто считает, что МВФ создан для закабаления богатыми странами бедных. Хотя это такая мировая касса взаимопомощи.



Фото: Иван Беседин

Но, ясное дело, если страна – алкоголик, от нее сначала требуют бросить пить. Как-то глава МВФ приехал в Казахстан, официальный прием, я перевожу, а премьер-министр вдруг обращается ко мне: «*Вы тот самый Кенжеев?*» Это была чрезвычайно неловкая ситуация: переводчик должен быть абсолютно незаметным. Босс смотрит на меня

злыми глазами: надо говорить о миллионах долларов, а тут какие-то «левые» дела. Я был одновременно и смущен и польщен.

О казахских корнях

Меня увезли из Казахстана трехлетним, я вырос в Москве, я русский поэт, моя мама русская, но я казах. Никогда не приходило в голову взять псевдоним и стать, к примеру, Борисом Карасевым. Мне замечают: *«Ты же по-казахски не говоришь»*. А плевать, я так чувствую.

Ни разу не писал про домбру, тем не менее знающие люди говорят, что мои стихи не совсем русские. Мой первый родной язык был казахский, как ни странно это теперь. То есть на русский я все равно смотрю чуть-чуть отстраненно. Мне указывают, что в моих стихах для русского человека слишком много мотивов степи, кочевничества. Это какие-то очень тонкие механизмы, через которые предки влияют на мое мировосприятие.

О религии

Сейчас отношение к мусульманству в мире складывается не очень хорошее, имидж подпорчен всеми этими терактами. Я это понимаю, но считаю своим долгом защищать ислам, хотя сам православный христианин. У христиан тоже были крестовые походы.

Мой дедушка Кенже был ишаном Южного Казахстана. Отец не сделал мне обрезание. Спросил как-то – почему? Он, прошедший всю войну, рассказал, как немцы среди пленных определяли евреев: *«А вдруг опять?»*. Он боялся за меня.

Меня восхищает человечество, хотя Иисус сказал, что мы «род лукавый и прелюбодейный». Вот первобытный человек. Добыл мамонта, согрелся у костра, наелся-напился, с женой пообнимался, но все равно чего-то не хватает... И он берет уголек и на стене пещеры рисует какого-нибудь безумно красивого зверя. То есть в нас изначально заложено то, что лапидарно называется идеализмом. Каждый человек имеет выход на метафизику, идею всемирной гармонии. И выход этот осуществляется посредством искусства. В худшем случае можно нацепить на себя цветную тряпку – это тоже попытка украсить жизнь. Каждый человек имеет выход на идею всемирной гармонии. Он осуществляется посредством искусства.

У меня большое количество друзей-атеистов. Среди них великий поэт Алексей Цветков. Я ему говорю: *«Твое неверие не отменяет Господа, это лишь факт твоей личной биографии»*.

Вера не дает гарантий, но дает надежду.

Как вы можете себе представить Бога? Не старичка в хитоне на облаке,

а реального? Возможностей для этого у нас не больше, чем у аквариумной рыбки представить себе полет орла.

Об экономике

Алматы произвел на меня впечатление процветающего города, несмотря на все девальвации. Хотя люди, по сравнению с моим предыдущим приездом 11 лет назад, стали несколько трезвее – меньше иллюзий.

И Казахстан и Россия последние годы жили не по средствам. Но человечеству это вообще свойственно. До недавнего времени средний канадец в отличие от американца **10% своего дохода** откладывал. Долгов у него не было, кроме как за жилье или учебу, объемы потребительского кредитования были ничтожны. А рядом Америка – страна, где все живут в кредит, тратят больше, чем зарабатывают. И вот в последние пять лет канадцы стали, как соседи, жить не по средствам, хотя все в курсе, как американцы заплатились за это, когда лопнул ипотечный пузырь.

Казахстан резко отличается от России в одной очень важной вещи. Меня еще в 90-е поразило, что здесь много чего продали и отдали в управление зарубежным компаниям. Патриоты тогда кричали о распродаже страны. Но это было совершенно правильно! Потому что только иностранные компании

могли принести сюда культуру производства и технологии. Говорят: «Они же прибыль вывозят!» Ага, а местные бизнесмены, стало быть, оставляют ее здесь, в местных банках... *(Смеется. - F)*

Мне довелось многие годы поработать в Киргизии, в том числе общаться с тамошними бизнесменами. Очень уважаю **Акаева**, считаю, что слухи о воровстве сильно преувеличены, дружил с его сыном. Но хорошо помню, с каким мечтательным восторгом киргизский МСБ отзывался о Казахстане, где уровень коррупции и налогового бремени был в разы меньше. В Канаде есть такая структурная единица экономики – королевская корпорация. Самая известная из них – «Радио Канада». Первый пункт устава компании гласит, что **100% акций** ее принадлежит государству. Второй пункт – что государство торжественно клянется никогда ни под каким видом не вмешиваться в дела корпорации: ни в содержание программ, ни в хозяйственную деятельность.

Самая правая партия в Канаде все равно левее, чем самая левая в Америке. Когда Обама шел на второй президентский срок, в Канаде провели опрос, как бы проголосовали ее граждане, если бы имели на это право. Он получил 90% голосов, у себя же набрал 62%.

С большим уважением отношусь к США, где сейчас живу, но это не идеальная страна. Идеальная страна – Канада. Она может быть хорошей моделью для Казахстана. Тоже большая, много природных ресурсов, этнически пестрая. В свое время там были трудные споры

между англоязычной и франкофонной частями общества, но постепенно воцарилась гармония.

О поэзии

Возьмем Гомера. «Илиада», «Одиссея» ... А ведь он был слепым нищим, который пел песенки за лепешку с сыром. Практически не было времен, когда настоящие поэты и писатели имели реальную славу, богатство, в отличие от «попсы». Это всегда было занятие очень одинокое. «Писать для вечности» – звучит напыщенно, но, конечно, так оно и есть. Всякий нормальный писатель стремится творить для вечности или для Бога, что одно и то же. Но и читатель очень важен, потому что автору хочется поделиться с ним своими мыслями на эту тему. Зачем вообще существует поэзия? Чтобы примирить такие вещи, как красота, любовь, доброта, со смертью, страданием и обреченностью. Привести их в гармонию. Вот, например, Баратынский, самый трагический из русских поэтов:

*Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой –
Все образы години бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей, –
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!*

Великая сила поэзии в том, что, несмотря на абсолютную безнадежность этих строк, они оставляют чувство просветления. Я считаю, что в России никогда не было более великого поэта, чем Манделъштам. Никто близко к нему не подходил. Может быть, Пушкин, хотя... Ладно, Пушкин был первым. Скажем так: в XX веке близко никто не подходил. На пушечный выстрел. Все эти ахматовы-пастернаки, конечно, очень милые поэты, но не того уровня. Манделъштам – это Данте, это Шекспир...

*В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.*

Ничего лучшего на русском языке не написано. И этого человека советская власть убила.

О читателях

Читатель у меня есть. Его не так много, тем не менее книжки, изданные тиражом в 30 тысяч экземпляров, не сразу, но разошлись. Сейчас и 500 экземпляров – неплохо.

Смысл поэзии совпадает со смыслом религии – он в том, чтобы выразить любовь. От ненависти поэзия умирает.

Facebook – в данный момент основной способ существования. У меня достаточно много подписчиков, это своеобразная микросреда, в которой жить достаточно интересно.

Есть такой сайт stihi.ru. Это такой бескорыстный сайт, где можно зарегистрироваться и печатать свои стихи без всякой редакции. Там более 400 тыс. абонентов. Не важно, графоманы или нет, но это люди, для которых поэзия важна. Как же можно говорить, что она сегодня никому не интересна?

Недавно был в Москве на фестивале «Девяностые годы», где одно из мероприятий – чтение стихов в «кафешке». Думал, придет, как обычно, человек 30. Пришло 200, много молодежи. На следующий день читал Цветков. Ну Цветков – великий русский писатель, на великих писателей приходит 50 человек. Пришло 200. То есть что-то в Москве треснуло. Спрашиваю у организаторов: «Что случилось?» «Знаешь, – говорят, – это уже полгода так, народ стал снова ходить на поэтические вечера».

В юности мне было очень трудно отвлечься от советской власти, которая была совершенно недостойна никакого воспевания. Сейчас писать о вечности легче, ничто не отвлекает. Хотя... Свою новую книгу стихов, написанных в 2010–2013 годах, я назвал «Довоенное». Нынче идет война, к сожалению...

Интервью: № 2

Евгений Сулес. Современная литература

Поэт, прозаик, член большого жюри национальной литературной премии «Поэт года», человек, который был одним из основателей легендарной поэтической группы «Московское время», обладатель премии журнала «Октябрь», «Новый мир», премии Антибукер, «Русской премии», лауреат фестиваля «Киевские лавры». Награжден медалью «За заслуги перед отечественной словесностью». Добавлю от себя один из значимых современных поэтов – Бахыт Кенжеев.

Спасибо! Отличное начало!

Вы ощущаете себя живым классиком?

Не могу удержаться, чтобы не повторить свою любимую фразу: я полуживой классик.

И как вам на этой вершине поэтического Олимпа?

Трудно: ноги болят, руки болят, пить водку все время хочется. Но нам братство ближе, благородство обязывает, и как-то приходится...

А кто там рядом с вами на Олимпе – кого можете назвать классиком?

Ну... о чем вы! я в эти игры не играю. Я «играю» в своих любимых друзей и писателей, в первую очередь – мои близкие люди, которых я очень люблю и как поэтов. Насчет их места на Олимпе я не буду разбираться. Вот когда мы умрем, тогда и разберутся.

Или читатели разберутся (смеется)

Естественно, это Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Лева Рубинштейн, покойный Александр Сопровский. Из тех, кто помоложе – Саша Кабанов, Маша Ватутина. Все это замечательные поэты – искренние и чудесные. Их много. И одна из причин, по которым я считаю себя очень счастливым человеком, что мне выпала честь не только читать их, но и быть личными друзьями.

А как вам удалось сохранить дружбу? Ведь поэты – люди со сложным характером...

Как говорил Блок, у поэтов есть такой обычай – «в круг сойдясь, оплевывать друг друга». Мы – я имею в виду круг моих близких друзей – никогда в эти игры не играли. Мы всегда радовались друг за друга. Мы служим общему делу – надо радоваться за людей и всё.

То есть, когда ваш друг Сергей Гандлевский пишет гениальное стихотворение, у вас нет ревности?

Есть, конечно! Но это другая ревность. Когда мой друг Сергей Гандлевский или Алексей Цветков пишет, я начинаю бить копытом и злиться: почему я так не написал?! Но при этом я не забываю за них радоваться, потому что не мамоне служим, а богу...

Как вы воспринимаете поэзию нынешних двадцатилетних?

Я сужу в разных жюри, конкурсах... Плохонькие поэты двадцатилетние, плохонькие по простой причине: в 20 лет нельзя быть нормальным поэтом, если ты не Лермонтов. Сейчас изменилось понятие времени. В XIX веке поэт умирал в 37 лет, или раньше, как Пушкин и Лермонтов. А его друзья умирали – от болезней, например. А наша жизнь безумно удлинилась, вокруг нас невероятное количество пустой незначимой информации, которую мы просто не можем переварить и усвоить. И человечество до сих пор не приспособилось к этому белому шуму.

А есть ощущение, что жизнь удлинилась, а время убыстрилось из-за количества этой информации?

Время ничуть не убыстрилось. На самом деле, с библейских времен ничего в нашей жизни не изменилось. Мы по-прежнему, как писал Экклезиаст, рождаемся, рыдаем и умираем. А все остальное – это майя, Суэта сует...

Ну, хорошо, я заинтересовался рэпом и даже посмотрел знаменитый баттл Оксимилона и этого самого (Гнойного). С точки зрения поэзии это очень мило, энергично, интересно. С точки зрения реального искусства, это полное фуфло с обеих сторон. Потому что там ничего нет кроме желания повыпендриваться перед своим соперником – это к баттлу относится. Я посмотрел их помимо баттла – ничего кроме желания повыпендриваться перед человечеством и девочками своего возраста там тоже ничего нет. Я знаю, что Оксимилон – интеллигентный мальчик с хорошим образованием, но он же продает свое искусство! В продаже нет ничего плохого – нам всем нужно есть. Но нельзя же так! Христа вообще-то распяли на кресте, евреев сожгли в Освенциме, Россию погубили большевики в 1917 году... и как можно после этого такой ерундой заниматься?! Я говорю абсолютно серьезно. Дешевка это.

А есть ощущение, что молодые поэты вообще говорят на другом языке?

Нет. Пardon за саморекламу, но я очень хорошо чувствую язык. Когда нужно что-то употребить в стихе, я употреблю. Дело не в словах и не в языке, а в том, что стоит за этими словами. За словами должно стоять страдание! Сочувствие, эмпатия, а не это фуфло – как меня обидели,

как мне девушка не дала... я сейчас не имею в виду Оксимилона, он умнее, а попсу, которая к нам льется с ТВ.

А вы вообще к новому восприимчивы?

15 лет назад я прочел стихи Саши Кабанова, и сделал, что мог, чтобы у него сложилась карьера, но он и без меня бы ее сделал – он потрясающий поэт!

Я бросил клич в фейсбуке, который вы любите, чтобы мои друзья прислали вам вопросы. Вот, например, Елена Фролова, поэтесса из Москвы: какая любимая игрушка была в детстве и книжка?

ГДР-овская железная дорога, которую кто-то подарил нам, потому что мы сами не могли ее купить. Мечта! А книга – «Дорога уходит в даль» Александры Бруштейн – очень хорошая книга, рекомендую.

А каким вы вообще были ребенком? Хулиганистым, тихим или спокойным?..

Совершенно тихим. Родители поражались, какой я... неправильный. Однажды, я тогда, кажется, болел, и остался один дома, в комнате в коммуналке. Родители вернулись с работы, обнаружили, что дома не прибрано, не проветрено, а я в трусах и майке сижу на диване и читаю книгу. Я как сел в 10 утра, так до шести вечера и читал. Они очень сердились. Но ничего не изменилось за эти 60 лет – и ровно так же сейчас относится ко мне моя любимая жена.

Мама у вас русская, папа казах. В 1982 году вы уехали в Канаду, где прожили 25 лет. Сейчас живете в Нью-Йорке. Вы различаете в себе разные национальности: это во мне казах проснулся, а это – канадец говорит, а это – русский.

Да, как ни странно. Интересно, это шизофрения? Единственное, кем я себя не чувствую – так это американцем. Просто не чувствую и всё. Хорошая страна, но импульса нет. А то, что я казах, канадец и русский, я четко чувствую все время. Но это не так просто. Вот вчера я написал заметку в Фейсбук. Было много лайков, но нашлись и те, кто спросил: «тебе что, больше нравились 90-е годы с ларьками?», а другие – «чего приезжаешь тогда сюда – надругаться?» Я очень обиделся, потому что эти люди не считают меня своим... хотя я приезжаю много из-за чего приятного, я похвалил вечер Игоря Волгина, например. Канада, как Финляндия и Голландия – одна из лучших стран. И я очень рад, что прижился там. И сын мой – канадец и большой патриот этой страны. К сожалению, весь мир превратить в Канаду невозможно, это Эдем. Но скучно: территория огромная, а людей мало. Ни в Америке,

ни в Канаде я не стал эмигрантом: я держусь исключительно российской тусовки. Поэтому, например, я не могу переехать в Мексику – потому что там нет русской тусовки.

Читатель Аркадий Семенов спрашивает: читают ли поэзию дети и внуки, русские они по духу люди или все же иностранцы?

Нет, поэзию никто из них не читает. Старший Кирюшка русский, питерец, хоть и живет в Камбодже. Другой родился в Канаде, еще три девочки... нет, никто не читает. Дети – это огромное счастье. И ты не имеешь от них требовать, чтобы они были такие, как ты. Скажи Господу спасибо, что они не наркоманы и не футболисты. Мои дети умеренно любят литературу, и мне этого достаточно. Я рад, что они не буржуи, не любят деньги, не убивают никого – это счастье. Так что не надо от детей слишком много требовать – они не ты. Они совершенно отдельные люди и ничем тебе не обязаны.

Расскажите про Нью-Йорк. Я там не был, но при этом слове вспоминаю фильм «Нью-Йорк» Вуди Аллена. Насколько настоящий Нью-Йорк соответствует кинообразу?

Очень соответствует. А еще больше соответствует образу из «Секса в большом городе». Я как профессиональный переводчик скажу вам, что правильный перевод названия фильма – «Секс в Нью-Йорке». И такая тусовка милых девчонок возможна только в Нью-Йорке, и даже не в Бостоне, не в Чикаго, не в Филадельфии. Вот эта атмосфера более правильная: праздничная, динамичная и красочная. Это город, который мистически – наличием большой энергии – похож на Москву. И при том, там очень много своих проблем. Это страшно дорогой город, очень снобский, и при этом удивительно теплый и приятный, и сердечный и душевный. Я живу там в Гринвич-Вилладж, район с маленькими домиками. Моя подруга архитектор как-то удивилась: чего я поеду в Нью-Йорк, на небоскребы смотреть? Но небоскребы – лишь десятая часть города. Лицо Нью-Йорка определяют маленькие переулочки, как и в Москве. Но не дай бог тебе оказаться в Нью-Йорке одному – надо чтобы там было на кого опереться. Но это и к Москве применимо. Допустим, я – казах в Нью-Йорке, а что, в Москве без друзей и родственников разве лучше? Да нет конечно! Там очень вибрирующая жизнь, и это объясняется очень легко: там очень красивые люди. И они здорово одеваются: за очень большие деньги, но так, что сторонний наблюдатель решит, что человек подобрал все это на ближайшей помойке. Ноль претензий, но при этом – класс! На вечеринках женщины одеты часто тотально в черное,

но при этом лейблов не видно – это неприлично.

Эмиграция, как я понимаю, была для вас вынужденная: в 1982 году вас поставили перед фактом. И тогда казалось, насколько я себе представляю, что советская власть если не навсегда, то надолго. Сейчас вы можете приезжать, фейсбук опять же стирает границы. А вот в 1982-м вы уезжали с мыслью, что навсегда?..

Не совсем. Про меня ходят дурные слухи, что я по расчету женился на девушке Лоре, чтобы уехать в Канаду. Но это неправда. Когда я делал Лоре предложение, она сказала: «Бахытик, я же вижу, что ты диссидент и хочешь уехать. Давай делать фиктивный брак». А я ответил: либо настоящий, либо никакого. И чтобы ни одна сволочь не сказала, что я женился на тебе не по любви, а чтобы уехать, – то мы остаемся и никуда не уезжаем. И мы прожили в Москве четыре года. По-моему, я искупил все подозрения. А потом мне гэбэшники сказали: у вас есть возможность уехать, вы нам надоели со своими антисоветскими сборищами, уезжайте! Я не уезжал «навсегда»: в отличие от израильских эмигрантов, у которых отбирали паспорт, имущество и запрещали въезд в страну «навсегда». Я десять лет живу в Америке с канадским паспортом, канадцы очень меня любят и платят пенсию, хоть и маленькую, у меня все права канадского гражданина, я могу в любую секунду туда вернуться и оформить ПМЖ. А в то время мой советский паспорт был пародией: в нем был штамп – выехал на ПМЖ, и чтобы приехать в Россию, я, гражданин России, должен идти в советское консульство, чтобы получить визу. Это, слава богу, отменил Ельцин, но это было ужасно унижительно. У меня отняли гражданские права: право голосовать, московскую прописку, не отобрали только право купить туристическую путевку и приехать в Москву. Это не потому, что я диссидент, а потому что я был женат на иностранке. Например, Буковски и Растропович были высланы с советскими паспортами, а через полгода – за занятие антисоветской деятельностью – отобрали. Цивилизованное государство никогда не отбирает у своих людей паспорта. Могут привлечь к уголовной ответственности, но отобрать паспорт – это одно из самых страшных наказаний, какое только есть. В Древней Греции крайним наказанием была смертная казнь, а перед этим – наравне с казнью – изгнание из полиса. Это одно и то же.

Потом случилась перестройка, рухнул Союз, вернулись Кублановский, Солженицын... А у вас были мысли, желание вернуться?

И да, и нет. Когда живешь за границей, обрастаешь семьей, детьми.

Куда и как я вернусь, если мне сына надо воспитывать в Канаде? Войнович, например, не вернулся совсем, а просто много бывал на родине. Я очень люблю Россию, это не надо доказывать – я русский поэт. Но вопрос физического пребывания... Попросту, на что я тут жить буду? Когда Кублановский вернулся, эмигранты были в моде, и ему дали какую-то квартирку, а мне никто ничего не даст. Я хоть и бойкий, но мне много лет. Я хочу жить на своих квадратных метрах и покупать то, что я люблю. Если мне что здесь и подарят, то я не возьму.

С Кублановским вы дружили?

Очень! Талант Юрия Кублановского я никогда не отрицал и всегда готов сказать, что он замечательный поэт.

Для интеллигенции свойственно такое, что как только расходятся взгляды на политику, например люди, перестают общаться. Для вас это характерно или вы можете принять чужие взгляды?

Я могу принять, но при условии, что он неагрессивен, уважает мое мнение. Есть много людей из моего окружения, с которыми я отношения не разорвал, но охладел к ним. Потому что они, когда начинается спор на политическую тему, начинают рвать на себе тельняшку, а я этого не могу, и жду от своих друзей, что они так делать не будут. Есть у меня, есть у них убеждения – пожалуйста, держитесь их, но давайте цивилизованно.

Это и есть настоящий либерализм?

Да.

Вам не кажется, что сейчас это как раз и теряется: если ты не думаешь так, как я, я не хочу тебя знать.

Абсолютно! И это один из признаков, что человечество сходит с ума. И в Америке такой же раскол, как и здесь, по поводу Крыма: одни за Трампа, вторые – против.

А есть американские интеллигенты, которые за Трампа?

Нет. Хотя вру! Есть! Есть парочка, которые за, но с оговорками: если не Трамп, то кто? Либо люди совсем не той группы крови как я. Я обожал Обаму. Он для меня лучший президент Америки за много лет, серьезно. А многие мои друзья его не любят за излишнюю либеральность. Мои еврейские друзья за Трампа, мол, он израефил, у

него и дочка иудейка, он объявил Иерусалим столицей Израиля. При этом я напоминаю им, что при Обаме помощь Америки Израилю достигла исторических высот.

Вы часто говорите о безразличности к советской власти. У многих после развала Союза, спустя годы, мнения о советской жизни изменилось, потеплело. Изменилось ли что-то у вас?

Конечно нет! Осталась не только безразличность. Как кто-то написал в фейсбуке: как хорошо было при советской власти – перед расстрелом давали пломбир в стаканчике. И я под этим подписываюсь! Советская власть была чудовищным убожеством, просто забыли об этом. Молодежь, которая говорит: ну и пусть не было американских джинсов – можно же было поехать в Польшу и купить. Они просто не знают, что поездка в Болгарию была мечтой всей жизни! Кто-то вспоминает это как золотую пору детства, когда вода была мокрее, а женщины моложе... Это был чудовищный концлагерь. И я говорю не про бедность. 50 лет назад все были бедные, запад был еще беднее, чем сейчас. Я говорю об убожестве, что ты не мог прочесть книгу, которую хотел; не мог поехать никуда, потому что не было гостиниц. Как можно было это любить?! То, что мы были молодые и, по принципу сопротивления материала как-то сопротивляясь этому делу, и как-то сгущались вместе и понимали, что несмотря на советскую власть есть Мандельштам и даже Кушнер. Не говоря о том, что помидор зимой был так же невероятен как метеорит с луны на обед.

Про студию «Луч» Григорий Каковкин спрашивает: что вам эта студия дала? Это легендарная студия Игоря Волгина, которой в 2018 году отмечали 50 лет. Вы там познакомились с Гандлевским, Цветковым, Садовским? И там же вышло «Московское время»?

Да-да. Мы встретились и полюбили друг друга сразу на всю жизнь. Это фантастическое событие было! Но я повторяю то, что часто говорю: Игорь Леонидович был довольно слабым поэтом. Я не боюсь это говорить, потому что за последние десять лет он каким-то божественным образом совершил невероятный взлет в сторону очень хорошего поэта. Мы не перестаем этому удивляться и потрясаться, но это факт. Если его ранние стихи, как «Перспектива» – милые советские стихи, то поздние – это настоящая поэзия. Я считаю, что он должен быть очень счастливым человеком, что господь бог на старости лет дал такой подарок. Это бывает очень редко, практически никогда. Если говорить о тех годах, то на студии Волгина было ощущение, что советской власти не существует. Он никогда не говорил ни о советской власти, ни о политике, ни об идеологии, что было, разумеется,

крамолой. Ходили даже какие-то графоманы, помню одного под псевдонимом Океанский, он донес в какой-то партком, что в этой студии происходит безыдейность и бездуховность... У меня есть друзья, окончившие литинститут, я считаю, что они зря потеряли время: я свой литинститут кончил на студии «Луч» за десять лет встреч раз в неделю по понедельникам. Мало того что Игорь Леонидович давал нам гениальные уроки поэзии, он был талантливый педагог, так я еще и познакомился там со всем бомондом. Помимо нас Волгин воспитал еще много таких же русофобов (смеется).

А название «Московское время» предложил Сопровский?

Да.

Из-за его ранней гибели молодым поэтам он не так знаком...

Сейчас готовится к печати книга Татьяны Полетаевой, его вдовы, я читаю сейчас ее. Я потрясен! Татьяна сама по себе очень хороший поэт, талантливый писатель и бард, и она написала книгу, которой невозможно определить жанр: это воспоминания и ее, и нас всех, сорокалетней давности. Это великолепное произведение художественной литературы. Но я офигеваю: книга совсем не сводится только к воспоминаниям о Саше Сопровском. Это гениальная картина тех лет. Саша был человеком абсолютной душевной чистоты и преданности поэзии. Кроме поэзии для него ничего не существовало, ну, еще алкоголизм, но это дело житейское, кто не без греха.

Я всегда вспоминаю, когда о нем заходит речь, про Иова: что на вопрос Иова бог отвечает восклицательным знаком. Помоему, это гениально.

Да. Саша написал эссе про Иова, и это одно из блестящих эссе русской философии. Он доказывает существование бога на основе эстетики. Вот посмотри – ты можешь создать носорога? Нет. – Вот и молчи! Я бог! Это парадоксально, нелогично, но очень красиво.

Вы пишете ночью?..

Только ночью!

Мне кажется, авторы делятся как Достоевский, которые пишут только ночью, а другие – как Хэмингуэй, рано утром и писали на свежую голову. У вас нет ощущения, что ночью голова не свежая? Просто наша аудитория – пишущие люди, и им очень это интересно.

Это, конечно, очень интимный вопрос, но я с удовольствием на него отвечу вам. Я пенсионер, безработный, единственное мое оправдание, что я раз в одну-две недели напишу стишок. И я жутко мучаюсь комплексами: зачем я живу вообще? Расскажу, как проходит мой нью-йоркский день. Я просыпаюсь утром, жена уже ушла на работу. Сажусь за компьютер: проверяю фейсбук, играю в компьютерную игру, долго-долго играю. Потом, проклиная себя, наливаю себе водки и пью ее. И за этот день я не сделал ничего: не прочел ни одной строчки даже. Потом приходит жена, начинает ругать меня, что я не убрал квартиру, она садится смотреть телевизор, а я пью водку и играю в компьютерные игры. Часов в 11 она ложится спать, я ей говорю, что сейчас приду, а сам еще играю и пью еще немного водки... А потом какая-то пчела клюет меня в висок, причем, такая пчела, что я вспоминаю стихотворение Ходасевича про лампу в 16 свечей, когда сразу просыпается все мироздание!.. В пять утра, написав стишок, я наконец иду к жене, и я абсолютно счастлив. Это лучший мой день! Иногда, правда, без последней фазы со стихами.

Максим Кучеренко спрашивает: осталась ли у вас еще водка с коноплей?

С коноплей не было... Но Максим же был у меня в гостях, наверно что-то пили... а! это была водка с анисом!

Тот же Максим спрашивает: верит ли Бахыт в музу и вдохновение, и возможны ли трезвые стихи?

No comments, понятия не имею. Нет, вру! «Когда мы были молодыми», как написала Юна Мориц, я не пил, а вся моя компания пила. Я для них был источником алкоголя, потому что гнал из морилки для мебели великолепный спирт на своем самогонном аппарате. И все мои друзья паслись на моем самогонном аппарате. Я выпивал 50 граммов, и все, и не писал стихов в нетрезвом виде. Но прошло время – и все изменилось. Теперь я не могу писать без алкоголя. Возможно, и правда – времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Своими любимыми поэтами вы называете Мандельштама и Баратынского. Насчет последнего я даже не вспомню, кто бы еще его таким называл, ведь он очень недооценен.

Баратынский – один из величайших русских поэтов! Не хуже Пушкина и немногим хуже Мандельштама. Есть один поэт, который называл Евгения Абрамовича <Баратынского> любимым поэтом, хотя, к сожалению, не взял у него ни строчки, ни идеи, вообще ничего. А поэт недюжинный – это Бродский. Но похвала Бродскому: он оценил

наследие Баратынского, хотя ничего общего с ним не имел! Есть два поэта, за которых мне особенно больно: это невероятной гениальности Баратынский, и конечно Гаврила Романович Державин. Нельзя писать русскую поэзию, обращаюсь я к нашим авторам, не усвоив и не полюбив Державина и Баратынского. Это абсурд потому что иначе. Эти два человека населили русскую поэзию невиданными до этого гениальными интонациями и чувствами. Эта строка <Державина> «Аз есмь – конечно, есть и ты!» – это же гениально!

А Баратынский:

*Зима идет и тощая земля в широких лысинах
широких лысинах бессилья;
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья:
Со смертью жизнь, богатство с нищетой,
Все образы години бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!*

Всем очень рекомендую!

Иван Зеленцов, поэт: были ли у вас периоды творческого застоя. Как вы с этим боролись и надо ли вообще бороться?

Очень тонкий и тяжелый вопрос. Конечно бывали!.. Я писал прозу – и не писал стихи, но это не считается: я же писал, хоть и прозу. Вообще мне везет – я пишу более-менее регулярно... Иной раз пишишь радуешься, а стихи получаются какие-то ватные, понимаете, не работают. Есть талантливые поэты, которые пишут по три стихотворения в день, но так нельзя.

А есть Сергей Маркович <Гандлевский>, который пишет по стихотворению в год...

Совершенно верно, и, кстати, очень хорошие! Бороться с застоєм нельзя, дорогой Иван, решение одно: молитвой и постом. Если тебе не пишется, значит что-то с тобой не то, ты должен жить более чистой жизнью – всё!

**Лучшего ответа на этот вопрос я никогда не слышал!
Настолько прозрачно и точно, моя душа очень отозвалась.**

Серьезно? Спасибо!

Вы сказали, что когда пишете прозу, то не пишется стихи. Но прозу ведь можно писать долго...

Я и писал долго, но проза моя хреновая. Кроме одного романа, да и тот был десять лет назад. Это разные виды искусства, и «поэт» в это время отключается. Когда я ваяю скульптуру, я не хочу рисовать акварелью.

Вам свойственна ирония и в жизни, и в поэзии. Можно ли без иронии, на серьезных щах, как говорится, творить искусство как Толстой в XIX веке, или сейчас уже так нельзя?

Я не знаю ответа на этот вопрос. Потому что я точно понимаю что звериная серьезность не работает. Великая дихотомия двух поэтов, о которых долго спорили – кто лучше: Пастернак или Мандельштам. Безусловную победу одержал Осип Эмильевич <Мандельштам>, потому что у него было чувство юмора, а у Пастернака не было. Не надо относиться к себе серьезно – вот это главное. Мы все сдохнем, все! Возможно даже в страшных муках. Задача жизни поэта, писателя и вообще человека – я делю не на «писатель» и «не писатель», а на людей и не людей, – понять свое место в мироздании и господу богу своему служить, как сказано в Евангелии. Все мы попросту инфузории... Но и перебарщивать с этим тоже не нужно, ерничество – это тоже нехорошо. Твое дело как писателя – найти правильный баланс между иронией и пустым ерничаньем.

А ваш «подопечный» – Ремонт Приборов? Это тоже баланс?..

Я когда-то придумал этого ерника как отдушину. Сейчас, когда у меня настроение писать в духе Ремонта Тимофеевича, то включаю его в основной корпус: пусть читатель сам разбирается. Был такой великий поэт Олейников, ерник на 170%, но великолепный лирический поэт. А Хармс? А ранний Заболоцкий, который весь построен на иронии? Главное не забывать, что бог есть – а остальное все приложится.

А бог есть?

Конечно! А кто тогда все это создал? Пушкин что ли? Большинство моих друзей, к сожалению, атеисты, включая Алексея Петровича Цветкова, но я с ними воюю как последний тамплиер.

Да, как Дмитрий Быков говорит: творение есть, а творца нет – как такое может быть?!

Конечно!

Вы говорите, что поэзии – это разговор с богом, по сути – молитва. Тогда какое место тут занимает читатель и нужен ли он тогда?..

Конечно нужен!.. Потому что если ты научился разговаривать с богом!.. Возьмем любимое стихотворение Манделъштама:

*В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наваждение причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.*

*И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.*

Это – разговор с богом. Я не понимаю и не знаю, о чем это; и не хочу понимать. Но я читаю это и понимаю: великий Осип Эмильевич пригласил меня в свои небесные пенаты, чтобы я подслушал. Роль поэта – приобщить читателя к умению разговаривать с богом. Иногда он отдает за это свою жизнь, как Осип Эмильевич или Пушкин, или тот же Баратынский, Гумилев, Цветаева – почти все, честно говоря. Но оно того стоит, потому что счастье-то какое, а! Потому что ты сидишь, ничтожество такое, и вдруг, как у того же Ходасевича:

*И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвий.*

...

*И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает – Орфей.
А, какой праздник!*

Интервью без номера

Ночь. Две свечи, я (Михаил Рахунóв) хозяин дома - Впрошающий и...

Впрошающий.

Послушай, мне сказали, что у нас 3 минуты, так что сразу к разговору. Кстати, ты рядом или только голос?

Отвечающий.

Рядом.

Впрошающий.

Бахыт, ну как там? Тебя впустили в Ближний Круг?

Говорят, Евтушенко, все еще за пределами. А Вознесенского, вообще, выгнали.



Памятник на могиле Бахыта Кенжеева (Нью-Йорк, США)

Отвечающий.

Давай не об этом...

Впрошающий.

Я тут уговорил Лену Мандель твою вдову... жену?.. посвятить ежегодник «Высокие ступени-2025» твоей памяти. Вот нашел твой интервью. Ты не возражаешь, чтобы мы их тиснули?

Отвечающий.

Не возражаю.

Передай спасибо Лене за все годы, что мы были вместе, Понятно, я не подарок. Скажи: — «Спасибо, за памятник», короче, ты знаешь, что

сказать. А про интервьюшки — не возражаю. Сократи только про войну».

Вопрошающий.

Помнишь, я у тебя спросил, кто среди вас троих (Цветков, ты и Гандлевский) лучший. Ты сказал, что, несомненно Цветков. Вы встретились?

Отвечающий.

Да, он рядом. Но тебя игнорирует. Ты знаешь, он отпетый либерал.

Вопрошающий.

Помнишь, в Чикаго перед твоим творческим вечером я тебе сказал, что я знаю почему ты всё время прихлебываешь коньячку? И ты удивился, что я угадал, что ты застенчив. А еще в Москве ты сказал, когда открывал мой вечер в доме Солженицына, что был удивлен! А перед тем считал, что я прежде всего переводчик, а потом поэт. А теперь, что думаешь?



Бахыт Кенжеев, Михаил Рахунóв. (Декабрь, 2010. Lindenhurst, IL)

Отвечающий.

Теперь удивлен еще больше. Растешь!

Вопрошающий.

Хочу спросить у тебя, что бы будет с поэзией, с Россией? Ты как?

Отвечающий.

Я еще не готов, Мне нужно лет так пятьдесят,
чтобы получить статус Прорицателя.

Вопрошающий.

Тогда про поэтов. С кем общаться? Неужели никого нет из больших?

Отвечающий.

Да, ты был прав, когда говорил, что лидера нет. И я с тобой согласен, что после смерти Анны Андреевны, никто не смог объединить достойных. Все мы были сами по себе, вот наша четверка — да! Но Сопровский попал под машину, Гандлевский, бросил писать стихи. Кублановский, Волгин... Тут нечего сказать.

Вопрошающий.

Эх. Время улетает. Подожди, а ты, случайно Сару Тисдейл не встретил? Помнишь, как она нас напугала, когда ты гостил у меня?

Хотела с тобой поговорить как поэт с поэтом. Ты же у нас синхронный переводчик! Пришла, а ты на диване с бокалом хранишь. Она — в другую комнату, а там профессорша английского языка. Помнишь её? Та проснулась, а Сара ей: «Давай поговорим». Причем она полностью материализовалась: белое платье, белые перчатки. Бедная профессорша от испуга в два часа ночи вызвала такси и ускользнула из моего дома.

Отвечающий.

Да, это ты её уговорил взять у меня интервью. Ох, как мы тогда испугались! Понятия не имели утром: куда делась жрица науки. Ладно. Закругляйся. Скоро петухи пропоют. У тебя всё будет хорошо. Не забудь поблагодарить всех, кто меня помнит. Не забудь про Лену. И,



Олег Коробов, Бахыт Кенжеев, Михаил Рахунóв. (Декабрь, 2022. Lindenhurst, IL)

вообще, я многим благодарен, что так мило написали обо мне в своих некрологах! Понятно, что в основном для пиара. Но, ведь помнят мои стихи, редиски!

Вопрошающий.

Разреши тиснуть в ежегодник одно мое стихотворение, посвященное тебе?

Отвечающий.

Валяй.

Вопрошающий.

Может, на посошок?

Отвечающий.

Эх!..

ВСЁ ГАДАТЬ НА КОФЕЙНОЙ, НА ГУЩЕ...

Бахыту Кенжееву

Всё гадать на кофейной, на гуще,
Плыть волной горловой в никуда,
И приехать, как некогда Пущин,
В сон, где царствует Он, и туда

Принести свое время — пространство —
Этот мир, обнаженный, как смерть,
И сказать так по-дружески: «Здравствуй!..»,
И быть вровень с Ним вместе суметь.

Да чего же ты рад этим встречаю!
Как легко ты плывешь по волне
Той реки, всех предтечей — предтеча,
Вдаль бегущей в далекой стране.

Этот гул, что звучит неотступно,
Слышен в творчестве легком твоём;
Брызги пены так близки, так крупно
Отражен голубой водоём,

Так пленительно солнце в зените,
Так пронзителен стих горловой,
Что всем хочется прыгнуть — смотрите! —
В это кружево вниз головой!

Михаил Рахунов. 20 июня 2010 г.



Михаил СИНЕЛЬНИКОВ / Россия /

Михаил Исаакович Синельников (род. 19 ноября 1946, Ленинград) – известный русский поэт, переводчик поэзии Востока, исследователь литературы, составитель ряда поэтических антологий и хрестоматий, главный составитель в долгосрочном Национальном проекте «Антология русской поэзии». Автор 37 стихотворных книг в том числе, однотомика (2004), двухтомника (2006), изборника «Из семи книг» (2013), сборников «Устье» (2018), «Поздняя лирика» (2020), «Язык цветов» (2023) Его стихи постоянно печатаются в основных литературных журналах, в «Литературной газете», вошли в существующие антологии русской поэзии XX века и переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, сербскохорватский, словенский, румынский, албанский, турецкий, азербайджанский, таджикский, фарси, хинди, узбекский, киргизский, грузинский, армянский, осетинский, монгольский, вьетнамский, корейский, китайский и японский языки, отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии (дважды), Турции и Японии. Поэзия Михаила Синельникова в разные времена вызывала интерес отечественной и зарубежной критики, его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими и иностранными премиями и орденами.

ВО СНЕ

Во сне туман и солнца блики.
Из леса девочка одна
Идёт с лукошком земляники,
И всё – к тебе сквозь времена.

И это мать. Дремучей чашей
В своё грядущее бредёт,
Твоей любовью предстоящей
Защищена от всех невзгод.

КАСИМОВЦЫ

Архипов был Абрам, и синагога
Тут в переулке имени его.
Лишь совпадение, чьё-то баловство –
Святых имён у староверов много.

Люблю я роскошь вдумчивых мазков,
Его изрядной живописи пятна.
А был ещё бухаринец Слепков,
Расстрелянный в тридцать седьмом, понятно.

Пытавшийся оспорить приговор
Средь подлых мук, в тюрьме переносимых.
Таких людей как будто с давних пор
И слал в Москву из деревень Касимов.

Художество и жажда мятежа
Ей-ей сверкнул и в светских разговорах.
Всегда тоска о матери свежа.
Ношу в душе мужицкий этот порох.

* * *

Неотвязного детства видение.
Отдых старших от агитпропа.
Тень от лампы, домашнее чтение –
В этот раз: Житие протопопа.

Вот отец. Прячет грусть чуть заметную.
Тьма начала пятидесятых.
Мать любила ветхозаветную
Эту жалость в глазах влажноватых.

* * *

Живя, кто в коммуналке, кто в подвале,
В трамвае переполненном трясась,
Неутолимо небо штурмовали,
С вселенной устанавливали связь.

Изобретенья создавали в зоне,
На сцену выходили в Воркуте
И о бессонном думали драконе,
Его посланцев ждали в темноте.

Но в день его кончины величавой
В рыданиях сменились времена.
Навек прощаясь с неудобной славой,
Смогла впервые выспаться страна.

* * *

Как эти дети горские шумели!
В учёбе дерзость, в потасовках злость,
Заплаты, полотняные портфели...
Попробуй, эту стайку расчихвость!

Держались обособленно и шало.
А между тем имперская рука
Иные племена перемешала,
Недаром принесла издалека.

Нос эллинский с корейскими глазами,
Уйгуров с украинцами свела.
Как будто бы соединились сами,
А ведь была десница тяжела.

Всё в памяти: кончина фараона
И чернота, сходящая с высот,
И черным окаймленные знамёна...
Потом народов радостный исход.

* * *

В раздумьях о грядущем гунне
Там суицид очередной
Бывал нередок накануне –
Перед невиданной войной.

Одни стрелялись на пороге,
Другие, уходя в раскол,
Сочли, что пребывают в Боге,
И пьяный Блок в тумане брёл.

Из опасений и догадок
Рождались «пузыри земли»*.
Был воздух гибелен и сладок.
Поэты жили, как могли.

Они метались в нём, как в клетке,
Не зная, что среди коллег
Найдётся Ходасевич едкий,
Чтобы закончить этот век.

СМИРНОВ

Мы состоим из того же вещества, что наши сны.

Шекспир

Шёл термидор. Теперь по капле вытечь
Кровь лютая в тюрьме была должна.

* Выражение Шекспира («Макбет»), волновавшее Блока.

И понимал Смирнов Иван Никитич,
Что прёт напрасно супротив рожна.

Ждала в зловещих камерах исхода
Вся эта смесь местечка и села.
Рахметовская крепкая порода
Ведь тоже там представлена была.

Насиловали дочь, ломали ребра,
И показалось – дрогнул, изнемог...
Но думал он, сощурившись недобро,
Как был бы Ленин с кающимся строг.

Понурившись в последней укоризне,
Промолвил не смирившийся Смирнов:
«Жизнь не нужна ценою смысла жизни».
... А жизнь лишь сон, мы состоим из снов.

МЕМФИС

Там расписаны стены гробницы.
Завершается праведный суд,
И сановники радостнолицы,
И работники пашут и жнут.

Носят яства и шествует стадо,
Созревают на ветках плоды.
Всё готово, что в будущем надо,
Даже слуги бессмертьем горды.

Были эти заботы подробны.
Бытия соблазнительна явь,
И печенья доселе съедобны,
Но не ешь их – усопшим оставь!

Всё же, всё же взглядишь в эти сцены
И в душе эту жизнь проживи –
Урожаев и радостей смены,
И блаженство семейной любви.

А поняв, что явился некстати,
В свой погибельный век возвратись,
Где проклятья вора на печати
Через сто поколений сбылись.

ТЕСНИНА

Сражаться в теснине учил Суньцзы,
На помощь не уповая,
И это военной науки азы
И практика полевая.

В их штабе должно быть, играют в го,
Беседы ведут за чаем.
Мир снова разрознен, как в дни Чжунго, —
В отчаянье замечаем.

Уже на планету легла печать
Второго Богоявления,
Но внучке ещё предстоит читать
Китайские объявленья.

* * *

Ещё туда, в прибрежный Тамилнад!
В тот смугло-длиннорукий край, в котором
Ночами звёзды громко говорят,
А, чуть задремлешь, запевают хором.

Перерожденья тысяча шестого
Беспечные припомнишь времена.
Веленья Индры выслушать готова,
Из океана выбежав, Луна.

ЭЛЛАДА

Пойди по кругу и прочтёшь рассказ
О дивных подвигах и, строги,
На злоключения с чернофигурных ваз
Взирают боги.

Иное дело – добывать руду,
Пахать, лепить кувшины.
Коринф, Лакония в презрении к труду
И Аттика едины.

Очнись же! Вечно в тростниках болот,
Сплетающихся мутно и коряво,

Не ты ли, беглый прячешься илот?
Близка облава.

* * *

«Не знаю и того, что я не знаю!»
Один софист воскликнул и угас.
Иную жизнь слегка припоминаю,
Смотрю на небо в сумеречный час.

Как видно, снова я невежда в мире.
В мерцающую вглядываюсь тьму
И, может быть, двойник на Альтаире
Побольше знает, и вопрос – к нему.

МАРИЕНБАДСКАЯ ИСТОРИЯ

Лишь вчера в окружении нянек,
А теперь с ней беседу завёл
Этот старый министр и ботаник,
И страшит седины ореол.

Длится лепет волшебный и шальный
Перед поздней усладой глаз,
Наделяя судьбой небывалой
За согласие её и отказ.

После слов безнадежной осады
Пустота и тревожные сны,
Долгий век, любопытные взгляды
В увядании ей суждены.

Никого-то она не полюбит,
Но узнает на годы вперёд,
Как любовь обжигает и губит
И жестокие клейма кладёт.

АННУНАКИ

Прилетали сюда аннунаки,
Шли, покинув свои корабли,
К племенам, пребывавшим во мраке,
И остались в преданьях Земли.

Их потомков не любят в народе,
Непостижно исполненных сил.
Ярко блещущий на небосводе
Отчего-то им Сириус мил.

Но дождётесь кометы Галлея,
И микробов, и ангелов нам,
В приближенье грозя и светлея,
Доставляющей по временам.

* * *

Он был горяч, мальчишка-акмеист.
С мечтательным непостижимым жаром,
Отважен и душой почти что чист,
Блуждал по переулкам и базарам.

По городку туземному бродил,
Своей идеи непреклонный воин.
С тем юношей, каким когда-то был,
Я знаться не хочу и недостоин.

* * *

Кармен Брагару

А может быть эдем – в Карпатах.
Ну, да, припомни! Рай таков –
Под сенью нежных и косматых,
И светоносных облаков.

Туман блуждает по яругам,
Как бы от мира не сего,
И ты идёшь цветущим лугом
Сквозь превращений волшебство.

И путнику свирель пастушья
Пошлёт вдогонку, просипев,
Блаженный лепет простодушья,
Любви тоскующей напев.

* * *

Свои в уме лелея цели
При погружении во тьму,
Художник ночевал в борделе,
Писатель изучал тюрьму.

Через чертоги и трущобы
Познания скользкие пути
К истокам доброты и злобы
Должны в тумане привести.

Мир состоит из мглы и света,
И, оттеняя горний свет,
Каким за совершенство это
Грехом заплатишь ты, поэт?

* * *

В отъединении далёком
Всё снова женщины одной
Я мысленным касаюсь оком,
И вновь во сне она со мной.

По воле силы благосклонной
Двойною жизнью я живу.
Такая власть у мысли сонной,
Какой не будет наяву.

Преодолеет без сомненья
Убогий век и скудный быт,
И даже в райские селенья
К давно ушедшей долетит.

ДАРДАНЕЛЛЫ

Купанье в дивных Дарданеллах,
Седых, от буйной соли белых.
Ныряешь с мыслью о пловце,
Который ночью к деве юной
Всё плыл и плыл через буруны...
Об этом гибельном конце!
Ещё о Байроне хромом,
Булавку посреди пролива
Вонзившем в ногу терпеливо...
Не ты ли, тронувшись умом,
Бросался в воду ледяную!
Не с тем, чтоб Байроном прослыть,
А словно рвался в жизнь иную,
Готовый плыть и не доплыть.

* * *

Язычество – соблазн, манящий в гущу сада
Сладчайший голосок тоскливого божка
И в бешеной реке обнявшая наяда,
И птицы-вестницы, и эти облака.

И боги Индии, то жаждущие крови,
То слившиеся в мириадах лет,
То облики слоновьи, то коровьи,
То шестирукий движущийся бред.

И грёзы детские – от них ещё не спится.
Как только задремал, пестрея, потекут
На вешем дереве повисшие тряпицы
И твой по ветру выющийся лоскут.

* * *

Ну отчего приснилось, что, плутая,
Ты по тропинке выющейся идёшь?
И всё лепечет смугло-золотая,
Разгульная и ропщущая рожь.

Так жизнь течёт. И неостановимо
В мельканье обладаний и обид
Вражда и дружба пролетают мимо,
Калейдоскоп влюблённостей бурлит.

Но вот и тьма за полем перейдённым.
Чернеет лес. Но эти васильки
Своим простым, чистосердечным тоном
Ещё душе нерадостной близки.

ВО СНЕ

Вот и родной до боли в сердце
Твой город детства – снова ты,
Как цифры скрытые деберца,
Распознаёшь его черты.

Угадываешь закоулки,
В руинах памяти светя,
И в обречённом переулке
Стоишь влюблённо, жизнь спустя.

Потом по улицам наклонным,
По той и этой стороне,
Сквозь морок лет к холмам зелёным
Привычно движешься во сне.

И жизнь мелькнула, как зарница,
Дана тебе лишь для того,
Чтоб, оглядевшись, возвратиться
В бессмертье детства твоего.





Александр Мелихов /Россия /

Родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Проза опубликована в журналах «Нева», «Звезда», «Новый Мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «22», «Nota Bene» (Израиль), «Зарубежные записки» (Германия) и др. Литературный критик, публицист, автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре» и нескольких сот журнально-газетных публикаций, заместитель главного редактора журнала «Нева». Набоковская премия Союза писателей Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН клуба (1995) за «Роман с простатитом». Романы «Любовь к отеческим гробам», «И нет им воздаяния» и «Свидание с Квазимодо» вошли в шортлист премии «Русский Букер». Премия им. Гоголя от правительства Петербурга и Союза писателей Петербурга (2003, 2009, 2011, 2017), премия Правительства Санкт-Петербурга (2006, 2023). Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия фонда «Антифашист» за статью об идеологии немецкого фашизма, опубликованную в журнале «Дружба народов». Международная премия имени Фазила Искандера (2022), Международная премия имени И. А. Гончарова (2023). Главный редактор журнала «Нева» (Санкт-Петербург).

БЕССМЕРТНАЯ ВАЛЬКА

Повесть

Бобры строили плотину. На гранитном углу Мойки и Адмиралтейского канала. Под боком и днищем у ревущих катеров и рокочущих речных трамваев – взгляните налево, взгляните направо, не смотрите вверх, не смотрите вниз.

Бобры стоили плотину у подножия краснокирпичной твердыни Новой Голландии, чья военно-морская сердцевина была выедена исполинским дуплом, дабы освободить место культурно-коммерческому центру: дворец фестивалей на 2050 мест; защищённый воздушной подушкой от непогоды амфитеатр на 3500 мест; камерный зал на 400 мест в круглом здании морской тюрьмы; торгово-досуговые площади – 37 000 кв. м; три гостиницы категорий «4 звезды» и «5 звезд» – 56 000 кв. м; офисы – 10 000 кв. м; двухуровневая подземная стоянка – 50 000 кв. м; апартаменты – 8700 кв. м. Всего предполагается реконструировать и построить примерно 180 000 кв. м. Ориентировочная стоимость работ 378 миллионов долларов.

Бобры строили плотину в двух шагах от неприступных корпусов

университета космического приборостроения, денно и ночью работающего над системами абляционной защиты, стыковки, ориентации, стабилизации, навигации, мягкой и жесткой посадки, раннего и позднего предупреждения, низкоорбитальной и высокоорбитальной спутниковой связи, над гидравлическими, пневматическими и оптико-электронными подсистемами, над усовершенствованием жидкостных и твердотопливных реактивных двигателей, уже замахиваясь на двигатели ядерные: земля колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели!

А бобры строили плотину, полагаясь лишь на свои самозатачивающиеся резцы и кожаные лапти хвостов, не обращая ни малейшего внимания на соседство жемчужины мировой оперы и балета Мариинского театра, под чьим кровом вот уже многие годы создаются воздушные шедевры маэстро Гергиева — кавалера ордена Святого Месропа Маштоца, Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской республикой», кавалера ордена «Данакер», Рыцаря ордена Нидерландского льва, кавалера ордена Ярослава Мудрого, кавалера креста «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», командора Льва Финляндии, офицера французского ордена Почетного легиона, кавалера японского ордена Восходящего солнца с золотыми лучами и лентой, кавалера ордена «Уацамонга», а также орденов Святого Благоверного князя Даниила Московского и Святого Равноапостольного князя Владимира, великого маэстро Гергиева, чья слава и творческая энергия уже перехлестнула через Крюков канал, дабы обрести новый расцвет в еще не виданном архитектурном измышлении, коему предстояло утонуть в восставшем болоте зависти, чтобы возродиться привычной помесью бетонного сундука с аквариумом.

И неужели же какие-то жалкие бобры, предназначенные серебриться морозной пылью в виде шуб и воротников, после этого рассчитывали, что им позволят перекрыть Адмиралтейский канал?.. Они ни на что не рассчитывали, они просто делали то, к чему их предназначила природа. Они деловито гребли перепончатыми лапками от одной гранитной стенки до другой и уже успели обточить вокруг склонившегося к каналу дерева светящийся пояс.

И я понял, что очень давно не звонил Вальке.

* * *

Я взглядывался в лица всех попадавшихся навстречу женщин — тощих вертхвосток и осанистых мамаш, кучерявых овечек и струящихся русалок, надменных бизнесвумен и загадочных леди-вамп, тонкогубых стерв и румяных душечек, и в каждой из них прозревал ровно столько женского, сколько в ней было Вальки, готовой снова и снова браться за сооружение своей хатки на стройплощадке вавилонских башен гения и

суеты, среди их гранитных и бетонных заготовок и обломков, среди эстрадного блеска и грохота, среди молчаливого величия и величавой немоты.

И на серой, выношенной почисте ее сатиновых шароварчиков детской фотографии добрые-предобрые Валькины глазки через годы и десятилетия светят мне васильками из незатейливой песенки нашей юности: «Для меня нет дороже цветов — васильков, васильков, васильков. Потому что в глазах для меня дорогих вижу цвет васильков полевых». Это васильковое сияние немедленно вспыхивало в моей памяти, чуть только я отворачивался от черно-серого фото, чью покоробленность не могла удержать в узде даже узорчатая рамка гипса под бронзу. Мне было прекрасно известно, что в пору нашего с Валькой детства цветная фотография еще не проникла в советский быт далее обложек журнала «Огонек», и всё-таки васильковый свет Валькиных глаз упорно сиял мне сквозь серую фотобумагу. И когда мне случалось сердиться на Вальку, сияние этой распахнутой миру васильковой доброты уже через полчаса вновь пробивалось к моей душе и разом снимало всякую досаду.

Не только немеркнувший васильковый свет, но и сама фотография и в огне не сгорела, и в воде не утонула, когда пожарные заливали Валькину квартирку жидким молочным супом, судя по разводам на моющихся, но так и не отмывшихся обоях. Зря, конечно, Валька пустила к себе жить эту женщину курицу, лишь кудахтавшую да хлопавшую непригодными к полету крыльями при виде ею же выпущенных на волю языков пламени, но разве Валька в силах отказать в приюте какому-нибудь животному или птице: ведь, вопреки пословице, курица всё-таки птица, а женщина даже нечто большее, чем человек.

Чем еще приятно звонить Вальке — в ее радостном возгласе «Кого я слышу!» не нужно искать никаких подтекстов типа «Вспомнил наконец» или «Ну? Зачем я тебе понадобилась?» — ничего невероятного, если один человек жил-жил, да и вспомнил другого. А что до этого не вспоминал — так у всех же такая напряженная жизнь! Тем более у меня, главного теоретика лакотряпочной отрасли — о каких ответственных вопросах мне приходится денно и ночью размышлять, а я вот столько лет о ней все-таки помню!

— Как поживаешь, дитя мое?

В ответ внезапная, чисто Валькина вспышка:

— Шла утром на работу, и какой-то азер за задницу схватил!

Она и в тысячный раз умеет негодовать с тем же изумлением, что и в первый: да как же так можно?!

— Завидую. Что значит настоящий мужчина: пришел, увидел и схватил. А я всю жизнь только мечтал.

Молчание. И мрачноватая усмешка:

— Плохо значит мечтал.

— Ну а вдруг бы ты мне дала пощечину? «Как, вы за кого ее принимаете?..»

— Я об этого джигита, кстати, зонтик сломала — так все плохо стали делать!..

— Эт правильно, пусть знает, что он не у себя в ауле, а в культурной столице.

— Там рядом работяги асфальт укладывали, я думаю: при них он не посмеет меня тронуть. Он и припустил, как дядя Арон от тети Клепы — помнишь, я тебе рассказывала?

— Как можно забыть дядю Арона!

И тут у меня вырвалось само собой:

— А ты помнишь ту ночь?

— Еще бы не помнить.

Она не промедлила ни мгновения, хотя годков с той волшебной ночи натикало минимум на серебряную свадьбу и мы до этой минуты ни полусловом, ни полувзглядом не давали друг другу понять, что эта ночь была и что мы оба ее помним.

А до ночи был еще и невероятный сверхсолнечный день, забросивший нас даже и не в юность, а в детство, на горячий крупчатый асфальт под изнежившимися, чувствующими каждую песчинку босыми ступнями, вынесшими нас сначала к исполинским бетонным чанам, про которые Валька сообщила мне с некоторой даже умильностью: «Тут всякие какахи отстаиваются», а после унесшими и вовсе в неведомые края: не могли же прятаться в скучном ленинградском пригороде эти дышащие горячей хвоей и горячим песком золотые дюны, на откосы которых можно было бесстрашно сигать с пятиметровой высоты, чтобы, погрузившись по колено, на гребне маленькой лавины сползти до поседелого малахита мхов.

Валька всегда жила в каких-то переходных зонах: то мы блуждаем по диким пескам среди обнаженных корневищ — а вот уже сидим в двухкомнатной хрущевке за изысканным ужином: Валька обожала в кулинарии нехоженые пути, на своих днях рождения постоянно чем-нибудь да удивляла. На этот раз она угощала меня шитыми белыми нитками зразами — истекающие маслом молотые яйца, завернутые в говяжью отбивную, вкуснятина была неправдоподобная. Хотя под нагулянный в дюнах аппетит, под армянский коньяк и возвращенное детство и печеная картошка вкушалась бы райским лакомством. И смешили бы шутки даже еще более непритязательные, чем пошивка зраз из мяса заказчика.

Ведь только меж любящими возможен увлекательный разговор о пустяках, ибо в том, кого любишь, интересно все. Кажется, мы еще верили, что наслаждаемся дружеской болтовней, но теперь-то я знаю, что дружба между мужчиной и женщиной всегда есть только маска влюбленности. И когда мы бродили среди рубиновых, изумрудных и аметистовых разливов белых ночей в бескрайних плоских болотах,

которые тоже ухитрились где-то здесь же по соседству разместиться, я изнемогал от желания заключить ее в объятия. Мы как бы дружески брели в обнимку (она уже утратила свое неправдоподобное изящество, и плечико ее было довольно-таки упитанное), но я собирал все силы, чтобы не прижать ее к груди и не впиться в кукольные, но ужасно живые губы, а там хоть бы и свету провалиться...

Но как же, подруга жены, жена друга, пускай и бывшая, пускай и бывшего — вся эта моралистическая муть стояла меж нами бетонной стеной, и дивный аккорд немислимой красоты небес, лесов и вод, сливаясь с обуревавшей меня страстью, не оставлял мне свободного уголка души даже задуматься, с чего это Валька все время повторяет: сейчас выйдем к сараю, сейчас выйдем к сараю — мало ли сараев в лесу, и только когда из тьмы лесов, из топей блат внезапно воссиял огромный сюрреалистический аквариум, в котором скромно серел обыкновенный деревянный сарай, — только тогда до меня дошло, что в этом сарае, по преданию, скрывался от ищеек Временного правительства Владимир Ильич Ленин. После еще двух трех часов или двух трёх суток лесных белонощных блужданий на меня гораздо более сильное впечатление произвело другое Валькино заявление: «А вот в этом доме прошло мое детство!»

Завернутое в струи молочного утреннего тумана в абсолютном безмолвии нам предстало идиллическое дворянское гнездышко деревянного модерна с резными башенками и террасками, с мощенной булыжником как бы кипарисовой аллеей, с белым горбатым мостиком через прозрачный ручей. И только когда мы подошли совсем близко, мне открылось, что полусгнивший дом лишь слегка подлатан и подмалеван для неведомой киносъемки, что в ручье ржавеют пружины истлевшего матраца, а мостик и вовсе слеплен из какого-то папье-маше.

И всё-таки Валькино детство прошло в таком вот аристократическом уголке!

* * *

— До сих пор жалею, что тогда не дал себе воли, — впервые за протекшую вечность откровенно признался я.

— Но тогда бы не было так хорошо, — мгновенно откликнулась Валька.

— А может, было бы еще лучше... Жизнь не очень щедра на такие дни и ночи.

— Но кем бы мы были перед Катькой? — в Валькином голосе звучала горечь, переходящая в скорбь.

— Эт верно. Да мы бы и не остановились, пока не кончилось бы каким-то взрывом. Но что упились бы, то упились.

Валька возражать не стала.

Жалко, что мы не животные, хотел пошутить я, зная, что сравнение с животными для Вальки несколько не обидно, но тут же сообразил, что

она не пожелает принять и нашего морального превосходства над ними: у животных есть и верность, и ревность, и все что хотите — Вальке ли этого не знать!

* * *

Валька, сколько себя помнила, всегда обреталась в каких-то переходных зонах: меж миром здоровых и миром больных, меж миром людей и миром животных, — я бы даже возгласил что-нибудь пороскошнее типа «меж цивилизацией и варварством», если бы цивилизованностью так страстно не стремилась именовать себя городская пошлость. Санаторная же обслуга именovala обитателей соседнего дачного поселка евреями, а обитателей соседнего просто поселка — «поселковыми». Резную дачу, отнятую революцией у скудеющей ветви семейства Фаберже, заботливая советская власть отдала детям, не настолько инфицированным, чтобы отправить их следом за родителями в туберкулезную больницу, но и не настолько свободным от палочек Коха, чтобы оставить их на воле. Хотя и считалось, что заразиться от «санаторских» нельзя, Валькина мама воспитательница старалась тем не менее держать добрую девочку с васильковыми глазами от них подальше — и, стало быть, поближе к миру котов, собак, мышей, пауков, лягушек, коров, овец, свиней и поселковых мальчишек, управлявшихся с пауками и лягушками с такой, мягко говоря, бесцеремонностью, какую в мире свиней и котов даже вообразить было невозможно.

Разве какая-нибудь свинья стала бы отрывать лапки у паука-коси ножки, разве какой-нибудь кот додумался бы надуть соломинкой лягушек?.. Обычно стеснительная, Валька теряла голову и бросалась отнимать у мучителей их жертвы, но мучители только хохотали, огородившись острыми, пятнистыми от болячек локтями. Валька пыталась хотя бы убежать, но от них было и не скрыться, однажды маленькие паскудники повалили ее на горячую колкую хвою и запихали холодного раздутого лягушонка прямо в выношенные санаторскими трикотажные трусики...

Только Вальке было совсем не противно, потому что лягушонку было больно.

Наверно, можно было их как-то избегать, этих истязателей, но Валька так никогда этому и не выучилась, искусству избегать, — она чувствовала себя обязанной принимать каждого, кого сочтет нужным ниспослать судьба. Даже если это, скажем, танк. Залегши с поселковыми в царапучих кустах, Валька не смела хотя бы зажать ушки, когда танки один за другим как будто лопались невыносимым звоном, плюясь дымом и огнем, и только повторяла безнадежно за хозяевами жизни: во законно... во милово... А потом железные громады начинали как ненормальные с ревом носиться друг за дружкой, тяжело плюхаясь с бугра по брюхо в огромную лужицу (насколько же милее

это делали лягушки!). Или еще крутиться на одном месте, словно пес Кобель, пытающийся ухватить себя за хвост (но от пса не остается же така изодранная в мясо земля!).

Пес Кобель жил в будке при огороде, на котором, согнувшись в три погібели, в свободные часы выщипывала траву повариха тетя Клёпа, или, как ее звали санаторские, Клеопатра Матвеевна. В белом халате тетя Клёпа бывала неприступной, зато в байковом становилась доброй почти как мама. Только траву в огороде за что-то ненавидела. Трава была совершенно хорошая, ничуть не хуже той, что росла под елями и березами, да, собственно, не хуже и самих елей и берез, но раз уж тете Клёпе она чем-то не угодила, Валька всегда приходила ей помогать. Кобель тоже старался им помочь, облаивая каждого, кто хотя бы мелькал за растопырившимися лапами елей, и даже метался на цепи вокруг своей деревянной будки, но Валька прекрасно понимала, что это он только для виду, чтобы тоже как-то поучаствовать в общем деле.

Зато дядя Орон даже не орал, а только приходил из дачного поселка посидеть на скамеечке, когда Валька с тетей Клёпой принимались уничтожать ни в чем не повинную траву — лысый и раздутый, словно несчастный лягушонок, хотя, когда он удалялся, тетя Клёпа почему-то называла его котяррой: сидит и пялится, котярра лысый — Вальке было обидно не столько за дядю Орона, сколько за кота Василия, с которым не только сама Валька, но и тетя Клёпа водила приятное знакомство и называла котяррой явно в похвалу, когда он нежился на солнышке у кухонного порога в ожидании очередного угощения: «Ишь, разлегся, котярра!». Зачем же обзывать таким хорошим словом — котярра?.. Но это было еще что — Валька прямо-таки обмерла от испуга, когда с огорода вдруг понеслись тетиклёпины крики: «Ах ты, кобель! Обрубок лысый!» Хотя тетя Клёпа на этот раз была в байковом. И дядя Орон укатился под еловые лапы так стремительно, что Валька даже не успела его пожалеть, а только посочувствовала Кобелю, чье имя ни с того ни с сего вдруг тоже было использовано в качестве ругательства. Обрубка же она пропустила мимо ушей как явное недоразумение.

У маленькой Вальки было два знакомых Василия — кот Василий и сосед Василий, чей дом заехал от поселковых почти что к самым санаторским: Валька часто навевдывалась попроведать его кабана. Кабан ей не очень нравился за то, что никогда не благодарил за траву, которую она ему таскала, только рычал с подвизгом, но что поделаешь, кто без греха, сказала бы Валька, если бы знала такие сложные выражения, но чувство она испытывала именно это: не судите, да не судимы будете.

Ее вообще приучали не драматизировать мир сверх необходимости. Когда она прибежала к маме пожаловаться на то, на се, на пятое, мама всегда садилась, прижимала ее беленькую головку к мягкой доброй груди и произносила почти мечтательно: «Это еще не горе!..» — словно предвкушая какие-то будущие настоящие горести. Тетя же Клёпа брала

тон презрительный: «Это не беда, это победушка».

Валька поняла, до какой степени они были правы, только когда сосед Василий убил кота Василия. Сосед Василий вывесил тушку курицы за окно (Валька не видела ничего общего между тушкой и живой курицей), а кот Василий выел ей попку. А сосед Василий ударил кота Василия лопатой и убил насмерть. И насколько кот был крупен и важен, разлегшись в ожидании дани, настолько же был мал и жалок его грязно-белый трупик на травянистой дороге.

Тогда-то Валька впервые и узнала, что такое настоящее горе. Она даже не плакала — она оцепенела. Однако воистину безмерное горестное изумление она испытала лишь тогда, когда поняла, что после убийства кота НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ. Она и сама не знала, чего она ждала — ну, что соседа Василия посадят в милицию, что кота Василия будут оплакивать девять дней и девять ночей, а потом будут поклоняться его могилке, словом, неизвестно чего, но из ряда вон, — и, тем не менее, кота сердитая тетя Клёпа закопала в лесу, а назавтра про него никто уже и не вспоминал. Что же до соседа Василия, то через неделю он как ни в чем не бывало прищкандыбал на кухню по каким-то своим делам, и с ним разговаривали так, будто ничего особенного не случилось, и одна лишь Валька, спрятавшись за дышащую жаром плиту, с ужасом следила за ним своими васильковыми глазками. И какой же он был страшный! Подбородок словно разрубленный надвое (может, его тоже били лопатой?..), весь в черных точечках как наперченный, зубы сверкающие, железные, из ноздрей пышат черные завитки...

А осенью сосед Василий убил еще и кабана, и тугой загривок, обросший жесткими белыми волосами, ничем того не защитил, и рычание его с подвизгом никого не напугало...

Только тогда маленькая девочка с васильковыми глазами и постигла до самой непроглядной глубины: противных животных не бывает. Потому что их всех кто-то может убить.

Лишь после этого она полюбила и паука. Именно за то, что его уж совсем никто не любил. И ему из-за этого приходилось сидеть, забившись в самый темный угол под потолком самого темного сарая. Стыдясь своих мохнатых лапок, мохнатого брюшка, покрытого мелкими пятнышками, в которых, если хорошенько приглядеться, можно высмотреть очень красивые картинки. Косиножка какой-то неумело состроенный, из одних исхудалых локтей, а крестовик очень ладненький.

Именно поэтому ее первым мужчиной стал человек-паук — из-за его крепеньких мохнатых ручек, из-за его пятнышек на лбу, из-за его склонности забиваться в самый темный угол. Из которого он время от времени делал вылазки, пытаясь уловить в свою паутину то одну, то другую девочку лаборантку (Валька уже работала в очередной своей промежуточной зоне при институте онкологии), приглашая их в театр,

где, как они потом со смехом рассказывали друг дружке, угощал их мягкой подтаявшей конфетой. И Вальке было за него обидно до слез: как можно потешаться над конфетой, разогретой теплом человеческой души!..

Она то уж держала бы эту конфету за щекой, покуда та окончательно не растаяла от совместного жара их сердец! Вот так человек-паук и стал ее первым мужчиной, а она его первой и последней женщиной.

Это я, конечно, злобствую. На самом деле всякое дыхание может отыскать свою крупицу Вальки. И даже не одну. И даже не одной. Что с того, что паук так по-прежнему и стремится оплести, насосаться и снова забиться в темный угол — все равно у него остаются мохнатые лапки, а пятнышки на его тугой спинке, если хорошенько приглядеться, складываются в очень красивый рисунок...

Через Валькину жизнь прошли, простучали копытцами, процокали коготками все ее бывшие любимцы — и человек-петух, и человек-кабан, и человек-кот, и человек-кобель, и обнаружилось, что трогательное в животных в человеке отвратительно.

Для меня обнаружилось. Для Вальки же обнаружилось совершенно обратное. Нет, она, разумеется, замечала, что человек-петух очень уж любит петушиться, но не могла же она забыть, что, когда ее совсем малюткой мама оставила спеленутой на крыльце, то петух выключнул ей лишь ячмень на глазу, а глаз оставил. Не могла она не видеть и того, что человек-кабан норовит все деликатесы перемешать в одно месиво и зарыться в него своим резиновым пяточком, выставив на обозрение тугой загривок, обросший жесткими белыми волосами, и после никогда не благодарит за угощение. Замечала она и то, что человек-кот больше всего любит валяться на боку в ожидании дани, а потом исчезать по каким-то своим котovým делам. А уж человек-кобель — это просто божеское испытание, от него она натерпелась больше всего. Но ведь он так радостно прыгает и старается лизнуть в губы горячим шершавым языком, когда почешешь его за ухом! А кот так блаженно рокошет, когда начинаешь щекотать ему теплый шелковистый животик! А человек-кабана становится так невыносимо жалко, когда увидишь за прилавком кабанью тушу, расчлененную на размочаленной колоде страшным палаческим топором мясника...

Хотя первый парень, который ей предстал в разделочном анатомическом театре, наоборот был высоченный мраморный красавец — хоть сейчас в Эрмитаж, и ее снова повергло в горестное изумление, что до красоты его их учителю в неприступном белом халате не было ни малейшего дела, он старался им вдолбить только то, что лимфогранулематоз есть злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Березовского — Штернберга, коим тоже нет ни малейшего дела ни до красоты, ни до безобразия. Ни до наготы, созерцание которой впервые в жизни не вызвало у нее ни малейшего

ни интереса, ни смущения: все это была слишком человеческая моралистическая муть перед лицом смерти, равно безжалостной к людям и к животным. И Валька всей своей оцепеневшей кожей ощутила, насколько верный выбор она сделала, направив шаги в медицину, уравнивающую человека и животное как ни одна другая профессия в мире.

Она не впадала в греховное сомнение, даже когда и ей пришлось заниматься вскрытиями — лишь мылась по три раза, обдирая себя какой только найдется самой скребучей мочалкой, лишь полоскала рот обжигающим раствором спирта, чтобы перестать быть противной самой себе. И день на третий, на четвертый ей это в общем удавалось. И даже невыносимую жалость ко всему живому удавалось сбить, словно температуру, до какого-то переносимого градуса.

Труднее всего было отмыться от запаха — он впитывался в подкожный жир, в легкие, в клетки, которые проступали из таких понятных и естественных слов, как руки, ноги, живот, дыхание... Чтобы лечить человеческое тело, нужно было знать, из чего оно состоит и как работает; но, чтобы жить, нужно было этого не знать. Валька не сумела сдать физику в мединститут не только оттого, что в их пригородной школе ее преподавали из рук вон скверно — Катька, обучаясь с Валькой в одном классе, ухитрилась же как-то сдать эту самую физику даже в университет! Хотя я до сих пор иногда забавляюсь, расспрашивая ее, отчего уютг нагревается, а приемник разговаривает, несмотря на то, что их включают в одну и ту же розетку: Катьке удавалось произносить правильные слова, абсолютно не понимая их смысла, от экзаменаторов требовались чудеса проницательности, чтобы понять, что они беседуют с горящим попугаем, над учебником физики впадающим в летаргический сон уже на второй странице.

Притом Катька не только далеко не дура, но в делах, касающихся жизненной мудрости, она будет еще и поумнее меня, разобраться в физике ей мешает лишь глубинная уверенность, что все это ей совершенно ни к чему. А Валька, вообще-то тоже очень сообразительная, все умеющая ловить налету, в подсознательном презрении к физике оставляет далеко позади даже Катьку. Когда-то я из-за этого поглядывал на них несколько свысока и лишь совсем недавно понял, что движет ими вовсе не глупость, но, напротив, мудрость: чего не хотят знать женщины, того действительно и не следует знать.

Думаю, Валька разбиралась в физике еще хуже Катьки прежде всего потому, что в еще большей степени была женщиной. А что ей было действительно нужно, она выловила из воздуха — услышала по радио, что институт онкологии сам готовит для себя лаборанток со знанием машинописи и стенографии. При этом она ничуть не сомневалась, что ни машинопись, ни стенография ей даром не нужны, и все устроилось ровно по ее хотенью — ни о чем таком машино-писно-

стенографическом на курсах не было и помину.

Зато первый настоящий урок запомнился ей на всю жизнь.

Это была встреча с первым скелетом. Девчонки, само собой, напялили на него набекрень панамку, сунули в зубы дымящуюся сигарету, а патологоанатом Березко, жилистый, как березовой свиль, отчитал их за это не просто формы ради, а по-настоящему, зло. Может, остал после операции, но видно было, что это его всерьез коробит. И не ради какой-то моралистической мути, что это-де тоже человек и так далее — если бы он считал мертвых людьми, он бы не мог выполнять свою работу. На выпускном вечере Валька с ним немножко подружилась, и он ей признался, что одетых мертвецов боится, как и все нормальные люди. А раздетые — это просто материал.

Вальке же не внушал ни малейшего страха ни один человек, в ком еще теплилась жизнь. Поэтому клинические палаты, переполненные самыми злокачественными новообразованиями, внушали ей не ужас, но лишь очень глубокую серьезность: если люди оказываются такими желтыми, восковыми, ввалившимися, обессиленными, стонущими, значит ты уже не в школе, здесь дурака валять нельзя. А нужно исполнять все до мелочей, что говорят те, кто поумней тебя. И если даже потребуются мучить животных — нужно это делать не колеблясь. Не мучить, нет — приносить в жертву.

Ей стало ясно до дна: какой бы милой ни была собачка, киска, крыска, человек все равно важнее. И она уже вводила кискам и крыскам зловещие препараты, не ведая ни малейших сомнений. Ее лаборатория испытывала на животных разные смолы, смахивавшие на уже известные «канцерогенные агенты», чтобы потом варить из них, из смол, какие-то пластмассы, и нужно было вызывающую опасения масляную взвесь то вкалывать, то впрыскивать в горлышко всяческим милым зверюшкам. Впрыскивать кому неделю, кому месяц, кому год. Чтобы потом кого умертвить через неделю, кого через месяц, а кого, если получится, пронаблюдать и до старости, у крысок наступающей не успеешь оглянуться. И посмотреть, что у кого выросло. Распять на пробковой или стеариновой плахе, куда легко входят гвоздики, и раскрыть для глаза то, о чем следовало тут же забыть.

Так только и можно было выжить — делать не вдумываясь и тут же забывать. Но сначала делать. У некоторых крысок от впрыскиваний развивался асцит — брюшко вздувалось пузырем, и жидкость оттуда тоже нужно было брать шприцем на пробу. И вдруг одна крыска оказалась беременной. И все девчонки начали жаться, прятаться друг за дружку. Так преподавательница Зора Яковлевна цыкнула на них с таким сверканием цыганских глаз, что ни у кого больше никогда не возникало и помысла кокетничать чувствительностью. «С женихом будете жеманничать!» — и через тридцать лет звенело у Вальки в ушах. Хотя отношения между младшими и старшими, обремененными учеными степенями, были самые товарищеские — отвечали на любой

вопрос, обсуждали любое мнение. Кроме абсолютно не подлежащего обсуждению: надо — значит надо. Надо отсечь крыске голову, чтобы получить сразу целую мензурку крови — беспрекословно берешь сверкающие портновские ножницы, отключаешься, делаешь резкое сжатие (что там у нее за шейка!), переворачиваешь, сжимаешь — как будто это не ты. И живешь дальше, как будто ничего не было. Только под пальцами что-то продолжает пружинить. За год до того Валька просто бы не поверила, что она на такое способна, что такую необоримую силу обретет над нею долг перед мучающимися людьми.

И что за пределами долга она ухитрится остаться ровно той же девочкой из санатория Фаберже, которая так никогда и не сможет взять в толк, как это можно — мучить животных. Дергать за хвост кошек, гонять дрыном свиней, надувать лягушат, отрывать лапки паукам... Взять хоть бы и крысок — они же такие чудные! Особенно те, что с черным капюшончиком и белыми лапками, будто в миниатюрных перчаточках. И если их предстоит убить, это совсем не значит, что их не нужно любить, наоборот. Люди ведь тоже все до одного когда-нибудь будут убиты — так мы их за это только любим в миллион раз сильнее, — почему же с животными должно быть иначе?

Крыс привозили большими партиями из специального крысководческого совхоза — выводили особые породы, чистые линии, — а работяги обращались с ними ужасно, как работоторговцы с неграми, сваливали слипшейся кучей, морозили — половина могла передохнуть в дороге и после. Потому-то ученый люд и решил разводить крысок сам: выбрали на племя красавицу и красавца по кличке Дымка и Дымок, — Дымка черненькая, Дымок беленький, Дымка очень шустрая, а Дымок очень ленивый, — и потомство у них народилось просто чудо, цвета мокрого асфальта (хотя маленькие все хорошенькие, даже паучки). Дымок предпочитал нежиться в клетке, а Дымка бегала по всей лаборатории и даже по коридору, сама прыгала на руки и однажды прыгнула на Манану Теймуразовну Вострикову, приехавшую обсудить с Валькиным начальником свою диссертацию. Бедная Манана Теймуразовна упала в обморок, а когда ее начали приводить в чувство, вдобавок выяснилось, что она носит корсет. После этого Дымке разрешалось гулять по коридору только под конвоем (и кто бы кроме Вальки стал этим заниматься!).

Однажды она вынесла Дымочку на травку, та побегала, что-то покушала (наслаждение было смотреть, как она все перебирает лапками, лапками), а потом вдруг забеспокоилась, вспомнила, что ее детки остались на третьем этаже в виварии. И как же она начала метаться — то к углу отбежит, то обратно к крылечку, усики так и ходят... А потом все же взобралась по ступенькам до второго этажа. Но тут эксперимент пришлось прервать, чтобы испуганную мамочку не задавили своими тележками тетки, развозившие корм.

Но любовь любовью, а работа работой. Валька впрыскивала крыскам в

горлышко ядовитую смесь прямо-таки с нежностью: берешь ее за шкирятник — она сразу же разевает ротик, — и туда ей в горлышко тоненький самодельный зондик из шприца со сточенной изогнутой иглой: не бойся, глупенькая, глотай, глотай, вот и умница...

Однажды, правда, Валька начала приучать к крыскам пугливую новую лаборантку, показывать, что они совсем не страшные. Взяла одну в руки, принялась поглаживать (видишь, видишь, если с ней ласково...) — и начала еще и перебирать ей пальчики, кошка у них дома любила, когда ей пальчики перебирают — а крыска вдруг кусь ее за палец! Да потом еще раз — кусь! (Рассказ велся без малейшей досады, почти с умилением.) Валька даже виду не подала, чтобы не напугать новенькую еще больше, но вечером палец раздулся, поднялась температура, разбухли лимфатические узлы под мышкой — а в лечебном корпусе никто из хирургов нарыв вскрывать не захотел, принялись колоть антибиотики, у нее по всему телу пошли пузыри, начался ужаснейший зуд... Тогда-то она в первый раз и поняла, насколько доктора не хотят связываться даже с самой маленькой операцией: любое осложнение — и ты замазан.

Точнее, она поняла, почему они не хотят, но так никогда и не сумела постичь, как это можно — мочь и не помочь.

Прежде она не понимала и того, как это верующие могут верить, что бог их любит, если он всех подряд убивает, а теперь поняла: она тоже всех любила — и подопытных кур в курятнике, и собак в виварии, ей уже запрещали ходить мимо них — очень уж они сразу начинали выть и лаять, умолять, чтоб она их выпустила поноситься на свободе. Но не могла же она их выгуливать всех разом! Когда она брала хоть парочку на поводок, они ее — тоненькую, легонькую — уволокивали черт знает куда, потом кого-то приходилось звать, чтобы загнать их обратно. Но однажды она догадалась по одной отвести собак во дворик, где прогуливались экспериментальные куры — пусть побегают все вместе. И собаки передушили всех кур до единой!

Но какой же хороший народ работал в лаборатории канцерогенных агентов! Заведующий канц-агентами Семен Борисович Блисс задал ей только один вопрос: «Что будем делать, Валентина Александровна?» — а потом, видно, всех кур списал как жертвы науки, у нее ни копейки не вычли из ее крошечной зарплаты.

И почему люди обязательно должны кого-то душить?!.

То есть не люди, конечно, а собаки: в ту же примерно пору она слушала, слушала сетования своего первого возлюбленного, какая сволочь тот да какой гад этот, и вдруг у нее само собой вырвалось счастливое: «А мне только хорошие люди попадались!» Как будто не было в ее жизни поселковых, засунувших раздутого лягушонка ей в трусики, как будто не было соседа Василия, убившего кота Василия...

Ей довольно долго без труда давался этот секрет человеческого счастья: жить так, как будто не знаешь того, что тебе прекрасно известно.

А что, собственно, было ей известно? Что все кусаются, когда их обидишь? Так не надо обижать. Когда ее укусил за палец шмель, которому она устроила такой уютный домик в спичечном коробке, выложенном куриным пухом, плакала она не от боли — от обиды: она же для него старалась, хотела научить его плавать! Но когда ей объяснили, что, потеряв жало, шмель умирает, она начала плакать уже от жалости: какой глупый, можно же было как-то по-другому дать ей понять, что он боится воды!

И всё-таки если бы ей приказала Зора Яковлевна, Валька бестрепетной рукой рассекла бы пополам его мохнатенькое тельце.

* * *

Мог ли я вообразить, когда впервые встретился с Валькой, что вижу перед собой человека долга!

Когда на третьем курсе у Катьки от любви ко мне открылась классическая чахотка, я каждый день катался в царскосельскую туб больницу номер три на гремучей электричке, высматривая контролеров из морозного тамбура. Я еще не знал золотого правила советской жизни «делай сам» и остался без стипендии, досрочно сдавши сессию на круглые пятерки. Я попросил папу с мамой отправить справки об их баснословных доходах провинциальных интеллигентов на имя нашего старосты и моего друга Мишки Березовского и с легкой душой отправился бродяжничать по Руси. И был не слишком даже огорчен, узнавши, что никаких справок Мишка в глаза не видел. Я подрабатывал на разгрузках в Бадаевской империи, завтракал в общежитии огрызками сухого батона, ужинал пареной капустой, но зато обедал по-царскосельски.

Передвигался я в своем летнем пальтишке исключительно бегом, не желая тратить время на такую глупость, как ходьба, и, разгоряченный, вбежавши в полутемный шахматно-кафельный вестибюль (нам весело, нам радостно и на морозе жарко), усаживался на порепанное дерматиновое сиденье за роскошный обед, сервированный в стеклянной литровой банке большими заботливыми руками моей чахоточной девы. Сложением античная богиня, Катька не могла, да и не старалась осилить усиленную античахоточную пайку и выносила мне в прозрачной банке сразу несколько культурных слоев: желтые кубики сливочного масла, бледная куриная нога, позолоченные ломтики копченой селедки, примятые черными горбушками...

Ни больничная вонь, ни палочно-палатный дух ничуть не омрачали моего аппетита — в палочках Коха я усматривал опасности ровно столько, чтобы придать жизни перчика. Целоваться в продувном зимнем саду нам категорически воспрещалось — он насквозь просвечивался квадратными юпитерами палатных окон, сквозь которые, если прижаться к ним лбом и загородиться ладонями, можно было кое-что разглядеть, — так что нам приходилось скрываться за

мусорными контейнерами, на которых белели сикось-накось намалеванные мочалкой огромные буквы ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ. Катькины губы на морозе были особенно теплые, мягкие и добрые, как у лошади, — так и хотелось угостить их овсом с ладони.

Мысли не было, что туберкулез и впрямь может убить — все приключения обязаны были иметь хороший конец.

Поэтому и каждый встречный воспринимался приятным сюрпризом. Тем более, тоненькая блондиночка в пышном белокуром тюрбане из собственных волос, бабетте, щebetавшая с Катькой в гулком кафельном вестибюле. Она оживленно повествовала о какой-то развеселой свадьбе, где и невеста, разгорячившись, прямо в фате бросилась в общую пляску, о какой-то тоже Катьке, но только Фаберже из совсем уже оскудевшей ветви громкого семейства, которая прямо за кульманом целовалась с Юркой Рыжковым, а ее законный любовник Борька Гурвич так заехал ей по морде, что она вылетела на всеобщее обозрение...

Я отнюдь не был ни ханжой, ни ригористом, случалось мне и напиваться, и плясать до упаду, и целоваться с чужими любовницами, но меня покоробил тон... Одобрения что ли? Нет, она повествовала о мире, где люди жили легко. А люди не должны жить легко.

Я почувствовал обиду, что, сталкиваясь с ними, я каким-то образом остаюсь в дураках. И в знак протеста опустошил литровую банку, не проронив ни единого слова, а затем углубился в журнал «Дифференциальные уравнения». Не только демонстрации ради — мне и впрямь льстило, что я там уже кое-что понимаю. Только когда блондиночка поднялась прощаться, я краем левого глаза невольно разглядел, что у нее совсем нет живота — прямо веточка какая-то.

Это, однако, нисколько не примирило меня с ней. Ну и я, естественно, ей тоже не понравился: склонность важничать была тем едва ли не единственным, чего она не прощала — животные же никогда не важничают.

Но, поскольку важности моей хватало, самое большее, на полчаса, то со временем и на меня пала толика Валькиной любви ко всему живому. И все-таки мы по-настоящему сдружились (а дружба между мужчиной и женщиной, напоминая, только маска влюбленности) лишь тогда, когда я однажды, не удержавшись, ей надерзил, чтобы не сказать — нахамил. Когда она в очередной раз принялась рассказывать об очередной вольности Катьки Фаберже (Катька показала Вальке копеечное колечко и с изящным сарказмом прибавила: «Милый подарил»), меня передернуло: «Спит с ним и про него же рассказывает гадости...». Валька изумленно осеклась и — и с одного взгляда поняла, что я не притворяюсь. И очень меня после этого зауважала. Ибо прежде как-то так получалось, что моралистами в ее жизни оказывались только зануды, а животные так и вообще ни про какую мораль никогда не вспоминают, а чем они хуже нас?

Катька то, конечно, была поморальнее меня раз этак в миллион, но для Вальки она так и осталась вечным председателем совета отряда в наглаженном пионерском галстуке и белоснежной блузке с двумя алыми полосками на рукаве, а потому в счет не шла: дети не могут судить взрослых. Но я-то в ее глазах был взрослый. И не зануда.

Самой, кстати, взрослой Катькиной чертой была ее склонность женить и выдавать замуж всех своих знакомых, по счастливой случайности либо по нечеловеческой дальновидности избежавших этой участи сынов и дочерей человеческих.

Когда Катька зазвала Вальку с Мишкой для знакомства в наш заозерский барак, не помню, в какой фазе пребывал Мишка на своем пути к надмирной невозмутимости от того мрачного напора, с которым он явился в наш только что обретенный рай — университет. Не низок, не высок, скорее крепыш, чем дохляк, он и по родной Десятой линии шагал, словно прорываясь сквозь толпу, напористо склонив голову с грифельно отливающими и чуточку слипающимися волосами. Таким носам с горбинкой я в ту пору завидовал, но интеллигентность Мишкиного носа шла в разрез с его румяными щеками маменькиного сына, сипловатым голосом хулигана, внезапными взрывами хриплого саркастического хохота и презрительной манерой похвалиться всякими постыдными штуками, в которых любой из нас признался бы разве что под пыткой.

Грубо говоря, мы похвалялись тем, как все нас любят, а кто не любит, получает по морде — Мишка же со вкусом повествовал, как его во всех пионерлагерях терпеть не могли и время от времени били морду, — он первым готов был уплачивать дань восхищения этим мастерам кулачного боя. «Я никогда не мог найти со сверстниками общего языка, меня всегда тянуло к старикам», — прямо завидно становилось, сколькими аппетитными неординарностями он был напичкан. А когда он беспепеляционно изрекал: «У женщины должны быть могучие бедра», — становилось просто совестно за свою непритязательность: мне какие есть, такие и хорошо.

«Я не понимаю, что такое иррациональное число!», — он умудрялся произносить это так, что понимающие начинали чувствовать себя тупицами. А за взрывы сиплого хохота на семинарах по истории партии его вообще едва не отчислили.

Он был в нашей группе самый умный после меня и не упускал случая указать на некоторую дутость моей репутации, однако репутация моя почему-то от этого никак не сдувалась, хотя я и до сих пор не понимаю, в чем собственно заключалось мое над ним превосходство. Как-то я «блистал», а он «не блистал». Но он то терпеть не мог никакого блистания, а я наоборот...

Тем не менее, сколько он ни ронял по моему адресу сиплых колкостей и сколько я ни давал себе слово в следующий раз непременно дать ему по морде, мы были обречены на дружбу, ибо жили в мире одних и тех

же фантомов — высокая наука, высокая литература...

Он был тоже снисходительно влюблен в Катюку, хоть и не таковский был Мишка парень, чтобы дать волю столь вульгарным чувствам, и когда после всех надежд и приключений я попал в высокую науку в качестве парии, а он в науку низкую, в оборонку, в качестве брамина, делить нам стало уже нечего, и он приезжал к нам под сень карельских елей буквально на каждые выходные. Даже и не помню, как мы проводили время между дровами, помойками, колонками, ребенками — и выпивали, и болтали о высоком, и шатались летом по мхам, а зимой по лесным дорогам под сказочными и зимой, и летом елями... Даже слушать классику как-то ухитрились. Одна баховская fuga нарастала подобно готическому собору, и я ощущал множественные укольчики его бесчисленных шпилей.

Главное же сияет без усилий: я был счастлив. Оттого что витал в облаках. Да, расшибался, да, получал плевки из наземных и подземных зенитных орудий, но взлетал снова и снова. И это искупало и смывало все. Зато когда я пошел в брамины лакотряпочной отрасли, тогда и в жизни моей пошел сплошной почет, уважение, хорошие бабки и серая скука...

Мишка женился на Вальке в период латиноамериканских усов подковой, знаменующих его решимость стать обеими ногами на землю, обратиться в нормального инженера. И в своем стремлении обменять красоту на пользу (в своем отчаянии, сказал бы я сегодня) он и опередил меня лет на десять, и зашел гораздо дальше: мне и сейчас не приходит в голову напяливать офицерские сапоги, чтобы только сохранить ноги сухими. Ну, уберег носки от влаги — так не уберег печень от рака...

Мишка и уверился, что перемена обуви ни от чего не спасает, и решил поменять страну, сбросив балласт расслабляющих сантиментов. Он отпустил еврейскую бороду, облачился в серебрящуюся морозной пылью боярскую шубу искусственного меха, полученную от американских борцов за права российских евреев, обзавелся величавой походкой и отвез два добросовестно уложенных чемодана с Валькиными вещичками в ее отчий дом, покуда Валька по им же предусмотрительно профинансированной путевке катила в автобусе и шагала пешком теснинами Дарьяла.

На какой-то горной турбазе экскурсанты вышли перед сном полюбоваться луной, и местный абрек, заглянувший на огонек в поисках культурного общества, одному из них мимоходом расквасил нос и уселся здесь же на скамеечке ожидать, решится ли кто-то что-то предпринять против владыки гор. Возмущенные ленинградцы потребовали директора, и кадыкастый небритый горец тоже был до крайности возмущен: «Кто это сдэал?!. Ми найдем! Ми нэ потэрпи!» «Да вот же он сидит!» — кричала Валька, но оглохший от негодования директор только повторял: «Ми найдем! Ми нэ потэрпи!» — пока

абреку не надоело его слушать, и он неспешно растворился среди голубых призрачных кустов.

Годилась ли Мишке такая спутница жизни? Новый путь требовал от него всемерно экономить силы, а Валька и экономия были две вещи несовместные. Вступив в брак тоненькой девочкой веточкой, благодаря счастливой семейной жизни Валька обрела аппетитную упитанность, хотя в жене друга я отмечал это чисто платонически, даже когда во время совместной ночевки увидел с полу ее на редкость красивое обтекаемое бедро из-под одеяла, которое она слишком бурно взбивала согнутыми ногами, чтобы его расправить. Но Мишка однажды даже при мне начал ворчать, что Валька растолстела — пришлось внушать ему, что она же не девчонка, что зрелость женщины невозможна без некоторой пышности, и Валька тут же подхватила: «Он считает, у меня некрасивые ноги, а попросишь показать, какие красивые, он всегда какие-нибудь палочки показывает!». Всеми живому, по Мишкиным представлениям, следовало обнаруживать себя по минимуму — помню, как брезгливо он жаловался, что, подавившись зубной пастой, Валька издавала в ванной такие отхаркивающиеся звуки...

«Так что мне было — ее глотать?» — не могла взять в толк Валька.

Как-то я, еще в университете, вздумал поесть при нем хурмы, так он сразу же с презрением — всхль... — передразнил те звуки, которых я вовсе даже еще и не издавал.

«Клетки Березовского!» — отозвалось у Вальки в голове, когда отец указал на клетчатые чемоданы в прихожей.

Указал с тем подтекстом, что вот, мол, видишь, ты и с ним не ужилась, а говоришь, что у меня характер склочный.

Это она только через месяцы вспомнила, а тогда лишь онемела. Сначала от ужаса, а затем от горя. А потом принялась себя грызть: ну что она сделала не так?.. Уж и старалась быть и поласковой, и понезаметнее, а он все мрачнел и мрачнел. И как тут было не вспомнить, что даже самую злую собаку можно приучить к себе лаской, угощениями...

Она уже училась на вечернем в Сангиге, спала по пять часов (их школили как в школе, пропустишь урок — заставят «отработать» пропущенное), но всегда поднималась приготовить ему завтрак, хотя после вечерних занятий вставать ужас как не хотелось, а работа вполне позволяла и поспать: теперь она занималась анализом мочи в местной поликлинике рядом с Мишкиным домом на Будапештской. Мое недавнее объяснение, почему Мишку раздражала ее заботливость, явилось для нее откровением: получалось, чем больше она для него старалась, тем сильнее затрудняла ему намерение от нее избавиться. А казалось, чего проще и надежнее: как ты к человеку, так и он к тебе. Ан нет. С людьми никогда не узнаешь, что лучше, а что хуже. Думаешь как лучше, а выходит как хуже.

Она лишь через много лет начала видеть Мишку во сне, и всегда такого

жестокого, надменного, как будто в нем наконец проступило то, чего она изо всех сил когда-то старалась не замечать. Она же видела в нем друга, потому и была так счастлива.

Я, признаться, тоже обольщался, что у них все хорошо. На что я не люблю эти дикие купчинские края с неотличимыми бетонными коробами, так и то мы с Катькой, случилось, к ним заезжали, когда удавалось выкроить свободный вечер. Выпивали, болтали очень весело, иной раз мы с Валькой так увлекались, что Катька даже начинала ревновать, вдруг объявляла: «Ну, мне пора. А ты оставайся, оставайся...»

А вот я к Мишке не ревновал, я понимал, что Валька принадлежать мне не может, и был, можно сказать, рад, что она попала в хорошие руки. Подвыпив, я допытывался у Вальки, не начала ли она относиться к людям хуже, постоянно имея дело с их мочой — ведь это же противно... Да что же тут противного, почти с умилением начинала перечислять она, это же не... и каждый раз затруднялась припомнить что-нибудь по-настоящему мерзкое. Мерзкого как будто и вовсе не было в мире живых.

Нет, вспомнил: она с отвращением рассказывала, как где-то в Прибалтике старухи делают зарядку на нудистском пляже — «еще и наклоняются...». Я тогда даже расхохотался. И только сейчас до меня дошло, что ее возмущало обнажение изнанки, не освященное болью.

Зато с мочой всегда была возможность за человека порадоваться, если все у него в порядке — лимонно-желтый цвет, сахар, белок, — казалось, она обсуждает рецепт безе. Да и вообще, это рабочий материал, даже запахи о чем-то говорят — мне запомнился запах ацетона, запах вареной капусты, мышинный запах, известный лишь котам, да еще неизвестный подавляющему большинству населения запах плавательного бассейна. К тому же я узнал, что свеж выпущенная моча пахнет куриным бульоном. И пенистость тоже о чем-то говорила, забыл только, о чем. Что-то Валька и на центрифуге осаживала, тоже не помню что, поскольку мы сразу же начали каламбуричь «фуга — центрифуга».

Некоторые лаборантки, чтобы не возиться, иной раз записывали что-нибудь от балды, а она просто не понимала — искренне не понимала! — как так можно поступать. Если что-то вызывало сомнение, беспокойство, Валька непременно обращала внимание доктора, и ее всегда за это хвалили, и так ей это казалось естественно, что чем больше стараешься, тем лучше к тебе относятся.

Но для Мишки вот оказалось естественно от нее отделаться. Предварительно, угрозами, что больше не будет с ней спать, отделившись от проклюнувшегося ребенка. Он же заставит себя любить, с саркастическим отторжением хмыкал Мишка. (Боже, а какой нежной мамашей была бы Валька!)

Однако, подавши заявление на раздельное проживание еще и с

родиной, он пригласил на отвальную к нам в Заозерье и Вальку. Дочка уже спала в нашей единственной комнате, и мы, не зная, куда пристроить колени, сидели вокруг горячей кухонной плиты, забывая опрокидывать из граненых стопок горячую водку. Мишка все-таки напился и плакал самыми настоящими слезами, что невыносимо любит русскую литературу, Катька тоже заливалась в три ручья, не говоря уже о Вальке — меня спасала лишь трагическая красота этой вечной разлуки. Потому и провожать Вальку на последнюю электричку отправился тоже я. Истекающий потом, мертвецки бледный с известковыми коленями Мишка тоже рвался ехать с ней (в вытрезвитель), но я удержал его предложением, от которого он не мог отказаться: есть интересная задача, хочу с тобой завтра обсудить. Ради интересной задачи можно было отменить финал любой трагедии — мы с Валькой отправились вдвоем.

Взвинченный горячей водкой и великолепием трагического расставания среди снежного бора в отсветах станционных фонарей я не хотел и слышать Валькиных слезных жалоб, что ей теперь страшно смотреть в будущее, что даже когда умерла мама, ей было не так больно, и я в ужасе зажал ее теплый ротик ладонью, хотя Валька со свойственным ей чистосердечием всего лишь выразила кощунственную, но чистую правду: потеря матери не задевает главного — нашей красоты, а потому и не ранит так глубоко. Ей кажется, высвободившись продолжала Валька, что теперь она навсегда больше не будет никому нужна, и даже папаша при каждой ссоре ей на это указывает, и я выходил из себя (снежная платформа была пуста): «Что за чушь!!! Ты же просто воплощение жизни!!! Любой мужчина, который любит жизнь, будет тебя боготворить!!!»

Заиндевшиеся двери отсеки от меня мою зареванную богиню в эскимосском капюшонке и с нарастающим грохотом умчали прочь, и у меня захватило дух от горькой красоты этого мига.

Контуры металлических опор на станции, пышно обведенные нетронутым воздушным снегом, выглядели призраками. На пути домой меня с деланным негодованием облаяла большая собака, положив лапы на забор, как на трибуну. Она лаяла самодовольным баритоном фата, со вкусом выговаривая каждое «гау». Моя походка сделалась особенно нетвердой, оттого что на слабо светившемся снегу не было теней, выделявших выпуклости и впуклости.

Приближаясь к своему бараку (внезапная мучительная нежность к поджидающей меня паре горящих окон), я увидел, как Мишка в одних трусах и майке вырвался на крыльцо и мощно блеванул в голубой сказочный снег, — это было последнее проявление его открытости. В дальнейшем он всегда рассказывал о себе как о довольно симпатичном, но не очень близком ему субъекте. И однажды по телефону скучновато попенял Вальке, что она все принимает слишком уж всерьез: его, например, впереди ничего хорошего больше не ждет, но не делает же

он из этого трагедию.

Валька не была бы женщиной, если бы умела что-то не принимать всерьез, особенно собственную жизнь — в мире, само собой, остались горы причин и для гневных всплесков, и для слез, но после нашего страстного расставания на пустом снежном перроне мир перестал ей казаться чем-то бессмысленным и оскорбительным, он снова начал стоить тех обид, которые наносил. Поэтому она не раз вспоминала, что в ту ночь я ее просто спас. Я не скромничаю — возможно, и спас. Своевременной инъекцией красоты. На время подарившей ей крылья. Увы, лишь на время...

Мне ли судить слабую женщину, если я сам пошел в лако-тряпочники? Почему же меня так оскорбило, когда миниатюрный Валькин ротик, для которого нужно было и клубничку резать пополам, вдруг растянулся в кривую усмешку: «Любовь?..» — и выдохнул с ненавистью: «Да дурь все это!» Я перешел на сторону победителя, и она перешла на сторону победителя — что же я мог к ней иметь?

А я имел. Для внутреннего пользования имел ту претензию, чтобы Валька как-то берегла те нежные и высокие минуты, которые нас связывали, хотя переговаривались мы лишь редкими взглядами при редких встречах и осторожными интонациями при нечастых телефонных разговорах. А для внешнего я делал вид, будто мне обидно за Мишку: на кого-де она променяла память о нем!

Но как, простите, можно сохранить в чистоте хотя бы и память о совместном достоянии, о котором один из совладельцев вытер ноги? И сам из романтического антипозёра превратился в жреца пусть нелепой, маскарадной, но все-таки практичности? Укрывшись в равнинской бороде, торговать мороженым на Сенной — «меньше двухсот пятидесяти в месяц у меня не выходит». Я получал половину. «Правда, каждую неделю ставят раком». Он имел в виду анальные анализы. Потом он устроился в какой-то убогий проектный институтишко вертикально-горизонтального транспорта, куда брали даже отказников (Мишка поторопился обмыть свой разрыв с отечеством — оно в ту пору не так-то легко расставалось даже с пасынками) и заделался там программистом, ниже которых, по нашим прежним понятиям, шли уже шофера. «Для программистов существует устойчивый рынок труда. Как для шоферов», — объяснял Мишка, с аппетитом обнаживая костюм прагматика, ставшего раком по доброй воле.

Шествуя на службу вылитым боярином из так еще недавно обожаемого нами обоими «Бориса Годунова» (только хора не хватало: «Что ж, пойдем на голоса, бояре?»), случайно повстречавшуюся ему на улице Вальку спросил со снисходительной усмешкой: «Ну что, ты меня ненавидишь?» С тем подтекстом, что и любить, и ненавидеть — это смешно. «Нет, мне просто обидно», — ответила Валька. «Знаешь, как я теперь живу? Все по расписанию. Встаю в семь пятнадцать. Сначала иду

в туалет по мелочи. Потом чищу зубы, умываюсь, потом пью кофе. Потом иду в туалет по-крупному». — «А почему не наоборот? Сначала по-крупному, а потом кофе?» — «Если бы я так мог, я был бы счастливым человеком». Валька подумала и с удивлением призналась: «Кажется, я тебя действительно ненавижу».

Похоже, мы с Катькой и впрямь были единственные люди во всем мире, которых он любил, однажды по пьянке с ухмылкой даже признавшись нам в этом. Однако в один особенно трезвый день он без предупреждения ампутировал и нас: экономия сил требовала освобождаться от всего заоблачного — да дурь все это. Вальку же он и после развода навещал, он был к ней привязан, только не хотел за это платить. Но однажды он явился к ней весь в засосах, словно леопард, и тут уж она его выставила, как она умела, если ее завести.

Господи, как же я мог забыть! Мишка мимоходом с кривой усмешкой однажды обронил, что на самых дурацких фильмах начинает плакать в чувствительных местах, он даже ходил, как он выразился, к психиатру, и психиатр сказал ему: да, вы больны, но это не клинический случай. Однако Мишке, видно, надоело плакать, он и решил прожить без слез, без жизни, без любви.

* * *

Зато Валька в своем жизненном предназначении — в избавлении животных от страданий и не думала освобождаться от дури, именуемой стремлением к совершенству, на этом поприще никакие обиды не сумели ощипать ее роскошные крылья. Но в обустройстве собственной жизни она уже готова была навеки поселиться в мире животных. По крайней мере, мне так казалось каждый раз, когда я возвращался с ее дня рождения, оскорбленный в самых лучших своих чувствах. Оскорбленный уже не столько за себя и даже не за Вальку, а... за Вечную Женственность, что ли?

Валька и не думала меня сравнивать с каким-то «другом», каждый раз новым — ясно, что они не шли со мною ни в какое сравнение, но сколько же можно витать в облаках! И я тогда еще не смел возразить: вечно. Ибо отказ от полета, отказ от красоты и есть смерть человека. Его обращение в животное.

Но как же могла этого утешиться Валька, не видевшая в мире животных и тысячной доли тех зверств, которыми терзали друг другу люди! Валька, видевшая в животных одно только трогательное!

Тогда я ничего этого еще не понимал, однако прекрасно знал, что буду возвращаться с ее дня рождения униженным и оскорбленным. И все-таки ехал к Вальке как на праздник. Праздничной становилась даже электричка, переполненная вечерним людом, казавшимся особенно озабоченным, оттого что зимний вечер у нас на севере неотличим от ночи, и я старался скрывать свою радость, чтобы не будить подозрений у Катки, прекрасно знающей, до чего я не люблю таскаться по гостям, особенно таким, где приходится вести любезные беседы с

незнакомыми. В ушах у меня неотступно звучал нежный женский голосок, словно я где-то внутри превратился в женщину, и губы сами собой шевелились, беззвучно проговаривая слова: для меня нет дороже цветов, васильков, васильков, васильков... Чтобы скрыть это шевеление, я припадал, зашорившись ладонями, к темному стеклу, упиваясь едва различимым свечением снежных пространств, то диких, то индустриальных, служивших грандиозным преддверием к Валькиному гнездышку, но даже и пейзажными своими впечатлениями я мудро избегал делиться с Катькой, любой мой душевный подъем объяснявшей предвкушением встречи с ее лучшей подругой.

В чем она была совершенно права. Не права она была только в своем подозрении, будто моя радость от общения с Валькой отнимает у нее что-то. Тогда как она только прибавляла. Ибо каждое новое проявление женственности лишь увеличивало мое восхищение этой бессмертной стихией, и я вновь замечал ее могущественное присутствие в Катке, чьи достоинства без обнаружения их подобий в других женщинах начинали казаться сугубо личными, а, стало быть, маленькими и преходящими: лишь узревши солнце в новом зеркальце, можно опознать его в старом.

Не стану настаивать, что восхищение женственностью не вызывает никакого влечения — какого-то минимального употребления требует и она. Не съесть, не выпить, но поцеловать. Хотя и это, может быть, не так уж необходимо. Прыскающим от гормонов девятнадцатилетним юнцом, встречая в общежитском буфете худенькую горбунью с огромными страдальческими очами, я глаз не мог от нее оторвать, и мне казалось, что с меня довольно было бы лишь любоваться ею — равно как и всеми прочими, в ком проступала роковая власть женственности над моей душой. Но ведь в молодости животная половина немедленно поднимается на дыбы и требует своей доли на чужом пиршестве, и простодушная Валька, кажется, и поныне считает этого незваного гостя хозяином: ведь если животными правит инстинкт, значит и наши попытки изобразить нечто большее есть чистое притворство. Вот это меня и оскорбляло сильнее всего — ее готовность расточать свой драгоценный дар перед животными. Даже не апельсин, пожираемый кабанами, хуже — василек, на который задирают лапу кобели, вот что предстало моему умственному взору, когда я раз в год на Валькиных днях рождения виделся с нею в присутствии очередного ее «друга». (Тьфу! Если бы действительно друга!..)

Я старался даже не поднимать взгляд от тарелки, чтобы не видеть, как они пожирают Валькины труды и выдумки, но глаза сами засматривали, сколько неизвестно где и как добытой красной рыбы и сервелата насаживает мельхиоровая острога удачливого охотника, и Катка мне каждый раз пеняла, что я заглядываюсь на чужие тарелки,

а из-за этого никак не могу запомнить Валькиных поликлинично-клиничных подруг. Это были милейшие сначала девушки, а потом дамы, но мне им тоже было трудно смотреть в глаза, ибо и они были бессознательными и безразличными свидетелями надругательства над тем, чего, кроме меня, никто не видел.

Поскольку там и видеть особенно было нечего, ибо все Валькины друзья (тьфу!) были, что называется, нормальные мужики (я их и помню-то плохо, мне больше запомнились их вилкиостроги). Меня оскорбляло не столько то, что они нормальные, сколько то, что они и в Вальке видели нормальную бабу, даже не догадываясь, какой цветок, какая драгоценность им досталась! Только как они могли распознать драгоценность, ютящуюся в типовой хрущевке, среди потихоньку лупящейся древесностружечной полировки, а главное — под готовностью хозяйки (да еще и не совсем хозяйки, наполовину с брызгливым папашей!) становиться не просто на равную — на умильную ногу со всяким существом, способным жевать и сморкаться. Правда, что могли распознать глаза! Сначала хрупкая миловидная блондиночка, потом интересная молодая женщина, затем тугая тега, уже начинающая ходить в перевалку, потом тронутая аристократическим увяданием статная дама — и только васильковые глаза всегда сияли тем, чего нельзя увидеть глазами.

Кое-что, правда, можно было расслышать ушами, которыми, похоже, и впрямь любят женщины. По телефону, когда у глаз не было возможности заглядываться на всякую отвлекающую белиберду, исключая разве что телефонный аппарат, в Валькином голосе мне слышалось больше, чем произносилось. И первое, что я слышал, — уж кто-кто, а Валька никак не живет легко, она почти ни на минуту не скидывает с плеч тяжкую ношу чужой боли и чужого страха, ее почти ни на миг не оставляет тревога, а что же там сейчас происходит с ее подопечными: мелодия умильной нежности, с которой Валька говорила, кажется, решительно обо всех одушевленных и даже неодушевленных предметах, разом сменялась надтреснутой горечью.

Плюгавенький мужичонка, паркетчик с мерцательной аритмией — как она с ним билась! Сама ставила клизмы, вот кому она за них по гроб жизни благодарна — Ярцеву Андрею Константиновичу. Ему привезли на консультацию больную с нарушениями ритма, и он первое что спросил: «Стул давно был?» — «Шесть дней назад». Ух как он сверкнул глазами! Она на всю жизнь запомнила: нарушения ритма могут быть от задержки стула.

И кто ей еще дал урок — доктор Мозельвейн, заведующий проктологическим отделением. Он был ветеран войны с каким-то крупным орденом типа Славы. Заработал он эту Славу, по его словам, так: он в войну служил юнгой на подлодке, и однажды их капитан впал в кому; а Мозельвейн уже знал, что если моча сладкая, значит гипергликемический шок. Он попробовал — сладкая, ввел инсулин и

вывел из комы. За это его выведенный и представил к ордену.

— Как же он добыл мочу, если тот был без сознания?

— Ну, может быть, катетером воспользовался, какой ты приставучий! Моча — это не проблема, я тебе про другое рассказываю.

Мозельвейн и дал Вальке последний урок. Она направила к нему больного для осмотра, а через пять минут Мозельвейн ей позвонил взбешенный:

— Валентина Александровна? — как будто это была позорнейшая кличка. — Вас что, не учили, как нужно направлять на проктологическое обследование? Берете жопу... Я ясно выражаюсь? Берете жопу и вводите в нее клизму.

Мозельвейн изъяснялся терминами, не допуская ни малейшей двусмысленности. С тех пор она могла забыть что угодно, только не клизму.

Кое-кому, правда, и клизмы были не по здоровью — приходилось стимулировать им прямую кишку простым указательным пальцем, затянутым в резиновую перчатку. «И... И как тебе это?..» — осторожно спрашивал я, и она слегка передергивалась: «Ну что приятного?..» Но гримаска явно относилась не к процедуре, а к глупости моего вопроса. (Гримаску я тоже слышал ушами.)

Короче, в паркетчика этого она вложила все, что знала, и все, что разузнала, и вдруг он однажды является весь сияющий: уже сутки нормальный ритм. «Это все вы, Валентина Александровна, я, когда выпишусь, такой паркет вам дома сложу — у Брежнева такого нет!» А ее прямо кольнуло: очень хорошо, но вы пока поберегитесь, поменьше двигайтесь, надо понаблюдаться...

Он и понаблюдался — к обеду умер.

Во время аритмии кровь в желудочке застаивается, и начинают образовываться тромбы. А потом, когда кровь двинется нормально, она может эти тромбы разнести куда угодно — в легкие, в почки... Ему занесло в мозг — эмболия, и готово. Вот так хочешь сделать лучше, а выходит хуже. К ней претензий не было, все делалось правильно. А у нее и через двадцать лет голос делался совершенно мертвым.

— Но что же ты могла сделать?..

— Не знаю! Но не должно такого быть!!!

Она произносит эти слова с такой непримиримой само-обвиняющей силой, что во мне на миг рождается сумасшедшее сомнение: да Валька ли это?.. Всех прощающая и ко всему снисходящая девочка с васильковыми глазами?..

Сосредоточенно поглаживая, чтобы одолеть смущение, наш тогдашний телефонный аппарат, алый, будто пионерский галстук, я как бы мимоходом справляюсь у Вальки о ее друзьях, и каменю, одинаково страшась услышать и что-то хорошее (значит ей и без меня хорошо), и что-то плохое (ибо каждое ее унижение это и мое унижение, поругание моих васильков, васильков, васильков). Но слышу сразу и то,

и другое.

Человек-кабан, пожирая месиво из пирожных и зраз, увлекшись, сжевал ее новую кофточку вместе с боком — он же, бедняжка, такой увлекающийся, а воспитания никакого не получил, где ему было набраться хороших манер...

— Где? У людей. Ленинград же все-таки не скотный двор!

— Да у него так мозг устроен, что он никого рядом с собой не замечает, — мне же предлагалось его еще и пожалеть!

Человек-кот повадился спать на Валькиной новой юбке и превратил ее в гнездо из свалявшейся шерсти — он любит Валькин запах, на подстилке ему неуютно. А с человеком-кобелем она пошла в гости ужасно не вовремя, у хозяйки дома как раз была течка, и он целый вечер за ней пробегал, пытаясь понюхать под хвостом. Ну да что с ним сделаешь, кобель есть кобель...

Лишь через годы и годы до меня дошло, что это не всеядность, но милосердие: женственная любовь ко всему живому для холодного, а тем более ревнивого взгляда может оборачиваться и неразборчивостью.

— Гони их в шею!!! — срывался я. — Что ты путаешься со всякой швалью! — едва-едва удерживал я на кончике языка подонки моего бессильного бешенства.

Которое тут же сникало, чуть только после длинной, уже немножко пугающей паузы до меня доносился бесконечно грустный Валькин голос.

— Гнать — и что?.. Совсем одной остаться? Я прихожу вечером домой, и прямо выть хочется... Так и выть нельзя, папаша в соседней комнате. Беру дополнительные дежурства, чтоб от этих проклятых вечеров избавиться... ну, и деньги тоже, конечно, нужны, зарплата же сам знаешь... Там, конечно, тосковать не дадут, так другим способом всю кровь выпьют. Два часа ночи, три часа, уже веки пальцами держишь, только голову хоть на стол опустишь, звонок — Валентина Александровна, там то, Валентина Александровна, тут се, идешь, разбираешься, а в голове одно: только бы дали минут двадцать, только бы дали минут двадцать... Нет, опять куда-то тянут. А в шесть утра надо пробовать пищу на пищеблоке, а пищеблок за озером... Везут туда на скорой, над озером туман, смотришь на этот туман, и думаешь: хоть бы сейчас сдохнуть!..

Что тут скажешь — боль всегда права. Вальке же не легче оттого, что у меня при одном лишь воспоминании об этом озере глаза заволакивало теплым туманом нежности и счастья: это было Валькино озеро, над которым — и над сверкающей летней рябью, и над осенним свинцом, и над зимними мерцающими льдами — всегда светились васильки, васильки, васильки.

Но не может ведь человек светить самому себе! Хоть бы и васильками. А я даже не решался ей признаться, как неотступно она мне светит... И

все-таки в наших редких перезваниваниях мы потихоньку-полегоньку стали избегать всего пикантного и двусмысленного — таким парадоксальным вроде бы образом выражалась наша близость. Я знал, что в других компашках она может поддерживать любой уровень раскрепощенности (ведь животные никогда не строят из себя целку), но чего избегал я, того же начинала избегать и она, возможно, и сама не замечая этого. Правда, когда что-нибудь — не что-нибудь, всегда одно: пренебрежение чужой болью — выводило Вальку из себя, она могла припечь и довольно крепким словом (хотя и не самым крепким):

— Носилки стоят в холодном коридоре, а они кладут на них больного, и даже одеяло не подложат. Я им говорю: вы представьте, что это вас, вот тебя и тебя, голой задницей на холод положили!!!

Нет, ее выводила из себя еще и наглость — впрочем, наглость тоже пренебрежение чужими нуждами:

— Уже неделю не скалывают лед с крыльца, приходится на заднице съезжать!

Чтоб не строить из себя целку, я, бывало, тоже поддерживал этот тон, однако он нравился мне чем дальше, тем меньше. Другое дело, когда речь заходила о чьих-то мучениях, — тут Валька просто забывала различать приличное и неприличное, гадкое и трогательное. Низких слов, правда, она как раз не употребляла, зато употребляла сколь угодно точные.

— Привезли старика с фимозом. Я отворачиваю штаны, а оттуда тараканы, — Валька ни на миг не задерживается на охах и ахах, что ах, мол, какая гадость, да как-де можно было до такого допустить — она прорывается к сути: — Головка члена раздулась как колба, мошонка вся фиолетовая, и весь букет налицо: тумор, долер, калер — отек, боль, жар. И все-таки в первые годы она забывала о брезгливости лишь до того мгновения, пока человек еще был жив, на мертвых ее всеприятие не распространялось:

— Она меня зовет: Валентина Александровна, Валентина Александровна, я задыхаюсь!.. Я вижу ужас у нее в глазах, и она тут же теряет сознание. И пока мы все тыр-пыр-восемь-дыр, она уже мертвая. И сразу такое отчуждение...

Я различаю это отчуждение даже сквозь алый аппарат, не только слышу голос — вижу даже ее отвергающий, почти враждебный жест. И замираю сам.

И уже сам сижу у постели умершей, с ужасом слыша, как колотится ее сердце. С содроганием пытаюсь прощупать пульс на ледяном запястье, на коченеющей шее — мертвая немота.

А сердце все колотится, чем дальше, тем оглушительнее. Лишь каким-то чудом мне удастся понять, что это колотится мое собственное сердце. И оно тут же затихает. И просит об одном: уберите поскорее это.

А если это случилось где-то за сценой, то и не нужно туда заглядывать.

Женщина из области приехала с пневмонией, а вместо одной груди оказался безобразный звездообразный рубец. Нет, врачу не показывалась, прикладывала лопух, но грудь все равно болела-болела, пока окончательно не выболела. Вторая — нормальная сися (на слове «сися» прорывается типично Валькина нежная умильность, словно речь идет о каком-то несмышленише). Но все остальное сплошь в метастазах.

— И... и что?.. И где она теперь?..

— Назад к себе поехала. Умерла уже, наверно.

Я до сих пор не надивлюсь на столь необычную для Вальки мудрость: так и не научившись не выходить из себя из-за наиестественнейших человеческих низостей, она сумела выучиться не заглядывать за край бездны, где исчезают те, за кого она была готова бороться до последнего мгновения.

— Сейчас все наладились — чуть что: я вам заплачу... Да если врач дерьмо, он и за деньги останется дерьмом!! Будет пудрить мозги умными словами, назначать капельницы от фонаря, посылать в свои аптеки за ненужными лекарствами, чтоб они процент ему отстегивали...

Только тут в ее голосе и начинала звенеть непереносимая гадливость. Впрочем, она и подлости прощала, покуда видела в них проявление слабости, а не напора. Ну, обкрадывает ее спивающийся человек-волк, опустившийся до шакала — так он же сам признается, что ему легче украсть, чем попросить. Валька расставалась со всеми своими, так их и так, друзьями по одной причине: начал выпендриваться. Почему ей и были больше по душе тяжелые больные — они, как и животные, никогда не выпендриваются. Могут накричать, иной раз чуть ли не запустить чем-нибудь, костылем перетянуть — лично ее господь миловал, но рядом и перетягивали, — приходится и милицией угрожать, и все-таки всерьез обижаться на них она никогда не обижалась. Они же как дети — сначала раскричатся, а потом расплачутся. И если ты их полюбишь (а как их, бедненьких, не полюбить!), то и они рано или поздно к тебе привязываются.

Это здоровые вечно норовят над тобой покочевряжиться.

Как-то ночью в приемный покой доставили пьяного с пробитой башкой, начали записывать, кто такой, чем пробили, а он куражится: да кто вы такие, да я вас имел туда-то и туда-то... Их новый медбрат, стажераварец по имени ни больше, ни меньше, как Магомед, слушал, слушал и вдруг схватил его за волосы да как трахнет мордой об стол — хорошо стекло на столе было плексигласовое, не разбилось, только расплылось кровью и соплями. И дальше пошел вполне любезный разговор. Она очень после этого Магомеда зауважала, но он слишком почитал начальство, и она понемножку перестала его уважать. Ведь животные никогда не подхалимничают, а если и лижут руки, так это от чистого сердца.

И грызутся от чистого сердца. Когда Валька уже заведовала отделением, у них в коридоре был всего один телефон-автомат, к нему вечно тянулась унылая очередь. Валька по доброте душевной и разрешила большим звонить из ее кабинета, когда она уйдет домой. Так в первый же день передрались! Разбили аппарат, кому-то выбили зуб... Пришлось отменить. Но Валька на них не сердилась. Когда дерутся от невыносимости — такое Валька не задумываясь прощала, не прощала она только, когда выпендриваются и унижают.

Пожилую интеллигентную докторицу вызвали на дом по поводу гриппа — вернулась в слезах: совершенно здоровый мужик потребовал у нее «белютень», а когда она отказала, повернул ее спиной и выставил на лестницу, поддавши коленкой. Кажется, это был единственный раз, когда Валька рассказывала о человеческом скотстве без детского негодования, с бессильной горечью — уж слишком неестественной, то есть чисто человеческой была эта выходка.

Да, очень уж дикие истории ввергали ее не в гнев, но в тихую безнадежность. Заведующая отделением сделала подчиненной выговор, а та ей так двинула локтем по очкам, что сломала нос. Началось нагноение, воспалилась оболочка мозга, а потом вторичный менингит, и конец, остались двое детей.

— А этой что, убийце?.. — ошеломленно спрашиваю я.

— Она сразу уехала в Кандалакшу, там и отсиделась. Уехала, и хоть бы что.

Валька надолго умолкает, переставая понимать, как же можно жить в этом мире. Зато про тот случай, когда на нее наорала, выставила за дверь, да еще обещала засудить взбеленившаяся мамаша, Валька рассказывала с полным пониманием, даже с сочувствием. У худенькой десятиклассницы уже несколько дней держалась температура под сорок, а Валька заметила, что у нее прощупывается — пальпируется — матка. Беременность. Что-то себе наковыряла. И все оскорбления и угрозы Валька ощущала чуть ли не излияниями признательности, когда вспоминала, что девчонку удалось спасти.

Похоже, не прощала Валька только себя. У не старой женщины все болела и болела голова. Валька заподозрила гайморит. Предложила больницу, тетка отказалась. Валька доложила по начальству, решили завтра разбираться. Но разбираться назавтра оказалось уже не с кем. Собрали ЛКК — лечебно-контрольную комиссию, покачали головами, но придраться было не к чему.

— Никогда себе не прощу... — безнадежно падал Валькин голос.

— Но что ты могла сделать?..

— Не знаю!! — Валькин голос взмывал непримиримой сталью (да Валька ли это?!). — На пороге надо было лечь!!! Не должно быть такого!!!

Вот так. В своем царстве смерть пускай распоряжается как хочет, но в человеческом мире пусть все будет по-нашему.

— Я стараюсь работать, как меня учили: нет мелочей, нет мелочей, нет мелочей!

Ночной дежурный вызывает хирурга, у женщины боли в животе. Он посмотрел — дискинезия желчевыводящих путей. Велел сестричке ввести ношпу и пошел обратно. А через полчаса является обычная больная из той же палаты: скажите, а что будет, если ввести воду из-под крана? «Как из-под крана?..» — «А сестра только что набирала в шприц воду из-под крана».

Оказалось, он сказал сестре: «Введи ношпу на водичке», — имея в виду, разумеется, дистиллированную воду. А сестра оказалась какая-то дуручка, да еще нерусская, язык плохо понимала...

На счастье, не случилось никаких последствий, ни температуры, ничего. Но это был урок, не зря предупреждали — никаких вульгаризмов, все называть самыми точными словами, и притом на бумаге: прочти и распишись.

И я поражаюсь, как же Вальке с этим нескончаемым напряжением — и близость смерти, и близость прокурора — удается оставаться все той же, вечно готовой и к шутке, и к вспышке, и к смеху, и к слезам. И всегда пребывающей на низком старте, если вдруг понадобится ее помощь — сразу рвется в ночь ощупать, что там у тебя кольнуло, если сдуру на что-то пожалуешься. Тот мир, который ни на миг не оставлял ее в покое, представлялся мне, правда, каким-то царством теней: я слышал слова, но не видел людей, сверкающих инструментов, тумбочек, кушеток, не слышал запахов...

Вся эта громада лишь однажды на меня обрушилась, когда я по какому-то делу забежал к Вальке на работу. Но и в тот раз она все сразу же заслонила своей уютной деловитостью — что-то растолковывала глуховатой старушке, облетающей, словно белоснежный одуванчик. Вальке приходилось говорить очень громко, но это не только не убивало ее неправдоподобную в казенном месте нежность, но, напротив, ее удесятряло. Там я окончательно понял, отчего их районная газетенка через номер печатает благодарственные письма пенсионерок о нечеловеческой доброте и внимательности их обожаемой Валентины Александровны. Я бы и сам подписался под таким письмом.

Утаив от мира живых, что она недолюбливает мертвых.

* * *

Однако в один мрачноватый вечер... Уже темнело рано, и батоны в грязи под фонарями светились особенно пугающе перед мрачно стывшей кучкой людей у переезда. Кого-то электричка сбила, догадалась она и принялась решительно пробиваться к телу. Пульс на шее с трудом, но прощупывался. Мужик лежал чистый, в хорошем пальто — от этого ей было легче припасть ртом к его вялому ротовому отверстию, тем более через собственный платок. Ее уверенные действия пробудили решительность еще в ком-то, этот кто-то начал

вторить ее ритмичным выдохам толчками в груди — и мужик задышал, порозовел, вернее, потеплел...

(Первую песенку зардевшись спеть — истории «изо рта в рот» пошли одна за другой: «Я из-за этой поганки еще и герпес на губе подхватила, хоть и дышала через платок, вернее через полу халата — они будут колотиться, а мы должны их спасать! Я, правда, нечаянно ей зуб выдавила. Но оказалось, он был искусственный, его ей еще в прошлый раз без нас выбили, когда челюсти разжимали — с наркоманками всегда морока».)

А ко второму сбитоному (уже трамваем) ее пытались даже не пускать: до милиции ничего не трогать нельзя, — так Валька оборвала как начальница: «Я медицинский работник!» — но сбитый на этот раз был мертвым безвозвратно. И это впервые не вызвало в ней никакого осуждения, — я хочу сказать, отчуждения.

Вот тогда-то, мне кажется, она и возвысилась или унизилась до того, чтобы принять в свою пустую или переполненную жизнь своего злого или доброго гения Гену.

Гена не просто вошел в нее — я хочу сказать, в ее жизнь, — он в ней разлегся как на собственной тахте, и смириться с его хозяйничаньем было невыносимее, чем со всеми котами и кобелями вместе взятыми. Это было в тысячу раз оскорбительнее, чем если бы Вальку по-простому, по-рабочему изнасиловали.

Когда Валька своим дыханием вернула к жизни сбитого электричкой мужчину, светящиеся в грязи батоны долго светились в моей памяти, соблазняя меня хоть малость выместить на Вальке мою неугасимую обиду: «Ты сама как этот батон. Могла бы накормить голодного, а вместо этого валяешься в грязи». Но я знал, что это неправда: Валька только тем и занимается, что кормит голодных, уж какие они попадают. И ни в одном живом существе не видит грязи. А когда видит, то бывает еще и побрезгливее меня самого. Когда женщина-змея забавы ради сосватала ей безнадежно влюбленного в нее парня (хорошие парни часто влюбляются в змей), а затем, испытывая пределы своей власти, поманила его назад, чтобы и дальше вести свою любимую игру в кошки-мышки (змеи любят играть в кошки-мышки), Валька вся извелась именно от гадливости: «Как будто меня в помойку какую-то окунули...». Но как было добиться того, чтобы она не имела дела с гадами, я не знал. Гады ведь тоже мучаются, тоже умирают...

Так что и Гена был живою тварью, что говорить. Но если бы какие-то скоты распяли ее где-нибудь в кустах, это было бы, не спорю, ужасно, но не унижительно. По крайней мере, для меня. Я не просто треплю языком, я знаю, о чем говорю.

Когда после недели в Сочах Валька, вечно вынужденная прижимать себя в том, в сем (помнится, во время отпуска прирабатывала на лодочной станции), взяла билет до Избербаша, что за Махачкалой, в общий вагон, она сразу пожалела: невозможно было выйти в туалет —

мало того, что пялятся зверски, так прямо за руки хватают. При том, что одета она была вполне целомудренно, в закрытом свитерке (прокатилась на бархатный сезон). Хорошо, один русский мужик (сначала показалось, тоже какой-то уголовник) каждый раз ее сопровождал (сначала показалось, что таскается следом), да еще и надоумил из Армавира отправить телеграмму, чтоб встретили. И, когда выходил в Махачкале, тоже повторил несколько раз: поезд приходит ночью, если не встретят, сидите до утра на вокзале, там есть милиция. Но, благодарение богу, институтская подруга Оля встретила ее со всем семейством — мать адвокат, защищавшая всех авторитетных избербашевцев от заслуженной пули, отец хирург, тоже пользовавшийся их всех после колото резаных и огнестрельных ранений, и даже брат инженер, носивший мужественное имя Орест — свой, как оказалось, человек среди каспийских браконьеров. Тем не менее, даже при такой надежной крыше Вальке запрещалось в одиночку выходить на улицу. Просидевши с неделю в одиночном заключении под вишнями и абрикосами, она запросилась домой — самолетом из Пятигорска, поездом она была уже сыта. С этой минуты я все видел своими глазами. Орест в мужественной ковбойке подъехал на мужественном брезентовом фургоне с огромной безносой кабиной, в которой можно было даже спать, — поездка в Пятигорск смахивала на геологическую экспедицию. Оказалось, под покровом ночной темноты ее спутник и покровитель собирался затариться у браконьеров каспийскими осетрами, утром загнать их в пятигорский ресторан, а потом уже доставить и Вальку в аэропорт.

Промасленный водитель, несмотря на джигитский акцент и абрекские усы, явно терялся при его отрывистых командах, чем немножко восстановил пошатнувшуюся Валькину веру в верховенство человека цивилизованного (в ее ушах всю тюремную неделю с горечью прокручивался веселый якобы стишок «Лучше хоть сто раз отдаться этим усачам, чем слюнтням ленинградцам или москвичам»). У меркнувшего каспийского берега брат распорядитель приказал тормознуть, спрыгнул в песок и куда-то заторопился. И водитель тут же вперил в Вальку столь огненный взор, что в кабине как будто загорелись два стоп-сигнала.

Валька спрыгнула вслед за уплывающей лодчонкой цивилизации и поспешила бегом за Орестом, набирая в босоножки песок, однако лягавому псу, взявшему след, было не до нее — он метался по барханам то к одной кучке неотчетливых мрачных мужчин, то к другой, отмахиваясь от Вальки, покауда не лопнуло терпение: «Иди в кабину к Алихану! Ты мне все дело сорвешь!»

Теперь кабина освещалась лишь стоп-сигналами Алихана. Который, одурманивая ее до тошноты бензиновым перегаром, начал без промедления тащить ее на лежанку за водительскими сиденьями. Теснота уравнивала их силы, а остервенение было примерно равным.

«Если я тэбя атпущу, я буду нэ мужчына!!!» — хрипел Алихан. — «Пусти, гад, сволочь, сейчас закричу!!!» — «Крычи, еще дэсат человек прыдут, мнэ памогут!» — «Пусти, говорю, щас дам по яйцам!!!» (эхо дружбы с поселковыми) — «Я тэбэ так дам, что вадой будут атлыват!» Валька знала — кстати, от меня, — что силой мужчына женщиной в одиночку овладеть не может, если чем-нибудь ее не оглушит, и чувствовала, что Алихан уже в одном шаге от этого. Она вывернулась из кабины, лягушкой шлепнулась в холодный песок и бросилась в непроглядную тьму, в ту, как ей казалось, сторону, где исчез силуэт ее покровителя. Кричать она не смела, опасаясь привлечь новых хищников.

Она бежала именно что в непроглядной тьме, проваливаясь в какие-то невидимые ямы, напарываясь на какие-то неразличимые кусты, слыша лишь звонкие удары сердца в ушах да угрюмое буханье каспийского прибора. Нельзя даже сказать, что она испытывала особенный ужас, ибо то, что с нею происходило, могло быть только кошмарным сном.

Наконец она сообразила, что топот и треск погони — это ее собственный топот и треск. Она остановилась и прислушалась — сразу удесятились грохот воды в приборе и звон крови в ушах. Тьма по-прежнему была абсолютно непроглядной, только далеко-далеко мерцали огоньки Избербаша — трудно было понять, на сколько верст отвез ее Орест и сколько пробежала она сама.

Послышался нарастающий рокот мотора, затем сквозь кусты разгорелись и померкли фары, — вдоль берега шла дорога, догадалась она. Наклонив голову и прикрывая лицо руками, чтобы не остаться без глаз, она продралась к шоссе и зашагала по едва-едва брезжащему под звездами асфальту. После песка ноги несли удивительно легко, но ощущение, что все это происходит во сне, не исчезало.

Сзади снова послышался шум мотора, все бугорки на дороге налились прыгающим светом, а впереди возникла и, кривляясь, понеслась ей навстречу темная человеческая фигура, и она успела еще раз обомлеть и ожить, понявши, что это ее собственная тень на придорожных кустах. Она дернулась было поднять руку, но инстинкт травленого зверя резко рванул ее обратно: здесь нельзя было верить никому. Она запоздало вытянулась в струнку и зажмурилась в безумной надежде прикинуться придорожным столбом. И ночь тут же даже сквозь веки воссияла тысячами солнц, застонали тормоза, и ласковый мужской голос нежно позвал: «Такой красывый дэвушка — зачэм адын гуляешь? Давай падвэзу». Не надо, я сама дойду, отговаривалась она тоненьким голоском школьницы, надеясь этим разжалобить божество, спустившееся с небес в солнечных ризах. Пока она в кабине боролась с Алиханом, она была еще в силах радоваться, что надела брюки, а не юбку, но в испепеляющем свете фар чувствовала себя совершенно раздетой, словно в рентгеновских лучах.

Тем не менее, после двух трех часов препирательств так и не увиденная

ею машина взвыла и умчалась. Уже не чувствуя совершенно ничего, вся во власти одного лишь инстинкта травимого зверя, она вновь пробралась на берег и бесконечно брела в крошечной тьме вдоль мерного буханья прибора, спотыкаясь, падая, поднимаясь, натываясь, обходя, вслушиваясь, глядящаясь...

Понемногу пена в приборе начала светиться все различимее, зарделась еле живая заря, серый холодный песок тоже начал проступать из тьмы, а впереди засерелся длинный одноэтажный дом. Она хотела было обогнуть его по шоссе, но решила, что в такой час все в доме наверняка спят, а шоссе ей казалось бессонным. Она сняла босоножки и побрела на цыпочках, глядящаясь под ноги, чтоб на что-нибудь не напоротья. Поэтому новый враг словно вырос перед нею из-под земли. А в следующий миг они уже барахтались на песке, и враг, обдирая ее щеки проволочной щетиной, остервенело хрипел, как Алихан: «Хочешь, чтоб я еще десять человек позвал?!»

Кажется, до нее только лет через пять дошло, что хрипел он без малейшего акцента. А в ту минуту она была способна понимать лишь одно: пока она извивается и брыкается, ему ничего с нее не стащить.

И тут он ее начал душить.

Она по инерции еще продолжала бороться, но уже чувствовала, что все от нее удаляется, меркнет, глохнет, и тут уж я не выдержал: «Сдавайся, черт с ним, — заорал я, — он же тебя убьет!!!» Я кричал изо всех сил, я надрывался, но она меня не слышала. Зато она из последних сил ухитрилась двумя руками оторвать от горла его левую руку и впиалась зубами в твердый большой палец. И не просто впиалась, а продолжала изо всех сил его грызть, хотя душитель уже выпустил ее и, вопя во все горло, колотил ее по голове свободным кулаком. Боли она не чувствовала, видела лишь белые и желтые вспышки.

Когда он наконец вывернул палец из ее зубов, она мгновенно откатилась в сторону и успела вскочить на ноги и скрыться в кустах, покуда он размахивал изгрызенной рукой, как маятником, словно надеясь охладить жгущую боль.

Потом Валька лежала в кустах, испуленно вслушиваясь в треск и в то удаляющиеся, то приближающиеся мычащие стоны преследователя, а когда они сменялись воплями: «Ты где, сука?! Придушу!!» — отбегала на четвереньках еще метров на пять и снова замирала. Наконец стоны и вопли смолкли, но она при разгорающемся солнце еще долго не решалась распрямиться.

Выбрела к ручью, умылась (потекла краска), почистилась, сколь было возможно, но когда она позвонила в дом подружки Оли, открывшая ей мама адвокат лишь в силу многолетней профессиональной выучки не потеряла дар речи: «Где Орест?!» Зато папа сразу все понял: «Ах, подлец! Значит он тебя с этим бандитом оставил?.. Водится с елдами и сам превратился в елдаша!»

Возможно, слово «елдаш» Валька расслышала неправильно — она

неволью произвела его от слова елда.

Но когда Орест, потный, растрепанный и почему-то чумазый, накинулся на нее с матюгами — ты куда делась, я же тебе сказал в машине сидеть, из-за тебя осетры протухли, — то орал он без малейшего акцента.

— Ты... Ты меня оставил с этим бандитом и еще на меня орешь?..

— Алихан хочет перед тобой извиниться...

— Нужны мне его извинения!

— Он хочет материально извиниться.

— Денег что ли дать? Нужны мне его деньги! Я его видеть не могу!

Вальке и впрямь казалась совершенно нелепой мысль, что сволочизм может быть как-то искуплен деньгами. А я вот почти жалел, что она их не взяла — пусть бы купила за них хоть сотню другую часов сна, она же каждую лишнюю копейку добывала трудами и бессонницами. И еще я ей просто-таки пенял, что она меня не послушалась, когда этот гад тогда на берегу начал ее душить: черт бы с ним, пусть бы потешился.

— Да с какой стати?!.

Вальку совершенно не возмущает, когда животные ведут себя по-скотски, но она из себя выходит, когда люди ведут себя по-человечески. А меня и до сих пор обдаёт мурашками, когда я снова оказываюсь с Валькой в прикаспийских кустах, слыша то удаляющиеся, то приближающиеся вопли: «Ты где, сука?! Придушу!!.» Господи, да пусть бы он хоть сто раз в нее впрыснул любую гадость, лишь бы она была жива!

И это при том, что я был наделен совершенно заоблачными требованиями к чистоте женщин, к которым испытывал романтические чувства. Но если бы тот козел излил свои выделения куда только удастся достать, пусть бы хоть с головой погрузил в них Вальку, я бы готов был самолично отмывать ее в семи водах, а потом завернуть в чистенькую пеленку и хоть сутки носить на руках, убаюкивая, покуда она не заснет. Чтобы назавтра сохранить память об этом кошмаре лишь в моей удесятеренной нежности и заботе.

Но раз уж обошлось, у меня со временем начало зудеть, что же, интересно, чувствует женщина, когда ее домогаются силой. Валька отвечала на мои тонкие заходы с полным простодушием. Я тоже прикидывался, будто не вижу в ее ответах ничего особенного, однако, чтобы отвлечься, как бы в рассеянности оглаживал алый от смущения телефонный аппарат. Мне хотелось, чтобы Валькина женственность всегда витала и просвечивала сквозь наши разговоры, простота же наша ее расплющивала до полной неразличимости.

А чего проще: Валька возвращалась с вечернего дежурства своей промежуточной зоной через сказочный зимний ельник — еще даже больничные окна горели за спиной, — и вдруг кто-то, метнувшись из-за сахарной ели, опрокинул ее в обжигающий снежный пух (в больничных отсветах она успела разглядеть силуэт солдатской

шинели).

— И что же ты почувствовала?..

— Ничего не успела почувствовать. Просто, когда тебя заваливают, понимаешь, что надо сопротивляться, и все. Инстинкт.

К инстинктам Валька относилась с большим уважением — типа того, что если собаки лакают из лужи, значит и мы должны лакать.

— Бог ты мой — в мороз, на снегу... Не страшны нам ни холод, ни жара. Солдат всегда солдат.

— Да я же еще была в шерстяных рейтузах! И чувствую, что он уже до них добрался и рывками так стаскивает. И вдруг бросил, навалился на меня и как расплачется!.. Я уже давай его утешать, слезы ему вытираю, ну что ты, говорю, ну что ты, а он прямо ледяной, отморожение первой степени... Я говорю: пойдём скорее в приемный покой, я тебе окажу первую помощь, а он плачет как ребенок. Я спрашиваю: что с тобой случилось, почему ты плачешь?

— Это все в снегу?

— Где же еще, он так на мне и лежал. И жаловался сквозь слезы, что он от своей девушки какое-то письмо тяжелое получил, и решил, что раз она ему изменила, то он тоже ей будет изменять. Вот и попробовал...

— Совсем дурак какой-то. Ну и?..

— Ну и встали, он меня отряхивает, я его... Но в приемный покой не пошел, побоялся, так и скрылся в ельнике. Наверно, правильно. Я вернулась в приемный покой и со смехом рассказываю, а Магомед вскочил и как гаркнет: где он?!

Валька изобразила Магомеда с таким воодушевлением, что у меня зазвенело в ухе. А она вновь погрузилась в неспешные воспоминания с улыбочкой в голосе.

— Я, когда прохожу это место, всегда его вспоминаю. Там теперь бензоколонка. Мне что-то и правда на военных везет. Как-то вечером возвращаюсь домой, даже не очень поздно, окна вовсю горели. Темно было, потому что поздняя осень и пасмурно. У меня перед домом ты, наверно, помнишь, скверик, я иду через этот скверик и слышу, кто-то меня окликает. Я даже не испугалась, я же говорю, еще не поздно было, люди ходят. Я оборачиваюсь и вижу: он шинель распахнул и показывает мне оттуда. Мне кажется, он был курсант.

— Тот, кого он показывал? Да что же можно интересного на холоде показать, от холода все предметы сжимаются, — я представляюсь нисколько не задетым, дабы не обнаружить своей уязвленности.

— Что я, смотрела что ли?.. Я уж всякого навидалась. Больные для меня не имеют пола — больной, больная, и вся разница. Я рот раскрыла и как понесла: ах ты, такой-рассякой, да я тебе в матери гожусь!.. Как тетя Клёпа на того Арона. Он повернулся и как брызнет — только шинель развивается.

Она уже нисколько на него не сердится, ей только забавно: зверюшки, что с них взять! А еще к ним в приемный покой ходил такой мужичонка

по имени Никифор. Придет и сядет у стеночки, и ручки сложит на коленочках. Сидит и ждет, пока кто-то из женского персонала не жалится: что, опять клизму? Он так жалобно кивнет (в Валькином голосе к насмешке и состраданию примешивается умиление), ну, и отведет его, сердешного, вдуют ему клизму, и он тогда недели две не появляется. Любил, чтобы ему женщины клизмы ставили.

— Аристократ, — бормочу я, и Валька смеется без всякого осуждения: одно живое существо любит, чтобы ему пальчики перебирали, другое — чтобы ему клизмы ставили, — всякое дыхание хвалит Господа!

Ну так и чему ж тут было удивляться, тем более беситься, что Гена забрал над ней такую власть? Тоже божья тварь не хуже прочих.

Эпопею с Геной — Гениану — постараюсь не затягивать: к чему лишний раз обсасывать остатки яда, и без того отравившего мне целые годы. Я не хочу сказать, что все эти годы я только и страдал от надругательства над васильковой женственностью — одних наших с Юлей иступленных объятий и остервенелых проклятий хватило бы на десятерых. А ведь как бы мы могли быть счастливы, если бы она не стремилась владеть мною безраздельно! Да и я бы ей не простил «измены», если бы ей не было отказано в умении любить сразу двоих или десятерых. Зато теперь, когда я нахожу счастье не в радостях и наслаждениях, но лишь в забвениях смерти — теперь бы я только спросил: тебе не так больно, не так страшно жить, когда он тебя целует, ласкает, проникает в тебя? Тогда занимайся этим сколько тебе вздумается. И я всегда приму тебя и буду ласкать ничуть не менее нежно и страстно, чем прежде. Единственная просьба — вымойся как следует.

«Это же чужой мужик! Это же чужая слюна, чужой пот... Как можно с ним просто хотя бы лечь в общую постель...» — дивилась Катька разнообразию Валькиной интимной жизни, и я напрасно ей втолковывал, что девчонкой брала же она когда-то в постель любимого кота — вот и Валька спит с разными домашними животными. «При чем здесь кот! Кот — это кот, а человек — это человек». — «Вот в этом, может быть, глубочайшее наше заблуждение. А на самом деле человек и есть кот. Валька просто догадалась об этом раньше нас». — «Вот и будут ее использовать всякие... Мне же за нее обидно!». — «Еще неизвестно, кто из вас кого использовал — ты кота или он тебя. Но мне за тебя все равно не обидно». — «Что ты пристал с этим котом!»

Юлю же оскорбляла сама возможность обсуждать такую гадость, как постель при отсутствии безумной любви — она бы просто сошла с ума, случись ей догадаться, что в самые наши нежные, иступленные и высокие минуты мне иной раз из самой глубокой подводной толщи светят васильки, васильки, васильки...

Именно свет этих васильков как-то незаметно освободил меня от чрезмерной брезгливости. Если бы женщина, которую я люблю,

сегодня пришла ко мне пусть даже беременной от другого, я бы только присоединил к нежности еще и деликатность, за версту обходя всевозможные щекотливые предметы, способные пробудить в ней подозрение, что она может быть мне чем-то неприятна. И к ребенку ее я относился бы — ну, не так, как к родному... А, может быть, впрочем, и так, я не пробовал. В теории, по крайней мере, я считаю: тем, кого любишь, прощать нужно все, а от тех, к кому любви не испытываешь, лучше вообще держаться подальше.

Первой части этой премудрости я научился у Вальки, а вот второй ее части она у меня так и не выучилась: ей было отказано в умении не испытывать хоть каких-то нежных чувств ко всякой живой твари. Лишь бы она не кривила душой, чего никогда не делают животные.

Короче говоря, когда в Валькиной жизни — а значит, и в моей, и в моей — солидно расселся Гена, меня преследовали отнюдь не обычные для ревнивца картины Гениных постельных излияний и пыхтений, но одно только зрелище васильков, васильков, васильков, расплющенных его основательной суконной задницей.

Хотя, когда Валька позвала нас с Катькой знакомиться с ее мужем, я, пусть и подстиснув зубы, готов был протянуть ему руку дружбы, ибо я жаждал видеть Вальку не столько любимой, сколько ценимой. Но если меня в прежних ее избранниках оскорбляла одна только обыкновенность, что же я должен был почувствовать, узревши за ее, как всегда, вдохновенно сооруженным столом самое настоящее ископаемое. Полезное, стало быть, ископаемое, если Валька ухитрилась его где-то раскопать. Мы с Катькой, еще помнившие микроскопических провинциальных начальников послесталинской поры — я в Сибири, она на Смоленщине и в Ворши, как выговаривала ее мать, — не сговариваясь опознали в нем этот тип вымершего тираннозавра, и когда он принимался неспешно прогуливаться вдоль стола (пять шагов туда и пять обратно), наша память сама собой облекала его в белые бурки — в пятидесятые такой же атрибут микроскопического успеха, как в семидесятые пыжиковая шапка. И костюм на нем был из пятидесятых — микро номенклатурный, суконный, только брови ему выдали в спец распределителе современные, брежневские. Даже еще пошкарнее, с рысьими кисточками. При хрящеватом носе, нацеленном не на добычу, а на хозяйственные упущения.

Но, поскольку упущений за праздничным столом не наблюдалось, он откровенно скучал, не давая себе труда изобразить даже минимальную любезность. А когда совсем надоедало, ни на кого не обращая внимания, начинал неторопливо, по-сталински прогуливаться по пять шагов туда и пять обратно, подметая небогатый, но чистенький Валькин паркетик суровым флотским сукном.

Валька, казалось, не видела в этом ничего особенного, — гуляет себе человек и гуляет, он же не выпендривается, — но отзывчивая Катька

принималась вовлекать Валькиного избранника в общий разговор, расспрашивать его о работе, поскольку расспрашивать новобрачного вдовца о прежней семье было как-то не того. Гена отвечал с полной основательностью — тогда-то я впервые и услышал гордое слово «телетайпограмма» и узнал, что бетонный пол в подвале называется стяжкой.

Если не путаю. Какие-то работяги сделали стяжку, как он подозревал, без гидроизоляции, но его не проведешь! Он изображал тот исторический разговор с видом торжествующим и проницательным: «А вы гидроизоляцию сделали?..» — «У нас бетон специальный». — «Так что, с таким бетоном уже и гидроизоляция не нужна?». — «Почему, нужна». — «Так вы ее сделали?» — «У нас бетон специальный». — «И что, с таким бетоном уже и гидроизоляция не нужна?» — «Почему, нужна». — «Так вы ее сделали?» — «У нас бетон специальный» ...

На каком-то витке этой сказки про белого бычка добросердечная Катька, чувствуя, что я могу не удержаться от смеха, деликатно перевела разговор на другую тему, и, как потом оказалось, Гена устроил Вальке разнос: почему ее друзья весь вечер его перебивали. Валька-то поняла — чтобы ее новый супруг ее не срамил, не выставлял себя дураком, но не скажешь же своему суженому такое в лицо!

Тем более что он правильно угадал: Валька слушала меня с ощутимо большим интересом, чем его. Правда, чтоб у нее при этом каждый раз открывался рот, я не замечал. Впрочем, ревность более проницательна, чем любовь.

Короче говоря, гневный Гена потребовал, чтобы нашей ноги в его доме больше не было (при том, что он переехал к Вальке с одним чемоданом, как в командировку, все оставив взрослому сыну и еще более взрослой дочери пьянице). Этот ультиматум я принял с презрительной усмешкой — презрительной не только по отношению к нему, но и к Вальке тоже: с кем связалась! Катька же наоборот пригорюнилась: Валька же такая хорошая, такая красивая, и почему ей всегда какие-то монстры попадают, она никогда не умела себя ценить, но если ей хорошо, так пускай, мы не были на ее месте, будем встречаться где-нибудь на стороне...

Прятаться от этого тираннозавра было не по мне: раз он ей так мил, пускай она с ним и целуется, меня от этой комедии избавьте, однако оказалось, что и Катьке пересечься со школьной подругой не так-то просто — он до минут отслеживал все ее маршруты. Отпуская ее только на работу и в магазин. А стоило ей задержаться, устраивал скандалы. Все это я узнавал от Катьки, возмущавшейся еще и тем, что Валька таким обращением как будто совсем не оскорблена, — но каждый раз тут же спохватывалась, что мы не были на ее месте, может быть, у Вальки впервые в жизни какой-то мужчина выражает интерес, куда она пошла да что делала, может быть, она так понимает заботу, ведь ее

папаша тоже всю жизнь донимал ее контролем, а когда она была маленькая, завел целый кондуит — записывать ее грехи, как-то она ему надерзила, и он возмущенно потыкал издали жене указующим перстом: «Клава, запиши, запиши!»...

Я старался изображать безразличное презрение, но однажды и меня проняло. Валька после суток без сна притащилась домой еле живая, Гена начал ее отчитывать, и она наконец пыхнула:

— Хватит меня воспитывать!

А Гена, не говоря худого слова, хватил ее настольной лампой по голове. Когда она мне позвонила полузадушенным голосом, я прежде всего перепугался:

— Как лампой, она же стеклянная?.. Он тебя не порезал?!

— Нет, она у нас канцелярская, железная. Не бойся, ты же знаешь мои волосы — смягчили.

Со своей соломенной чалмой она давно рассталась, носила очень густо замешенную пепельно-каштановую стрижку.

— Я не про это, я не знаю, что мне делать, ты же умный, посоветуй...

— Валенька, милая, о чем тут можно думать?.. Гони его в три шеи! Вернее, нег, подожди, я сам приеду и спущу его с лестницы, я на такси минут за... За час доберусь.

Я с наслаждением сжал кулаки — вот к чему я, оказывается, готовился, когда моей правой рукоплескал закрытый стадион “Трудовые резервы”! Только бы не расплескать благородную ненависть, стеснившую мне дыхание, но ничего, дотерплю, надо только не допустить безобразной драки, сразу врубить так, чтоб он лег, сажал же я на задницу самого Черноуса, я и проиграл ему не нокаутом, а за явным преимуществом...

Но Валька прервала этот ликующий полет горестным вопросом:

— И дальше что?

— Как что — ты будешь свободна!

— Да я боюсь этой свободы хуже смерти! Как подумаю, что буду опять приходить домой — а там пусто...

— Так что, ради того, чтобы там кто-то сопел и сморкался, ты готова утираться от любых плевков?!

— Все, извини, что позвонила. Я вижу, что ты меня не понимаешь. Забудь, проехали.

Я достал из чулана окаменевшие боксерские перчатки, повесил на утонувший в трех покрасках гвоздь кожаную грушу, потрескавшуюся, как старый сапог, и яростно колотил ее, пока с меня не сошло семь потов — даже не знаю, кого я в эти минуты ненавидел сильнее, Гену или Вальку. Но ее васильковые глазки проступали из-за черной мечущейся груши все ярче, все бесхитростнее, и я наконец обессилел.

Набрал ее номер.

Трубку взял Гена. Он был хрипл и не любезен.

— Можно... Валентину Александровну?

— А вы кто? Я, между прочим, ее муж.
— Очень приятно, я звоню из больницы, нужна ее консультация.
Я был сама любезность — я и не знал, что я такой рыцарь.
Валькин голос уже переливался обычными ее воркующими нотками, будто она говорила с каким-то милым домашним зверьком.
— Да, слушаю.
— Как там у вас?
— Как обычно, ужинаем.
— Помощь не нужна?
— Нет, приезжать за мной не нужно, введите ношу на дистиллированной воде, и достаточно.
Я хотел было еще немножко поколотить грушу, но лишь вздохнул и засунул перчатки на самую верхнюю полку. А потом еще немножко подумал и вынес их на лестницу.
Наутро их уже не было.

Видимо, я все же не представлял, до какой степени она одинока — Гена ведь даже институтских подруг от нее отшил.

И я, наступив на горло собственной гордости, начал время от времени позванивать Вальке, выдавая себя за доктора Синицына.

— Ну что, как поживаешь, дитя мое?

— Нужно следить за давлением.

— Что, он нас слушает?

— Да, лучше давать усыпляющее.

— Понятно. Если что-то нужно, звони.

— Ничего не нужно. Достаточно прикладывать тепло.

Гена все-таки брюзжал, что этот Синицын нахально звонит ей в нерабочее время, он ревновал ко всему живому. И даже к мертвому. Когда Валька приходила тихая и подавленная: «Больной умер», — Гена саркастически спрашивал: «Что, очень красивый был?»

Свободно удавалось поговорить, только когда Гена уезжал в командировку.

— Валенька-Валюша, как ты вообще проводишь время?

— На работу да с работы, мы вообще нигде не бываем, ему дома хорошо. «Ему дома хорошо» она произносит с такой воркующей умильностью, что это убивает у меня всякую охоту продолжать, но какая-то сила заставляет меня еще и присыпать ссадину солью.

— А как же он на чужбине обходится без дома, твой суженый?

— У него сейчас понос, он старается далеко от гостиницы не отходить.

В ее голосе звучит столько насмешливого умиления, что я поспешно завершаю разговор, чтобы не выматериться в трубку.

Только если, бывает, сдуру сболтнешь, что где-то что-то кольнуло, она на следующий же день, невзирая на опасности, прилетит как в былые времена — прослушает, обстукает, пропишет, десять раз позвонит проверить, исполняешь ли предписанное, отчитает, если

манкируешь...

Мне ужасно не хотелось при ней разоблачаться — торс у меня давно уже не боксерский, но разве от Вальки отвяжешься! Единственное, что утешало — она явно и впрямь не замечала моей голизны, только слышала шумы, хрипы, отмечала чистоту кожного покрова. И к тому же она в ту пору так ужасно растолстела, что я в сравнении с ней был, можно сказать, еще стройным юношей. Ходила она, заметно переваливаясь, миловидная мордашка утонула в раздувшихся щеках — одни только добрые предобрые васильки сияли по-прежнему.

Эта ее вульгарная толщина тоже представлялась мне особо извращенной формой ее падения — как будто и растолстела она в угоду своему Гене (самое имя его казалось мне омерзительным). Утешало только, что она все-таки оставалась способной на минутные бунты. Когда она задерживалась на работе, Гена наладился в знак протеста уходить из дому на всю ночь, естественно, и ее лишая сна, и однажды, когда она измученно оправдывалась, почему оказалась вынужденной задержаться на целых сорок минут, а он, отвернувшись, продолжал завязывать шнурки, Валька вдруг подняла с пола туфлю и что есть силы треснула его каблук по заднице. А когда он изумленно выпрямился и обернулся, добавила ладошкой по роже...

Но эти отрадные эпизоды были только крошечными оазисами в нескончаемых Каракумах, кишаших скорпионами и сколопендрами.

И вдруг Гену сразил инсульт. Хотя по делам его следовало бы сказать «расшиб кондратий». Грешный человек, я ощутил не жалость, но досаду: то он просто плющил Вальку, а теперь совсем раздавит!

Ковылять он понемногу научился, но с мозгами расстался, похоже, навсегда. Когда ей приходилось оставлять его одного, по возвращении она обнаруживала лужу в углу. «Ай-ай-ай, это кто же сделал пипи?» — начинала она нежно пенять ему, а Гена, надувшись, сосал большой палец. Но иногда, отвернувшись буркал: «Это Валя сдея пипи».

Однако Валькина нежность ко всякому дыханию наконец-то и ей что-то принесла в клювике. Валька давно пилила Гену, что его внучка Травиата живет с матерью алкоголичкой и отцом алконавтом — чему она там научится? «Значит такая ее судьба», — философически отвечал Гена, но Валька все зудела и зудела — она же встречала Травочку еще из роддома, ездила на Боровую, чтобы с младенцем хоть кто-то погулял. Девчужка была «гипотрофичная», без этих прелестных младенческих щечек, оттого что мать во время беременности пила не закусывая. А когда Травиночка начала ходить, ее посылали подворовывать чего пожрать у соседней коммуналки; потом она научилась то грызть черемуху в соседнем сквере, то напрашиваться в гости к дворовым подружкам — в садик ее не брали, поскольку родителям было некогда сделать ей прививки. А потом ее папа, хорошенько заложив за отсутствующий галстук, холодной осенней

ночью совершил пробежку вдоль по Обводному при отсутствии уже не только галстука, но даже и трусов, и подхватил пневмонию. Врача не вызывали, предпочитая исцелять следствие породившей его причино́й, и недели через две Травиатина мама обнаружила с собой в постели тело такое же холодное, как та роковая осенняя ночь.

Лишь после этого Генина дочка написала формальное отречение от родительских прав, и Вальке было дозволено забрать девочку к себе в «опеку». Представляю, сколько мурлыкающей нежности она излила на Травиату («Травочка, Травиночка...»), собирая ее в школу, закармливая витаминами и обстирывая, ничего не требуя и не ожидая взамен, но лишь исполняя свое земное назначение, что само по себе для нее было радостью: когда она измученная возвращалась с работы, детский голосок окатывал ее радостью и бодростью, как сначала теплый, а потом прохладный душ. Маленькие детки — они же такие татулики, не делают пакостей, вернее, делают только маленькие, вроде кота Соленко, который вдруг возьмет и насцтит на диван (мне не нравилось, что Валька произносила это слово по-поселковому и вообще не нравилось, что она его произносила, — меня коробили рудименты простоты в наших отношениях.)

К слову, только Валька и приучила Травиату просыпаться на горшок, а то, бывало, зайдет к ним на Боровую, а трех-четырёхлетняя девочка спит, «обоссанная по уши». Лет только в пять (Травиатиных, разумеется) Валька узнала, что энурез можно заговаривать, и сама придумала заговор. Перед сном они вместе с Травиночкой затвердили на память: «Ах, писуля, писулица, не дай бог, ты обоссешься, я даю тебе зарок, закрываю на замок — чиктрак». Чиктрак означало поворот ключа.

И уже в первое же утро Травиночка проснулась совершенно сухая. Более того: проснувшись среди ночи, она не могла сходить на горшок, пока не сказала запертой писуле «чиктрак» — то есть отперла ее. Ну не чудо ли ребенок?

И какая Травиночка была послушная, в магазине ничего никогда не клянчила — сказали ей нельзя, значит нельзя. А то бывают дети как развоются: купии, купииии!.. (От их пороссячьего визга у меня в который раз зазвенело в ухе.) Но когда Гена превратился в домашнее животное, двенадцатилетняя внучка оказалась незаменимым подспорьем — присматривать за дедом, чтобы он чего не поджёл, подать чашку или утку, вызвать «скорую» или «бабушку» Вальку, если свалится — на это она вполне годилась.

Превратившаяся в бабушку Валька теперь каждую ночь пребывала на дежурстве, не в больнице, так дома. Но когда я ей звонил и спрашивал, не нужна ли помощь, она только просветленно вздыхала: «Своя ноша не тянет. Да и чем ты можешь помочь, не будешь же ты спать на моем матрасике, на горшок его сажать... Ну, как тут деньгами поможешь, новые сосуды ему не купишь... Нет, не нужно, что такое сиделка на один

раз! А больше — вы же тоже не миллионеры...»

Это была сущая правда — Катьке в ту пору платить совсем перестали, а моих доходов Главного Запудривателя Мозгов лакотряпачной промышленности едва хватало на своих. Правда и то, что, к чести моей или к бесчестию, никакое бессилие чем-то облегчить Валькину страду (в эту пору и васильки ее как-то померкли) ни разу не заставило меня пожелать ей избавления ценой Гениной смерти. Самое большое, что есть в жизни, это смерть, и моя мысль останавливалась перед необходимостью измерять ее безмерность количеством лишений, принадлежащих все-таки жизни, а не смерти.

И я лишь потупился, не смея судить, когда услышал в трубке бесконечно печальный Валькин голос: «Гена умер». Но откуда-то из глубины все равно пыталось проклюнуться сомнение: нельзя же не испытывать хоть крошечной радости, когда тебе возвращают отнятую жизнь. Невозможно ведь по доброй воле отдавать жизнь человеку, сравнивавшемуся с животным. Я был еще не в силах постичь, что лишь человек, сравнившийся с животным, и становится в Валькиных глазах достойным безоговорочного сострадания.

Как воистину безгрешное существо.

Валька была настолько великодушна, что не пригласила меня на похороны, а я был настолько туп, что не предложил сам: не могла же она не видеть, что я не питаю к Гене, мягко говоря, теплых чувств! Хотя откуда мне было знать, что она могла и чего не могла — это я не мог видеть мир ее глазами. Словом, встретились мы лишь через несколько недель — на станции метро «Петроградская». Навстречу мне двигалась туманная лавина облитых октябрьским дождем полиэтиленовых накидок, полупрозрачных, словно дачные теплицы, и печальная сияние Валькиных васильков, васильков, васильков я уловил через три десятка переливающихся капюшонов. Она была прекрасна. Печальна и прекрасна в своем монашеском черном платке, из-под которого упрямо выбивалась ее густо замешенная стрижка с заметными нитями седины, делавшей ее еще прекраснее.

Вместо тугих щек под ее скулами наметились темные впадинки. Мы крепко обнялись и надолго замерли в объятии. А потом двинулись по гранитной Карповке, отыскивая уголок, где не теснились бы посторонние, и октябрьский дождь отступал перед нами, оставляя на асфальтовой гидроизоляции причудливые лужи, чтобы нам было на что отвлечься.

Мы устроились в крошечной кафешке наискосок через речку напротив изящного морга Перво-медицинской империи и застыли не чокаясь над прозрачными, как Валькины слезки, стопками шведского «Абсолюта», хоть в данном случае был бы уместнее советский сучок. Мы долго молчали, чтобы не испортить словами ощущение драгоценности каждого нашего дыхания в соседстве со смертью.

— Он неплохой был, только кондовый — не знаю, как иначе сказать, —

слово «кондовый» она выговорила с особенной нежностью. — Он считал, что жена должна сидеть дома. А так он обо мне заботился, всякие советы подавал, как на работе себя вести. Советовал в партию вступить... А один раз повел меня в магазин, в женский отдел — мужики же этого терпеть не могут — и купил мне пальто, сам заранее выбрал, мне только осталось примерить. Мне ж никогда никто ничего не покупал... Зимние сапоги — за них же была вечная битва, очереди, а он мне заказал по благу из натурального меха, и сшили, я примерять во Всеволожск ездила. А когда он превратился в маленького мальчика, я, бывало, отведу его в ванную, вымою ему попочку, писю и спрашиваю: ты меня любишь? А он глазки отводит, стесняется. Только когда я его уложу, в лысинку поцелую, он вдруг кивнет: люблю. И зардеется как пятиклассница. Травиночка один раз даже расплакалась: ты его первого любишь!.. А он ей вдруг говорит очень разумно: я совершил ошибку, я женился на молодой женщине. И вдруг как будто испугался, осторожненько так дотронулся до меня пальчиком и тут же отдернул. Он был просто кондовый, не умел нежничать.

— Валюша, а ты знаешь, что ты чудо?

И Валька тоже зарделась, как впавший в детство Гена после ванны:

— Если бы мне кто-нибудь хоть раз что-то подобное сказал... — васильки засияли не пролившимися слезами. — Я бы, может быть, совсем другую жизнь прожила. И Гена был бы совсем другой, если бы что-то другое видел, какие-то другие слова слышал. Да все люди были бы другие, если бы с ними обращались по-человечески. Все же от дикости, от непонимания...

Генина мать умерла после войны от криминального аборта — детей, и тех, что были, нечем было кормить. Десятилетний мальчишка на всю жизнь запомнил: мертвая мать лежит на лавке, его младший братишка сосет ее мертвую грудь, а по ним обоим ползают вши. После этого я поклялся, что больше никогда в жизни не скажу про Гену ни одного недоброго слова.

При всем при том деревню он всегда вспоминал охотно — навоз, сенокос, ночное, снежные горки...

Как я понимаю, природа в Архангельской губернии не была очень уж ласковой, и, тем не менее, на остальном своем жизненном пути он встретил ласки еще меньше.

Подростком пошел работать в леспромхоз — все кругом либо вчерашние, либо сегодняшние урки в замызганных бушлатах, в драных ватных штанах, и только начальники иногда спускались с небес в чистых пальто с меховыми воротниками, в белоснежных бурках — кажется, даже пар, валивший у них изо рта, был особенно чист. Как летние сияющие облака.

И ему невыносимо захотелось туда, в небеса. К начальникам. Только он не знал, как к этому и подступиться, покуда его не забрали в армию.

Служил он на шпионской подлодке в Грязной Губе, старался изо всех

сил и таки выслужился — получил направление в политическое училище: выдвиженец из колхозного крестьянства, член партии, исполнительный, старательный... Но когда его уже увозили с базы на грузовике, спрыгнул, чтобы попрощаться с товарищами, и сломал ногу, загремел в больницу. Училище сорвалось, но по какой-то хрущевской квоте его зачислили в Лесотехническую академию, к короёдам, как их называли в мое время, — собственно, к этому он и стремился — быть начальником в лесу. Хотя ему и нравилась математика, он понимал, что это несерьезно, серьезные люди распоряжаются мат ценностями, и отнюдь не математическими.

В Академии он тоже старался быть общественником, с красной повязкой на рукаве отлавливал стилиг; в опорных пунктах Народной дружины им состригали вольнодумные коки, распарывали узкие брюки, фотографировали, потом вывешивали их личности на срамных стендах: «Иностранцы? Иностранки? Нет, от пяток до бровей это местные поганки, доморощенный Бродвей».

«Зачем же ты этим занимался?», — случалось, укоряла его Валька, и он отвечал безо всякой идеологии: маменькины сынки, жизни не нюхали, а чего-то из себя изображают. Как будто они откуда-то не отсюда. (Возможно, это и в нас его раздражало.)

Тем не менее, городские соблазны сделали свое дело — к пятому курсу он женился, чтобы зацепиться в Ленинграде. Жену тоже звали Валькой, и даже тещу тоже. Теща его недолюбливала, она мечтала заполучить для дочери мужа офицера, от которого ей самой даже в блокаду что-то перепадало по аттестату для маленькой Вальки, хотя как он ушел из Нейшлотского переулка по бесконечному проспекту Энгельса, так она больше его и не видела, — а тут на тебе голодранец, не то что без жилья, так почти что и без штанов, хуже лимитчика. Случись чего, какой от него прок?

Она никогда не думала об этом специально, но урок извлекла железный, замачивая в осклизлых чанах блокадной прачечной заскорузлую от крови, а то и кой чего похуже одежонку, совлеченную с убитых или иссохших от голода: помрешь — не то что лопух не вырастет, а и слезинки никто не обронит, — отмочат твоё барахлишко от твоих следов, сольют кровавую бурду, потом простирнут в тех же осклизлых чанах, прокипятят и отдадут тем, кто еще жив. Вот и вся премудрость: в этом мире надо оставаться живым, все прочее литература.

Когда взглядишься, какие уроки дает людям жизнь, перестаешь понимать, брезговать ими нужно или преклоняться. Дивиться, что не все они превратились в животных. А можно сказать, что и никто.

Какое животное, скажите на милость, получая вполне достаточную для прокорма пенсию, стало бы выпрашивать у закипающей внучки маленькую правнучку, обряжаться вместе с нею в какие-то обноски и отправляться к местам скопления иностранных туристов выскуливать

милостыню, при появлении милиционера поспешно семеня прочь? Маленькая сухонькая старушонка с крошечной девочкой — у кого на такую руку подымется? Люди ведь не звери! Когда такая побирушка, словно побитая собачонка, подкрадется бочком к прилавку и затынет: «Сыночек, дай косточку, очень мяска хочется...» — самый жирнорукий кусман и после этого аж до следующего клиента проживет в душевном умилении.

Какое животное на такое способно? И какое животное стало бы каждый выклянченный грошик откладывать за щеку для запивающей внучки и комсомольствующего внука, заглядывающих к ней за очередной порцией исключительно в пенсионные дни и тут же удалявшихся, ни разу даже не вильнувши хвостом, а тем паче, не лизнувши не скудеющую иссохшую ручку? А для себя кормилице было жалко даже вставить разбитое стекло, так и жила, заткнув дыру подушкой... Впрочем, звери вполне обходятся вовсе без стекол. Но какое животное не оставило бы попыток разорить гнездо своей тоже запивающей дочери, видя, что ее самец уже сумел обеспечить дочь благоустроенной трехкомнатной норой в старом фонде? А когда хозяин норы перестал бы ее пускать к себе, начало бы раздеваться перед дверью догола и, потрясая коричневыми мешочками грудей, собирать воплями всю лестницу — «позорить» зятя?

Правда, не прийти к матери и бабушке на похороны, а потом еще и затерять могилу — у животных наверняка все бы ровно так и было. Она пеклась о потомстве, словно волчица о волчатах, не видя в них ничего человеческого — они к ней и отнеслись как повзрослевшие волки. Неизвестно, сколько дней мертвая бабка одна провалялась на полу, похоронщики даже отказались открывать гроб: нечего там смотреть.

И все-таки волки не подвержены запоям, никакая волчица не позволила бы себе валяться на паркете в собственном соку, не слыша молений рыдающей дочки, сломавшей ручку на детских качелях — если бы Гена не застал эту картину сам, преждевременно вернувшись из командировки, он бы так и не понял, на что намекают туманные вздохи соседей.

Хозяйственный Гена маялся с женой алкоголичкой сравнительно недолго: ему удалось пристроить ее прооперировать геморрой в блатную Свердловку, где она не вышла из наркоза. Потом он пытался взять в дом то одну, то другую женщину, но у всех у них был непростительный порок — они никак не желали забыть о собственных детях. Взрослых, вполне способных прожить самостоятельно! Последнюю свою сожительницу он не пустил в свою нору, когда она отправилась навестить внучку — пусть и живет со своей внучкой.

Его же дети обходились без него! Дочка — тоже Валька, они там все были Вальки — вполне самостоятельно спивалась, сын Гарик тоже вполне самостоятельно ладил комсомольскую карьеру, а в девяностые

катастрофически разбогател, разбивал один мерс за другим, однажды закатился к батюшке пьяный с каких-то тайландских островов, завалил всю квартиру лакированными тамошними уродцами, которых Гена на следующий же день снес на помойку, не простив сыну оставленного на прощание фингала под левым глазом. Что там у них произошло, Валька не видела, Гена лишь со значением сказал, что это сыночку даром не пройдет, он замечал: кто его обидит, с теми обязательно случается какая-нибудь неприятность. И впрямь, не прошло и недели, как Валька услышала по радио, что на финской границе задержан предприниматель с Гениной фамилией, пытавшийся вывезти незадекларированные пятьдесят тысяч долларов.

Я же тебе говорил, удовлетворенно констатировал Гена, однако потеря для Гарика оказалась не столь уж разорительной, судя по тому шику, с которым он прикатил на отцовские похороны, а когда гроб под заунывную музыку опустился на лифте в огненные недра крематория, Гарик торжественно объявил Вальке: «Помни, у тебя всегда есть мужчина, на которого ты можешь рассчитывать», — и на этот раз исчез окончательно. Но Валька все-таки не забывала его: каждый раз, слыша по телевизору пронизательные разглагольствования про таинственное золото партии, она смекала, что Гарик наверняка как-то причастен к этим сокровищам капитана Флинта.

— Гена не любил нынешних скоробогатиков, он считал, всего надо добиваться своим горбом, — уважительно припомнила Валька. — Но ты не думай, он был не совсем какой-то зануда, он иногда и шутил. Как-то он очень долго в туалете сидел, я даже забеспокоилась. Вышел, я его спрашиваю: ну как, сходил? «Сходил», — Валька очень похоже изображает недовольное бурканье. — И как, много? «Не знаю, я не взвешивал». Я потом эту шутку даже с большими использовала. И все всегда смеялись. А еще он где-то прочитал... Да где, в газете, он книг никаких не читал, только по телевизору новости смотрел... Так он прочитал, что супруги меньше ссорятся, если произносят в день не больше двадцати слов. И я его, бывало, спрашиваю: Геночка, ты что молчишь? — в ее голосе вновь прозвучала мурлыкающая нежность. — А он отвечает: я свои двадцать слов уже сказал. И еще: я однажды вечером — уже темно было, осень — решила покататься на велосипеде. И хотела переехать через лужу. А переднее колесо увязло. Я вильнула рулем туда, сюда, а потом со всего роста как плюхнусь в грязь. Вылезла вся как чушка, покаталась по траве, чтоб хоть самую жирную грязь обтереть, и так и заявила домой. И как Гена хохотал!.. «Хрюша, хрюша...»

Из васильковых глаз скатились несколько новых слезинок, уже подсвеченных невольной улыбкой — дождик при солнышке мы в детстве называли слепой дождик.

— А еще у нас на лестнице жил котенок. Я все время его хотела домой взять, а Гена не разрешал. Он был такой запуганный — в смысле

котенок, я однажды иду с работы, а он спрятался за батарею и вытянулся по стойке смирно, чтоб его было не видно. Ну, после этого и Гена разрешил его взять, раз он такой умный. Я поставила его в раковину, открыла теплую воду, и вдруг с него как хлынет кровь — как из кастриулы с вишневым компотом. Я давай искать рану — ничего. Я прямо мокрого его завернула и помчалась в ветлечебницу. Оказалось, это не рана, это блохи. Они его сжирали, а красное — это их выделения: они же кровососущие. А потом он стал очень веселый. Я комкала бумажку и ему бросала, и он ее гонял. Я Гене говорю: смотри, прямо Пеле. А он говорит: почему Пеле — Соленко, тогда как раз в каком-то матче Соленко забил пять что ли голов. И мы так с тех пор нашего кота и начали звать: Соленко.

— А главное... — на Валькином лице проступила отрешенность, — главное — Гена очень напоминал мне отца.

И я в который раз поразился Катькиной интуиции — я не видел ничего общего между крепким хозяйственником в бурках и поджавшим надменные тонкие губы чопорным советским джентльменом в жилетке с черной атласной спиной. На Валькиных днях рождения он даже с общего блюда брал какие-то закуски, словно делая нам одолжение, ничуть при этом не скрывая, что считает нас всех сиволапым мужичьем. Единственное, чего он нас удостаивал — нравочений, да и то лишь в общедоступной басенной форме. Образцом в этом высоком жанре служил для него Сергей Михалков, чьи басни прежде мне казались недосыгаемой вершиной претенциозной глупости, однако Валькин папаша сумел ее превзойти без всяких видимых усилий.

Когда он откладывал салфетку и, приняв снисходительный вид — ну так уж, дескать, и быть, поучу вас уму разуму, — поднимался со стула, Валька безнадежно опускала глаза, а он с видом тонкой проницательности заводил что-нибудь в этаком роде:

— Чем попусту по улицам болтаться, всегда полезнее за дело взяться. Но, чтоб не потерять лица, сперва узнай, с которого конца.

Здесь он обводил нас востренькими глазками и, убедившись, что вступительная мораль произвела должное впечатление — все сидят, потупившись, — смягчался и далее продолжал со снисходительной улыбкой:

— Однажды в тот трамвай, где разъезжали звери, вошла свинья с передней двери...

Но самое тяжелое испытание оставалось впереди — нескончаемая баллада «Дуресос». Дуресос — это был прибор, высасывающий из людей дурь, подобно пылесосу. Вот у пивного у ларька толкнутся два подвыпивших дружка, усмехался сатирик, и ни милиция, ни общественность ничего сделать не могут, — одна надежда на дуресос. А вот на трибуне ООН поджигатель войны клеветает на борцов за мир, еще более саркастично усмехался поэт, — здесь тоже нужен дуресос. Он

проходился с дуресосом по всему земному шару, спускался на морское дно и возносился в заоблачные выси, очищая мир от дури, и самое мучительное во всем этом было то, что отхохотаться нам с Катькой удавалось лишь в полупустой полудночной электричке.

Мне хотелось забавы ради обрести рукопись этого шедевра — я имею в виду «Дуресос», — однако на Валькину просьбу папаша помолчал и ответил с тонким видом: «Я всю жизнь под колпаком и не хочу быть дураком».

В ту незрелую пору глупость мне представлялась постыдным пороком, но я бы снизошел даже к рифмоплетству, если бы папаша не плющил Вальку своей мудростью и моралью. А аморальными ему, похоже, представлялись любые признаки жизни, особенно когда он в последние годы увлекся чтением евангелия и к сарказму присоединил елейность — чего Валька на дух не переносила: в чем в чем другом, но в елейности ни единого зверя или птицу было не упрекнуть. Еще Вальку выводило из себя, что он и на медицинские темы рассуждал с нею свысока, утверждал, например, что после бутерброда с маслом у него сразу начинает побаливать ступня — откладывается холестерин, и чем более темпераментно Валька ему растолковывала, что отложение холестерина процесс многосложный и многолетний, тем снисходительнее он усмехался.

Короче говоря, все, что я слышал от Вальки о ее папаше, это были одни только утонченные способы отравлять ей жизнь. И надобно ж беде случиться — Гена тронул ее тем, что напоминал отца. Не пса, не паука, не кабана — отца!

Он всегда держался с такой бюрократической надменностью, что мне не удавалось вызвать к нему сочувствие, даже напоминая себе, что он уже в начале пятидесятых получил не какой-нибудь детский срок — пять или десять лет, как в положенное время отсидели мой отец и все его друзья, но двадцать пять. Я совсем забыл, что ни за что давали все-таки по десять, а не по двадцать пять, но однажды Валька призналась, как ее в пионерские годы мучило, что отец ее — изменник Родины. Что он натворил конкретно, она не знала, но мамина деревенская тетка как-то упомянула, что при немцах он приходил свататься в серо-зелёной форме и охранял с винтовкой на ремне деревянный мостик. Но ведь тогда получается, что и мама вышла за предателя?..

Мать на эту тему ни разу не обмолвилась ни словечком, только иногда вспоминала, как во Франции (это аж туда их занесло с отступающими немцами!) отец ей часто повторял: смотри, запоминай, это же Франция, заграница, больше мы никогда сюда не попадем. Надо же! Не отбили, стало быть, тогдашние ужасы у него интереса к заграницам...

Но если его не посадили сразу, значит явных злодейств за ним вроде бы не сыскалось?.. Не помню уже, откуда нам это стало известно, но мы с Катькой столько оттягивались после дуресоса в полупустой электричке насчет папашиней деятельности в немецкой агитбригаде,

что я теперь и сам не знаю, что там было, а что мы с Катькой выдумали. Катька теперь утверждает, что он через жестяную трубу призывал советских солдат сдаваться, а я настаиваю, что он в агитационном спектакле в тряпичной шапке со спущенным ухом играл дураковатого советского бойца, которому бравый солдат вермахта в надраенном стальном шлеме давал такого пинка, что тот катился до самого Урала. На самом же деле, мы ничего про него не знали.

Тем не менее, раз его Хрущев выпустил, значит вина была сочтена не такой уж важной?.. Хотя и не настолько неважной, чтобы снять судимость...

Похоже, он что-то рассказал Вальке лишь на смертном одре — я решил спросить, откуда ей это известно: что в окружении глодали кору, а застрелиться уже давно было нечем — патронов ни у кого не осталось; что в лагере на бывшем колхозном стадионе выщипали всю траву, спали — в ноябре — по трое: один ложился вниз, в мокрую ямку, второй на него, а третьим накрывался, — только второму и удавалось подремать, пока двое других отдавали концы от холода — таки и отдавали, только закапывать их и выпускали за проволоку. А чтобы спастись, всего-то и потребовалось сказать, что ты украинец и грамотный — для тех времен Валькин отец был едва ли не пограмотнее тогдашнего политического руководства.

Вот этим Вальке Гена отца и напоминал: в замшелом Пошехонье отец всегда стремился к какому-то свету, а единственным светом в окошке у них был учитель — мальчишка и возмечтал сделаться учителем, и пробился-таки к свету, его забрали на фронт уже со второго курса Ленинградского педа, с русского языка и литературы. Он первый раз в Ленинграде помидоры увидел, думал, это такие удивительно красные яблоки...

— А я думал, Пошехонье — что-то вроде Олимпа, местопребывание мифических пошехонцев. Которые заблудились в трех соснах, телушку огурцом зарезали, луну неводом пытались поймать...

— Нет, это город такой есть, я там даже была, там очень красивый Гостиный двор. Я там даже на чужую лошадь вскарабкалась, а она как понесет... Я держусь за шею, понимаю, что страшно, а все равно хохочу. Это во мне не пошехонское. Отец мне все время цитировал из какой-то книги, что жители Пошехонья роста среднего, лицом недурны, волосом русые, досужливы, послушны и трудолюбивы.

— Ну, так это прямо про тебя.

— Нет, больше про папашу — он всегда что-то затевал, на обухе рожь молотить. Когда его выпустили, квартиру нам уже не вернули, он при маме состоял, спали в подсобке — вмещалась только их кровать и моя маленькая деревянная раскладушка; когда ее раскладывали, уже некуда было ноги спустить... В школу отцу был путь закрыт, работать тоже было негде, он и перебивался — в санатории истопником, в домах отдыха полотером... Он и там придумал прикрепить к ножной щетке

железную мочалку, собирался даже запатентовать. Но его все равно к чему-то высокому тянуло — все время читал какие-то книжки про писателей, покупал всевозможные словари, ходил к евреям дрова пилить, колоть... Красить, белить, чтобы только пообщаться. Он и на скрипке учился играть, всем надоедал, пока начальство не запретило... Но он уже на пенсии все равно купил себе барбоску.

— Какую барбоску?

— Детское электрическое пианино. Как заведет — ну в точности собака скулит. Тогда меня это раздражало, а теперь так трогательно...

Из васильковых глаз скатилось еще несколько капелек росы.

— Он никак не хотел мириться, что больше никуда ходу ему не дадут, все время что-то придумывал. То выдумал кожу выделявать. Поселковые же забьют корову или овцу, шкуру только отскоблят, и она потом гремит как фанера. А он прочитал какую-то книжку, достал специальные реактивы, замачивал, красил, гладил, и она становилась как будто хромовая, мама из нее шила перчатки, и он их кому-то носил на барахолку. Но все это очень воняло, выделялись сероводородные испарения, и ему тоже это запретили, надоело нюхать. Он и огород в лесу на поляне завел серьезный, и раскопал погреб на финском хуторе — в лесу много было брошенных хуторов, и у нас картошка появилась своя... Да, он же еще вино придумал делать! Сам же он совсем не пил, но, видно, считал, что в доме должно быть вино, может быть, во Франции подглядел... Покупал по дешевке подгнивший виноград, настаивал с трубочками, тоже все по науке... Мы с девочками — я уже была постарше — отпивали, а потом доливали водичкой. Очень вкусно было! Иногда шипучка получалась, вроде шампанского, он разливал в бутылки, запечатывал сургучом — очень серьезно подходил. Построил сарай, чтобы дачникам сдавать — тоже очень фундаментальный, доски собирал на заливе, туда их часто штормом выбрасывало... Но тут маме наконец квартиру дали. Он и за собой следил, уже перед смертью пытался делать шпагат, тянул носок как балерина... Хотя больше уже на корягу было похоже, чем на шпагат. Но все равно же куда-то все карабкался! И читал все время какие-то умные книжки, афоризмы в основном, он любил, чтобы сразу всю мудрость выкладывали на стол, он везде по букинистам собирал всякие «В мире мудрых мыслей». А под старость стал собирать про духовное, про любовь. Уже свобода началась, он стал выписывать книжки по объявлению. Выписал одну — а она оказалась «Камасутра», да еще с картинками, он прямо со стыда чуть не сгорел...

Вот у него-то были основания презирать нас — выставивших себе круглые пятерки без единого серьезного экзамена.

— Он еще и на всяких курсах все время учился! Машины не было, а права получил — это прямо басня про всю его жизнь. Еще оформительские курсы закончил, плакаты во всех соседних домах отдыха писал — «забота партии — здоровье трудящихся» и всякое

такое. И каждую копейку в дом, чтобы у нас с мамой «все было» ... Я недавно нашла открытку с его стихами из лагеря, из тайги: бурундучок, бурундучок, пошли орешков доченьке моей... В общем, я решила идти в хоспис работать.

Переход был настолько неожиданным даже для женской логики, что я переспросил: куда, куда?.. — слово «хоспис» в ту пору было еще совсем новое, считалось, что если лечиться советским людям еще нужно, то умереть они уж как-нибудь сумеют и без посторонней помощи.

— Куда, куд-куда?.. — любовно передразнила меня Валька. — В хоспис. Вот и все так пугаются. Как будто вы не знаете, что люди умирают.

— Одно дело знать — другое видеть каждый день. Сама знаешь: с глаз долой — из сердца вон. Раньше же в каждом городке это такое событие было — целая демонстрация, оркестр, все мальчишки бежали смотреть, а я наоборот бежал домой, прятал голову под подушку, хлопал себя по ушам, чтобы не слышать... Я думал, я один такой урод, а вот же весь мир пошел моим путем — прятаться. А ты против течения. Слушай, это тоже символично: ты всю жизнь помогала людям жить, а теперь будешь помогать умирать.

— Ты вот умный, а говоришь глупости. Я тоже буду им помогать жить. Когда люди мучаются, это уже не жизнь. А люди должны жить до последней секунды!

Я даже не понял, что прозвенело в ее голосе — нежность или гнев. Васильковая сталь — это и были Валькины глаза в тот миг. Они заслонили и пустую кафешку перед моими глазами, и античный павильон мертвецкой на другом берегу Карповки перед моим внутренним зрением.

* * *

С этой минуты я охладел к ней — от нее и даже от телефонной трубки так веяло подземным холодом, что мне после каждого разговора с Валькой приходилось оттирать заledenевшее ухо. Если даже разговор шел о предметах самых посторонних.

Или нет. Как всякий порядочный реакционный романтик я готов был поклоняться женщине лишь в качестве слабого, робкого создания, а вот если женщина оказывается сильнее меня... И теперь, когда Валька каждое утро спокойно входила в ту обитель ужаса, к которой бы я не решился даже приблизиться, я косился на встречаемых женщин со смесью почтения и опаски — ведь любая переваливающаяся толстуха или бойко цокающая каблучками козочка могла оказаться героиней... На что им тогда мое покровительство, а, стало быть, и я сам? Или я не прав, и не одной лишь Вальке трогательно всякая беспомощность, роднящая человека с животным? Однако на затравленного зверя и ловец бежит. Когда мой лакотряпочный босс Угаров, навеки шестидесятилетний бритоголовый Хрущев, взял меня с собой в идилическую Финляндию на переговоры с полиграфическим воротилой по имени Мякинен, которого нам так и не удалось провести

на мякине, хитроглазый Мякинен предложил нам ознакомиться с новой формой услуг, которые его фирма оказывает населению в доказательство своей гуманности и бескорыстия. Услугой оказалась смерть в комфортабельном хосписе.

Угарову было некогда заниматься пустяками, его влекла не смерть, а жизнь в лице супермаркета «Stockmann», и на свидание с комфортабельной кончиной он отправил меня. Отказаться означало уронить авторитет, и я принял вызов.

Среди чистеньких, но скучноватых новостроек смерть отвоевала себе весьма поэтический уголок. Подернутая седым сочащимся мхом гранитная полусфера, обсаженная веретеньями остреньких елей, полуобернувшихся кипарисами, — посадить наверху тоскующую Сольвейг — и лучшей декорации к «Пер Гюнту» и выдумать было бы нельзя. А у подножия... У подножия...

Мне едва не пришлось подвязать челюсть — с такой неуклонностью она отваливалась каждый раз, когда я вновь вскидывал глаза на резную дачу оскудевших Фаберже, сбросившую со своих башенок и балкончиков полвека советского прозябания, омывшись в утекших с того молочного утра невозвратных годах. Все рояльные балясины и рушниковые завитушки были выточены словно вчера и выкрашены в жизнеутверждающие, хотя и не кричащие цвета.

Зато интерьеры этой промежуточной зоны были царством сдержанного антиквариата эпохи югендстиля, слегка оживленным лишь редкими прирученными папоротниками да блеклыми акварелями в духе разбавленного Климта. Бесшумно передвигаясь по этому царству невидимок в сопровождении облаченной в обычное партикулярное платье ингерманландской финки, уже начинающей забывать русскую речь, я встретил лишь одну живую душу — десятилетнюю беленькую девочку, неслышно беседовавшую с аристократической бабушкой в седых букельках — тенью викторианской эпохи. Как ни тихо мы старались ступать, девочка услышала наши шаги и повела на нас добрыми предобрыми глазками цвета васильков, васильков, васильков...

Смотреть на пациентов без их разрешения не полагалось, да не очень-то и хотелось, мне было предложено лишь осмотреть только что освободившуюся палату, из которой еще не успели убрать только что освободившееся от земных страданий тело. Беспokoиться об авторитете здесь не приходилось, и я от осмотра отказался, но через открытую дверь все-таки невольно успел разглядеть больничные белые стены и острый нос, приподнявший белую простыню на обыкновенной больничной кровати.

За все это время я не услышал ни единого звука.

В Валькином же аду жизнь была ключом. В поисках вечно недостающих средств Валькино начальство уступило какой-то угол платной стоматологии, но стоматологические клиенты постоянно

обижались, что мимо них возят трупы. Такие капризули — ведь все стерильно, под простыней! Что же делать, если в подвал иначе не проехать? Пришлось накрывать мертвецов стопкой матрацев.

Валька рассказывала об этом со снисходительной усмешкой бывалого фронтовика над необстрелянным новичком, свернувшимся от ужаса в эмбрион (мама, роди меня обратно!) только из-за того, что снаряд разорвался в соседнем окопе. Разве это страх! Страшно бывает, когда мучается живой человек, а ты ничего не можешь сделать. Вернее, что-то делаешь и не знаешь, то делаешь или не то.

У онкологических же больных иммунитет ослаблен, часто возникают абсцессы — жар, боль, а правило известное: где гной — там нож. А своего хирурга нет, из поликлиники тоже не хотят идти — и ответственность, и страшно, и — вот то самое: чего с ними возиться, если они и так, и так умрут! (Даже по телефону слышно, как Вальку передергивает от такого отношения.) Вот для этого, кстати, хосписы и нужны, домашние, может, и рады, но просто не могут обеспечить нужный уход, гигиену. Больные же писают, какают под себя, их, конечно, оботрут, даже обмоют, но настоящей дезинфекции... Их же, бывает, просто не поднять, один мужчина, конструктор — у него была очень полная жена — сделал под ней в кровати люк; ставил под него ведро, а потом люк запирает. Но это же тоже не дело! Каждая инъекция — инфекция.

В Валькином голосе появляются мурлыкающие нотки, когда она начинает расписывать, как у них в хосписе все промывают, дезинфицируют, перестилают, если бы все мы у них лежали с самого рождения, может быть, абсцессы и вообще были бы уничтожены как класс. Но пока до этого совершенства еще далеко, ей и самой приходилось братья за скальпель. Откладывать невозможно, уже слышно, как гноище плещется в ягодице.

Вот это действительно страшно! В теории все, конечно, известно, но она же не хирург, она терапевт! (Слово «терапевт» у Вальки, похоже, тоже вызывает нежность.) Сама себе не веришь, когда вонзаешь нож в живое тело (все обезболено, обколото новокаином, все по правилам, но все равно страшно) и режешь, будто мясо дома на обед, — через скальпель рука прямо чувствует, как перерезаются волокна, ужас!.. А куда деваться — надо. Сначала режешь вниз, потом начинаешь удлинять, режешь вверх... А ягодица большая, тетка толстая, рана уже и так глубокая, как ущелье, а надо еще глубже!..

И наконец гноище как хлынет!.. И надо поскорее эту тетищу повернуть, пинцетом поглубже в дыру запахать резиночки для дренажа, чтобы гной стекал по ним как по направляющим, а не разливался куда попало...

— И как я гордилась, когда у нее и боли прошли, и жар, она садиться стала — так радовала меня! И рубчик образовался такой красивый, я им каждый день любовалась.

— И... и дальше что?..

— Ну, что может быть дальше — умерла.

— Так... Тогда какого черта было ее мучить? Может, лучше впрыснуть было ей чего-нибудь?..

— Я терпеть не могу этих разговоров! Это просто мерзость!! Наше дело бороться за каждую секунду! Тех, кто убивает, и без нас выше крыши! Ты же считаешь, что ради года жизни стоит помучиться, правда? А почему не стоит помучиться ради месяца? Или дня? Откуда ты знаешь, какие мысли она передумала? Сколько раз на солнышко посмотрела? Да даже сны какие ей снились! Я считаю, жить или вообще не нужно — или нужно бороться за каждый вдох!!

— Ты прямо Альберт Швейцер. Благоговение перед жизнью

— С тобой невозможно серьезно разговаривать! Но я тебе все равно скажу: если бы я не считала, что за жизнь нужно бороться всегда, я бы там не работала. А я каждый день иду на работу с радостью! Потому что точно знаю, что я там нужна! А когда не знаешь, нужна ты или не нужна, тогда и жить охота пропадает...

Я слушаю, сжавшись. Но наконец звенящая сталь в Валькином голосе вновь сменяется мурлыканьем — она вспоминает, что разговаривает с несмышленьшим: мужики — они же как дети. А перед лицом смерти люди перестают кочевряжиться. Да, сначала выходят из себя: за что мне это, что я такого сделал?! Сердятся на врачей — да делайте же что-то!.. Но понемногу до них доходит, что и вопросы их детские, и злоба детская — жизнь их убивает не за то, что они в чем-то провинились, а просто судьба им выпала такая, и никакие врачи тут ничего поделывать не могут. И тогда они смиряются. И даже начинают находить в этой жизни какие-то радости, начинают понимать, что если один миг ничего не стоит, то и миллиард этих мигов тоже ничего не стоит.

— У всех же все по-разному. Никогда не известно, кто сколько проживет, куда метастазы стрельнут. Если в жизненно важные органы, то конец быстро наступает, а если, например, в кости, то это очень болезненно, но живут долго. Иногда и по двадцать лет, это как повезет. Обычно обездвижено, но лежат и кушают хорошо. Правда, обычно отказывает весь малый таз, вся нижняя часть — ею же распоряжается спинной мозг, а он обычно разрушается. Тогда начинается и недержание мочи, и кровавая моча, бывает, льется, ну и пролежни само собой — глубокие, иногда до кости, на крестце же тканей мало. А там, где мяска побольше, возникают гнойные карманы, их надо чистить — гной имеет свойство растворять здоровые ткани. Бывает, как будто вареное гнилое мясо болтается, а мы его ножницами раз — и нету.

— У Достоевского — в «Бесах», кажется — один прогрессист, когда ему изменила жена, сказал: прежде я тебя любил, а теперь уважаю. Но я тебя не просто уважаю — я перед тобой трепещу.

— Ну и глупо. Совершенно нечего здесь трепетать. Это просто моя работа.

— Работа работе рознь. У летчика испытателя тоже просто работа.

— Он же рискует. А мы ничем не рискуем. — Да я бы лучше самолеты испытывал, чем глядеть на это гнилое мясо, трупы под матрацами катать...

— Это так кажется. А поработал бы и привык. Иногда у нас и забавные вещи случаются. На нашем, конечно, фоне. Бывает, у человека метастазы в мозгу или просто интоксикация — он снаружи весь целый, а творит всякие чудеса.

— Метастазы в мозгу — уже смешно.

— Ты ко всему подходишь очень пафосно. Если бы мы так на наши дела смотрели, никто бы работать не смог. Медсестричка мне жалуется: Валентина Александровна, Барбузенко из третьей палаты не хочет почему-то садиться на унитаз, а все пытается сесть на кресло с колесиками. А оно отъезжает. И он гоняется за ним по всей палате. Хотя оно ему не нужно. Мы его передали более тяжелым больным, так он стал писать мимо унитаза. Мы думали, ему это место полюбилось, куда он писает, поставили туда ведро — так он начал писать и мимо ведра: влюбился в тележку и больше ничего не желает. Разве не забавно?

— Со смеху подохнешь.

— Бесплезно тебе объяснять. Люди же должны как-то разгружаться!

— Конечно, должны, я же не против. Просто мне это не дано.

— Один больной постоянно отклеивал калоприемник с живота. Кажется, ясно же, что ничего хорошего оттуда не выльется? А сестричкам каждый раз надо все перестилать — дома же, кстати, ни у кого ни сил не хватит, ни стиральной машины... Девчонки у нас тоже есть чудесные, хотя и они, бывает, поставят свечку, и хоть трава не расти. — У меня мелькает дикая мысль, что свечки они ставят в какой-то церкви, но я тут же понимаю, что дело гораздо проще: — Я им говорю: засуньте палец, попробуйте!.. Ну, так вот, все ему поменяли, все перестелили, а девчонки как ни зайдут в палату, так откуда-то дерьмом тянет. А я догадалась заглянуть ему в тумбочку — а там полная миска. «Зачем», «зачем» — спроси его зачем. Такой иногда идет по коридору и сам не знает куда. Особенно ночью — ночь и правда царство темных сил. Тихие, мирные старушки начинают куда-то рваться, швыряться вещами... Одну девку так ногой в живот саданули, что она головой об стенку треснулась. Приходится иногда их даже привязывать. Но я всегда до последней возможности стараюсь брать лаской, мне строгость трудно дается, а ласка сама собой. Почему все люди так не хотят?.. В общем, лежала у нас очень интеллигентная старушка, всегда чистенькая, всегда «с добрым утром», «спокойной ночи»... У нас же бывает народ и беспардонный, ты ему «с добрым утром», а он тебе «пошла ты туда-то и туда-то»... И вот однажды ночью, я вижу, она сидит в коридоре с вещичками. Скромненько так, но решительно. Я спрашиваю: куда это вы, Анна Николаевна, среди ночи

собрались? А она мне с большим таким достоинством отвечает: я свободный человек, и никто не имеет права меня здесь держать. Я говорю: конечно, конечно, но куда же вы в темноте пойдете, давайте лучше пока что чайку попьем. «Давайте». И вернулась в палату. Я заварила ей пакетик, она еще мягче спрашивает: а вы почему не пьете? Я заварила и себе. Попили, поговорили о том, о сем, и она спокойно легла спать.

— Но она же все равно умерла?

— Ну, конечно, умерла! С четвертой-то стадией!.. Ты хочешь, чтобы мы чудеса творили. А если нет чудес, то и стараться нечего. А я считаю, что если мы подарили человеку хоть одну секунду покоя, хоть одну секунду радости, это уже наша победа! Вот так. А когда один больной сам у себя отнял жизнь... Неизвестно, сколько ему еще оставалось, но он не захотел...

— Вернул творцу билет.

— Не знаю, кому он его вернул, но мы все ходили как пришибленные. Обычно на утренней планерке перебрасываются шуточками, а тут все сидят как на похоронах.

— Но вы же и так всегда на похоронах. Или перед похоронами...

— Ты никак не хочешь понять: мы не хороним, мы спасаем! А тут он нам наш труд бросил в лицо — не нуждаюсь-де в ваших услугах. Ничего они значит в его глазах не стоят. И ты тоже на это, кстати, намекаешь.

— Ну что ты, я наоборот преклоняюсь!..

— Преклоняешься-то преклоняешься, но с таким намеком, что ты умный, а мы дураки. Ну и пускай, я согласна быть глупой, только бы чувствовать себя нужной.

— Совсем нет. Я вас считаю не дураками, а благородными безумцами. Безумство храбрых — вот мудрость жизни. Так этот, который вам бросил в лицо, — он что сделал?

— Наточил нож и перерезал бедренную артерию. И раночка один сантиметр — он был патологоанатом, все очень умело сделал. И почти открыто. Нож у сына попросил будто бы консервы открывать и точил на глазах у всех. Только переложил матрац на пол — будто бы жарко...

— А чем на полу лучше?

— Понятия не имею. Но медсестричка именно кровь на полу ночью увидела — блеснула из коридора. У меня из-за этого первая стычка с начальником вышла. Он говорит: давайте скроем. Я говорю: не буду. Мы же все соучастниками станем. Правда, переписываться, писать объяснительные целый месяц пришлось.

— Веселая у вас... Вы и правда какие-то сверхлюди.

— Какие сверхлюди!.. Когда нас в институте онкологии первый раз повели больных смотреть, я спряталась под стол и не пошла, там же по головам не считали... А потом по шажочку, по шажочку... В больнице тоже каждую ночь найдут, чем тебя развлечь. Одна больная после операции по поводу опухоли мозга выбросилась из окна. Жухлая трава,

а под окном асфальт, и она лежит на асфальте... И что, мы должны все тоже повыбрасываться? Наоборот мы должны искать случая снять напряжение. Недавно у нас в хосписе мужик — три дня до смерти осталось — ходил по женским палатам и взывал: бабы, ну кто мне даст, у меня и деньги есть!.. Инстинкт сильнее всего.

— Да, когда все человеческое убито. Я видел в курской больнице — напротив морга было венерическое отделение. Морг старый, рыжий, вроде гаража, и корпус тоже старый, рыжий, облезлый, да еще жара адская. И в окне напротив морга в венерическом отделении парень с девкой — красные, потные — целуются в засос. Жизнь вроде как сильнее смерти. А у вас же явно смерть сильнее жизни. И мужик этот умирает, и бабы умирают, да и лезет он к ним не от страсти, а от безмозглости...

— Он хоть и от безмозглости, а умнее тебя. Жить нужно и радоваться до последнего вздоха, и ты меня не переубедишь!

— Я знаю. Я хочу, чтобы ты меня переубедила.

— Да как же тебя переубедишь, если ты считаешь, что ты умнее всех!

— Нет, есть кое-кто и поумнее меня. Но они все думают так же, как я. Умножающий знание умножает скорбь.

— Правда, правда. Хорошо, что не все такие умные, а то бы и жизнь прекратилась. Ты бы лучше не у них ума набирался, а у нас глупости.

* * *

Валькино булатное простодушие временами и впрямь придавало мне сил, словно Антею прикосновение к матушке земле, — заставляя вместе с тем чувствовать собственную неполноценность в сравнении с нею. Прежняя нежность к ней пробудилась лишь, когда я снова почувствовал Вальку слабой, — только тогда перед моим внутренним зрением вновь воссияла ее васильки, васильки, васильки.

Перебирая Валькину жизнь, я не раз задумывался: а кем бы сделалась чеховская Душечка, если бы мир в ту пору позволял женщинам развернуться во всю их силу? Через свои медицинские знакомства Валька устроила Травиату в английскую школу, сама сочиняла для нее стишата для лучшего запоминания: ай гет ап эт севен о клок, а не лежу и гляжу в потолок, но после смерти Гены ее рассказы о Травочке начали становиться все короче, формальнее, а мурлыкающая нежность стала сменяться надтреснутыми нотками: в школе Травиата ничего плохого не делает, но ни в чем не участвует — как будто ее нет. И на все попытки выяснить, что с ней происходит, реагирует так же мудро — ни с чем не спорит, со всем соглашается, но все делает по-своему. То есть ничего не делает. А когда Валька пыталась ей пенять — ты же видишь, как я тяжело работаю, ты же тоже должна что-то делать, — опускала на свое беличье личико непроницаемую занавеску.

Бедная Валька, думая, что дело в недостатке догляда, пригласила к себе жить Травиатину мамашу алкоголичку, Вальку — 2, и та даже

согласилась посидеть на ее шее, оставив на Боровой своего нового сожителя вора, и результат не заставил себя долго ждать: однажды, явившись с работы пораньше, Валька застала свою тезку за бутылкой в объятиях красавца с черкесским лицом, а в коридоре была уже приготовлена на вынос стопка нового постельного белья, возможно, уже не первая: я же и сама не знаю, сколько у меня добра, завершила рассказ Валька с мрачноватой усмешкой.

Но больше всего ее поразило, что Травиата крутилась здесь же и явно была в курсе воровских замыслов. В ответ же на упреки начала пропадать из дому, обрекая Вальку на ночные хождения с ее фотографией по милициям и моргам (от дневной работы и ночных дежурств ее, разумеется, никто не освобождал, и давление у нее скоро начало зашкаливать — скоро сдохну, поняла она). В школу Травиата тем более не ходила, и тамошние добрые тетki умоляли Вальку: пусть она хотя бы на экзамен придет, чтоб хоть девять классов у нее было на бумаге, и Вальке на экзамены ее выволочь все ж таки удалось, отмыв и проветрив от фронтовой прокуренности. Где и у кого она раскидывала свой бивуак, так и осталось невыясненным. Судя по всему, их компашка то перебивалась в брошенных домах, то у кого-нибудь на флэту, а иногда Валька замечала, что, пока она была на суточном дежурстве, Травиата приходила, отсыпалась, отъедалась и снова исчезала, прихватив что-нибудь из Валькиного гардероба, так что в конце концов Вальке пришлось запирать платяной шкаф на замок. И каково же было ее удивление, когда из запертого шкафа пропали самые новые и дорогие одежды типа дубленки и кожаного пальто.

Валька не зря всегда восхищалась смышленостью Травиаты: та отодвигала шкаф от стены и вынимала заднюю фанерную стенку. Ну не умница ли?

Конец даже Валькиному терпению пришел конец. Однако выяснилось, что от опеки над Травиатой освободиться еще труднее, чем ее заполучить, тем более что Валька мамаша и ее сожитель вор отнюдь не жаждали обрести еще одного паразита в своем нелегком паразитическом существовании. Травиата же вела очень тонкую дипломатическую политику, никому не возражая, но всем наговаривая друг на друга, а милицейским психологам на всех сразу.

Этот гордиев узел разрубила сама Травиата. В один прекрасный вечер Валька обнаружила дома записку: я с тобой жить не хочу, мы с Гошей е...мся (точки в последнем слове принадлежат отнюдь не автору записки), и я выхожу за него замуж. Оказалось, ради такой редкостной удачи, когда влюбленным счастливчикам удалось разыскать недостающую половинку души в столь ранние годы, закон позволял регистрировать брак с пятнадцати лет. Впоследствии Гоша был тоже Вальке представлен — дурак дураком, и в этом были свои достоинства: неодоушевленные существа не затрудняются поиском не существующих половинок. Гоша занимался тем, что на раздолбанных «Жигулях»

бомбил, то есть подбрасывал туда-сюда всякую небогатую публику, а Травиата целый день каталась с ним.

А потом и след ее затерялся вовсе. Только тогда Валька призналась, что еще и при жизни Гены заботливая внучка могла бросить дедушку валяться на полу в мокрых пижамных штанах и отправиться в веселую компанию.

Валька считала, что всему виной были первые Травочкины вороватые и попрошачные годы, но я думаю, что Травиата просто не выдержала испытания смертью. Пока дома было тепло и весело, почему бы там было и не жить, готовясь в будущем и самой обзавестись таким же уютным гнездышком. А когда в доме поселилась смерть, она тут же и узрела всю тщету земных усилий — чего же естественнее, как не прятаться от собственной незащитности во всяческое одурение? Какое было под рукой — не у всякого же к услугам наркоз долга и высокий дурман мировой культуры! Это так по-человечески — мимо, мимо, — и к живым.

В ту пору Валька после работы ложилась на диван и поднималась только для того, чтобы улечься спать. Ничего не читала, не смотрела телевизор — просто лежала, без мыслей, без чувств, бессмысленно твердя: ай гет ап эт севен о клок, а ночью лежу и гляжу в потолок. Я старался звонить ей почаще, и голос у нее всегда был совершенно мертвый — оживала она лишь тогда, когда я заводил разговор об умирающих. Этой отрады у нее никому было не отнять — кроме нее, они были никому не нужны.

* * *

А вот им Душечка-2 была точно нужна. Умирающие Вальку и воскресили — понемногу она снова начала ходить на работу с радостью: лишь в борьбе со смертью она всегда хоть что-то да могла сделать — притушить боль, сказать ласковое слово...

И тут из каких-то канализационных стоков мегаполиса вновь возникла Травиата: нежная, заботливая — бабушка, как ты себя чувствуешь, тютю-тютю, сю-сю-сю, о наде много раз звонила Вальке, но у нее изменился телефон (почему было не подъехать, адрес же не изменился), она живет уже с братом Гоши, работает кассиром в супермаркете, ее очень ценят, директор собирается направить ее в техникум, а потом в институт, им в руководстве такие люди нужны... Валька подразмякла, но я ей сказал твердо: денег не давай ни в коем случае, жди развития событий. Через месяц Травиночка позвонила снова, снова тютю-тютю--тютю, сю-сю-сю, но Валька простодушно поинтересовалась: а как же техникум, уже ведь август, — и Травку снова как косою скосило. Приходила, видно, разнюхать, нельзя ли у этой блаженной чем поживиться. Но Валька уже нахлебалась досыта — ничего не хочу, устало говорила она, не надо мне ни ее ласки, ни таски, я больше ни от кого ничего не хочу, я хочу только покоя. Единственное, чего хочу — умереть так, чтоб ни мучить

ни себя, ни других. Да мне и мучить некого, все, кто ко мне привязываются, тут же и умирают.

Я не знал, что ей ответить. Сказать, что я готов отстригать ножницами вареное мясо ее пролежней? Сам бы-то я хотел, чтобы мое вареное мясо отстригала именно Валька? Пожалуй, лучше, если бы все-таки она... Если она меня переживет.

И вдруг у меня лягнулось само собой:

— А я уверен, что ты бессмертна. Пока люди будут умирать, ты будешь жить.

Долгая-долгая тишина. И наконец бесконечно растроганный голос, чью музыку не сумела исказить даже телефонная трубка:

— Спасибо тебе. Ты такие хорошие слова умеешь находить...

— Это ты их умеешь пробуждать.

И все. Она снова была слабой и доверчивой, а я сильным и мудрым. И мне доставляло несказанное удовольствие купать ее в нежности и производить регулярные инъекции мудрости — царской водки цинизма на подсахаренной водичке смирения. Хотя я все равно никак не мог избавиться от легкой оторопи из-за ее манеры говорить об умерших (буквально на днях и при ее теснейшем участии!), даже не стараясь изобразить какое-то подобие грусти. Но потом понял: мы напускаем на себя постный вид, оттого что чувствуем себя виноватыми перед мертвыми. А она не чувствует. Потому что сделала для них все, что могла, и знает, что никто не потребует с нее больше.

А жизнь вообще-то и не думала смиряться у врат небытия — пожалуй, даже наоборот вскипала с особой силой, подобно океанскому прибою у прибрежных скал. «Гони доверенность на пенсию». — «Ты ж пропьешь...». — «Давай-давай, а то ходить не буду».

И нельзя сказать, чтоб остающиеся жить кипели в суете сует, а умирающие предавались исключительно думам о вечности. Запомнилась мне старуха, не расстававшаяся с чемоданчиком денег. Вообще-то держать в палатах ценные вещи запрещалось, чтобы не отвечать, если спрут, но у этой бабки чемоданчик было не отнять — она его из рук не выпускала, ночью спала в обнимку. А однажды вдруг Валька увидела, как она раскладывает тысячерублевки по одеялу — сушит. «Что случилось?» — «В горшок упали».

И ни малейшей догадки, что это был намек судьбы на истинную цену денег. Бабка так и отошла в вечность с бабками в обнимку.

А по поводу еще одной бабки явился этакий Джеймс Бонд в камуфляже: «К ней никого не подпускать». Ни мужа, ни зятя — чтоб дом им не отписала. А как их не подпустишь, на каком основании? «Вы меня поняли? Я два раза повторять не люблю». Такой вот начальник охранного предприятия.

А в другой или в двадцатый раз Валька угодила даже в какую-то газетенку, чуть ли не дочурку «Московского комсомольца». Обгадить-

то старались местного депутата и выискали, что прежний хозяин дома, купленного этим самым депутатом, очень уж кстати отправился на тот свет из Валькиного хосписа. К Вальке явился нагловатый журналистика и начал подкалывать ее ядовитыми вопросами, демонстрируя миниатюрный диктофончик на ладони: дескать, не увильнешь, все зафиксируем. А Валька вдруг схватила этот диктофончик и спрятала в карман своего белого халата. Журналистик даже обалдел, столкнувшись со столь бесхитрым обращением с четвертой властью. Отнимать свою вертушку силой он не посмел — Валька могла и охрану вызвать, — так что сначала он угрожал: яде вам устрою!.. — но потом принялся просить, и Валька, естественно, его пожалела — может, у него какие-то там нужные записи...

Ну, он ей и устроил — статья сплошь состояла из одних только намеков, но крайне зловещих: у мертвеца, скажем, обнаружилась кровь под ногтями. Ясно было, что Валька его пытала, хотя впрямую так ничего и не было сказано.

Валька нахлебалась столько нервотрепки с этим мусором и грязной пеной, взбиваемой прибором жизни, что даже когда и не спала, то все равно во сне видела, как бы ей уйти живой со своего главврачества. Особенно когда от нее потребовали заверить вымученное из умирающего завещание — оказывается, главврач имеет право на пороге смерти заменять нотариуса. Но тут уж она уперлась рогом — не буду, и все, — что хотите, то и делайте!

Отстали. Она ведь в главврачихи попала по чистой случайности — не тотчас познанной закономерности, заключающейся в том, что прежний главврач Кочетков рано или поздно и должен был сесть за взятки и махинации с наркотиками: это был сорокалетний дурак с замашками неотразимого красавца мужчины и наружностью облезавшего Ваньки гармониста, а на этом месте мог усидеть лишь очень умный человек.

Он и пришел — отставной медицинский полковник, заслуженный неизвестно за какие заслуги врач и проникновенный обольститель как женщин, так и мужчин: даже в телефонные разговоры он вкладывал столько нежности, что казалось, еще мгновение — и на его посеребренные усы скатится скупая мужская слеза. Экстерьером он был лишь самую малость ухудшенной копией спикера Государственной думы Грызлова, представлявшегося Вальке образцом деловой элегантности. Чем он еще пленил Вальку — необыкновенного изящества руками: тонкие длинные пальцы, граненые ногти... Человек с такими ногтями просто не мог не быть аристократом духа!

Он раскусил Вальку, даже не пуская в ход зубы, но лишь пару раз лизнув: на имитацию доверчивости и простодушия Валька покупается проще, чем щенок на сосиску. (Некстати вдруг всплыла перед глазами замызанная баба с такой же замызанной собакой в ночном метро: баба сует ей под нос замызанную сосиску и поясняет: у нее ноги больные, без сосиски она не пойдет.) Правда, во время доверительных

бесед на кожаном Кочетковском диване, на котором прежний хозяин царства смерти в рабочее время трахал свою осведомительницу Галину, Грызлов-2 допустил пару проколов: про сына, только что окончившего военно-медицинскую академию, сказал, что он за сына спокоен — тот знает, где надо промолчать, а где зубы показать; про доносчицу же Галину, чьи попытки стучать в начале своего главврачества Вальке пришлось резко пресечь, произнес с самой своей изнемогающей от преданности интонацией: «Миленькая вы моя, такие люди тоже бывают полезны». Однако осмыслила Валька эти проколы только задним числом.

Когда же новый хозяин достаточно изучил распахнутую всем теплым ветрам бесхитростную Валькину душу (я же Стрелец, сетовала Валька, а Стрельцы все так прямо и рубят), пришла не вражда — разочарование: Грызлов-2 понял, что бизнеса с ней не сваришь, и доверительные беседы прекратил — до Вальки просочился лишь один его огорченный отзыв: «Инфантильная».

Разочарование нового босса на первых порах не принесло никаких неприятностей ни живым, ни полумертвым: Душечка — 2 оставалась в чине начмеда, сохранив за собой полное право совать нос и пальцы во все естественные и противоестественные отверстия, в которых ей чудилась какая-то недоработка, и высматривать своими васильковыми глазками, не затаилось ли где пренебрежение человеческой болью. И даже босс ее ценил, поскольку все-таки чем меньше кричат умирающие и их близкие, тем спокойнее и ему самому.

* * *

И тут явилась Валька-3 (у Вальки была способность притягивать к себе других Валеков), у которой уже на третьей неделе работы в хосписе сорвалось торжествующее: «Ну все, теперь я знаю, кому здесь и как лизать».

— Мордочка у нее симпатичная, — признавала справедливая Валька, — но остальное во все стороны раза в полтора толще меня. Бабы говорят: она как выложит перед ним на стол свои торпеды... Хотя я считаю, они у нее больше похожи на половинки хорезмских дынь. Но его дынями не возьмешь. Он когда брал ее на работу, иногда еще пускался со мной в откровенные разговоры. И восхищался: она построила двухэтажный особняк в Ушкове! Ты понимаешь? Его не интересует, какой она доктор, а интересуется, какой у нее особняк! А какое у нее может быть клиническое мышление, если она в терапию из психиатрии перебежала!

— Зачем же она перебежала, если там особняки раздают? Кстати, за какие заслуги?

— Откуда я знаю! Может, Кого-то дееспособности за деньги лишала, а кому-то восстанавливала. Может, справки выдавала о неменяемости для судебных органов. Может, от этих органов и сбежала — я этого не знаю и знать не хочу! Это мерзость!!

Засовывать палец в посторонние задницы, внюхиваться в незнамо чью мочу — это с нашим удовольствием. А поинтересоваться, как серьезные люди делают бабки, — это для нее слишком мерзко.

Наконец-то и Новая Душечка отыскала в мире что-то по-настоящему мерзостное!

Однако серьезные люди не могли допустить и мысли, будто кто-то может не сгорать от желания что-то пронюхать об их соблазнительных тайнах: Вальку быстро перевели подальше от серьезных дел, на выездное обслуживание — шуку бросили в реку, к страдальцам, которым, кроме нее, было совсем уже не на кого рассчитывать. Единственное, что было плохо — выделили всего одну помощницу, приехавшую в Питер на ловлю счастья и заработка из родного Пошехонья, а транспортное средство приходилось вообще каждый раз выколачивать заново, так что, как она ни выматывалась в качестве приходящего ангела без крыл, спрос на нее уходил от предложения все дальше, дальше и дальше.

И Валька была скорее даже ошарашена, чем оскорблена, когда этот неудовлетворенный спрос ей начали ставить не в заслугу, а в вину. А потом ее помощница буквально упала в ноги, пытаясь обнять Валькины перетруженные от неработающих лифтов колени, и, рыдая, начала умолять снизойти к ее слабости: Грызлов-2 и Валька-3 заперли дверь на ключ и объявили, что, пока она под их диктовку не напишет на Вальку докладную, они ее не выпустят. Разве что прямоком в родное Пошехонье. И она написала...

Разумеется, Валька не могла не снизойти к бедной девушке, напоминавшей ей сразу и покойного отца и покойного мужа, и не стала поднимать скандал, когда правящий дуэт предложил ей — доктору высшей категории! — перейти в рядовые дежуранты: на нее был уже выбит из коллег целый чемодан компромата.

Отнесись к этому рационально, делай только то, что тебе выгодно, каменя от бессильной ненависти, пытался я пробиться к Валькиной расчетливости, но она все повторяла потерянно: «За что?.. Ну за что?.. Я же так старалась...»

— Валюшенька, милая, ты же знаешь, что раковые клетки стараются все пожрать ни за что. Просто они так устроены — пожирать, пока есть что жрать. Ну хорошо, хлопни дверью, дай публичную пощечину, но только не сегодня и не завтра, а послезавтра. Договорились? Сделаешь, что хочешь, но только послезавтра.

Я знал, что Вальке с ее васильковыми глазками не по силам бороться с мастерами интриг и склок, и желал лишь отсрочки, чтобы она успела осознать свое бессилие.

Добившись ее полумертвого обещания, я позвонил Угарову и предложил ему продемонстрировать всей России наш лакотряпочный гуманизм, открыв образцово-показательный хоспис — у меня есть для него потрясающий доктор, а менеджера мы поставим сами. Хохот

Угарова в трубке звучал абсолютно ненаигранно: ну, ты придумал, да это же такая антиреклама, про нас все конкуренты будут говорить, что мы саваны производим, нет, дорогой мой, надо угождать молодежи, потребителям, а не покойникам, ну, спасибо, развеселил, а то я с утра был на нервах.

Взывая к несуществующей Валькиной рациональности, я прекрасно понимал, что счастье человеку, а женщина человек вдвойне, приносят не выгоды, а ощущение себя красивым и значительным, и после Угарова я сразу же позвонил Вальке на мобильный, чтобы впрыснуть ей удвоенную дозу значительности и красоты. Но оказалось, что это уже сделал вместо меня маленький армянин по фамилии Тигранян: похоронив мать, он на следующий же день подарил Вальке похожую на баночку из-под чая музыкальную шкатулку с выгравированной надписью «Самому лучшему доктору на свете!».

— То есть мать умерла, а он тебя все равно благодарит?..

— Ну, он же видел, как другие доктора с ней обращались и как я, — Валькин голос звучал совершенно детской мурлыкающей гордостью. — После меня она начала улыбаться, садиться... Я поняла: мне нужно заниматься только больными. А ко всей ихней мерзости просто не прикасаться.

С этой минуты на Валькину душу действительно снизошел мир. Она словно бы спустилась в непроницаемые для взора океанские глубины человеческой боли, а пена и грязь остались на поверхности. Особенно чистой она ощущала себя во время ночных дежурств, когда всю мерзость людской алчности и хитрости уносила ночная тьма и Валька оставалась среди незамутненных страданий и бесчистотного безумия. Но и днем она старалась держаться подальше от той паутины, в которой суежилась и распорядилась Валька-3, откуда главный паук из своего кабинета целыми днями высматривал, на какой машине подъехали просить комфортабельного упокоения родные и близкие будущего покойника и какую, стало быть, мзду с них за это нужно запросить. (Однако же, на плакате по технике безопасности с изображением толстухи в белом халате кто-то пририсовал только жирную подпись «ВАЛЬКА», на титьках изобразив по знаку доллара — почему-то на глав-паука наглядная агитация не покушалась, а разъяснений, какая Валька имеется в виду, тем более не потребовалось.)

Теперь наличие свободных мест в этом преддверии Аида сделалось строжайшей военной тайной, за разглашение которой свободно могли и отправить в расход, — на все вопрошающие звонки полагалось отвечать одно: «Обратитесь к главному врачу». Однако привозили умирающих лишь после интимной беседы с Валькой-3: умный Грызлов-2 не осквернял своих аристократических пальцев непосредственными контактами с клиентурой. Вальке было совестно, что она все это видит и не протестует, но я разъяснял ей, что видеть она ничего не видит, юридически доказуемых фактов у нее ноль целых

хрен десятых, а человеку вообще нужно знать пределы своих сил и не замахиваться на большее.

— Ты же готова бороться за каждую лишнюю секунду, пока человек еще жив, но когда он попадает в лапы смерти ты уже смиряешься, правильно? Вот они и есть точно такая же смерть, тебя обманывает только их человекообразная внешность. Запомни: все животные действительно животные. Но не все люди действительно люди.

Однако совсем не выныривать в царство живых и энергичных Валька все-таки не могла. Иногда ей нужно было заглянуть в чью-то историю болезни, выяснить, какое впечатление страдалец производил при первом появлении, какие симптомы у него разглядели, и если ей приходилось вчитываться в заключения Вальки — 3, она каждый раз убеждалась, что та просто переписывала симптоматику из справочника фельдшера.

— Чего она роется в историях моих больных!?. — бушевала Валька-3, но только за Валькиной спиной, чувствуя, что когда речь идет не о бабках и амбициях, а о страдающих людях, эта дурочка может зайти даже трудно сказать, насколько далеко.

Валька под моим пекущимся прежде всего о ее выживании руководством тоже изливала свое негодование лишь в телефонную трубку:

— Ты представляешь, у тетки диабет, а она назначает одно только обезболивающее!

— Но тетка же все равно обречена?..

— Вот ты опять! Да откуда нам знать, как будет протекать ее болезнь, если купировать диабетную симптоматику!! Да даже и не в этом дело — не наше дело рассуждать, кто обречен, а кто не обречен, а наше дело делать ЧТО ПОЛОЖЕНО! Я иногда чувствую себя каким-то муравьем или пчелой — на что я запрограммирована, то я и должна делать. А эту... не знаю, как ее назвать... как-то не на то запрограммировали!

— Солнышко мое, человека невозможно запрограммировать, он обладает свободной волей. Проще говоря, у него есть своя голова на плечах.

— Значит я не человек. И слава богу. У меня на плечах голова моих учителей. Которые меня учили, что я всегда должна делать то, что должна. И когда я делаю, я чувствую себя спокойной. А когда не делаю, то муцаюсь.

— Значит ты и есть идеальная женщина. Которая до седых волос остается хорошей девочкой. И даже становится еще лучше, когда молодые глупости проходят. Я бы пожелал тебе, чтобы ты всегда такой оставалась, но я уверен, что ты и без меня не переменишься.

— А почему мы с тобой совсем перестали гулять? Помнишь, мы гуляли по Неве, ты мне читал Блока?

— Еще бы не помнить — не так много было таких прогулок. На непроглядный ужас жизни закрыой скорей, закрыой глаза.

— Разве там так было?

— Было не так. А стало так. Ты такая доверчивая, что просто грех тебя обманывать.

— А все почему-то обманывают...

* * *

В метро среди рекламы бросилось в глаза страдающие личико малыша: «Дети больные раком ждут вашей помощи». И заливчатский росчерк: «Помогать легко!» В Валькиной прихожей на тумбочке меня тоже встретил ликующий заголовок «Детская смертность снизилась!» — в этой оптимистической газетенке Вальку и пропечатали как убийцу в белом халате.

Детская смертность так ударила в глаза, что я лишь после нее увидел, до чего же Валька постарела... Но и как же она облагородилась! Только добрые-предобрые васильки, васильки, васильки сияли своим прежним детским светом среди непривычного аристократического увядания. Что она увидела во мне, не знаю, но мы оба смутились и впервые коснулись друг друга самыми краешками губ. И тут же отпрянули.

Я задержался в проходной комнатенке, чтобы припомнить полузабытые фотографии. Бравый отец в пилотке со звездочкой и военной форме (советской, невольно отметил я), смеющаяся мать в воспитательском халате, юный, но до крайности серьезный пышнобровый Гена в бескозырке, маленькая Травиата в праздничном школьном переднике. Блестящие беличьи глазки ничего не выражают, только смотрят, только поблескивают.

— Правда, хорошенькая? И глазки такие добрые, — пыталась заглянуть мне в глаза Валька, и я ответил «да», указав на ее покоробленную и линиящую чёрно-белую фотографию в узорчатой рамке гипса под бронзу на новеньких обоях под Версаль, из-под которых все проступали и проступали неумолимые разводы молочного супа.

— А кот — смотри, как по-доброму он на тебя смотрит!

Заматерелый рыжий котяра Соленко недвижно возлежал на вытертом парчовом кресле, устремив на меня тяжелый ненавидящий взгляд, но после этих слов принялся драть линиящую парчу, по-прежнему не сводя с меня ненавидящего взора.

— Ну что ты, что ты, глупенький, это же друг, друг!..

— Я его понимаю. Я тоже ненавижу твоих друзей.

— Как твои дети? — перевела Валька на другую тему, но я видел, что она польщена.

— О детях либо хорошо, либо ничего.

— Неужели так плохо?

— А что это у тебя за цветы такие пышные? Прямо лилии полевые...

— Я принесла цветочный горшок с помойки, а из него вдруг росток проклюнулся, из остатков земли. Я стала его поливать, и вот,

пожалуйста. Только ни у кого не могу узнать, как он называется.

— Ты и на помойке найдешь какую-то красоту.

В «гостиной» все было по-прежнему, но древесностружечная полировка, казалось, всплыла из какого-то полузабытого сна. Где я видел и этих Валькиных подруг, которых, оказалось, все-таки вспомнил, несмотря на то, что взгляд мой приковывали к себе вилкиостроги Валькиных «друзей». Старенькие девочки сидели за чаем, но, увидев меня, тут же засобирались, чтобы нам не мешать. Я, однако, поспешил усадить их обратно: что вы, столько лет не виделись, как же, мол, можно так сразу — я знал, что все они уже целые десятилетия лишены мужской ласки и, один за всех, постарался каждой из них показать, что целые десятилетия каждую из них помню и тайно восхищаюсь: одна мне запомнилась снегурочкой, другая герцогиней, третья умницей, и мне не приходилось лгать — достаточно было осознать чудовищный контраст между тем, чего они заслуживали, и тем, к чему пришли. Каждая из них была драгоценностью собственного рода даже и в своем служении страдающим людям — и каждая была оттеснена на собственную обочину новыми хозяевами жизни.

И каждая по-своему расцвела, увидев, что она по-настоящему интересна такому интересному мужчине, о котором Валька наверняка давно прожужжала им все их аккуратные ушки. Они и до меня были настроены благостно после совместного культурного мероприятия — посещения родительских могил (этих институтских подруг теперь породнило еще и общее кладбище), а после моего воодушевляющего душа они распрощались вообще в прекрасном настроении.

— Слушай, — оторопело обратился я к Вальке, когда мы остались одни, — ведь все они действительно интересные женщины, они действительно заслуживают любви и восхищения — но где же их мужчины?..

— Где, где — пьют. А к нашим годам еще и помирают.

— М-да, долюшка русская, долюшка женская... И жизнь твоя пройдет незрима, в краю безлюдном, безымянном, на незамеченной земле... Ты хотела стихов — вот тебе стихи.

— А дальше?

— Как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном в осенней беспредельной мгле. Но это не про тебя, ты бессмертна

И осенняя беспредельная мгла над ржавой осенью была исполнена красоты и значительности, когда мы с Валькой брели под руку (я старался поддерживать ее посильнее, видя, как она бережет больные колени, немножко даже переваливаясь с боку на бок, подобно добродушной маме-утке) среди множественных новообразований — кирпичных особняков, фабричонок под средневековый замок.

«Правда, красиво?» — пыталась заглянуть мне в глаза своими васильками простодушная Валька, и я проникновенно кивал, хотя

архитектурная фантазия ощущалась только в кованых решетках, и впрямь закрученных каждая на собственный лад. Все особняки были обращены к лесу задом, а к нам передом, и потому приходилось дожидаться просвета в их армейской шеренге, чтобы осторожно относиться к руке и углубиться в лес по тисненым хвойным золотом относительно сухим тропкам среди набрякших влагой настырно, назло осени зеленеющих мхов.

Я старался удаляться с предельной деликатностью, каждый раз быстро догоняя статную переваливающуюся фигуру в черном брючном костюме, но Валька уже после третьего раза начала беспокоиться:

— Ты что так часто бегаешь? У тебя высокая остаточная моча?

— Пусть это останется тайной нас двоих. Меня и ее.

— У тебя ее много выходит за один раз?

— Не знаю, я не взвешивал.

— У тебя что, аденома?

— Смотри, какой простор! Полюби эту вечность болот!

— Не увливай, я же медицинский работник! Аденома?

— Гиперплазия, если тебя это так интересует.

— А это не одно и то же? Ладно, разберемся. И что ты принимаешь?

— Какая ты приставучая. Ну, фокусин.

— Фокусин — это не лекарство, он только симптомы снимает. Тебе нужен другой уролог, твой уролог просто пофигист. Выписывает, чтобы отвязаться, не у него же болит!

— Если бы ты была урологом, я бы пошел к тебе. А остальной мир весь состоит из пофигистов.

— Вот и неправда, нельзя так сразу впадать в безнадежность, нужно искать! Ладно, я подумаю, что с тобой делать. А как ты выходишь из положения, когда нет лесочка под рукой?

Я хотел скаламбурить, что лесочек мне нужен не под рукой, а под кое-чем другим, но воздержался, чтобы наконец перейти к чему-нибудь более возвышенному.

— Солнышко мое, мы так давно не виделись — неужели нам больше не о чем поговорить?

— А что есть важнее, чем здоровье? Терпеть очень вредно, тебе нужно носить памперсы.

— Лучше умру. Вернее, когда буду умирать, тогда и надену. Вернее, ты на меня наденешь. Так мы наконец и соединимся.

— Не болтай глупости. А вот и он, мой дом — узнаешь? Мы тогда шли к нему длинным путем, а теперь пришли коротким.

— Тогда мы шли социалистическим путем, мимо ленинского сарая, а теперь пришли капиталистическим, мимо особняков.

Я еще мог шутить, отыскивая взглядом Валькин особняк Фаберже и не узнавая его в почерневшем двухэтажном бараке, осевшем на все четыре ноги и зиявшем угольно черными дырами выбитых вместе с рамами окон. Только перебитые голени балясин да покосившиеся дурацкие

колпаки башенок еще серели какими-то потугами на былое изящество. Бульжник дорожек скрылся под грязью, ручей рассосался среди выползших из лесу мхов, а ели, когда-то косившие под кипарисы, разрослись и обвисли мокрой хвоей, словно морской прибрежной плесенью.

Не чуя не только ног, но и руки, на которую налегала моя спутница, чувствуя только, что какая-то сила несет меня к разлагающемуся трупу Валькиного родного дома, я вдруг услышал, как мои губы сами собою беззвучно проговаривают: «Сердце дома, сердце радо, а чему? Тени дома? Тени сада? Не пойму. Сад старинный, всё осины — тощи, страх! Дом — руины... Тины, тины что в прудах...»

Прудов здесь не было, но тиной были увешаны мокрые ели, а мои губы все шевелились и шевелились: «Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!.. Прах и гнилость... Накренилось... А стоит...»

«Чье жилище? Пепелище?.. Угол чей? Мертвой нищей логовище без печей, — вдруг гулко подхватил дом. — Ну как встанет, ну как глянет из окна: взять не можешь, а тревожишь, старина!» Мои губы уже замерли, а дом все гудел: «Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть! Любит древних, любит давних ворошить...» Он гудел все строже и грознее: «Не сфальшивишь, так иди уж — у меня не в окошке, так из кошки два огня. Дам и брашна — волчьих ягод, белены... Только страшно — месяц за год у луны...»

Голос дома нарастал и крепнул: «Столько вышек, столько лестниц — двери нет... Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?..»

— Что, что ты бормочешь? — встревоженно теребил меня Валькин голос, и я его наконец расслышал.

И приложил палец к губам:

— Тсс... ни слова... даль былого — но сквозь дым мутно зрима... Мимо, мимо... И к живым!

— Это стихи! — радостно догадалась Валька. — А ты знаешь Марка Лисянского?

— Кто же не знает Марка Лисянского — дорогая моя столица, золотая моя Москва.

— Я его ужасно любила, даже сейчас многое наизусть помню. «Возвращаться в те места, где ты молод был, печально» — как тебе?

— Здорово.

— А это? «Человек богат не наследством, а своим босоногим детством».

— Потрясающе!

— Ты не шутишь?

— Ну что ты, очень здорово.

— А вот это? «Был ветер в детстве вкусным, и снегом пахло мыло, и то, что стало грустным, веселым в детстве было».

— Прелестно.

— Я и сейчас во время дождя, бывает, иду и повторяю: а я иду, дышу и радуюсь, и гром, и дождь благодарю, и верю, что жар-птицу радуго,

поймаю, людям подарю. А когда вдруг станет грустно, вспоминаю: просто сумрак в доме, и взгрустнется, просто день как стершийся пятак... Ведь хорошо — как стершийся пятак?

— Изумительно.

— Ты надо мной не смеешься?

— Нет, растроганно улыбаюсь.

— А это на моего папашу похоже, но я все равно часто повторяю: умирает все, что лживо, заживают раны, побеждает справедливость поздно или рано.

— Валенька-Валюша, а ты знаешь, что ты чудо?

Мы стояли лицом к лицу, окруженные могильным дыханием умершего Валькиного детства, и ее васильки, васильки, васильки в надвигающихся сумерках светились доверчивостью и любовью. И мы, словно по команде, порывисто обнялись и принялись самозабвенно (чуть не сказалось: остервенело) целоваться. Ее крошечные губки раскрылись, словно бутон, и, впиваясь в меня страстным поцелуем, казалось, безостановочно что-то бормотали. А в моих ушах продолжало звучать: мимо, мимо, и к живым, мимо, мимо, и к живым...

Наконец мое дыхание иссякло, и я осознал, что грудь моя переполнена нежностью, но страсти уже давно нет. И пробудить ее невозможно.

Мы откинулись друг от друга, с растроганной улыбкой посмотрели друг другу в глаза и не сговариваясь счастливо вздохнули:

— Вот старые дураки!..

А потом Валька припала ко мне на плечо и дважды нежно чихнула, будто кошка: щи, щи.

И, взявшись за руки, мы побрели обратно. Ручка ее была очень маленькая и теплая, и мне не хотелось ее выпускать, но я чувствовал, что Вальке больно ступать, и снова предложил ей руку: «Опирайся посильнее, не церемонься. Да, кстати, как поживает твоя Катька Фаберже?» — «Катька давно умерла. Рак груди. А потом метастазы в мозг». — «Нормально». — «Это не так страшно, как тебе кажется. Ты должен у нас побывать — сам увидишь, как у нас все чисто, уютно. Ты же бываешь в больницах? А это такая же больница, только лучше. У нас в хосписе вообще хорошо — в холле всякие растения, крылечко с вазами, каштановая аллея, вокруг частные домики, яблони, — я сейчас часто яблочками из окна люблюсь — они на солнышке так и светятся. Только труба у нас очень большая — как в крематории. Одна старушка — она уже до последнего все козу доит, в огороде возится, — она никак не хочет к нам переезжать: у вас там, говорит, людей сжигают. Я говорю: откуда вы такое взяли, Клавдия Никифоровна? «А зачем у вас такая труба?» Вот и ты как эта Клавдия Никифоровна.

— Трубу я, пожалуй, еще перенесу. А вот за каштановую аллею не ручаюсь — дорогу в ад нужно оформлять без лицемерия. В Освенциме это понимали.

— Какой Освенцим! Я же тебе говорю: у нас хорошо! Одну

интеллигентную женщину на днях привезли, так она попросила носилки поставить на асфальт, подняла каштановый лист и положила себе на грудь. И тихо-тихо так говорит неизвестно кому: я же их больше не увижу... А я ей говорю: ну что вы, Софья Львовна, вы еще в окно и на каштаны, и на яблони посмотритесь!

* * *

И я их действительно увидел — и пятипалые листья каштана на аллее, нацелившие когти кто в асфальт, а кто в сумрачное небо, и скрюченные ревматизмом яблони с лакированными вишневыми яблочками за сетчатыми заборами, и квадратную коренастую трубу из почерневшего от дыхания смерти кирпича, — точно такую, как мне и грезилось — прямиком из Освенцима. А сама промежуточная зона меж миром живых и миром мертвых изнутри была и впрямь точь-в-точь маленькая районная больница, только белая-белая, и притом не белая известью, а щедро выкрашенная под слоновую кость масляной краской, какую в пору моего детства не жалели только на спинки кроватей. А новенький линолеум на полу был почти неотличим от кафеля царскосельской туб-больницы номер три в пору его дореволюционной юности.

Валька в белоснежном накрахмаленном халатике, уютно переваливаясь, скользила по новеньким шахматным клеткам, раскланиваясь налево и направо. «Валентина Александровна, ну кто мне даст?..» — скорбно воззвал к ней беззубый аскет в дохнувшей нам в лицо нафталином блекло-голубой полосатой пижаме, и Валька ласково погрозила ему своим пухленьким пальчиком, тут же переключившись на бледного одутловатого дяденку в буро-медвежьим ворсистом халате: «Андрей Семенович, зачем же вы снова каллоприемник отклеили? Скажите в сестринской, чтобы вам снова его подклеили». Только после этого нас обдало облаком зловония, и я понял, что Андрей Семенович несет в глубокой тарелке перед собой отнюдь на кабачковую икру. «В туалет, в туалет!..» — помахала ему в нужном направлении своей миниатюрной ручкой Валька и поспешила закрыть дверь в небольшую сверкающую белизной палату, где я успел разглядеть на железной кровати мумию в очках, держащую в иссохшей коричневой ручке мумию пятипалого каштанового листа, нацелившего свои бронзовые когти прямо в ее коричневое личико.

— Клавдия Никифоровна, Клавдия Никифоровна, куда же вы с козой, козу надо оставить дома, Никита, зачем же ты пропустил?.. — уже более строго попеняла она плечистому седовласому ветерану внутренних войск, облаченному в черную форму американского полисмена, чья феминистическая выучка не позволяла ему применить силу к верткой бабке в подпоясанном солдатским ремнем истертом ватнике.

Зато бабка со своей козой нисколько не церемонилась, волоча ее за рог и щедро награждая пинками потрескавшихся резиновых сапожек. И

после Валькиного замечания Никита тоже повлек бабуку к выходу за ватный локоток довольно уверенно. Бабка не противилась, зато коза гневно заблеяла.

Валька же тем временем завела меня в какой-то закуток, нежно нашептывая мне на ушко щекочущими губками: у нас сейчас уролог здесь, я с ним договорилась, он тебя посмотрит, Игорь Сергеевич, это тот пациент, о котором я вам говорила, не бойся, все будет хорошо — и поддихнула меня дверью.

Урологи, подобно Розе Кулешовой, смотрят пальцами. Опустите штанишки, обопритесь локотками на кушетку, «о, черт!..», ничего-ничего, одевайтесь; вы готовы? Валентина Александровна, можете войти. Ну, что вам сказать — простатическая интраэпителиальная неоплазия, инфравезикальная обструкция, антигены, урокультура, адреноблокаторы...

— Короче говоря, ты у нас должен остаться. Ничего страшного, мы тебе выделим отдельную палату, я тебя буду каждый день навещать, а пока надень вот это, — и Валька, расстегнув две верхних пуговики, достала из-под халата памперсы, такие же васильковые, как ее глаза.

Теряя сознание от ужаса, я рванулся к двери, но в дверях уже прочно утвердился сторож Никита:

— Не заводите беспорядков! Нехорошо!

* * *

— О чем ты задумался, ты что так побледнел? — наконец расслышал я встревоженный Валькин голос и ощутил ее теребящую руку.

— Так, пригрезилось... Не знаешь, на чем тут можно посидеть?

— Да хоть на крылечке — только подстелить нечего. Я тебе говорю: у нас очень уютно, приходи, сам увидишь.

— Да нет, со смертью нужно встречаться, чтобы с нею бороться. А глазеть на нее нечего. Я уже на твой дом нагляделся. Обопрись-ка на меня как следует да и поплетемся с богом.

Мимо, мимо, и к живым.





Жан Бахыт (Бахытжан Канапьянов) /Казахстан /

Родился в 1951 году. Поэт, прозаик, кинодраматург. Автор многих книг, вышедших в Казахстане, России, Украине, США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Малайзии, Турции, Польше, Сербии, Хорватии. Лауреат многих литературных премий, среди которых Государственная премия Казахстана им. Абая. Один из авторов учреждения Всемирного дня поэзии. Живет в г. Алматы, Казахстан.

* * *

То ли горы ближе стали,
То ли я к ним подхожу.
Без обиды нет печали,
Мне бы выйти к шалашу.

Затеряюсь среди веток,
Растворюсь в зеленой тьме.
Затоскую крепко-крепко,
Вспомню с грустью о тебе.

Липкая смола от ели
Капнет на дымящий чай.
Будет мне земля постелью,
Там, где близок неба край.

КОНИ

Из города мальчик родом.
В ауле ни разу не был.
Он даже коней не видел,
Разве что на картинках,
Да вот еще на экране
Черно-белого телевизора.
Однажды отец мальчишки,
Где-то в конце недели,
А если точней – в субботу,
Решил повести сынишку

На джигитовку в цирк.
Увидел мальчик впервые
В жизни живых коней.
Вскакивая над креслом,
Глядит изумленно мальчик,
Как цирковая лошадь
Дает по арене круги.
Наездник – его ровесник –
Такие выделял штуки
Под туловищем и шеей
Безропотного коня.
И только отец мальчишки
С грустью смотрел на это,
Далекое детство вспомнив,
Откуда примчался конь.
А мальчик глядел, смеялся.
А кони неслись по кругу,
А то, что отцу было грустно,
Мальчик не замечал.

ДОЦИФРОВАЯ ЭПОХА

Засняли – мелькнули шторы.
Фотограф седой – учтив.
Быть белой душою в плёнке,
Когда она – негатив.
В скрытой камере виден каждый,
Все вобрал в себя объектив.
Но белой душою в стоп-кадре
Обозначится негатив.
Знать, раньше иного срока
Перед всевидящим оком
Грехи небесами отпущены.
Душа моя белая сушится,
Пленкою свесясь раскрученной.
Где белой души мгновения
Преломлялись сквозь призмы,
Период пройдет проявлений
В лабораториях жизни.
И вот вам – цветной портрет.
А белого света – нет!

СТАРАЯ АЛМА-АТА

Н. И. Овчинникову

Природой сотворенный сад камней
Меж горных речек двух – Алмаатинок.
Там засмотрюсь на тишину снежинок,
Прислушаюсь к дыханию огней.

Мне в мире нет и не было родней
Той улочки, где чёрно-белый снимок
Всплывал из ночи памяти, а в ней
Звон под карнизом родниковых льдинок.

И в рифме “горы – город” есть ландшафт,
Там в мамин я закутывался шарф
В одном из обживаемых ущелий.

Пугасов мост. Фуникулер. Базар.
Кресты могил, и на холме мазар –
Сквозь голубые царственные ели.

АЛМА-АТА

Искандеру

Алма-Ата, зеленый город мой,
К подножью гор прильнувшая столица,
Меня благословила в путь земной.
И детства сад опять в разлуке снится:
Вот яблоко свисает надо мной,
Вот солнца луч сквозь толщу крон струится,
И в памяти встревоженные птицы
Расправят крылья за моей спиной.

Жемчужина в оправе диких гор,
И сквозь листву мне виден твой узор.
Я сердце распахну ночной прохладе.
У речки, где не слышно пышных фраз,
Не выставляя чувства напоказ,
Твой образ где-то там живет – во взгляде.

ВСЛУШАТЬСЯ- ЗАСЛУШАТЬСЯ

Погружаешь пальцы
В ящик светлой музыки.
Чёрно-белых клавишей
Возгласы слышны.

Все,
Что было случаем,
Освещает музыка:
Вспомнилась мне
Улица,
Встреча у сосны.

Чем с обидой хмуриться,
Лучше мне прислушаться,
Вслушаться – заслушаться,
Встретиться с тобой.
За окном вся улица
Фонарями щурится,
Чтоб не вышла в будущем
Встреча стороной.

Пальцы твои тонкие
Отведу от ящика.
Прекратится музыка,
Улица молчит.

Фонари всей улицы
Освещают ярче нас,
Или эта музыка
В нас уже звучит?

Чем с обидой хмуриться,
Лучше нам прислушаться,
Вслушаться – заслушаться
Возле той сосны.
За окном, где улица,
Бродит наша музыка,
Чёрно-белых клавишей
Возгласы слышны.

НАША ЖИЗНЬ

Гульнар

Быть может, пробил исповеди час,
Когда в найтишайший этот вечер
Мелькнуло ненароком между фраз
Мгновение той нашей первой встречи.

Быть может, глубина печальных глаз
Таит все то, что боль мою излечит.
Какая тяжесть нам легла на плечи?..
Своя судьба у каждого из нас.

Твоими я слезами обжигаюсь.
Люблю, грущу, смеюсь, целую, каюсь.
И ни к чему нам уходить в мечты.

Вот – наша жизнь! Она объединяет.
И нас самих друг другу объясняет.
С ней до последней мы дойдем черты.

ВЕТЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Да хранит тебя – когда я вдалеке –
Светлое мое воспоминанье,
Ветром поглощая расстоянье,
Прикоснется ветерком к твоей щеке.

Да хранит меня – когда ты вдалеке –
Образ твой. Минуя расстоянье,
Прикоснется он к лицу – щека к щеке –
Легким ветерком воспоминанья.

Быть может, бродят ветры жизни брэнной –
И мысли о любимых в наши сны
Дорогою выносят сокровенной

При свете звезд во мраке тишины.
Разрозненные судьбы по Вселенной
Собой соединять – обречены.

СТОЛИЧНЫЙ ВЕТЕР (из студенческой тетради)

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души.
О. Мандельштам

С единственным рублем в кармане
Гуляю по ночной Москве.
Меня при встрече не обманет
Великодушный старый сквер.
Он отчеканит золотые
Из черных крон.

И этот дар
Швыряю я на мостовые –
Как самозванный государь.
Столичный ветер,
мне знакома
Твоя гуляющая мощь.
И мне не отсидеться дома
В такую ночь,
В такую ночь!
На Пушкинскую площадь выйду
И растворюсь в твоей толпе.
Я сущности своей не выдам:
Мне плакать хочется и петь.
Прохожая толпа, родная,
Разноязыкая толпа,
Тянулась к центру ты от края,
К тебе ведет моя тропа.
Я к твоему склонюсь граниту
И машинально закурю...
Тебя,
Мой город-повелитель,
Рублем последним одарю,
И до отчаянья последним
Мятежным выдохом души.
И, неизвестный мне посредник,
Меня назвать ты не спеши.

ОСТАНКИНО

Встает державный шпиль бетонной телебашни,
Над городом пространств так распахнув крыло,

II

Наше прошлое спит, и мало нам вашего взгляда,
Чтобы его нанести на скрижали грядущих эпох.
Мы уйдем в чернозем, возвратимся цветением сада,
И его не задушит цепкий кладбищенский мох.

III

Если я загрузу, то где-то двойник улыбнется,
Если весело мне, то где-то двойник мой грустит,
В единое русло все это однажды сольется
Сквозь громаду пространств, что между нами стоит.
Это однажды не чаще, чем раз во столетье,
Светится взглядом из детства, что накануне судьбы.
Мы по кругу бежим, забывая мгновения эти...
Мустанг, ты оседлан? Так вспомни и – встань на дыбы!

* * *

Каменная сказка Карадага,
Поистерты временем слова,
Словно бы морская точит влага,
Превращая сказку в острова.

И в лучах заката очертанья
Дарят вновь художникам тона.
Не нуждаясь в возгласах признанья,
Красота твоя воплощена.

Знаю, жаждет вымысла бумага,
Мне приятно, что она чиста.
Каменная сказка Карадага –
Юности прибрежная черта.

Камушек найду у Коктебеля,
В нем увижу спящую волну.
Сохрани его ты до апреля,
Может быть, напомнит ночь одну.

* * *

Бахыту Кенжееву

Себя я чувствую частицей Амстердама,
В нем уличным художником живу.

Мне кофе подает рембрандтовская дама,
Что по ночам ведет на randevu.

Снимаю комнату и палубу на яхте,
Перемещаюсь по каналам всякий раз.
И героиня Рубенса на вахте
Помилует меня в последний час.

И ветряную мельницу в наследство
На грубом я запечатлел холсте.
Мне Питер Брейгель дал такое средство,
Что все секреты творчества – не те.

Спасибо городу за сыгранную роль,
Мне в Антверпен пора, багаж мой скуден...
Рассыпал по пути средневековья соль,
Чеканкой птиц взлетает в небо гульден.

* * *

Спит небоскреб – словно Сфинкс,
Помнит жильца из “Дакоты”*,
Улица в дождь – это Стикс
В ночь поминальной субботы.
Вброд переходят Бродвей
Призраки или поэты.
Ищут для музы своей
Место в рекламной газете.
В финале такой хэппи-энд:
С птицей не встретится пуля,
Я – вечный абитуриент
Из первой декады июля.
И там с высоты этажа
Не знаю какого по счету
Заслышу я пенье стрижа,
И в нем – приглашенье к полету.
И – стук каблучков за углом,
И – смех ослепительной леди.
И – Брубека блюз под окном,
И – тихая музыка меди.

* Джон Леннон.

Даете вы им вместо крова,
Крова,
Которого нет.

На диск заходящего солнца
Вновь, за руки взявшись, бредут.
Быть может, за чьим-то оконцем
Найдут однодневный уют.

Ни хлеб
И ни доброе слово,
Ни щедрая россыпь монет,
Увы, не заменят им крова,
Крова,
Которого нет.

* * *

На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу,
Как будто бы мелочь в кармане,
Случайно найду я строку.

И, вторя, ей горная речка
Веселую пару найдет
У мостика возле местечка,
Где речка дает поворот.

Строфою рождается образ
И птицею бьется в строфе.
И эта вся горная область
Поэзией выйдет к тропе.

И – облаком дышит в долине,
Где к осени греет костер.
И – холодом веет к вершине,
Где беркут крыла распростер.

На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу
Нас мир окружающий манит
И следом рождает строку.

А я ничего не умею,
А я ничего не хочу.

А я перед этим немею
И не зажигаю свечу.

Я просто пишу стенограмму,
И авторство мне ни к чему,
Но путь мой к небесному храму
Не повторить никому.

ПЕСЕНКА ВАГАНТА

Десять у меня монет,
Золотых монет прабабки.
Я хочу увидеть свет,
Света в жизни мне добавьте.

Кину в кейс электробритву,
Две сорочки, пару книг.
В память заложу молитву,
Что с балкона пел старик.

И пойду гулять по свету,
И уйду глазеть на свет.
Таксой моему билету
Эти несколько монет.

Сердце тянется к Парижу,
Где не спит Булонский лес.
В каждой я стране увижу
Чудо из семи чудес.

Каблуки сбил на асфальте
На чужой я стороне.
Знаменитый храм на Мальте
Витражи раскроет мне.

С царским профилем монетки
Порассыпал я в пути.
Домик молодой брюнетки,
Мне бы в нем ночлег найти.

И на холмик ее страсти
Невзначай легла рука.
И дыхание напасти
Сбило пламя огонька.

В темноте дойти до цели
Опыт странствий мне помог.
Нам небесные качели
Ниспослал с улыбкой Бог.

В этой тьме не надо света,
Света вдоволь повидал.
Жизни добрая примета –
Милой женщины овал.

Заменю электробритву,
Напишу одну из книг.
Вспыхнет в памяти молитва,
Что когда-то пел старик.

* * *

Яблоком дышит Нью-Йорк,
Райскую сделку пророчит.
Незатиhaющий торг
Неутиhaющей ночи.

Бар превращен в общепит
В духе совковых соседей.
С плеером нищий сидит,
Слушает музыку меди.

Кину я квотер с ленцой,
Он усмехнется лукаво.
Травкою пахнет,
Пыльцой
С примесями какао.

* * *

Затаилась в кронах осень,
Шелестит листва.
Ни о чем она не просит,
Ни к чему слова.

Как по древнему поверью:
Нас в природе нет.
Только черные деревья
Сквозь осенний свет.

ОСЕНЬ

Песчаный берег у реки,
Я в краски осени вступаю.
Прозрачные стоят деньки
Вон теми яблоньками с краю.

И дышит тканью полотна
В закатный час неторопливо
Речная эта глубина
В том образном наклоне ивы.

И на зиму хозяйка в дом
Все не находит квартиранта.
Тропинка наша за холмом
Под снегом будет ждать до марта.

За дверь схоронится душа
Неумирающего лета.
Колодезной воды с ковша
Последний мой глоток – за это.

* * *

Ночная электричка,
Вне расписанья путь.
Тьму озарила спичка,
Обозначая суть.

Пройдя жилую зону,
Мне суждено сойти.
К небесному перрону
Все сходятся пути.

* * *

...И сквозь ветровое стекло
Мой воздух свободы дымится.
На взлет расправляет крыло
Под ливнем продрогшая птица.

А дворников тягостный скрип,
Как будто от тяжкого вздоха.
Не в фокусе видеоклип,
И – в мутном потоке эпоха.

Случайный я в ней пассажир,
Сродни мне озябшая птица.
Нам, чтобы постигнуть эфир,
Поможет ночная страница.

* * *

Мне мудрое солнце под вечер
Свой образ лучом подает.
Он в каждом предмете отсвечен,
Приняв поэтический ход.

И венская улочка манит
Скрипичным ключом бытия.
И все исчезает в тумане
В часы уходящего дня.

И не выставляя дань моде
Суетности нашей земной,
Есть некая тайна в природе,
Что светит за далью ночной.

* * *

Венский ветер выносит к Дунаю,
Словно лист, занесенный судьбой.
Что за музыка в храме? – Не знаю.
Воздух музыки с ветром глотаю,
И снежинки влекут ворожкой.
Мне Ирэн подает чашку кофе,
Я с мороза зашел к ней в кафе.
Ключ скрипичный мой где-то в Европе,
И машина моя марки “Опель”
Затерялась на горной тропе.
И сквозь вдох сигаретного дыма
Старику в котелке улыбнусь.
Он мне молвит: “Вот здесь была прима –
балерина – в слезах и без грима,
А художника звали Огюст”.
Он минувшей эпохи ровесник,
Пережил ее на котелок.
И в кафе он, лукавый кудесник,
За мой столик подсел, словно сверстник,
Чтобы фразой встревать между строк.
По ступенькам спускаюсь под своды

Уходящего века, прильнув
К этой вечности в час непогоды,
Что дана нам от божьей природы,
Слегка столик в такт сердцу качнув.

* * *

При своем остаюсь интересе,
Я протру ветровое стекло,
Чтобы главным героем по пьесе
На спидометре выбить число.

Я пока еще хлеб свой имею,
Как свое отраженье в окне.
И до боли щемящей свирелью
Отзывается муза во мне.

Мне и мокрый асфальт не помеха,
Свет мелькающих встречных машин.
Осевая полоска успеха
Вновь на горный ведет серпантин.

Ну, а дальше, а что будет дальше?
Осьминогом лежит автобан
У развилки, где ноту без фальши
Разряжает под утро туман.

Там библейская дышит долина,
И языческий манит костер,
И прозрачная тень бедуина,
И в дымке гексаметр гор.

Нет без дальнего ближнего света,
Я живу на колесах судьбы...
Эту исповедь автопоэта
На обочинах правят столбы.

ЛИСТВА И ВЕТЕР

Шум молодой листвы –
Это тяга к дальнейшей свободе.
И ветер здесь ни при чем.
Опаданье листвы –

Это грусть о прожитой жизни
И мечте,
Которую уносит ветер,
Живший в деревьях.

ТЯГА К ВЕЧНОСТИ

Человек,
Не дойдя до горизонта,
Передает эту мысль птице.
Птица,
Не долетев до горизонта,
Сгорает в лучах заходящего солнца,
Надеясь,
Что солнце исполнит завет
Человека и птицы.

КОМПЬЮТОДОР

При чем здесь бык вне Бога наших мыслей,
При чем здесь Бог – увы, он ни при чем.
Я колесницу времени сквозь числа
Вновь завожу магическим ключом.

Не избежать мне фарса при повторе.
Вот час быка,
Вот время тишины.
Мой виртуальный мир, что в мониторе,
Витийствует под знаком сатаны.

* * *

Вспоминаю бывшего кумира,
Изменяюсь во времени сам.
И мое постижение мира
Переходит из прозы к стихам.

Я из воздуха выстрою образ,
В лабиринте небесных веществ
Запредельная разуму область
Мне поможет скрижали прочесть.

Эти поиски выльются в драму,
Из реальности выступит быль.
Я оконную выставлю раму,
Чтобы вытрясти книжную пыль.

Эта мудрость земных фолиантов
Переходит в компьютерный диск.
И не надо большого таланта
В электронном подборе страниц.

Все подсчитано в свете программы,
Все заложено в файлы, а ты
Ищешь воздух таинственной драмы
И раскованность детской мечты.

* * *

Споет мне милая подруга
Под звон хрустального стекла,
Как за окном гуляла вьюга,
Как за окном метель мела.

Предновогоднее веселье
Жильцов выводит из квартир.
И песню предваряет зелье,
А песня обновляет мир.

Строка к строке она приходит
И образ к образу ведет,
Куда-то вдаль в ночи уводит
И снова в памяти живет.

Из этого не выйти круга,
Махну на срочные дела...
В моей душе такая вьюга,
Метель в душе моей мела.

* * *

Граждане ночных кварталов
Безучастны,
Как тени города.
Художник,
Отвлекись от мольберта,
Чтобы стать ближе к ним

По пламени зажигалки
И мерцанию сигарет.

МАНАСЧИ

Чай зеленый дышит в пиале,
Мясо яка варится в котле.

К этой ночи подберет ключи
Миру неизвестный манасчи.

Холодом повеет с ледника,
Эпосом вся пенится река.

Даже горы слушают в ночи
То, о чем колдует манасчи.

Искрами безумствует костер,
К нашим лицам пламя распростер.

Чай сменяет водка в пиале,
Мясо яка варится в котле.

Вспорет тьму заговоренный меч,
На рассвете нам не даст прилечь.

Чон боласын, баскалар кичи,
Будь великим, мальчик манасчи!

ЧОЛПОНАТА

Когда под утро встанет свет Венеры,
Когда туман ложится на костры,
Выходишь из воды вне суеверий,
К твоим ногам я расстелю ковры.

Луна, потупив взор, в озерной чаше дышит,
Я отраженный лик ладонями приму.
И плещется она в воде с небесной крыши,
Мне этот свет судьбы понятен одному.

Дед утренней звезды бессонницей исходит,
Зря запер на засов нагорный храм любви.

Я украду тебя, вот нам коней подводят,
Из эпоса веков дам клятву на крови.

Когда истаёт звёздный свет Венеры,
Когда луна уйдёт за горный кряж,
Твои следы любви и древней веры
Волна выносит на песчаный пляж.

АЛАЙСКИЙ РЫНОК

Отвесь, торговец, на весах своих,
Они скрывают тайну недовеса,
В котомку мне отсыпь плодов земных,
Я поторгуюсь ради интереса.

На сдачу добрых странствий пожелай,
В придачу пожелай мне на пути удачу,

Чтоб было с кем испить зелёный чай
Вдали от всадников, что за добычей скачут.
Конечно, в прошлом этот ритуал,
Миф и легенда – кроме недовеса.
Но девушку по родинке признал,
Однажды встретив я в садах Термеза.

Ишак к арыку с криком подойдет,
И в ряби вод он свою морду мочит.
Я ухожу, за мной луна плывет,
Храня ключи в котомке южной ночи.

ОСЕНЬ НА ИССЫККУЛЕ

Когда с утра дождливая погода,
Когда с утра ты в спешке ищешь зонт,
Мне по душе такое время года,
Пусть мертвый в доме отдыха сезон.

Я преступлю закрытую границу,
Я заведу волшебную тетрадь.
В ней будет жить заветная страница,
С которой только надо начинать.

Все остальное выйдет непогодой,
Все остальное ночью смоем дождь,
Досадуя, что он теперь не в моде,
Ты зонтик первой встречи подаешь.

Я перейду на полутон рассказа,
На повесть я с подтекстом перейду.
А впрочем, это все не для показа,
Не стоит перекраивать судьбу.

Ошиблись вновь синоптики в прогнозах,
Нам остается на ночь загадать.
Мне этот дождь, как поэтичность прозы,
Да только вся исписана тетрадь.

ВЫСОКОГОРНЫЙ МОТИВ

Горячий источник Жууку
Выносят термальные воды.
Мне род оленихи Бугу
Из эпоса племя природы.

Я смою коросту судьбы,
Очнётся душа оленёнком,
Там речка встаёт на дыбы,
В те камни вгрызаясь барсёнком.

В такт речки копытца стучат,
Скрываясь звериной тропой.
И все понимает арча,
Свой ствол наклонив к водопою.

К небесному выйду хребту,
Где властвует лед Акшийрака.
И главного яка найду,
Уняв чувство горного страха.

Ссутулясь, он примет меня,
Укроет от холода шерстью.
И вспыхнут вновь искры огня
От неукротимости шествий.

Истоки здесь речки Нарын,
Тарим там, в песках, исчезает.

Великим каньоном Чарын
Сказанье долины венчает.

Начала здесь Чу, Сыр-Дарьи,
Их ключ в недоступных моренах.
В лугах эдельвейсы сорви,
Чтоб жили в стихах и в поэмах.

Высокогорный мотив,
Высокогорное скерцо.
Птица по облику гриф
Уносит в когтях мое сердце.

* * *

М. Г.

Из единого тюркского корня
Отчеканен наш образ в веках.
Нашей памяти чуткие кони
Проступают сквозь эпос в стихах.

Горстью проса я звезды посеял,
Птичий путь воссиял над копьем.
Из единого тюркского эля
Нам Вселенная вышла шатром.

Торим путь евразийского мира,
Свод небес над ладонью степи.
От Хан Тенгри до крыши Памира,
До Стамбула, Дамаска, Каира,
И на север до Третьего Рима
Крепим звенья единой цепи.

Тайный принцип святой пирамиды,
Солнцеглазая вера внутри.
Неизвестные миру флюиды
Растолкуют ученые гиды,
Конспектируя календари.





Михаил Рахунóв/ США /

Михаил Рахунов поэт и переводчик родился в 1953 году и весомую часть своей жизни прожил в Киеве. В настоящее время проживает в Чикаго. Автор шести поэтических книг, книги афоризмов и книги переводов американской поэтессы Сары Тисдейл. Неоднократно печатался в американских журналах «Fog You», «Время и Место», «Интерпоэзия», «Связь Времен», Чикагский еженедельник «Реклама». Несколько стихотворных подборок напечатаны в журнале «Нева», в московской газете «Поэтоград» и европейском журнале «Крещатик». Стихотворения Михаила Рахунова переведены на английский, французский, польский и вьетнамский языки.

ЧТО ЧИТАЮТ ИЗ МОЕГО НА ФЭЙСБУКЕ ...

СОНЕТ МАКСИМУ ЖУКОВУ

Экспромт на стихотворение "Библейский блиц"

Еду заменили водой ключевой,
Не стало лапши бесконечных романов,
И слово начальной своей красотой,
Всей белою пеной легло у лиманов.

На облачке Бродский неспешно курил,
И Богу читал про Россию эклогу,
Борис Пастернак выходил на дорогу,
И Галич в трубу бесконечно трубил.

На званый обед приползали друзья:
Жучки, паучки, муравьишки и блошки,
Брюзжали: «Где мясо?..», ласкались, как кошки.

А Жуков молчал, и завидовал я
Его правоте, широте кругозора...
«А роза упала на лапу азора...»

18 ноября 2009 г.

* * *

Мне утром дышится легко,
Задор невероятен,
Не дую я на молоко,
И нет на солнце пятен.

Готов расти, стать на крыло,
Перелопатить много
Все то, что просится зело
Достойной стать дорогой.

Ах, эта жизнь, туда-сюда:
Звук маятника громок,
Тук-тук — и не найдет следа
От наших дел потомок.

23–24 августа 2020 г.

УТРО

Воскресным утром все сны так сладки,
И тени редки,
И солнца лучик разгладил складки
У табуретки.

Лежишь в постели, укутан снами,
В потоках лени,
В цветные игры играет с нами
Рассвет весенний.

День осторожно, как тот волшебник,
Простер ладони,
И ты взлетаешь без возражений,
И в солнце тонешь.

16 июня – декабрь 2018 г.

* * *

Мы знаем, что Поэзия права,
И прав поэт, живущий слова ради.
Молчат столетья письменна-слова,
Застывшие на камне и в тетради...

Взгляни на ход весомых грозных слов,
Часы по кругу — эти в бесконечность, —
В пространство звезд, в обитель вещей снов,
Чтоб прозвучать, как встарь, живую речью.

23 мая 2010–16 марта 2025 г.

* * *

Летят недели-стрелы,
Все круче дней откос,
И ставит свет нам белый
Всего один вопрос.

Пусть сладко нам и горько,
Но он неукротим
В своем вопросе: «Сколько
Осталось лет и зим?»

Припрячь, дружок, подальше
Язвительный оскал,
Про будущее наше
Никто не рассказал.

29 апреля 2021 г.

* * *

Думай, думай, голова два уха, —
Мир прекрасен, радугой расцвечен,
Даже смерть — безумная старуха,
Признает сквозь зубы, что он вечен.

Будут крылья приданы полету,
Значит, в небо окунуться снова
И Земли пронзительную ноту,
Словно нить, вплести в тунику слова.

Если ты рожден и мечен Богом, —
Все тогда интриги бесполезны
Той, что пляшет в рубище убогом
На краю ее родившей бездны.

В силу танца черствой я не верю,
В грозность па с нелепыми прыжками.
Мне не выть, как загнанному зверю,
У черты, отмеченной флажками.

Думай, думай, голова два уха, —
Мир своими радует дарами.
Там в пределах Мирового Духа
Есть ещё кому гордиться нами.

20 марта – 3 апреля 2015 13 марта 2025 г.

* * *

Если жизнь такая, если
Сны приходят, словно тать,
Примоститься надо в кресле
И Лескова почитать.

Говорю тебе, соседка,
Жизнь отмеренный лоскут,
Сны — они у нас нередко
Ошибаются и лгут.

Что цыганка нагадала —
Там не истины печать, —
Позабудь! — начни сначала,
Все что стоило начать.

Прозорливая удача,
Будто ангел, за плечом.
Будет все совсем иначе —
Сон твой странный ни о чём.

Прячет тонкая портьера
Неба звездный хоровод.
Нас спасает только вера —
Вера силы придаёт.

8-9 марта, 2025 г.

СОНЕТ АНДРЕЮ КРОТКОВУ

экспромт на статью "Первый соцреалист"

Нас лишили всего: замечательных книг,
Фильмов, музыки, крыльев, души и небес.
Приучили молчать; говорить напрямик
Разучили, внушив, что возможно и без

Своих мыслей прожить: «на коротком веку
Мысли только вредят, так что слушай других...».
Вот и век пролетел в громком треске шутих,
В ярких вспышках огней. На беду, на бегу

Мы прошляпили много. Теперь поделом
Нам серятина, пошлость и полный облом.
Новый день настаёт. Входит юность в права.

Разве нам их понять?.. Будет трудно теперь
Заглянуть нам за поздно открытую дверь,
Где от праздников кругом идет голова.

24 ноября 2009–5 июля 2011 г.

* * *

На смерть поэтики постмодернизма

Дело труба
бей в барабаны
если судьба
сыпет на раны

раны не раны
все же тоска
бей в барабаны
валяй дурака

рядом не рядом
такие же птицы
с тем же зарядом
Не отступиться

что нам потери
шумиха гроза
мы если верим
значит мы за

пусть нас ославит
гонор Европы
мы не оставим
наши окопы

выше знамена
громче труба
счастье влюбленным
смерть для раба

3 февраля 2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

На веревке, на цепи.
Хочешь ешь, а хочешь спи.

Лето спряталось за холм
И уснуло мертвым сном.

Птиц не видно, белок нет,
Самолета в небе след.

Скука дремлет за плечом,
Будто вовсе ни при чем.

Солнце — сквозь обрывки туч...
Все пройдет, себя не мучь.

26.04 14.08.20 г.

* * *

Ах, избушка, да на курьих ножках,
И тебе зима не вмоготу?..
От тоски сбежала к людям кошка
Никого не слышно за версту.

Спит Яга на печке, сохнет ступа,
Всё кряхтит и плачет по весне,
Обзывает бабку ведьмой глупой:
«Ты хоть сдуру подойди ко мне».

Где Иван, куда запропастился?
Снег идет, и нет ему конца.
Говорят, Кощей от скуки спился,
И нигде не видно подлеца.

Леший ходит в старой кацавейке,
Водяной под ледяным пластом
Все считает медные копейки
И страшает глухих рыб хвостом.

12 декабря 2020 г.

ШАБАШ

В круг собрались графоманы из-за моря, из-загор,
Снова бьют в свои тамтамы, в грязных перьях голова,
Снова пляски в подворотне, вновь увитый рифмой вздор,
Снова тычут в оба уха низкопробные слова.

Вот старуха из романа, где, Раскольников, топор?
Вот любитель объегорить — жалкий мальчик для битья;
Этот пыжится: «Я гений», — не вступает в разговор,
Этот — главный идеолог откровенного вранья.

На пустой и грязной бочке пляшет ловкий лилипут:
«Продолжайте в том же духе, всех без удержу хуля;
Подходите, лобызайте, можно здесь, а можно — тут;
Образец литературы, ее гордость — это я!».

А одна кривая леди в толстый прячется журнал,
Там она редактор вкуса, «открывает воротá».
Ей бы пить свои микстуры, как ей доктор прописал,
А она в порыве страсти «делом жизни» занята.

Эх, товарищи потомки, вам не вспомнить этот люд,
Книги их давно истлели, гонор пеплом занесён.
Зря они шумят и пляшут, их на пир не призовут
Восхитительные Музы, Златокудрый Аполлон.

20–21 августа 2013–19 января 2014–14 декабря 2017–27 февраля 2021 г.

РИМ

Закончен день, и вечер новый, и снова гам и суета.
Гремят тяжелые засовы, таверн заполнены места.
На римских улицах народа не счесть, толпа гудит, как рой.
Мальчишки заняты у входа в храм Флоры шумною игрой.
Кричат призывно зазывалы войти в кабак, вкусить разврат,
Великий Рим полоской алой плывет в бессмертье на закат.
Мы поднимается всё выше, летим над крышами инсул*.
Вот Колизей, вот Форум — тише часы времен, их ровный гул...
И падаем опять в прокисший тяжелых запахов бульон.
Сплошная ночь, и град не дышит — он мертв, как выжатый лимон.
Но вот шаги. Вот, смелый малый! Он стар. Походкою своей,
Такой неровною усталой, идет и замер у дверей.
Наверно, дом его. Он входит. Шаги на лестнице слышны.
Второй этаж. Приют немногих — этаж властителей страны.
Опять шаги. Неужто снова он вниз идет? Да, это так.
Укутан в старый плащ лиловый, лицо чуть видимо сквозь мрак.
Еще один. «Привет, дружище, опять увиделись с тобой!
Как пир тебе? Доволен пищей? Да, нас кормили на убой!
Еще вот, ты просил уладить с патрицием его заём?
Он ждет тебя, и правды ради, готов идти твоим путём.
Свернем сюда: тут путь короче» — попутчику он руку сжал —
«Кольцо с тобой? Тогда закончим...» — сверкнул из-под плаща кинжал.
Старик снимает с пальца ловко кольцо, глядит по сторонам.
О, древний Рим, волк, полукровка, таким запомнишься ты нам.

27–28 марта 2014 г.

ОЧЕНЬ СТАРОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ...

Кто-то там наверху
Уронил звезду.
Думал удержать,
Так не сладилось.

Вот она летит,
Светит в сумраке,
Загадай желанье —
Исполнится.

* инсулы — многоэтажные дома в Древнем Риме

Весь наш мир большой
Лишь полет звезды.
Кто-то смотрит на нее,
Улыбается.

Загадает желанье —
Начнем мы все
Позабыв дела,
Прыгать белкою.

2008 г.

* * *

На свете есть вещи, которые мне не подвластны,
Подробности жизни растают исчезнут со мной,
Но вечно и гордо рассвет обжигаяще красный
И в утренней дымке чуть видимый свод голубой.

Душа моя кажется чей-то циничной уловкой,
Как нитка с иголкой, она проживает со мной,
А я упадаю в стог сена с последней полкомкой,
Душа, как та нитка, в руке остается чужой.

И, вряд ли, найдут меня в стоге промерзлого сена,
И кто вдруг захочет меня там искать, расскажи?
Но утро наступит, и солнце взойдет непременно,
И в небе закружат, свободу вдыхая, стрижи.

27 декабря 2024 г.

* * *

Мой старый дом, мой желтый, мой кирпичный,
Четырехэтажный, молчаливый мой,
Ты все стоишь на площади столичной
В стране никчемной, пошлой и чужой.

В чужой стране, с чужой — враждебной речью,
Бросающих послушных на убой,
Мой старый дом, опять тебе на плечи
Лег жирный сумрак — ужас вековой.

Они уедут — с копьями, в жупанах.
Не все — за ними. Не за ними — все.

Она, как ржавь, текущая из крана, —
Вся эта ненависть, — во всей своей красе.

Они уйдут, исчезнут, испарятся
Холопы, смерды, — грош им всем цена.
Прости, что я не мог с тобой остаться...
Здесь, — без сомнения, — одна моя вина.

Мой старый дом, возрадуйся, — прошу я, —
Осталось нам терпеть не много дней —
Ты подожди, — придет он, Аллилуйя! —
Победный праздник Родины моей.

30 декабря 2024–24 марта 2025 г.

* * *

Чужих небес нечаянный подарок...
Илья Эренбург.

Чужих небес нечаянный подарок
Гул осторожный шёпоту сродни
Отгородил меня от ветреных товаров,
Никчёмной музыки, безумной толкотни.

О чем взываешь, зов одноминутный,
Что отражаешь в гулкой глубине?
Ты будто запах сладостный цикуты,
Как слабый луч, мелькнувший в темноте.

Исчезло всё: встревоженное море,
Турецкий берег, танцевальный круг, —
Я вновь живу и слушаю, и вторю
Твоей печали, ласке твоих рук.

Слова рождаются внутри твоих мелодий:
Вот быстрый ропот, медленный призыв...
И я опять, как птица, на свободе —
Лечу над морем, крылья распустив.

29 октября 2023 г.

СОВЕТЫ ДЕТЯМ

Дети, слушайте маму и папу,
Никогда — не сегодня, не впредь
Не сжимайте на радостях лапу,
Если лапу вам тянет медведь.

И не будет ни прока ни толка
Если вы, забыв их совет,
По дежурному случаю волка
Пригласите к себе на обед.

И не верьте в заморские страны,
И в какие-то там чудеса,
Если ласково так и жеманно
Вам об этом воркует лиса.

Кстати, нужно запомнить, детишки,
Как бы мудро осел ни молот,
Все его бесполезны мыслишки,
Потому что осел — есть осел.

И последнее, я извиняюсь,
Но скажу вам ещё под конец:
Никогда не поможет вам заяц,
Потому что он трус и подлец.

Как же быть, да и с кем же водиться:
Все с изьяном, кого не возьми? —
Коль досталось людьми вам родиться,
Постарайтесь водиться с людьми.

5 января 2015 г.

* * *

И было слово.
И растворилась оно в потоке прений.
И превратилось слово в крик.
В крик птицы, подстреленной охотником.
Было мудрое слово.
Слово, создающее миры.
Но превратилось слово в крик птицы.
Прощай, слово.
От тебя не осталось даже эха...

30 апреля 2023 г.

ЖЕНСКОЕ

Закружилось всё и кружится,
Где тут небо, где тут лужица,

Ночь вокруг всё исковеркала,
Где луна и где тут зеркало.

И простить пора, и каяться —
Пусть постылому икается.

Вот надену бусы, серьги я —
От отца уйду я Сергия.

По дождю пойду, по паперти —
Не держите девку взаперти.

29 марта 2025 г.



ЖЕЛТАЯ ПТИЧКА

Желтая птичка спит на балконе.
Желтая птичка.
Ты не волнуйся, кто тебя тронет,
Желтая птичка.

Знаю, не просто быть незаметной
В дальней чужбине.
Как хорошо, что под окнами лето
Желтый и синий

Цвет на балконе дарит надежду,
Отдыхом манит.
Так что расслабься, прыгая между
Роз и герани.

Дом ты найдешь, и проляжет дорога
В синее небо.
Верь в чудеса, — подкрепишь, недотрога,
Корочкой хлеба.

26 августа 2018 г.





Максим Жуков / Россия /

Родился в Москве. Окончил московскую школу рабочей молодежи. С 14 лет обучался актёрскому ремеслу в школе-студии московского Театра на Юго-Западе и затем работал актёром в этом театре. Проходил срочную службу в Советской армии (1986–1988). С 1991 года работал администратором в рейв клубах «Аэродэнс» и «Плазма». Переменил множество профессий – от электрика и продавца до инкассатора и начальника охраны. Стихи пишет с 13 лет. В советское время не публиковался. Первые публикации: альманах «Мулета-Скват» в 1992 году и газета «Гуманитарный фонд» в 1994. После длительного перерыва послал свои ранние стихи на международный конкурс «Тамиздат» и стал его лауреатом. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Нева» и мн. др. изданиях. Обладатель первого приза Григорьевской поэтической премии (2013). Первое место в конкурсах «Заблудившийся трамвай» (2012) и «45й калибр» (2021). Был редактором на сайте «Снежный ком». Работал журналистом (внештатным корреспондентом) «Литературной газеты». В 2011–2023 годах жил в Евпатории. Затем вернулся в Москву, где с 2023 года ведет Клуб чтения поэзии в библиотеке Дома творчества Перedelкино.

СТИХИ

ВОДА

Собирался в Крыму умирать.
Но, похоже, ещё поживу;
Петербургу скажу: «Исполать!»
Упрекну в равнодушие Москву, –
Без которой, казалось, ни дня...
И хотелось бы там, а не тут...
Но вода не отпустит меня –
Та, что местные морем зовут.

Да, она не отпустит, когда
Можно плавать и даже зимой;
Потому что морская вода,
Словно кровь, неразрывна со мной.
Ни Нева, ни Москва-река, – не
Причиняя щемящую боль, –
Не текут через сердце во мне,
Как течёт черноморская соль.

И пускай угрожают бедой
Всем свидетелям Крымской Весны, –

Мы оправданы этой водой
И водой этой – защищены.
И, способная взять да убить,
Если вдруг заиграешься с ней,
Оттого-то она, может быть,
Даже околуплодной важней.

* * *

Я помню, как идёт под пиво конопля
И водка под густой нажористый рассольник.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник.

Заканчивался век. Какая ночь была!
И звезды за стеклом коммерческой палатки!

Где я, как продавец, без связи и ствола,
За смену получал не больше пятихатки.

Страна ещё с колен вставать не собралась,
Не вспомнила про честь и про былую славу.

Ты по ночам ко мне, от мужа хоронясь,
Ходила покурить и выпить на халяву.

Я торговал всю ночь. Гудела голова.
Один клиент, другой – на бежевой девятке...

Вокруг всюду спала бессонная Москва,
И ты спала внутри коммерческой палатки.

Я знать не знал тогда, что это был сексизм,
Когда тебя будил потребностью звериной.

...К палатке подошёл какой-то организм
И постучал в окно заряженной вольной.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Ты навещать меня давно не приходила...

Я не отдал ему из кассы ни рубля,
А надо бы отдать... отдать бы надо было.

* * *

Голос, словно в церкви, просветлённый,
Затянул под окнами куплет:
«Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет».

Под благоухание черёмух
Не звучит гитарный перезвон;
Во дворе на лавочках укромных
Заиграет разве что смартфон.

То ли это времени апноэ,
Перед тем как перейти на бег,
То ли всё пацанское, блатное
Изживает XXI век.

Превратились в бабушек, дедусей
Все мочалки наши и кенты.
Благодарствование воздушей
Перед наступленьем темноты.

За окном уснула спортплощадка,
Вместо муравы – Canada Green.
Из подъезда, будто бы с устатка,
Выхожу, как Лермонтов, – один.

На меня наставлен сумрак ночи;
Прислонясь к дверному косяку,
Размышляю, как бы покороче
Подойти к ближайшему ларьку,

Где я тусовался с разной пьянью
Где сидел и думал, как в огне, –
Заливая голову баранью, –
Что скачу на розовом коне.

Воздух, как в невидимых пираньях,
Весь в новорождённых комарах.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Только не за совесть, а за страх.

В забубённой жизни и отпетой
Как я не пропал – наверняка?

Не пойду!.. Ведь знаю: в стороне той
Нет давным-давно того ларька.

СОБАЧКА

Где старая дачка – в канавах камыш:
– Собачка, собачка, куда ты бежишь? –
По тёмному лесу, среди русских равнин –
Чтоб взял тебя в пьесу писатель Куприн? –
Что он парижанке напишет одной? –
В изгнание, в загранке, несчастный, больной.

Где старая дачка – среди лопухов,
Наверно, собачка, ты ищешь щенков? –
То дальше, то ближе – где погреб, где тын...
И плачет в Париже над пьесой Куприн.
Писатель, писатель, несчастный, больной,
Ах, как было б кстати вернуться домой!

Отчизна во мраке. Но дело не в том:
Там есть у собаки свой собственный дом;
Где любят и знают, где пища и кров,
Но где отнимают и топят щенков.
Россия вернётся! Чуть-чуть потерпи:
В ней только придётся сидеть на цепи.

Как злая подачка – свободный Париж!
Собачка, собачка, куда ты бежишь?
В базилике месса: орган, огоньки...
Закончена пьеса – четыре строки.
Пальтишко из нанки. На лестнице – темь.
И той парижанке лет шесть или семь.

Усталый, застывший, – когда дописал, –
Сосед, что «из бывших», прочёл и сказал:
«Вам стало бы лучше среди русских дорог,
А здесь вы – заблудший, несчастный щенок.
Там, правда, в овине, на заднем дворе,
Их топят слепыми в помойном ведре».

Сам полу ослепший и полунемой,
Ты знаешь, где легче – давай-ка домой!
В Россию, обратно, тоски не тая...
Ответит – приватно – собачка твоя,

(Чтоб стало понятно – ужу и ежу):
– Куда я бежу, никому не скажу.

* * *

Может, дела нет важней на свете,
Чем писать – открыто, не темня?
Я сижу часами в интернете.
Друг мой милый, видишь ли меня?

Этот мир стихами не улучшив,
Всё пишу, – пишу, как заводной.
Так писал когда-то Фёдор Тютчев.
Друг мой милый, видишь, что со мной? –

Не живописать, как неуклюже
Мы расстались на исходе дня.
Пишут все. Но пишут много хуже –
Даже и не Тютчева – меня!

Под звездой, что говорит с звездой,
Как благоухал весенний сад!
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Милый друг – его не описать!

Я курил и Беломор, и Данхилл,
Я хлестал и брагу, и коньяк.
В этом мире без тебя, мой ангел,
Я совсем один – ну как же так?!

Мы без слов друг друга понимали,
Стали даже больше, чем родня:
Мы с тобою вместе завязали.
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Говорят, материя не может
На земле сама себя избыть:
Невозможно что-то уничтожить, –
Можно только видоизменить.

Потому всегда в начале мая,
Тёмной ночью или ясным днём,
Я смотрю на небо, понимая,
Что едва ли свидимся на нём.

* * *

Чужие – толкуются в передней,
Рыдают на кухне – свои.
Она умирает последней
Без Веры пожив и Любви.
Одна умирает, другая!
Туда, где места их пусты,
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы.

Когда на поминках на славу
Невестка хлебнёт и свекровь,
Затянут в слезах Окуджаву
Про Веру, Надежду, Любовь.
И пусть не на век, а на годы
Все точки расставят над «ё»,
Но истолкованье Свободы
У каждого будет своё.

По тёмным бредя коридорам,
Мы чувствуем внутренний свет!
Как жаль, что с тоской и укором
Напишет в изгнание поэт:
«Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны».

ЖИТЬ

Татьяне

Как бы память обрезать, размыть? –
Чтоб не знать, как состарилась мать! –
Чтоб старушку с тележкой забыть
И всегда молодой вспоминать.

Позабыть, как стареет жена,
И, свою искупая вину,
Исчерпать до предела, до дна
Эту память – на всю глубину.

Где метафоры, образы, стиль –
Чтоб смягчать и усиливать боль?
Как из памяти выдавить гниль –
Чтобы выделить самую соль?
Чтобы стих, как из сора, пророс –
По-ахматовски – сквозь лопухи!
Ибо гниль – это тот же компост –
Из него тоже могут – стихи!

Чтобы я, написав, не соврал,
Как поэт, чей закончился век:
«Он глядел на неё и сгорал,
И сгорал от непознанных нег».
Размышляя своей головой,
Как бы, случаем, не осознать,
Что жену представляешь вдовой
И за гробом идущую мать...

Осознал и буксуешь в слезах;
И, родных не жалея седин,
Хочешь только на первых ролях! –
Хочешь, как большинство из мужчин!
Но желанья того не избыть,
Будь ты слеп, будь ты глух или нем:
«Только б жить, дольше жить, вечно жить!»
Даже не понимая зачем.

ДОРОЖНОЕ

Вечно – гол как сокол,
Но на паперть ещё не приспело.
То ли так повелось,
То ли дальняя даль позвала –
Я из дела ушёл,
Из такого хорошего дела!
Ничего не унёс –
Отвалился в чём мать родила.

И как только в окне
Два ряда отштампованных ёлок
Промелькнут-пролетят,
Разгоняя печаль и тоску –
Позабудь обо мне.
Я погибшей державы осколок.
Как её возродят –
На своём не увижу веку.

Я ещё не исчез –
На развилке и до поворота,
Но уже говорят:
«Как ушёл – стало дело верней».
Может быть, так и есть.
Не моя это боль и забота –
Через выжженный сад
Я иду по державе моей.

Может, в этой связи
Переход не окажется долог,
Не сумею понять
Ни народ, ни себя – по пути.
В непролазной грязи
Шевельнётся рабочий посёлок
И захочет обнять
И назад в темноте отвести.

СВЕТЛАНЕ ЧЕРНЫШОВОЙ

Человек, уставший от искусства,
Из окна глядит на первый снег.
На прохожих смотрит грустно-грустно
Конченный, по сути, человек.
Проклиная снежную завесу,
Грязь и холод в городе родном,
Он вчера обидел поэтессу
И назвал Прилепина говном.

Первый снег ложится густо-густо –
На кусты, парковку и окрест.
Это лучше всякого искусства,
Лучше всех на свете поэтесс.
Первый снег всегда необычаен,
Он любой снижает громкий тон.

Что же мы в итоге получаем? –
Тишину, как после похорон? –

Тишину особенного сорта –
С белизной автодорожных хорд –
Словно нарисовано и стёрто
Или будто сделали аборт;
Это – как проверенные чувства,
Те, что подведут наверняка!
Человек, уставший от искусства,
Смотрит из окна на облака.

Первый снег идёт вторые сутки,
Обеляя XXI век...
Набирает номер проститутки
Конченный, по сути, человек.
Это – не трагедия, не драма –
Просто мелкий казус и пустяк,
Как не поддержавший Мандельштама
В разговоре с Кобой Пастернак.

Первый снег – всегда великолепен!
Не для всех... Но это не беда.
Так же, как является Прилепин
Не для всех говном... и не всегда.
Поэтесс, освоивших искусство,
Тоже обижать избави Бог!
Но – сказать по чести (безыскусно) –
Их таких – не больше четырёх.

* * *

Загулял.
Потом женился.
Развелись под Рождество.
В этой жизни не добился
абсолютно ничего.

Стал писать.
В литературу
просочился между строк:
поздно поняли, что сдуру
допустили на порог.

Вился
или же не вился
чёрный ворон надо мной? –
Я опять потом женился!
И развёлся на Страстной.

Жёг, как мог!
Но мало выжег:
от утра и до утра
накарябал восемь книжек –
не добился ни хера.

Но лишь в том краю,
в котором
стану пылью гробовой,
положу на всё с прибором –
чёрный ворон, я не твой!

Думал, что
переменился,
что умней с годами стал;
как всегда – опять женился
и на Пасху загулял.

К дуракам меня
причисли:
с головой, мол, не того!
В этой жизни – в этом смысле –
не добился ничего.

Но писать
не разучился:
наивысшей правоты
пару раз в стихах добился!
А чего добился ты?

* * *

Каждый поэт –
Суперзвезда!
Ревности – нет!
Равенству – да!
Если он – сир –
Плох его стих –

Есть «Новый мир» –
Он для таких.

Мемориал
Жалких судеб –
Всякий журнал
Нынче, как склеп;
Чистое зло
И чертовня:
«Знамя» взяло
Даже меня.

Всякий журнал –
Утильсырьё –
Верный провал
В небытие;
Не подведут –
Даже на гран –
Только Facebook
И Telegram.

Вот где пиар!
Кабы – ту мач! –
Не холивар,
Троллинг и срач.
Где – как поэт,
Так и звезда!
Равенству – нет!
Ревности – да!

ПРОЗА

ПМК

Я купил его себе в утешение. Себе и своей сердобольной первой жене. Больница, где отдавал богу душу мой дед, находилась в районе «Таганки», неподалеку от птичьего рынка. Жене он понравился сразу: мягкий, пушистый, как ангорка... А по мне — хомяк как хомяк, разве что с «крыльями» по бокам — маленькие такие кисточки чистого белого цвета, якобы признак высокой породы и элитарности. Короче, на два рубля дороже вышло. Черт с ними, с рублями, после больницы, где я два с лишним часа лицезрел, как баба Рая разговаривает с моим дедом, лежащим без сознания, в параличе, как гладит его по голове, время от времени осторожно откидывая одеяло и проверяя, не переполнился ли целлофановый пакет, прилаженный между его ног... В общем, хомяк был хорошим успокаивающим средством: теплый, пушистый, живой.

Баба Рая не была мне родной бабкой. Дед женился второй раз, лет семь назад, на соседке по лестничной площадке, женщине относительно молодой и хозяйственной. Дед мой был тот еще гондон. С придиричивым характером, домостроевским образом мышления и советским взглядом на жизнь, основательно потрепавший нервы своему сыну (моему отцу) и моей родной бабке. Царствие ей небесное. Деда я любил. Очень. Да и он меня, кстати, тоже. Знаете, как это бывает: что стар, что млад... Внуков всегда любят больше своих детей. Парадокс, но факт. И внуки отвечают, как правило, взаимностью...

На клетку или террариум денег у меня тогда не хватило. Я раздобыл пятилитровую банку из-под болгарских маринованных огурцов, бросил туда передовицу «Масонского Жидомольца», из которой, предварительно разделав ее вострыми зубками, хомяк понастроил себе всяких тайничков и лабазов, куда потом складывал разную снедь, начиная от чипсов и заканчивая кусками мелко наломанных макарон. Хомяк жрал все. Все, что дадут. Но жена сделала его «добровольно-принудительно» вегетарианцем. Чтобы не кусался. Кусался он, правда, один черт. Я глубоко убежден, что состав пищи почти не влияет на агрессивное поведение живущих на земле существ — будь то человек, хомяк или какая-либо другая скотина. Хотя в нашей православной традиции — страсти человеческие постом усмирять. Только все это, как говорит моя мама (убежденная атеистка, кстати), плешь-мудекронштейн. И я с ней целиком и полностью согласен. Хотя до сих пор не знаю, что за «плешь», какие такие «муде», и при чем здесь неизвестно откуда взявшийся «кронштейн».... Ну да ладно.

Дед вскорости умер, как говорится, не приходя в сознание. Чинно и благородно, не затянув процесс расставания на долгие годы. В данном случае (в случае обширного инсульта) быстрая смерть — хорошая смерть.

Жалко, что у нас запрещена эвтаназия. И странно, что церковь (РП) является одной из самых яростных противниц этого, на мой взгляд, богоугодного дела. Спаситель наш, правда, будучи распятым, о милости сей, насколько я помню, с креста не просил... но, думаю, был несказанно обрадован, когда измученный пустынным зноем солдат, отмахиваясь от жалящих слепней и оводов, ударил ему в грудь тяжеловесным римским копьем.

Ну, не просил — и не просил. У нас даже если и попросишь — никто не поможет; и не потому что Бога боятся, а потому что уголовной ответственности опасаются. А ты лежи с мутным взором, пускай слюни на подушку, ходи под себя, выслушивая рефлекторный мат санитарок и глубокие вздохи вконец одуревшей от тебя родни...

— Как животину твою оголтелую назовем? — моя первая жена всегда выражалась несколько витиевато.

— Почему мою? Вместе ведь покупали... И почему оголтелую?

— Кусается потому что, как псина цепная.

— Вот и назови его, пидора, Тузик, и скажи спасибо, что не лает да не рычит.

— Уж лучше бы рычал. Все-таки какое-никакое предупреждение. А то — цоп исподтишка за палец и в «жидомольца» своего с головой — как Калигула какой-нибудь под стол во время вооруженного переворота...

— А ты пальцы к нему в банку не суй. И Светония на досуге перечитай: прятался, по-моему, в момент «вооруженного переворота» Клавдий, и не под стол, а за занавеску в дверном проеме, когда Калигулу по соседству заговорщики на куски резали.

— Все равно... Но Клавдий — не звучит как-то. Пусть лучше будет Калигула. Мне так больше нравится.

— Ну, Калигула — так Калигула...

Два дня перед похоронами были чуть ли не самыми тяжелыми в моей жизни. В моральном плане, конечно. Бесконечная беготня по государственным учреждениям, ритуальным конторам, закупка продуктов и спиртного, обзвон всех ближайших родственников, друзей и однополчан. (Какое смешное слово — «однополчане». Помнится, во времена моей юности так шуточно называли не способных бросить две «палки» кряду мужиков.) Песня еще такая была:

*Где же вы теперь,
друзья «аднаполчане»,
боевые спутники мои?*

Гурченко, кажется, пела... Впрочем, мне было не до смеха. К тому же

дед на самом деле воевал, имел орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» и звание старшего лейтенанта.

Его однополчане, кстати, и заказали через какую-то ветеранскую организацию пару венков с надписями на лентах: «Боевому другу от...» и «Искренне скорбим о безвременно ушедшем от нас...», и так далее, и тому подобное. Но это еще не все. Они выхлопотали в какой-то заштатной филармонии (ни у кого, кстати, толком не спросив) «духовой оркестр»: квартет сплоченных фанатичной любовью к алкоголю и изрядно потрепанных жизнью музыкантов. О боги мои, боги! Даю бесплатный совет: никогда, слышите, никогда не приглашайте этих мудаков с дудками ни на одно серьезное мероприятие в вашей жизни! Я всегда поражался тому, насколько сильно музыка может повлиять на нервно-психологическое состояние человека. Казалось бы, что такого: несколько воловьих жил (или стальных, как сейчас), натянутых на кусок полой древесины, и какая-то густо покрашенная б..., томно перебирая ноготками, вступает после третьего аккорда:

Я ехала домой.

Душа была полна...

И всё, писец! Я весь вниманье, весь я слух. И если бы я даже не знал языка и не симпатизировал этой покрашенной, с позволения сказать, исполнительнице, меня бы все равно цепануло... Я уверен: магия звуков гораздо выше магии красок и слов. А тут, представляете, три с духовыми и один с ударными...

За похоронными заботами, за беготней, за решением всяческих организационных задач душевная боль как-то притупляется, становится глуше, уходит на задний план. Деда уже не вернешь, значит, надо терпеть, свыкаться, приспособливаться к этой жизни без его дурацких (и не очень) восклицаний типа: «Молчи! Молчи! Ты как... о Леониде Ильиче говоришь?! Ну-ка — цыц! Посадят тебя, дурака разговорчивого...»

Когда гроб, выставив его предварительно на полчаса у подъезда для прощания, подняли и понесли, продвигаясь в сторону припаркованного неподалеку автобуса с надписью «ритуальный», мне в спину, словно гром среди ясного неба, долбанул начатый откуда-то с середины, с фальшивыми нотками и придыханием, похоронный марш. Коекак сдерживаемые слезы после надрывного причитания бабы Раи над гробом тут же прорвались наружу и потекли неостановимым уже потоком по моим щекам. Мне было неприятно, что меня видят в таком состоянии. Подумают еще: «Ну вот, внук-то у Федора Ивановича нажрался уже...» А я, как говорится, ни в одном глазу... Во всем виновата музыка, конечно, и эти гребаные ветераны, дружно

заполнившие второй автобус, чтобы проводить своего однополчанина в последний путь.

Единственное, что хоть как-то помогло унять мои рыдания, — молодая мамаша из соседнего дома, движимая любопытством, подкатившая коляску со своим малышом к месту прощания. Я увидел ее уже из салона автобуса. Ребенок, оглушенный музыкой и обделенный на миг вниманием со стороны своей матери, стоял в коляске по стойке «смирно» и тоже, как часть «проводящих», медленно плакал. Медленно и молча. Это зрелище меня, как ни странно, слегка успокоило, я еще вспомнил строки одного талантливой поэта:

*Собралась воронья стая
со всего микрорайона.
Сын в коляске едет стоя,
как министр обороны...*

Полегчало. Почти до самого кладбища...

Не прошло и полгода после того, как деда кремировали. (О гигиенической пользе этого малоприятного мероприятия он, будучи в приличном подпитии, любил порассуждать в особо грубой и циничной форме; о чем, конечно, распространяться здесь я не считаю нужным). Кличка Калигула, данная моей женой нашему хомячку, прижилась только наполовину. В домашнем обиходе мы его стали называть просто Гай, как, впрочем, если верить историческим справкам, в дворцовом обиходе звали самого Калигулу. Жил он все так же — в пятилитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов. Молодости всегда, как правило, сопутствует безденежье — печально, но факт.

«В минуту жизни трудную», когда подступала грусть и наваливались мрачные воспоминания, я брал в гастрономе «чекушку» и пачку кукурузных хлопьев; как закуска они, конечно, почти не шли, но не было большего развлечения, чем, махнув сотку, бросить в банку хомяку пару катышков этой дряни. Даже если он спал (а спать он любил еще больше, чем жрать), он тут же просыпался и накидывался с умопомрачительной жадностью на эту откровенную профанацию съестного: немного кукурузной муки, консерванты, пищевой краситель и вкусовые добавки. Присыпанная небольшим количеством сахарной пудры пустота. После молниеносного броска голова Гая моментально превращалась в объемный пушистый шарик. Глаза, и без того малюсенькие, сжимались до размера еле различимых хитрющих щелочек; все, что не помещалось во рту, он загребал под себя и замирал в радостном экстазе, как пятиклассник, кончивший на разворот стыренного у родителей порножурнала.

Глядя на эту меховую иллюстрацию животной глупости и сладострастия, я частенько вспоминал слова покойного деда, не раз

сказанные им накануне моей поспешной и малооправданной, на его взгляд, свадьбы:

— Рано. Рано, внучек, женишься. Только из армии пришел. Не нагулялся еще...

Баба Рая при этом тихо вздыхала и, как правило, ретировалась на кухню. Я не возражал. Зачем? И так все ясно. А спорить с ним не имело ни малейшего смысла. Он всегда оставался при своем мнении...

Не прошло и двух лет после того, как я, «испачкав паспорт», поселил свою ненаглядную в нашу (совместно с матерью) малогабаритную «двушку» и начал постигать «науку сложную супружеских измен» (как говорится: жена — женой, а разнообразия хочется).

Вскорости возникли первые проблемы: несовпадение привычек, несовместимость характеров (две хозяйки на одной кухне) и моя патологическая склонность к блядству, в самой худшей его, в самой «неразборчивой» форме.

Нам с женой как-то быстро стало неинтересно вместе. А порой даже смертельно скучно и муторно.

Задним числом вынужден признать: дед оказался прав. Я поторопился. Неоправданно глупо поспешил, как Калигула, набравший полный рот сладкой и фальшивой пустоты, в искреннем убеждении, что делает очень вкусные и высококалорийные, а главное, крайне необходимые ему на данный момент запасы...

Так мы и жили: я с воспоминаниями и чекушкой, хомяк — с кукурузными хлопьями за раздувшимися щеками, и жена... Она вообще жила какой-то своей полутдельной журналистской жизнью (стажировалась в «Совраске»), и когда ее спрашивали мои «куртуазные» друзья: «Где изволите горбатиться, сударыня?» — она с гордостью отвечала: «В газете “Советская Россия”, мессир».

Абзац — полный.

Но жизнь не стоит на месте. Все в ней, говорят, повторяется, как минимум, дважды: один раз — как трагедия, второй раз — как фарс. Я не уверен, что изложенный мною ниже случай можно воспринять как фарс, но что-то гротескное в нем, безусловно, просматривается...

Начну по порядку. Лето в том году было жарким. Очень жарким. И хотя август-месяц подходил к концу, парило невыносимо. В тот день меня вызвали на работу. В мой законный выходной. Произошел какой-то сбой в графике дежурств. В общем, надо было отлучиться на пару часов. Уходя из дома, я постучал по банке с хомяком. Хомяк недовольно зашевелился, поводит мордой и зарылся поглубже в газетную труху. Это было странно. Обычно он после побудки сразу же начинал просить жрать... Я склонил лицо к краю банки, чтобы посмотреть, не заболел ли наш питомец, и тут же мне в нос ударил резкий запах застарелого хомячьего помета. Все понятно. Я бы от такого запаха тоже приуныл.

Уже в дверях я многозначительно указал на банку говорящей по телефону жене и жестами дал понять, что неплохо было бы заняться бедным Гаем и навести у него в жилище хотя бы относительный порядок. Жена, продолжая трепаться (с заместителем главного редактора «Совраски», кажется), нагнулась над банкой, понюхала и, брезгливо морщась, выставила ее за окно на небольшой деревянный ящик, приделанный к карнизу со стороны улицы и добротнo обитый оцинкованной жстью, — вещь в хозяйстве абсолютно незаменимая, особенно когда в твоей квартире, расположенной на первом этаже, нет ни лоджии, ни балкона.

День выдался хоть и жарким, но каким-то переменнo-облачным. Солнце то выглядывало из-за туч, то снова в них пряталось. Примерно через час, разобравшись со всеми делами на работе, я попробовал дозвониться жене, сказать, чтобы ждала и приготовила поесть, а то вечно у нее обеда не дождешься... Напрасный труд. Дома сплошняком было занято. После десяти минут бесплодных попыток я попрощался с коллегами и поспешно двинул в сторону дома. На улице как-то распогодилось, тучки растворились, и солнышко стало активно накалять кривой московский асфальт, вот уже несколько десятилетий плохо укладываемый «понаехавшими» из дальних краев разгильдяями.

Когда я открыл входную дверь и увидел жену, все еще оживленно треплющуюся по телефону, я еле сдержался... Ну сколько можно? На самом-то деле. И Калигула, небось, не мыт, не чищен!

Жена показала «викторию» из двух пальцев: все, мол, еще пару минут — и заканчиваю. Это меня несколько успокоило, но лишь до того момента, пока я не увидел банку с Гаем, выставленную за окно и попавшую под яркие лучи полуденного августовского солнца.

Это был не «полный абзац» и даже не полный писец — это был самый настоящий безжалостный ад законного яростного солнцепека.

Оцинкованная жсть. Прозрачное стекло. Открытое место.

Калигула лежал на боку, глаза его были закрыты, шерсть покрылась предсмертной испариной... No comments. Помочь ему было уже нельзя. Я взял банку и осторожно поставил ее на холодильник. Через минуту на кухню вошла, позевывая и потягиваясь, наговорившаяся по телефону жена.

— Алена, подойди ко мне.

— Да ну тебя, мне обед готовить надо...

— Иди, иди. Вот сюда, к подоконнику.

— Это зачем?

— Ну подойди. Подошла, молодец. А теперь вытяни руку за окошко и положи ее на ящик.

— Ой, горячо-то как! А... Кали...

Я снял еще теплую банку с холодильника и поставил перед нею на стол...

Так не плакал даже я на похоронах своего дедушки...

Наполнив стакан водой, я накапал туда валокордина и заставил ее выпить эту херню до самого дна.

— Единственное, что могу добавить, Алена: умер он в страшных мучениях. Прыгал, наверное, перед смертью, как грешник у черта на сковороде... Меньше надо по телефону трепаться с заместителями всякими совраскиных главных редакторов.

— Мне хотят материал серьезный доверить, для статьи... Надо было все обсудить, все выяснить...

— Ну, можешь перезвонить ему и доложить, что у тебя уже есть один «серьезный материал» и даже рабочее название к нему: «Как я зверски замучила и убила Гая Юлия Цезаря (по кличке Калигула) из династии Юлиев-Клавдиев». Не очень длинно, кстати, для передовицы?

Тут я бы кое-что уточнил. Два дня назад у нас в гостях побывал один «видный эксперт по грызунам»; и после того, как мы с ним распечатали третью бутылку, он, осмотрев Гая с ног до головы, авторитетно заявил: «А Калигула-то ваш — девочка...»

Я не очень-то ему поверил (на рынке нас полчаса уверяли, что это мальчик), однако жене сказал:

— Вот видишь, если бы мы его Клавдием нарекли — могли бы сейчас хотя бы в Клаву переименовать. А так — что теперь с ним делать?

Что ж, делать теперь действительно было нечего. Я взял банку и отправился к ближайшему от нашего дома мусорному контейнеру. Будем расценивать как несчастный случай. Вот и все дела...

Я видел бабу Раю в последний раз на поминках, через год после смерти деда. Посидели, вспомнили его несносный характер, первые проявления которого, в тайных и загадочных хитросплетениях собственной души, я начал замечать уже с самого раннего детства... На поминках, слава Богу, не было ни дальних родственников, ни суетливых ветеранов, произносящих псевдопатриотические тосты и картинно пускающих «скупую мужскую слезу». Закончилось все мирно. Почти без слез и причитаний.

Потом мы несколько раз говорили с ней по телефону. Она предлагала сходить на кладбище — «проведать деда»; делилась планами переезда с дочкой от первого брака в ближнее Подмосковье. Природа, грибки, ягоды...

Я выразил сомнение в том, что в ближнем Подмосковье сейчас намного лучше с экологией, чем собственно в самой Москве, признался, что развожусь со своей, что развод проходит как-то неорганизованно и нервно, и что в ближайшее время не смогу составить ей компанию.

По-моему, она даже не обиделась.

Ничего не попишешь: мы с ней чужие люди, и то, что нас связывало когда-то, медленно, но верно уходит все дальше и дальше, путаясь в обрывках воспоминаний и выгорая на солнце, как позолоченные буквы на могильной плите в той плохо ухоженной части «Хованского» кладбища, где расположен старенький колумбарий с прахом моего горячо любимого и до сих пор живущего в самых потаенных глубинах моей памяти — деда.

Такой вот плешь-муде-кронштейн.





Людмила Банцерава / Россия/

Людмила Васильевна Банцерава родилась 11 ноября 1966 года в р/п. Сапожок Рязанской области, в семье педагогов-музыкантов. В 2010 году окончила Литературный институт им. М. Горького, училась на поэтическом семинаре Эдуарда Балашова. Печаталась в журналах: «Юность», «Литературная учёба», «Невский альманах», «Молодая гвардия», «Берега» (Калининград), «Новая Немига литературная» (Беларусь) и др. Автор семи поэтических книг: «Кругосветная листва» (Рязань, 2003), «О себе, как о вечности» (Рязань, 2006), «В белых платьях облака» (Рязань, 2008), «Другие времена» (Рязань, 2012), «Тёплые ливни» (Rideró, 2023), «Мои светотени» (Rideró, 2023), «Стояние над небесами» (Rideró, 2025). Лауреат Международной литературной Премии им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...», 2017, Москва. Лауреат Международной литературной премии «Парад Литератур» видеопоземия – 2019, Москва. Лауреат Международного литературного конкурса «Прекрасен наш союз» (Челябинское отделение СПР), (2021). Лауреат Российского литературного конкурса «Айсберг в пустыне» им. Н. Хапланова, (2022), Донецк. Лонг лист Международной литературной премии «Форпост» (2022). Лонг лист «Русский Гофман» (2024); полуфинал Международного Грушинского конкурса (2024). Награждена ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ РОССИИ». В 2023 году за книгу стихов «Мои светотени» (2023) получила диплом XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» 2023. ПОБЕДИТЕЛЬ (1-я премия) XII Международного литературного тючевского конкурса "МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК" 2024 г. Номинация: "Философские стихи". Диплом финалиста Международной литературной премии "ФОРПОСТ" памяти поэта Сергея Короткова за 2024 год. Член Союза российских писателей.

* * *

А я сегодня слышу, снег опять пошёл –
и так неистово, неимоверно, гибло.
Вот так, наверное, в раю бывает хорошо
до сотворенья мира – нервного изгиба.
Иду легко по саду. Брошенный теперь –
за всю мою неверность и злословье.
Я приоткрою тишину, открою дверь
в назначенное кем-то мне зимовье...

А снег идёт. Он кажется вовсю живым –
таким иным, без причитаний и уловок.
И только, может, мой надмерный мирный дым
спасёт меня от скудных, мёртвых зарисовок.
Шагнуть в просвет и встретиться живьём
с продрогшею травой, которая под снегом.

И тяготы не различать – окна проём –
на этой частоте остаться человеком...

Сейчас со мною только снег... Мой долгий день –
штрихом в гравюре Дюрера теперь отмечен.
И мнится, снѣ жится прицеленной картечью
пространство сельское застывших деревень...
Здесь время холодов течёт, и мне не приподнять,
не осознать доверчивость того, кто умер,
кто, в предрасветном сотрясаясь трюме,
уже не смог весны дождаться и понять...

* * *

Для мёртвого сна сплетает послание...
Чёслав Милош

... Не пиши про высокое небо, про землю в цветах.
Я для мёртвого сна спеленаю пожѣстче послание.
Разошло по земле, по зиме надоедливых птах.
И сожмусь в перекрёстках теней и твоих прикосаний...
Но пока я стою за деревьями крепкими, старыми,
всѣ движенье моѣ – колыхание – ветер в ночи.
Не скули, не грози, непогода, лихими пожарами –
лучше нервную грудь ты себе подлечи. Подлечи!

Не молчи, не протягивай хладные руки за ворот –
мне под голову... Бейся истошно в просторах пути.
Этот приторный сон – он давно в моих мыслях распорот,
раскурочен, разбит, растасован по кронам в горсти...
Выхожу под вселенским дождѣм, словно каюсь и верую!
Возвращаюсь – опять под дождѣм – и опять – никого...
Хоть изломана я, но иду по земле – в клетку серую.
Облака – это смертные крылья – вращут и в тебя глубоко!

Прикоснувшись к ночи, я приму твоѣ чѣрное-синее,
твой уверенный бег по следам, по моим адресам.
Это дерево станет когда-нибудь мной, станет просто Васильевной!
– Так сие передай легкокрылым своим небесам!
Обхожу эти дальние комнаты, ветхие эти периметры:
всѣ больней в непогоде, всѣ злей твой песок под ногой.
Вот осталась одна – никого... Лишь пророчество в имени
да щенок под отвесной стеной, мой дружок постовой...

* * *

Всё меньше времени... Плащами нараспашку –
спешат прохожие по мартовскому дню.
Где тот святой, который мне отдаст рубашку
последнюю свою – у сердца схороню.
Куда ни обернись, повсюду тлеет зимами
скупой пейзаж... Как на ладони призрачны мосты.
И снятся дети мне святыми Серафимами,
снующими в проулках, улочках пустых...

Меня всё меньше стало – подытожилась,
помножилась и разделилась на ветру.
Кому-то жить да жить, да только прожилося
словами смертными и Божьими во рту...
Утрачиваю, милые, утрачиваю вечность.
Иду... За нитки дёргают кому не лень,
мою судьбу, мою земную покалеченность,
продрогшую печаль и асимметрию колен...

Гляди, всё меньше нас – углами схожими,
сидящих по завалинкам. Не до весны...
Здесь всё моё, здесь птицы растревожены –
не примут столько ран весенних, полостных...
Предстану ли в своём краю распутицей –
подстрочником деревьев или тишиной.
А там весна – по умолчанью сбудется,
какой сегодня прокричать ей позывной...

* * *

Среди каких земных ветров найдёшь меня,
среди каких неведомых плесканий –
святых пророчеств, детских заиканий,
найдёшь и вынесешь из млечного хламья...
Такая лёгкая тростинка, Боже мой, –
во мне и многогочие, и запятая.
Нетленная откуда высота такая
в холодном зимнем дне, блуждающим с сумой...

А мне туда – в трамвае звонком оттрястись,
туда, где боль Ван Гога, Боттичелли –
измерить душу золотым сечением,
а дальше – в подворотню мячиком катись...
И прорастёт ли этот снег – рукой подать –
весь в остракизме, весь в немой огласке.

Оставлены в снегу соседские салазки
и чья-то школьная в полосочку тетрадь...

Когда зимой преодолею свой каприз,
когда дыханье улиц постучится
ко мне... Я буду, Господи, твоей частицей,
как птица, опустившаяся на карниз.
И будет длинен день – он принесёт покой –
картезианский штрих в своём обличье
и мудрое жизнеустройство птичье –
моей ещё незавершившейся строкой...

* * *

И на ветру застыть, калитки не открыть,
пугливых птиц печальным словом вспомнить,
случайно ветку не сломать – земную нить
и не нарушить пустоты умерших комнат.
Остаться тишиной, дымком кирпичных труб,
не заболеть зимовьем или спячкой,
не отыскать в подворьях дедовский тулуп,
не задержаться у воды притихшей прачкой.

Побывать окрестностью сейчас, а не потом,
не узнавая опустевших улиц,
принять неспешность марта птичьим ртом,
стоять, не отрываясь в карауле.
И так забыть, утонуть в мензурке снов,
познать на вкус сосулек карамели.
И не весна пока, а горстка облаков,
проталины души моей – да неужели?..

Я не люблю февраль, и март мне чужд,
надгробием застынет снег прислуга,
ручьем безродным звонким пролечу
до пахоты, до острия земного плуга.
Снега так нынче пахнут свежим огурцом,
пора растаять Божьим погремушкам,
увидеть воробья над/под кормушкой
и мартовскую боль с моим/чужим лицом...

* * *

Боже правый!.. А вот и вернулась зима.
Нарастанье холодного злющего ветра.
Побелели, отчётливы стали дома.
У подъезда колышется тонкая ветка.
Я вернулась сюда, ты меня повстречай.
По дороге трамвай – это здесь моя юность!
Это здесь в подворотнях горела свеча,
это здесь отзвучала дороги угрюмость.
За спиной – перекрёстки, парадных огни.
Я стою возле дней и ночей беспросветных.
Возвратилась зима, ты тихонько махни
в этом рыбьем затишье рукой незаметно.
Ну привет! Вот и встретились мы по зиме,
вот и тянутся сплошь восковые закаты.
Это юность моя!.. Я всё ближе к земле
и к домам этим странным, таким угловатым.
Вот и жизнь подытожена, словно мосты,
разведённые кем-то – забытая данность.
Вьётся медленно снег. Замолкает пустырь,
до утра охраняя свою перевозанность...
Боже мой, так бывает – опять холода!
Я живу, я примчалась в родное предместье.
Здесь скучала когда-то, была молода,
а теперь не узнать этих звёзд перекрестье...
Это наша зима – за мертвецким окном
приоткрой эту форточку зимним знаменьям.
Я приду, не узнав этот двор в голубом,
этот дом ледяной, этот свет над ступенью...
Здравствуй, юность моя, сколько зим, сколько лет!
Я вернулась к тебе, снова дверь отпираю.
Сколько было снегов, сколько выпало бед,
словно снежную бабу во тьме отпеваю...
Я вернулась сюда, ты меня повстречай,
словно не было этой давнишней разлуки.
Пригласи хоть на час – на полуденный чай.
Ни гугу... Поездов привокзальные звуки...

* * *

Говори со мною, Боже, говори
утомлённым голосом предзимья.
Глянь, полощутся в тумане фонари,
холодеют эти дни невыносимо...

Говори со мной, заблудшим мотыльком
в ветреном ненужном ожидании.
Смерть, война – они придут потом,
и рождение потом, и состраданье...

Переулочек мой исхоженный затих –
по шагам меня, по лёгкости узнает.
Говори со мной! И в днях мирских
что прибудет, что доковыляет?..
Расплескалась где-то юность по дворам...
Может, пригожусь в чужой окраине.
Прирасту к деревьям тонким, облакам.
Я давно твоею раной ранена...

Говори со мною, Боже, говори
лунным светом, днями окаянными.
Песнь моя – дороги, пустыри,
песнь моя – до дрожи покаянная..
Говори со мной, не мешкай в ноябре,
словно окнами небесными, субботними...
Жизнь мою пока ещё не отняли.
Вот и снег пошёл... тире, тире, тире...

* * *

В холодном небе почерк воробья
скользит, и я ему почти что верю.
Сжимается пространство бытия.
Крестообразный снег летит за дверью.
Недолго будет так, лишь до весны,
до первого земного притяженья...
Как хочется привычной тишины,
да Божьего вселенского прощенья...
Но длится ночь, дыханье затаив.
Вот улица – ей фонари подвластны.
Вот человек – входящим снегом жив,
в миру живёт себе негромко.
А между тем земная благодать –
попынных, мёрзлых островков сраженье.
Я запишу в лучистую тетрадь:
ветвей длинноты, сердца отраженье...
Сожму в руке пространство бытия –
оно откликнется – звездой, снегами,
и зазвенит негромко полынья,
как будто бездна вспыхнет под ногами.

* * *

Пока держу в глазах вечерье деревень,
ниспосланных, пришедших из забвенья.
Пока горят огни, и набегает тень
на мартовскую ось и треволненья.
Иду – разрезаны проталины в пути,
не добежать, не доаукаться до середины
той меры веса, что теперь не донести...
Бликуют издали дрожащие осины.

Ещё промозгло... Ветер... Сумрак поделён...
Не приведи, Господь, заночевать в деревне,
которой нет... Там голос птицы оголён,
и снег такой безрадостный и древний...
Из жалости принять свой кров, свою родню –
по тихим плакальщицам вспомнить, по веригам...
А там дворы, дома – где слово оброну,
где правду возвещу, где опрокинусь ликом?..

Песчинки, ссадины... Я всё взыщу с себя –
тряпичных одеял тепло, десна болящая...
Махну рукой в окно прилипшим голубям,
продавленным снегам – натура уходящая...
Не приведи, Господь, заночевать в глуши,
Зачать-родиться, будто бы и не было...
Принять с лихвой воскресного да вербного,
и день, и ночь считать безвременья гроши...





Елена Ханен / Германия /

Елена Ханен родилась в Казани. По образованию биолог-генетик. Окончила биофак казанского госуниверситета, кандидат биологических наук. В начале девяностых уехала работать в Германию, университет города Гессена. В настоящее время живёт в городе Хайнсберге (Северная Вестфалия). Пишет короткие рассказы и новеллы, исследует и переводит на русский язык немецкий фольклор. Печаталась в журналах «Урал», «Крещатик», «Зарубежные задворки», «Carte Blanche», в газете «Звезда Поволжья», в альманахе «Семейка», в сборниках рассказов «Ночь прощения», «Дети Дафны и Аполлона», «Симфония судеб», «Автограф», антологиях «Ностальгия», «Дежа вю» и др. Член Международной Гильдии Писателей.

Манфред Кюбер (1980–1933) – немецкий писатель, поэт и переводчик. Известен прежде всего благодаря сказкам и рассказам о животных. Давно не переиздавался в Германии, а российским читателям практически не известен. Предлагаемая «Майская сказка» в переводе Елены Ханен – из книги-биллингвы «Кот Ратценец» (издательство Stella, 2023 год).

МАЙСКАЯ СКАЗКА

Жил-был майский жук, который, как и полагается майскому жуку, родился в мае. Светило солнце, так ярко и золотисто, как оно светит лишь раз в году, когда на свет появляются майские жуки. Однако, майскому жуку это было безразлично.

– Солнечный свет нельзя съесть, – сказал жук самому себе, – и поэтому он меня не интересует.

Майский жук пересчитал свои ноги, сначала с левой стороны, потом с правой, и сложил вместе. Полученное число ему явно понравилось и он стал думать – а не попробовать ли отправиться в путь? Или это будет слишком обременительно? Три часа жук думал, потом снова пересчитал свои ноги и начал потихоньку ползти вперед, конечно же, медленно-медленно, чтобы не переутомиться. Хорошее самочувствие – превыше всего!

Вдруг он натолкнулся на нечто мягкое, настолько мягкое, что посмотреть на него нужно было непременно. Оно лежало на траве и выглядело как бархатный жилет, имело четыре маленькие лопаточки, а глаз у него совсем не было. Майский жук, который никогда раньше не видел кротов, удивился необычайно, пересчитал опять по-быстрому свои ноги и возмущённо, со всей силой, толкнул бархатный жилет. Крот в изумлении отпрыгнул.

– Вы с ума сошли? – заорал крот. – Какая неосмотрительность!

Майский жук захохотал. Разозлившийся крот был очень смешон.

– Знаете, – дерзко ответил жук, – тому, кто представляет из себя всего лишь бархатный жилет с четырьмя лопаточками, и совсем без глаз, следует лучше молчать.

– Что за чушь вы несёте! – прошипел крот, задыхаясь от ярости. – Вы исключительно грубый субъект!

И с этими словами крот скрылся в земле, а майский жук, очень довольный собой, продолжил путь. Наконец, под вечер, он добрался до пруда, где на камне сидела большая старая лягушка, совсем зелёная и совсем мокрая и читала при свете луны газету «Болотные вести».

Наглый майский жук уселся на спину увлечённой читательницы и начал легонько, но настойчиво щекотать её усиками. Лягушка закинула лапку за спину и почесалась, не отрываясь при этом от газеты – ведь в «Болотных вестях» публикуются такие интересные статьи, что жалко отвлекаться от чтения. Но майский жук настойчиво продолжал щекотать. Лягушка, разозлившись, оглянулась назад и с укором посмотрела на нарушителя спокойствия. Лягушка регулярно читала «Болотные вести» и поэтому была очень образована, и конечно же, сразу узнала в этом невоспитанном существе майского жука.

– Сегодня первое мая, – сказала она спокойно, – в газете написано, что должны появиться эти странные создания. Ничего не поделаешь. И она вернулась к чтению, лениво почёсываясь, когда её щекотал майский жук. Бедная лягушка чесалась бы ещё очень долго, если бы майский жук не прекратил её щекотать. Но тут произошло нечто интересное – вокруг пруда зазвучал хор нежных голосов. Множество маленьких эльфов, в белых одеждах, с крошечными коронами на белокурых головках, взявшись за руки, водили свои хороводы и пели. Лягушка не обращала на них внимания, про хороводы она уже читала в «Болотных вестях», в разделе «местные новости». Но майский жук ничего об эльфах не знал, и пополз, торопясь изо всех сил, посмотреть поближе на странные существа, что так странно поют тонкими голосками.

Эльфы испуганно разлетелись в стороны, только одна эльфийка осталась стоять на месте, уставившись на необычное существо.

– У тебя шесть ног! – воскликнула она. – Ты, наверное, заколдованный принц, которого я давно уже жду, чтобы подарить мою маленькую корону.

Майский жук посмотрел на свои шесть ног, пошевелил смущённо усиками и ничего не сказал.

«Это определённо заколдованный принц, – подумала эльфийка, – у него шесть ног, он смущённо шевелит усами и он ничего не говорит». И она спросила майского жука:

– Хочешь на мне жениться?

Но майский жук понял, что его спрашивают о том, не хочет ли он

чего-нибудь, и ответил:

– Ж-ж-ж-ж-рать я хочу! – и улёгся на спину.

«О, как он однако сильно заколдован!» – подумала эльфийка и принесла ему еду, самую вкусную, которая была в эльфийском королевстве.

Когда жук насытился, эльфийка села рядышком и стала терпеливо ждать, когда заколдованный принц расколдуется. И после того, как колокольчики прозвонили полночь, эльфийка подумала, вот, сейчас это произойдёт, и собралась уже дарить маленькую корону. Но майский жук не слышал звона колокольчиков и не заметил золотую корону, он лежал на спине и спал. Это было ужасно скучно – шли дни и ночи, он ел невообразимо много, а как только колокольчики звонили полночь, сразу засыпал. А бедная эльфийка всё ждала и ждала.

Но однажды ночью произошло нечто чудесное: майский жук зашевелился, вытянул все шесть ножек, задвигал усиками и вдруг распустил крылья.

«Заколдованный принц начал расколдовываться», – решила эльфийка и ужасно обрадовалась. Но пока она радовалась, майский жук улетел, зацепив своей неуклюжей ногой золотую корону, которая разлетелась на тысячи осколков. Эльфийские короны так хрупки!

И вот у бедной эльфийки нет ни заколдованного принца, ни маленькой короны, которую она ему собиралась подарить. Она закрыла лицо руками и горько заплакала. Её плач был таким печальным, что лягушка оторвалась от своих «Болотных вестей» и с сочувствием посмотрела на неё.

– Да, да, – произнесла лягушка со вздохом, – сегодня последний день мая, так написано в газете, и эти странные существа уходят. Ничего не поделаешь.

Она задумчиво перелистнула страницу – для лягушек это дело нетрудное, у них всегда влажные пальцы, – и снова уткнулась в газету. И даже крот вылез из земли и сказал:

– Это был исключительно грубый субъект!

Но майский жук не был ни грубым субъектом, ни заколдованным принцем, а всего лишь обыкновенным майским жуком. Не надо было эльфийке ожидать от него сказочных чудес, не стоило дарить ему свою маленькую корону.

И что же стало с маленькой эльфийкой? Добрый Бог взял её на небо и превратил в ангела, дал два маленьких крыла и одарил нимбом вместо разбившейся короны.





Ольга Оливье / Франция/

Родилась в России. Окончила художественно-графический факультет Московского Государственного Педагогического института (МГПИ). Преподавала в детской художественной школе. Изучала французский язык в Сорбонне. Живёт во Франции. Профессионально занимается живописью и декором интерьера. С 2016 года принимает участие в работе иконописного ателье в Париже, продолжающего традицию Леонида Успенского. С 2018 года член парижского общества «Икона» и принимает участие в выставках в частной парижской галерее. В мае 2024 года участвовала в международном поэтическом форуме «Солнечный ветер» в Анталии (Турция). Автор журнала «Литературные знакомства», альманахов «Образ» и «Новые витражи». В настоящее время в издательстве Алетейя (СПб) готовится к изданию книга стихов и поэтических переводов с французского языка «Сад откровений берегите».

* * *

Не привыкай ко мне, прошу, —
Когда надолго дом покину,
Не превращай разлуку в зиму.
Не отвыкай любить рассвет
И сумерки, их многоточие.
Я каплями дождя вернусь,
Ведь расставание не бессрочно.
Дыханием ветра отзовусь.

ЧУЖИЕ ГОРОДА

Как странны звуки
Чуждых городов!
Неутомим их шум
И милость ненадолго.
В ночных огнях —
Глаза затравленного волка,
Повсюду запах стаи неродной.
И труден долгий путь,
Вернёт ли он домой?

ТАЙНЫЕ МЫСЛИ

Вы любите, мечту свою голубите,
Заботы не унять в спешащем дне
И я, давно живя в другой стране,
Невольню в поздний час не сплю
Тревожась мыслями о вас.
В хранимой ревностно
Строжайшей тишине
Прошу, мой дорогой,
На днях приснитесь мне.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЗИМЫ

Шалью бархатной небес
Нежно укрывая,
К одиночеству ночей
Кротко приучая,
Ворожила тишина,
Вечности внимая,
Полуночной бездной звезд
Колыбель качая.

КОКОТКА. СТАНЦИЯ ПЛОЩАДЬ ПИГАЛЬ

Пряный, терпкий аромат —
Мускуса недоумение,
Яркий скомканный наряд,
Бессловесный разговор
Рук, упавших на колени,
Синяками под глазами,
Чередую серой тени,
Зонтик к платью невпопад.
Маленький парижский монстр,
Смесь кутюр с подделкой шалой,
Улиц крик, немой укор,
Гарь уставшей суеты —
Остановится вагон,
И в течение тел людских,
Проскользнув, исчезнешь ты.

ЕЩЁ БЕСПЕЧНАЯ ПАРИЖСКАЯ ОСЕНЬ

Листья падают, метель та золотая
Поневоле голову кружит.
Их парча, бульвары устилая
Мягкой мантией, как свитой горностаев,
Завершённой Париж благословит.
Нега праздника неторопливой птичьей стаей
Над рекою, в воздухе искрясь, парит.
Солнца луч в венчанье веток замирает,
Свет, искрясь, перетекает в тень,
Сень деревьев бликами играет,
Правит бал парижский тёплый день.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОСПОМИНАНИЙ

Моему отцу

Я — ладонь твоим глазам,
В тихой бухте рук надёжных
Все невзгоды нипочём.
Знай, я рядом, мы вдвоём,
Как и в детстве,
День до доньшка сначала
С упоением проживём.
В милом детском бытии
Мир бездонен и лучист,
Каждый миг мечтою светел,
Детства свет так неприметен,
Вспомним мы не раз о нём.

— ET VOUS, QU'EST-CE QUE VOUS FAITES DANS LA VIE?*

Вы могли бы представить себя
Японской девочкой,
Той, что учит французский
С зари до зари?
И звуки чуждой фонетики

*

— А вы, чем вы занимаетесь в жизни?
Вопрос, постоянно задаваемый, бесконечно задаваемый.

Ей кажутся песнями,
Что, токуя,
Поют по весне глухари.

* * *

Старинная тетрадь, давнишние стихи
Вновь возникают в памяти и будто облаками
Вдаль проплывают явственно,
Безбрежности полны, хранимы и легки,
Ведомы Им, записаны лишь нами.

* * *

Немой укор у севрского фарфора^{*},
Недоумение: Скажите, почему?
Я выбираю и, без лишнего притворства,
Старинных русских чашек белизну.

Они в моих руках поют как флейты,
Соскучившись и удивлением искря,
Порадовать спешат наперебой,
И понимаю, что вернулась я домой.

Переводы французской лирики

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ
(1808–1855)

АЛЛЕЯ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО САДА

С цветком в руке, как птичка певчая, вспорхнула,
Походкой лёгкой, быстрою красавица прошла.
В тени аллей она лучилась, как цветущая весна,
Видение животворящей юности мелькнуло.
Воспоминание о ней смягчило горечь дней

* Севрский фарфор – Севрская фарфоровая мануфактура находится в Севре (юго-западное предместье Парижа).

И нежным несказанным светом душу озарило.
Как трепетно и тихо сердце с сердцем говорило,
Был мил и мягок свет её распахнутых очей.

Последний солнца луч мне шлёт привет несмело,
Ведь молодость, как птица, мимо пролетела.
Гармония и девушка, и аромат,
Исчезло счастье, опустел мой сад!

АПРЕЛЬ

Весенних дней приблизилась желанная пора,
Воздушной и длинней уж стали вечера,
А стены в бликах солнечных искрятся.
В апрельском воздухе разлит лазури свет,
Но свежей зелени ещё в помине нет.
С закатом ветки голые садов, зардевшись, озарятся!

Скучаю я в сухую ясную погоду,
С нетерпеливой страстью жду дождливых дней,
Которые каскадом звонкой музыки своей
Разбудят спящую и ждущую природу.
Весна появится, как нимфа, в розовых цветах,
Что вышла из воды с улыбкой на устах.

ВИКТОР ГЮГО

(1802–1885)

МОИ ДВЕ ДОЧЕРИ

Две дочери мои в тени вечернего и отдыхающего сада,
Как лебедь старшая с голубкой младшей рядом,
Красавицы и радости полны и неги безмятежной!
Букет гвоздик над сёстрами склонился шапкой белоснежной.
Он в вазе мраморной качается слегка под дуновением ветерка,

В порыве любования разглядывает их — восторг немой!
Как будто чьято лёгкая и шаловливая рука
Вспугнула мотыльков волшебных лучезарный рой.
В экстазе от увиденной девичьей красоты,
Вспорхнувших бабочек напомнили дрожащие цветы.

ОСЕНЬ

Заря не так светла и в воздухе сквозит прохладой;
Не радует и небо первозданной чистотой.
Сгустился воздух, ночью звёзды недоступны взгляду,
И щедрость лета, убегая, уводит свет неумолимо за собой.
Туман щемящею тоской сопровождает день за днём,
Деревья листья жёлтые роняют под дождём!
Проснувшись рано, окна в сад промёрзший настезь отворяю.
Очарование тёплых месяцев прошло, и холода спешат, шаги
нетерпеливо ускоряя...

Досаден мне приход столь торопливый осени грустящей,
Ах, лето, милый друг, поспешно уходящий!
Прощай, мне, пригорюнясь, голос говорит из плачущей души:
Как были встречи и прогулки летние нежны и хороши!
И чудится по-прежнему вдали, шумят зелёные леса,
Взмах птичьих крыльев различим, в лощинах клокочат речек
потаённых голоса.

Все ожидания души неискушённой утолены цветущей негой лета!
Прощайте, солнца яркие лучи, цветы и песни до рассвета!
Мне тихий голос шепчет: как благословенны были дни!
Дождусь ли я, когда вернутся к нам они?





Денис Кальнов / Россия /

Родился 4 февраля 1991 года. Публиковался в журналах «Плавучий мост» (Германия, Фульда), «Кольцо А» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Чайка» (Мэриленд, Большой Вашингтон), «Слово/Word» (Нью-Йорк), «Prosodia» (Рустовна-Дону), «Литературная Америка» (Сакраменто, Калифорния), «Иные берега» (Хельсинки), «Что есть Истина?» (Лондон), «Мастерская» (Ганновер, Германия), «Топос» (Москва), «Менестрель» (Омск), «Эдита» (Германия), «Дактиль» (Казахстан), «Сура» (Пенза, Россия), «ЛИКБЕЗ» (Россия); в русско-французском литературном проекте «СлоВолга». Лауреат международного конкурса им. О. Мандельштама "Germania goldener Grand" 2021. Участник 22-го Форума молодых писателей «Липки».

* * *

Цвѣта обожжѣнной глины — небо;
в летаргии поворот лица,
никогда не видевшего неба,
перед дверью узкого торца.
Посмотри, как там, за поворотом
отражѣнный в луже дом-валет
с вечно-зеленеющим налѣтом
обрастает трещинами лет.
Как же тихо. Пусть ещѣ бы кто-то
здесь прошѣл. Кирпичная стена
всѣ бежит; нет выхода и входа, —
только бесконечная длина.
Но, как звук, проносится «другое»
где-то рядом (трепетное), — вот
засквозило вновь в сыром настрое
фонарей, — летит, летит; живѣт.

* * *

Марку Шагала

Изгиб фигуры в кобальтовом свде
над строгим конусом застыл;
мышинный шорох слышен в дымоходе,
и кто-то белый в небо взмыл.
Вон там лошадка красная шагала,

где с человеческим лицом
играл растущий месяц у квартала
на тонкой скрипке о былом.

Вот акробат из линий карандашных
опять готовится к прыжку
под пёстрый шум свидетелей бумажных, —
под неизбежную тоску.

Ночные сцены — повести Парижа
(анфас и профиль — всё одно)
плывут над ромбом черепичной крыши,
и в мастерской горит окно.

* * *

Коммунальный этаж
в бледном свете луны;
в коридоре трельяж —
продают (полцены).
Тесно старым вещам
в мире кухонных стен:
то прильнут к зеркалам,
то баюкают тень.
Глухо капает кран
в коммунальной ночи,
и стоит чемодан,
в нём предметы ничьи.
Рассекает окно
ослепительный свет,
точно кадром в кино,
повторяя сюжет.
...Но пора уходить,
оставляя другим,
света лунную нить
с бесконечностью зим...
Коммунальный этаж,
мебель комнат простых
и холодный пейзаж
зданий полупустых.

CANNAREGIO

Утром бесцветное небо встречает меж стен;
длинные улицы вьются, как строки Гомера;
воплей буксирных доносится равный обмен;
как тут не вспомнить про Манна: мечту и холеру?
Долго светает в округе, — ещё только шесть;
в городе предошущение мессы воскресной.
Может ли этот увядший пейзаж надоесть
с тусклостью вечно-дрожащих подвесок подъездных?
Сквозь непромытые стёкла случайный анфас
веет под морось кропящую чем-то нездешним,
чтобы накал ностальгической вспышки не гас,
чтобы и новое вровень вмещалось бы с прежним.

* * *

Над тем, что манит и пленит
тень башни обликом Титана
сквозь дни в неясное скользят.
И Гавриил уже грубит
в тумане с отсветом вольфрама.
Лагуна-выдумка-ларец;
здесь отражается свинец
небес, спускающихся плавно,
чтоб местность раю стала равной,
поднявшись в воздух, наконец.

Пустует площадь. Рождество;
зажгли в пространстве онемелом
звезду, являя с Той родство;
а слева домик — волшебство
с эффектом белого на белом.
Рокошет лодочный мотор.
Каспар, отставший Мельхиор
и Балтазар идут с дарами.
...Вот снег внезапный под ногами,
и слышен византийский хор.

* * *

Для всех попавших в поле зрения
вещей, пронзающих сознание,
найти бы камеру хранения
в лакуне ткани мироздания.
Для барж к полуночи пустыющих,
всегда устало накренившихся,
и для, как будто бы дрейфующих,
мостов, зеркально повторившихся.
Для тех заводов ржавых в копоти
и перебоев электрических,
для лязга кровель в полушёпоте
всех сквозняков меланхолических.
Для подворотни, лампы газовой
в тоске окна с решёткой кованой,
что всё дрожит со скрипом джазовым,
уют штрихуя мебелированный.
Для всех заросших колоннадами
проспектов с тенью, убегавшей
от почтальона под фасадами,
всё время в памяти всплывающих.
Найти бы камеру хранения,
что для всего быстро живущего,
чтоб вынуть вновь по возвращении
недостающее.





Татьяна Ивлева / Германия /

Родилась и окончила школу в Казахстане. Первые публикации стихов в областной газете «Южный Казахстан» и в литературно-художественном журнале Казахстана «Простор». Диплом филолога получила в Одессе, там же служила в Русском драматическом театре им. Иванова. В Минске была сотрудником комитета Белорусского радио и телевидения. В Германии с 1986 года. Работала преподавателем русского языка, переводчиком, служила в различных театрах Земли Северный Рейн-Вестфалия (Рургебит). Сотрудничала с известным театром «Theater an der Ruhr» (Мюльхайм), принимая участие в большом интернациональном проекте «Шёлковый Путь» под эгидой ЮНЕСКО.

Печаталась в различных интернациональных журналах, сборниках, антологиях и поэтических альманахах.

Редактор и составитель нескольких поэтических альманахов Русского Зарубежья и антологий современной русскоязычной поэзии и прозы, изданных в России, Германии, США и на Украине. Автор восьми поэтических сборников. Член Союза русских писателей в Германии, член Московского союза российских литераторов, член жюри и лауреат нескольких литературных конкурсов. Живёт и работает в Эссене (Германия).

ЭЛОИЗА

В самом тембре бархатного баса было что-то хватающее за сердце.

С. Г. ПетровСкиталец (1869–1941), роман «Кандалы»

Любовь – одно из тех страданий, которые невозможно скрывать;
одного слова, одного неосторожного взгляда и даже молчания
достаточно, чтобы выдать его.

Пьер Абеляр (1079–1142), «История моих бедствий»

На дворе стоял ноябрь 2015-го года. Хрупкая, элегантная женщина по имени Элоиза сидела за металлическим круглым столиком в маленьком кафе «Вояж», стеклянный фасад которого был обращён на пяточок автобусной станции, откуда скоро должен был отправиться междугородний автобус Берлин-Франкфурт. На первый взгляд возраст пассажирки трудно было определить: о таких говорят «женщина без возраста». Лёгкая походка, густая русая чёлка над ярко-зелёными глазами в венчике пушистых тёмных ресниц, ухоженная внешность и спокойный, мягкий голос. Она казалась благополучной, уверенной в себе и полной сил. Окружающим и в голову бы не пришло, что полгода назад эта женщина отметила свой шестидесятипятилетний юбилей. Да и сама Элоиза не могла в это поверить. Её супругу Эдварду, ведущему инженеру концерна «Thyssenkrupp», предстояло ещё два

года работать до пенсии. Взрослая дочь Ирма совместно с мужем Даниэлем заботились о процветании своей аптеки, а двое внуков-близнецов, Макс и Алекс, находились в Китае, где постигали в университете премудрости китайской грамоты, проявив ещё в школе интерес к иероглифам и мечтая о дипломатической карьере. В их дружной, образованной семье каждый был увлечён своим делом, и перспектива превратиться в домохозяйку на пенсии не входила в планы Элоизы. Она решила продолжать работу, на этот раз консультантом по вопросам современного русского языка в рамках программы Goethe-Institut. Окончив факультет германистики в одном из университетов теперь уже бывшего Советского Союза, она, последовав за мужем в Германию, получила здесь второе образование и, защитив диссертацию, удостоилась учёной степени доктора филологических наук по специальности «филолог-славист». Почти сорок лет отдала преподавательской деятельности.

«Сорок лет, – изумилась Элоиза. – Неужели?!»

Эти годы промелькнули, будто кадры на ускоренной киноплёнке Retro Cinema – кино, главной героиней которого была она сама.

Взглянула на часы: девять утра, до посадки в автобус оставалось ещё полчаса. За стеклянной витриной уютного привокзального кафе моросил мелкий дождь, характерный для Германии в промозглые ноябрьские дни, и она решила скоротать время за чашкой крепкого кофе, а заодно полюбоваться на эксклюзивный дизайн обложки её нового сборника стихов, только что изданного в Берлине, где она провела неделю, представляя свою книгу на презентации в университете имени Гумбольдта.

В кафе было почти безлюдно: за узкой стойкой бара на высоких табуретах расположилась, уткнувшись в смартфоны, молодая парочка; чуть поодаль, сутуля спину, подперев кулаком небритый подбородок и печально глядя куда-то вдаль, неподвижно сидел худощавый старик в потёртой замшевой кепке и такой же куртке с расстёгнутым воротником. Он напомнил ей привезённую из Мексики бронзовую фигурку Дон Кихота, изваянного в той же, полной безысходности, позе. «Вылитый рыцарь печального образа», – сочувственно отметила Элоиза, проходя мимо. Ей почему-то стало жаль его. Расплатившись за кофе, вернулась к своему столику, с наслаждением вдохнула аромат горячего живительного напитка и поднесла чашку к губам, предвкушая удовольствие, как вдруг за спиной раздался пронзительный телефонный звонок и взволнованный, тревожный мужской голос окликнул её по имени: «Иза, девочка моя, ну где же ты пропала?! Я просто с ума схожу!». Элоизу будто пронзило молнией. Она вздрогнула и, не успев пригубить кофе, машинально опустила чашку, звякнув ею о донышко блюдца, плеснув на стол густой воздушной пенкой, похожей на лоскуток ажурной кисеи. «Иза, девочка

моя...» – так называл её единственный человек в мире. В той, другой, непреодолимо далёкой жизни, о которой, как ей казалось, она давно забыла, перечеркнув прошлое, похоронив его горькие, тревожные фантомы под обломками в одночасье рухнувшей страны, её бывшей Родины – со всей той жизнью, теми идеалами и теми людьми, их надеждами и чаяниями, их гимнами, именами, знамёнами, племенами... В своей первой книге стихов, изданной во Франкфурте, спустя десять лет после переезда в Германию, она, получив, наконец, немецкое гражданство, напишет, окончательно прощаясь с прошлым:

*Стреножен и к Европе приобщён
Заблудший конь моих славянских предков,
Осколки их имён, племён, знамён,
Их зов во мне – как сон, забвенью предан.*

Да, Элоиза была убеждена, что тот сон был предан забвенью, что под траурной грудой руин и обломков прежней жизни был погребён и кошмар той страшной июньской ночи, неумолимо и безвозвратно размежевавшей её жизнь на «до» и «после»... И вдруг снова – этот голос! Оттуда, из того чудовищного июньского сна! А может быть, это всего лишь сон во сне, и ей только приснилось, что она слышит его голос – такой волнующий, обворожительный бас-кантанта, от которого сладко и тревожно замирает сердце? Среди тысячи других голосов она безошибочно узнала бы этот редкостный бархатный тембр, волшебный звук которого, как ей когда-то казалось, возвышал душу. Что за жестокое наваждение – горестное, гиблое дежавю?! Элоиза чувствовала, как дрожат похолодевшие руки, слабеют колени, а сердце колотится так, будто хочет выскочить из грудной клетки и разбиться на тысячу частей. Лицо побелело, и в висках стучат не молоточки, но молоты... «Боже Милостивый!» – молча взмолилась она, прикрыв глаза вмиг отяжелевшими веками, пытаясь сделать глубокий вдох. Но в это мгновение, словно сквозь туман, снова донёсся до слуха Элоизы, на этот раз неожиданно резкий, звук знакомого голоса, в котором теперь явно были слышны нотки облегчения.

– Какой пикник, в каком саду, Иза?! Взгляни на часы! Договорились ведь без опозданий встретиться в кафе на станции! Первое слово дороже второго... Мы с бабушкой с восьми утра здесь торчим, как «два тополя на Плющихе»... При чём здесь друзья?! А позвонить? Что?! Телефон разрядился? Эти сказки расскажешь бабушке – она поверит, а я твои штучки наизусть выучил!

Небольшая пауза и снова, теперь уже примирительно и с весёлой искоркой:

– Ну, погоди, «сталкер», бабушка тебе устроит «пикник на обочине»! Такие санкции наложит – мало не покажется! Ладно, ладно, детка, всё понял – возьми огонь на себя. Не привыкать. Главное, ты

нашлась. Слава Богу! А то мы собрались уже в полицию бежать... Бабушка за утро весь запас корвалола извела, такую панику устроила! А, вот, кстати, и она! Ждём тебя в кафе. Напоминаю: платформа №5. Наш автобус через час. Поторопись!

Экстравагантно-импульсивный монолог незнакомца привел Элоизу в чувство, всё вернулось на круги своя. Ей стало ясно, что таинственный голос принадлежал старику – печальному рыцарю за соседним столиком, и что обращался он не к ней, а к кому-то другому, судя по всему, к своей внучке по имени Иза, легкомысленно сбежавшей в «самоволку», по поводу чего и возник переполох у пожилой четы русских пассажиров. А имя – Иза – просто случайное совпадение...

...С тех пор как их пути разошлись, и она, выйдя замуж, уехала с мужем в ФРГ, все вокруг неизменно называли её Элоизой, либо сокращённо – Эли. Немцы любят краткие формы имён: так Эдварда в кругу семьи и друзей зовут Эд, а юных близнецов Максимилиана и Александра – Максом и Алексом. Эд вообще крайне редко обращается к ней по имени, предпочитая универсальное немецкое «Schatz» – сокровище. Но – Иза! – так даже мама не называла её! За всю жизнь – никто и никогда. Только он! И это был его голос, и его манера говорить, и речь русская – здесь, в Берлине... Хотя, конечно, с той поры, как рухнул «союз нерушимый республик свободных», и советские «дети разных народов» разбрелись по всему свету, русская речь перестала быть редкостью в Европе. Но, всё же, внезапное явление таинственного незнакомца и необъяснимые совпадения, связанные с его голосом и её именем, показались Элоизе чрезвычайно, невыразимо странными, пугающе мистическими...

Немедленно выйти на воздух, иначе она задохнётся в этой стекляшке – от урагана нахлынувших чувств, воспоминаний и внезапной, пронзительной боли в груди. Стараясь не поворачиваться к столику, за которым сидел обладатель мистического голоса, Элоиза, так и не притронувшись к остывающему кофе, лихорадочно накинула лёгкое чёрное пальто, подхватила небольшой дорожный кофр на колёсах и в смятении устремилась к выходу. В дверях столкнулась с пожилой грузной женщиной в мокрой от дождя коричневой стёганой куртке. Слега отстранилась, уступая ей дорогу, интуитивно догадываясь, что коричневая незнакомка с помятым недовольным лицом, похоже, и есть бабушка беглянки Изы...

Выйдя на платформу под широкой пластиковой крышей, Эли несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь вновь обрести самообладание. «Он?! – Нет, это невозможно! Здесь, в Германии... Почти полвека прошло! Да и видела она этого пассажира в замшевой кепке лишь мельком. А тот и вовсе её не заметил. Ах, нелепость! Между ним и этим незнакомцем ничего общего – лишь голоса похожи. Подобное случается. Конечно, просто показалось...», – теперь уже спокойно рассуждала она.

Подошёл автобус. Элоиза, подхваченная бурным течением дорожной суеты, забыла на время о странной встрече. Когда наконец автобус тронулся, раздался звонок мобильного телефона. Звонил муж. Негромко, деликатно ответила по-немецки: «Не волнуйся, дорогой, всё в порядке. Во Франкфурт прибудем по расписанию. Danke Schatz! Ich dich auch». Пытаясь отвлечься от непрощенных мыслей, решила полистать свой новый сборник, ещё не обнаружив, что, обратясь в бегство, оставила его на столике в привокзальном кафе «Вояж», но передумала, понимая: сосредоточиться всё равно не сумеет. Смотреть в серое запотевшее окно, по которому косо стекали унылые длинные струйки дождя, тоже не хотелось. «Что ж, видимо, у каждого наступает в жизни момент, когда прошлое, пробив брешь в саркофаге забвения, настигает человека, чтобы напомнить о себе...», – подумала Элоиза, смиряясь. Чувствуя себя совершенно опустошённой, сдалась, откинулась на спинку кресла и, закрыв глаза, отправилась в далёкое путешествие «по волнам своей памяти»...

Он появился в их школе, в параллельном десятом классе, в сентябре 1966 года. Неотразимо красив, на год старше всех её сверстников, подчёркнуто независим и дерзок, пришелец, обладатель чарующего голоса и чрезвычайно модного, дефицитного, престижного в те годы плаща «болонья», знал себе цену, вводя в смущение не только старшеклассниц, но и молоденьких застенчивых учительниц. С начала сентября во всех кинотеатрах города шёл повтор итальянского фильма «Рокко и его братья» – с неподражаемым Аленом Делоном, как две капли воды, похожим на новичка. Да, именно так и говорили восторженные поклонницы: не новичок похож на Делона, но Делон на него. А плащ «болонья» лишь усиливал эту иллюзию. Разумеется, двойник знал об этом сходстве и, подражая Алену, принимал комплименты сверстниц со снисходительной кривой ухмылкой, беззастенчиво и самодовольно срывая чужие, не принадлежащие ему лавры. Но – нет в мире совершенства! – у копии обнаружился досадный изъян: не блещущее оригинальностью имя Вова, которое Элоизе никогда не нравилось. Не нравилась ей и вся эта суета вокруг Вовы. В то время как её сверстницы забрасывали кумира записками с приглашением на романтические свидания, непреклонная девочка с яркими зелёными глазами не проявляла к нему ни малейшего интереса, тем самым всё больше привлекая к себе его пристальное внимание. На уроках физкультуры, проходивших, благодаря двухсменному режиму школьных занятий, совместно с двумя классами, герой девичьих грёз Вова Делон, как нарекли его поклонницы, заглядывался на гибкую, ладную фигурку в белой спортивной майке и синих шортах, на тронутые золотистым загаром стройные ноги, узкие, чуть покатые плечи и густые пшеничные волосы, собранные на затылке в тугой узел. Напрасно он пытался привлечь её внимание – она всегда отводила взгляд. Однажды её сосед по двору

Костя Суслó, по кличке Суслик, сумевший в короткое время стать закадычным дружкой Вовы Делона и подметивший его красноречивые взгляды в сторону Элоизы, сказал ему:

– Зря стараешься, приятель. Без-на-дё-га. Всех «отшила», и тебя «отошьёт». Пацаны её «Бастилией» прозвали – больно идейная и неприступная. Самогó Хана отвергла! Прикинь, этой весной он обломал соседскую сирень и явился к ней с корешáми, как король со свитой; соорудил из веток клумбу у дверей её квартиры, позвонил, мол, сюрприз, а она, смекнув, что сирень краденая, что называется, спустила «короля» с лестницы вместе с его свитой и клумбой. Короче, сцена у фонтана – всенародно облажала чувака. Соседи и его кодла кайф словили. Весь город ржал над ним. Хан до сих пор на неё зуб точит – пылает жаждой мести.

– А кто такой этот Хан? – мрачно поинтересовался Вова, ещё не окунувшийся в подробности местной светской жизни.

– Да, чувак тут один – амбал, вообразил себя хозяином города... Вообще-то, его полное имя Агахан. Мамаша его покойная то ли татарка, то ли турчанка, то ли уйгурка была, ну, а батя, понятное дело, казах – шишка местная, вот наследника Ханом и прозвали. Я сам слышал, как он хвастал, что его отец, якобы, принадлежит к какому-то там важному жузу, а имя Агахан значит – главный. Хотя все знают, что в прошлом он хронический второгодник, а в настоящем – местный оболтус и хулиган. Его из всех школ за драки и за анашу выперли, так он теперь «королём» города заделался. Самозванец. Гуляет по улице Советской – местному нашему Бродвею – со свитой блатных пацанов и кастетом в кармане. Баблá в лопатнике, как меди в джезказганских рудниках! Хана весь город боится, его даже мусорá не трогают. Если что, папаша сынка легко отмажет. С этим лучше не связываться... Из-за него одну училку молодую из школы уволили. Вообще из города уехала.

– Мерси за ценную информацию, друг Горацио, – задумчиво произнёс начитанный Вова и, одарив приятеля своей фирменной ухмылкой, добавил неопределённо:

– Ладно, разберёмся...

Благополучная, состоятельная семья Вовы приехала по контракту в их медный город Джезказган из Москвы. Отец – видный, статный мужчина, известный специалист по переработке меди, получил долгосрочное назначение на один из крупнейших джезказганских комбинатов. Мать, решительная и энергичная, зорко оберегавшая семейные ценности, не желая отпускать мужа одного, в два счёта ликвидировала проблему: упаковала чемоданы и, прихватив детей, отправилась с мужем, подобно декабристке, в далёкую, как она выражалась, «среднеазиатскую ссылку». Ирэне, старшей Вовиной сестре, студентке МГУ, был срочно оформлен академический отпуск, а десятиклассника Вову устроили в лучшую школу города. Семье

московского специалиста выделили просторную благоустроенную квартиру в сталинском доме для «шишек», в центре города, напротив кирпичного здания КГБ.

Элоиза и Костя Сусло жили в одном дворе, недалеко от дома Вовы; все трое шли в школу и возвращались домой в одно и то же время, по одной улице. Девушка всегда торопливо шагала в одиночестве, чуть впереди или позади них, а не разлей вода приятели вдвоём. Однажды, накануне ноябрьских праздников, Вова по какой-то причине возвращался один. Внезапно, обогнав Элоизу, остановился и резко развернулся:

– Привет, Иза! – артистично воскликнул он, ослепив её голливудской улыбкой. От неожиданности девушка опешила и потеряла дар речи.

– Угадай, что у меня здесь? – продолжил наступление Вова, воспользовавшись

её замешательством и выставив на обозрение перед её носом умопомрачительную чехословацкую папку из модной в те годы искусственной фактурной кожи бежевого цвета – предмет зависти всей школы. Едва придя в себя от изумления, застигнутая врасплох беглянка смущённо коснулась ладонью лба, зачем-то поправив чёлку, и тихо ответила:

– Вообще-то, меня зовут Элоиза... А в папке у тебя тетради и учебники, как и у всех.

– А вот и не угадала! У меня – не «как у всех»! И, да, я знаю: твоё имя Элоиза. Шикарное имя. Редкое! Кто придумал – мама или отец?

– Выбрала мама. Её вдохновила история Элоизы и Абеляра. Был в средние века такой поэт и философ. Элоиза была его ученицей. Они жили в Париже и тайно обвенчались.

Теперь от изумления застыл Вова.

– Клёвая история! Никогда раньше не слышал. Расскажешь?

– Может быть, – краснея, произнесла девушка, – но не сейчас. Мама ждёт. Будет волноваться, а ей нельзя – больное сердце.

– Извини, не стану задерживать. На, вот, держи!

Ловким движением фокусника расстегнул молнию на папке и достал свежий номер газеты «Джезказганский рабочий».

– Вауля! Здесь твои стихи. Не знал, что ты пишешь!

Миловидное лицо девушки вспыхнуло густым румянцем.

– Спасибо, я сегодняшней номер ещё не видела. Мама, наверное, тоже. Покажу ей. Вот обрадуется! А откуда у тебя газета?

– Утром, по дороге в школу, купил в киоске. Сестра попросила. Она занимается фехтованием, и там заметка про неё – на последней странице, а внизу твои стихи. Вот и прочёл. Классно пишешь! Давай вечером встретимся – расскажешь мне про Абеляра, а

я тебе про Арбат...

– Не знаю... – качнув головой, растерянно пробормотала вконец смущённая десятиклассница.

– Я буду ждать тебя здесь, на этом месте, в шесть вечера. До встречи, Иза!

Напрасно прождал Володя целых два часа. Элоиза не пришла. Не появилась она и в школе на следующий день. Костя рассказал ему, что вечером «скорая» увезла в больницу маму Элоизы, и дочь ни на шаг от неё не отходит. Махнув рукой на контрольную по математике (гори она огнём эта тригонометрия!), Володя тут же отправился в центральную больницу, находившуюся в двух остановках от школы... Так началась их с Элоизой школьная дружба, которой, однако, не суждено было долго длиться. После занятий обеспокоенная девушка торопилась в больницу к маме; он сопровождал её, терпеливо ждал в вестибюле и провожал домой. Из их доверительных бесед узнал, что раньше её семья жила в Алма-Ате, что отец, встретив другую женщину, бросил их, когда ей исполнилось десять лет. Они с мамой уехали в Джекказган, к маминной старенькой тётушке; та прописала их в своей квартире, помогла устроиться. В «медный» город они прибыли 12-го апреля 1961 года – в день полёта Юрия Гагарина в космос, о чём с особой гордостью сообщил голос Юрия Левитана.

– О, это нам счастливый знак на новом месте! – радостно воскликнула мама. – К тому же, оба наших героя – Юрии! Элоиза, доченька, загадывай желание – оно непременно сбудется!

И мама горячо обняла её.

По радио звучала новая песня-речитатив Микаэла Таривердиева на слова Григория Поженяна «Я бы хотел...», и Элоиза, не раздумывая, загадала: «...чтобы мама жила подольше... чтоб сороку олень не прёдал...». Гордая мама, отказавшись от алиментов, воспитывала дочь одна. Скромной зарплаты библиотекаря едва хватало, чтобы свести концы с концами. Год назад, переписав квартиру на маму, тётушка ушла в мир иной. А вскоре, фанатично любящая свою работу, ответственная и исполнительная, мама получила должность заведующей библиотекой.

Две недели пролетели быстро, маму выписали из больницы. Близился Новый, 1967-й год, начались зимние каникулы, и вместе с сестрой и родителями Володя уехал в Москву. Накануне отъезда зашёл к Элоизе. Они долго прощались во дворе, в заснеженной беседке, и он, согревая её узкие ладони в своих, растроганно шептал: «Иза, девочка моя, не грусти, я скоро вернусь! Просто жди меня...». И девочка, считая дни и часы, ждала...

Вова вернулся в школу с опозданием на несколько дней, не взглянул, не подошёл, и в следующие дни явно обходил её стороной. Элоиза, из гордости, тоже старалась не сталкиваться с ним. Не находя объяснений, мучилась догадками, страдала, бессонными ночами

орошая подушку слезами. Мама, понимая, что происходит с дочерью, не донимала расспросами. Первая любовь... Пройдёт. Скоро экзамены: сначала выпускные, затем вступительные. Начнётся студенческая жизнь, да и молодость возьмёт своё – девочке некогда будет плакать и отчаиваться. Всё разветается без следа. Да-да!

Старательно избегая друг друга, Володя и Элоиза делали вид, что не знакомы. Но однажды Костя Суслик, догнав её по дороге домой, бросил коротко:

– Делон хочет поговорить с тобой. Сегодня – у нас во дворе, в беседке. В шесть.

Девушку бил озноб, когда она подходила к беседке, что пряталась в окружении деревьев, между домами. Володя ждал. Молча постояли.

– Иза, – неуверенно начал он, – мы расстались...

– Я заметила.

– Не хочешь знать, почему?

– Нет, – сухо ответила она, не глядя на него, чувствуя, как гулко бьётся кровь в висках и мучительно замирает сердце.

– Послушай, ты мне, по-прежнему, очень нравишься... Но, знаешь, кое-что изменилось. Дело не в тебе, а во мне. Хотя, и в тебе тоже... Ты совсем ещё ребёнок, и меня не устраивают такие отношения... Я хочу взрослой жизни, взрослых отношений! Я пока не могу тебе всё объяснить... Но мы дружили, и было бы глупо расстаться в обиде друг на друга, понимаешь?

– Понимаю, Володя. Я не в обиде. Ты ничего мне не должен. Живи, как хочешь.

Он шагнул к ней, неловко схватив за плечи, повернул к себе и попытался поцеловать.

– Иза! На прощанье...

– Не стбит! – Девушка спокойно, но твёрдо отстранилась, сама удивившись своей решительности, и, словно прозрев, вдруг с изумлением обнаружила, что они почти одного роста. Птичка-невеличка, как называла её мама, раньше она не замечала его низкорослости, отождествляя бледную копию с ярким киногероем Алена Делона.

Месяцы мчались неудержимо. Элоиза прилежно готовилась к выпускным экзаменам, день и ночь сидя за учебниками. А мама, влезая в долги, готовилась к выпускному балу своей единственной дочери. У спекулянтов было куплено платье неземной красоты: многослойная, пышная юбка из модного белого капрона, затканного бархатными цветами, сплошь усыпанными прозрачными мелкими блёстками, была перехвачена на узкой талии розовым атласным поясом. Великолепное, нарядное, воздушное, оно делало Элоизу похожей на сказочную принцессу. Мама отдала за эту сказку целую зарплату, и ещё одну выложила спекулянтам за модные итальянские босоножки из белой

перламутровой лайки, на высоком, тонком, прямом каблуке, глубоко вырезанные и украшенные впереди изящными плоскими бантами. Этот вечер должен запомниться дочери на всю жизнь! Да и для такой славной девочки ничего не жалко, только бы доставить ей радость, только бы она была счастлива...

Наконец, экзамены успешно сданы. В салоне красоты «Волшебница» умелыми руками мастеров созданы причёска, маникюр и педикюр. Куплены цветы – роскошный букет белых лилий. Мама, как и многие родители, с гордостью сопровождала свою принцессу на официальной части выпускного бала. После вручения аттестатов, названных директором школы в торжественной напутственной речи «путёвками в жизнь», растроганные предки, прослезившись от нахлынувших чувств, стали расходиться по домам, а беспечные, безмятежно счастливые выпускники остались в просторном актовом зале, где гремела музыка и царил праздник. Договорились, что в четыре утра вместе с учителями отправятся на главную площадь города, где собираются по традиции выпускники всех школ, чтобы встретить с первыми лучами восходящего солнца новую, взрослую, яркую жизнь...

Недостатка внимания со стороны юношей у Элоизы не было. Они наперебой приглашали её на танец, осыпали комплиментами и цветами. Одинаково ровная и приветливая со всеми, она искала глазами Володю, но его в зале не было. Случайно уловив обрывок фразы: «...Делон с новой чувихой...», поняла, что он был здесь, и не один. Вероятно, с очередной подружкой уже отправился встречать рассвет.

Узкие ремешки итальянских босоножек, не рассчитанных на долгосрочные танцевальные па, стали слегка натирать кожу, досаждая Элоизе. Она решила сбежать домой, чтобы переобуться – дать отдых уставшим ногам и спасти тонкие каблуки, обтянутые кожей, от неминуемых царапин, остающихся после прогулок по неровному, выщербленному асфальту городских улиц. Часы показывали половину третьего. Её дом стоял в ста метрах от школы. Спорхнув вниз по лестнице к выходу на школьный двор, пересекла его, завернула за угол здания и... лицом к лицу столкнулась с Ханом!

– Опана! На ловца и зверь бежит! – воскликнул Хан, ловко ухватив Элоизу за руку. – Вышла из леса наша поэтесса, – нарочито гнусавя и ёрничая, ехидно добавил он.

Девушка попыталась высвободить руку, но притеснитель больно стиснул её узкое, по-детски беззащитное запястье.

– Ага, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети, – осклабился ловец, смачно сплюнув прямо себе под ноги. – Не расстанемся с тобой. Ни за что на свете! – Пообещал он притягивая её к себе.

– Послушай, отпусти, мне больно! – тихо произнесла она и

беспомощно оглянулась. Чуть поодаль, сбившись в стаю, маячили его дружки, мигая во тьме огоньками сигарет. Потянуло сладковато-терпким запахом анаши.

– Прошу тебя...

– Плохо просишь, коза строптивая... Проси лучше! Может, и отпущу. Я сегодня добрый.

– Чуваки, – оглянулся он в сторону курильщиков, – тащи сюда «чернила» и харчи!

– К-какие ч-чернила? – ничего не понимая и слегка заикаясь от испуга, растерянно пробормотала Элоиза.

– Обыкновенные, какими стихи пишут! – И, довольный своей шуткой, запрокинув крупную косматую голову, демонстративно сверкнув золотыми коронками, Хан отвратительно заржал.

Орава, человек десять, приблизилась вразвалку, окружая их плотным кольцом, гогоча и перебрасываясь скабрёзными шуточками и матерками. Было темно, лиц почти не видно, но двоих парней из параллельных десятых классов она узнала. Это немного подбодрило её. В этот момент кто-то протянул Хану бутылку убойного креплёного напитка «Солнцедар» – этого винного ужаса, гремучего коктейля, состоящего из низкосортного алжирского виноматериала, разбавленного свекольным сахаром, этиловым спиртом, ещё чёрт знает чем, и метко прозванного в народе «термоядерным», «бормотухой», «чернилами». Чья-то простёртая пятерня услужливо продемонстрировала початую подарочную коробку зефира в шоколаде, явно прихваченную с праздничных столов в актовом зале.

– Пей! Пей, говорю!! – хрипло гаркнул лиходея.

– Я не пью! Пожалуйста, Агахан, отпусти меня!

– Ой, ой, о-ой! Принцесса не пьё-о-от! – с фиглярскими ужимками пропел фальцетом, всё больше наглея, изрядно захмелевший хозяин города по кличке Хан. Подвыпившие дружки развязно заржали.

– Слышь, ты, чувырла, хор-рбш стр-роить из себя недотрогу! – опасно сменив тон, прорычал хозяин. – Все пьют, и ты будешь! «Путёвку в жизнь» обмоем! – заявил он, вплотную приблизив рыхлую багрово-коричневую физиономию к её побелевшим щекам.

И снова раздался взрыв глумливого хохота, напоминающего лай гиен...

Элоизу передёрнуло от алкогольного перегара, смешанного со специфическим, тошнотворно-приторным духом анаши, от разнузданного хамства этого верзилы с рябым, одутловатым, багровеющим лицом, от вида наглых, ухмыляющихся физиономий его дружков, от дурного предчувствия, разочарования и страха, сковавшего её похолодевшее сердце. А эти двое парней?! Они же её однокашники! В одной школе, у одних учителей, вручивших сегодня

им всем красивые одинаковые аттестаты... И вечер этот – выпускной! – один для всех, чтобы запомнили... Почему они молчат?!!

– Отпусти, Хан! Пожалуйста!! Мне домой надо... – Умоляюще произнесла пленница.

– Ништяк! Выпьешь со мной – отпущу, – упорствовал верзила, напирая на жертву.

Девушка брезгливо отпрянула и, судорожным рывком высвободив из его жёсткой клешни руку, сделала отчаянную попытку пройти. Но Хан преградил ей дорогу.

– Слон, а ну-ка поддержи козу строптивную, коза пить хочет!

Чьи-то цепкие, когтистые лапы, царапая и рая, безжалостно схватили её, запрокинули голову; кто-то попытался, причиняя боль, втиснуть горлышко бутылки в её судорожно сжатые губы; что-то липкое, гадкое, обжигающее выплеснулось ей в лицо и на волосы, ослепило глаза, затекло в рот, ноздри, уши, стекая струйками по шее на грудь и на белое платье. Оглушённая, она зажмурилась, задохнулась, закашлялась, что было сил рванулась! Тонкий, как спица, неустойчивый каблук подвернулся, хрустнул и, потеряв равновесие, бунтарка неловко опрокинулась навзничь на грубый пористый асфальт, больно ударившись спиной и затылком, ободрав в кровь локти.

– Подонки, что вы делаете?! – Всхлипывая и оправляя юбку, вскричала Элоиза.

Слащаво ослабившись, Хан по-барски протянул ей руку, но она, холодно проигнорировав его жест и сбросив с ног непоправимо изломанные босоножки, молча поднялась сама. Перед глазами плыли огненные круги, в ушах стоял звон.

– Кто – подонки?! А ну, прос-си прощ-щения, ш-шал-лава! – угрожающе прошипел распоясавшийся бандит, занеся руку над её побелевшим лицом и смачно сплюнув ей под ноги. Плевок влился прямо в её нагую загорелую щиколотку, растёкшись по коже мерзкой амёбopodobной кляксой. Пацаны пьяно загоготали.

В это мгновение кто-то из парней за её спиной, прикуривая, чиркнул спичкой. Элоиза инстинктивно обернулась. Вспышка на миг осветила лицо курильщика, их глаза встретились. Это был он, Вова Делон – столичный новичок, кумир всех девочек города, её первая любовь и, ещё совсем недавно, близкий, родной человек, доверенный друг. «Почему он здесь, в ватаге Хана?!» – мелькнуло у девушки в голове. Этот вопрос навсегда останется для неё без ответа... Глубоко затянувшись и выпустив густое облако дыма, «друг» повернулся к ней спиной и, имитируя независимую делоновскую походку, чуть вразвалку, не спеша зашагал прочь.

– Во-ло-дя!!! – в отчаянии вскричала девушка.

– Заткнись, слышь, ты, горячка-неудачница!! Поспорил на тебя твой Володя! Поспорил – и проспори!! – Грязно ухмыльнулся

террорист. – Поимел тебя в виду... А ты, коза тупая, поверила! Недотрогу из себя строила, Бастилия падшая... На колени! И не ори, хуже будет! – пригрозил он.

Неожиданное, жестокое и циничное признание бандита, подобно скальпелю, резануло её по сердцу, но, причинив нестерпимую боль, мгновенно прояснило отуманенное ужасом сознание.

– Хуже-уже-не-будет, – вдруг успокоившись и потеряв страх, с расстановкой отчеканила охрипшим голосом Элоиза и, внезапно, коротким, молниеносным кошачьим движением врезала своему обидчику оглушительную пощёчину.

От неожиданности верзла отпрынул. Обернувшись к его обомлевшим соглядатаям, от боли и омерзения едва держась на ногах, брезгливо, жёстко бросила: «Уроды!». Её бил озноб. Слегка припадая на вывихнутую правую ногу, пошатываясь, словно балансируя на натянутом канате, медленно и бесстрашно направилась вперёд, не оглядываясь, чувствуя за спиной смертельный холод стального кастета...

В этот миг парадная дверь школьного здания распахнулась, и волна весёлых, возбуждённых выпускников с шумом и смехом выплеснулась на пяточок школьного двора, устремляясь к главной площади города, чтобы встретить первый в жизни взрослый рассвет...

Нащупав под ковриком ключ, оставленный мамой, Элоиза бесшумно, словно тень, проскользнула в квартиру, сбросила оборванное, безнадёжно испорченное платье. Чтобы не разбудить маму, плотно закрыла дверь её спальни и, запершись в ванной, долго стояла под душем, смывая с себя кроваво-коричневую, липкую жижу жгучего «Солнцедара», смешавшегося с грязью, лаком для волос, чёрными горячими слезами и размазанной по щекам тушью для ресниц, с запёкшейся на губах и локтях кровью, с тошнотворной слизью плевков – с пережитым ужасом и омерзением... Сказочные босоножки, ещё недавно сотворённые итальянским мастером из нежнейшей перламутровой кожи, а теперь ободранные, непоправимо смятые и растерзанные, похожие на белых подбитых птиц, остались лежать на грубом чёрном асфальте школьного двора, а тоненький золотой браслет, мамин подарок к выпускному, сорванный с её запястья, – в кармане мешковатых коричневых штанов обкуренного, пьяного бандита...

Оберегая маму, Элоиза не рассказала ей о случившемся. Как могла, скрыла весь ночной кошмар, синяки и ссадины, убедив её, что браслет, платье и босоножки до времени спрятала; вот поступит в институт, тогда... Несчастье этой ночи она навсегда заперла под замок в самых тёмных глубинах своего сознания, решив при первой же возможности навсегда покинуть «медный город». Легко сдала вступительные экзамены, став студенткой Джекказганского педагогического института. С отличием окончила первый семестр и,

уговорив маму, перевелась в Ивановский государственный университет на факультет германистики, безвозвратно покинув «медную столицу» родного края. Перед отъездом случайно услышала, что Агахана посадили за драку в ресторане и нападение на одного из посетителей, оказавшегося офицером КГБ, а от Кости, который, похоже, не догадывался о ночном происшествии на школьном дворе, узнала, что Володя вернулся в Москву, женился, и у него родилась дочь...

Получив диплом, уехала по распределению в Белоруссию, устроившись переводчиком на одном из значительных белорусских предприятий, где вели монтажные работы немецкие специалисты из ФРГ. Там же познакомилась с Эдвардом, молодым инженером фирмы «Крупп». Вопреки всем унижительным процедурам, связанным с оформлением документов на заключение брака с иностранцем и получением заграничного паспорта, вышла замуж и уехала с мужем в Германию.* Через год родилась малышка Ирма, приехала из Казахстана мама, и они счастливо зажили в просторном двухэтажном доме Эдварда, унаследованном им от родителей. Бабушка с радостью взяла на себя заботу о внучке, и Элоиза смогла вернуться на работу. А спустя три года, в одной из лучших клиник Франкфурта, маме сделали операцию на сердце. Хирург, выписывая её из клиники, пожелал ей, получившей второй шанс, долгой и счастливой жизни. Спокойный, корректный, всегда подтянутый, Эдвард оказался нежным отцом, заботливым мужем и приветливым зятем. Обладая мягким, сдержанным характером, не был склонен к яркому выражению чувств, однако свою семью беззаветно любил.

«Чтобы мама жила подольше... Чтоб сороку олень не прёдал...»

...Эд, с внушительным букетом роз, – как всегда, когда он встречал её, – уже стоял на платформе в ожидании автобуса, прибывшего без опоздания. Тепло обнял её, вдохнув родной запах пшеничной чёлки, трогательно промолвил, смешивая от волнения немецкие и русские слова: «Willkommen zurück, Liebling!† Всё хорошо, mein Schatz! Теперь едем к Ирме обедать. Вся семья в соборе.». – «Семья не в соборе, а в сборе!» – смеясь и светясь от счастья, поправила его Элоиза.

* В 1969 году официально был пересмотрен семейный кодекс, в котором было прописано, что жители СССР имеют право создавать семьи с иностранными гражданами.

† С возвращением, дорогая!

ЭПИЛОГ

Миловидная раздурманенная девочка лет пятнадцати в яркой розовой куртке с капюшоном вприпрыжку в стеклянное кафе, похожее снаружи на аквариум. Подлетев к пожилой паре, поджидавшей её, принялась бурно обнимать и тормошить обоих, возбуждённо приговаривая:

– Виновата, ну, виновата... Ах, простите, не ругайте! Дедуля, бабушка, это была потрясающая домашняя дискотека! Представляете – на террасе в саду! А потом мы всей компанией шли сюда по ночному городу... Ой, так классно! Мне совсем не хочется уезжать! У меня теперь здесь куча новых друзей, они наперебой приглашают меня летом в гости, представляете? Вон они, пришли меня провожать, – радостно выпалила она, указывая на весёлую компанию подростков, сбившихся пёстрой стайкой у стеклянной двери кафе «Вояж».

– Иза, егоза, не таракти, Расскажи всё по порядку, – улыбаясь, примирительно молвил дед, помахав в ответ рукой юным провожатым.

Слушая их оживлённую болтовню, Вера, бабушка Изы, вспомнила, как почти полвека назад, в заснеженной январской Москве она познакомилась с Володей, младшим братом своей однокурсницы Ирэны, не подозревая, что скоро жизнь сведёт их навсегда. Встреча случилась на вечеринке, которую Ирэна с Володей, приехав из Джезказгана на каникулы, устроили в их московской квартире, где сияла большая нарядная ёлка, в воздухе парили разноцветные конфетти и спирали серпантина, а в бокалах пенилось «Советское шампанское». Родители уехали встречать Новый год к друзьям на дачу. И молодёжь чувствовала себя вольготно. Маняще мерцали огоньки шикарных сигарет «Femina»; медленно покачивались в танце пары в такт завораживающих мелодий, записанных на заграничной виниловой пластинке. «I love you... I want you...», – исповедально пели «Битлз». И Вера верила им. Это была их с Володей первая встреча и первая ночь. А через несколько дней он с отцом отбыл в Джезказган: сын должен был закончить десятый класс и получить аттестат зрелости, а отец – завершить проект и получить денежную премию, почётную грамоту и повышение по службе. Сестра же с мамой остались в Москве; Ирэна не захотела возвращаться в провинциальный Джезказган и, досрочно прервав академический отпуск, восстановилась в МГУ. Вера была на три года старше Володи, которому едва исполнилось восемнадцать, и, когда поняла, что беременна, принялась действовать решительно, в упор, для начала отправив ему длинное, эмоциональное, убедительное письмо. Спустя полгода, закончив в Джезказгане школу и получив аттестат, Володя вернулся в Москву, они спешно зарегистрировали брак и стали жить в Веринной тесной двухкомнатной «хрущёвке» совместно с тещей. Родилась девочка, назвали в честь тёщи Розой. Ребёнок рос болезненным, да и

бабушка Роза стала сдавать, и Вере пришлось оставить учёбу. Продолжать образование многообещающе начитанный Володя тоже не смог – надо было кормить семью, и он стал работать таксистом, попутно подфарцовывал дефицитными товарами. Его родители, надежды которых он так жестоко обманул, разочарованные и ошеломлённые неожиданным поворотом судьбы, почти не общались с ними, не помогали молодой семье, считая Веру виновной в «загубленной жизни сына». Лишь Ирэна изредка тайно навещала их. Володя много работал, мало бывал дома. Стал замкнутым, раздражительным, непрерывно курил, и от него всё чаще пахло портвейном и чужими женскими духами польского производства «Быть может». Вера догадывалась, что он ей изменяет, но, жалея его и не исключая своей вины, молча сносила все обиды. Время шло, жизнь в стране становилась всё более тяжёлой, будущее всё более туманным. Они жили в полном отчуждении друг от друга, но дочь оба любили и, как могли, поддерживали. Роза выросла настоящей красавицей, окончив институт, работала, но так и не смогла устроить свою личную жизнь. Грянули лихие девяностые. Пришлось выживать. Верина мама после долгого и мучительного недуга ушла в мир иной. Розе было уже за тридцать; семью создать не получилось, поэтому, забеременев, она решила родить для себя...

Малышку из роддома Вера и Володя забирали вдвоём: роды оказались тяжёлыми, врачам удалось спасти только ребёнка.

На следующий день новоиспечённая бабушка осталась дома с малышкой, а дед отправился в ЗАГС, чтобы получить два свидетельства: о смерти дочери и о рождении внучки, которую, по настоянию Веры, в память о двух Розах, решено было также назвать Розой. Вернувшись из ЗАГСа, Володя молча положил оба свидетельства на стол. «Быстрова Иза Владимировна» прочла Вера и вопросительно взглянула на мужа.

– Знаешь, я подумал, что давать малышке имя двух умерших родственниц – мамы и бабушки – плохая примета... Отчество моё, фамилия наша, а имя... – Его голос дрогнул; он на мгновение закрыл глаза и отвернулся. – Просто красивое имя – лёгкое, светлое...

– Может, ты и прав, – вздохнула Вера, – пусть будет Иза.

Внезапно свалившееся на них горе и новые заботы о новорожденной внучке, которой они заменили родителей, снова сплотили и сблизили их. Оба души не чаяли в девочке, и та отвечала им искренней любовью. Володина сестра Ирэна вышла замуж за своего коллегу – российского немца и, после развала СССР, уехала с мужем по приглашению его родственников в Германию, в Берлин. Время от времени они втроем – Вера, Володя и Иза – навещались к Ирэне в гости.

– Так, Вова, Иза, пора! Поговорим в автобусе – вот он подъезжает! – перебив их, приказала Вера. Её внимание уже давно

привлекла книга небольшого формата, очевидно, кем-то забытая и бесхозно лежащая рядом с чашкой остывшего кофе на металлическом круглом столике напротив. Проходя мимо, она приостановилась, бросив взгляд на манящую атласную обложку: Элоиза РОСС. Дежавю. Стихи. Открыв наугад, прочла:

Я в памяти дотла сожгу
Случайно вспыхнувшую встречу
И тайну слов, и тихий вечер
На том, на дальнем берегу...

Вере неудержимо захотелось разгадать «тайну слов» незнакомой русской поэтессы с редким, удивительным, совсем не русским именем, и, не раздумывая, она опустила книгу в сумку – всё равно ведь ничья, да и путь до Москвы не близкий, а книга поможет скоротать время в дороге.

Татьяна Ивлева. Маленькая повесть. «Элоиза. Дежавю» (Эссен, 2020)

МОЯ НОСТАЛЬГИЯ

ваше солнце садится
в наши реки тугие
я – твоя заграница
и твоя ностальгия

перелётная птица
помнит реки другие
ты – моя заграница
и моя ностальгия

в поднебесье свершится
двух сердец литургия
и чем дальше граница
тем сильней ностальгия

2019 - Эссен

* * *

всё что было не любовью
но обидой и бедой
сбросит сердце чёрной кровью
смоет крест святой водой
всё очистит дождь пречистый
разгромит мятежный гром
и разгонит клён плечистый
за распахнутым окном
налетит студёный ветер
с дальних северных морей
и смахнёт печали эти
навсегда с души моей

2020 - Вюрцбург

НОЯБРЬСКИЙ ТРАМВАЙЧИК

Ноябрь. Обнищали надежды.
Истлели вдали маяки.
«Вот прежде, ах, помнится, прежде...», –
Седые твердят чудачки.

Твердят: «Было! Было! Поверьте!» –
Упрямо, с надрывом струны,
С надрывом на ветхом конверте,
Где штемпель пропавшей страны.

А в странах иных – всё иначе:
Порядок иной и закон.
Ничто никому не маячит.
Никто ни в кого не влюблён.

В трамвайном депо не означен,
Забыт, как несбывшийся сон, –
Уходит ноябрьский трамвайчик,
Последний – с подножкой – вагон.

2020 - Эссен

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Журавли откричали.
Утонула звезда в пруду.
Тихий ангел печали
Поселился в пустом саду.

Крестовиной стилета
Обозначилась в вышине
Башня кирпичи столетней,
С петухом золотым на ней.

Гул речей, гром орудий
Одурманили чуткий слух...
Никого не разбудит
На заре золотой петух.

2021 - Эссен

ПЕРЕЧИТЫВАЯ БУЛАТА ОКУДЖАВУ

Но если вдруг когданибудь мне уберечься не удастся,
какое новое сражение ни покачуло б шар земной,
я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.

Булат Окуджава. Сентиментальный марш. 1957 г.

Надежда, дай последний шанс седым и грустным комиссарам,
тем, что спасают мир стихами. Им предстоит последний бой –
за Белый Свет! – Свидетель Бог, что этот бой – последний самый,
и без победы комиссары вернуться на щите домой...

Подобно им, когданибудь и мне победы не дожидаться,
и станет чёрным, нелюдимым мной так любимый белый свет,
и я паду, подобно тем, кто пал когда-то на гражданской.
Но не склонятся комиссары. – И пыльных шлемов больше нет...

2021 – Эссен

ПЕРЕЧИТЫВАЯ НЕКРАСОВА

Жаль только жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне, ни тебе.

Н. А. Некрасов

Всё было. Всё есть. И всё будет
Под смальтой бессмертных небес.
Неведомо новые люди
Придут из неведомых мест.
Неведомо новые речи
Наполнят простор голубой.
Да только вот жаль, человеку,
Что насто не будет с тобой...
Настанет новейшая эра
Счастливых времён и племён.
Воскреснут Надежда и Вера.
Мир будет Любовью спасён.

2021 – Эссен

VANA TALLINN

Vana Tallinn – Старый Таллин

Под Рождество – по Vana Таллину
Одна гуляю. – Снег лежит.
А надо мной, как над проталиной,
Седая птица воровит.

Весь век свободная и смелая,
Лишь дерзкий ветер за спиной,
Мне будешь сниться – птица белая
Над (при)балтийскою волной.

Ах, чайка! Белое Высочество!
Тебе под стать морской простор.
И мне, бескрылой птице, хочется
Парить среди твоих сестёр...

22.12.21. Tallinn – Essen

* * *

главная правда покрыта тайной
тонка и неведома тайны нить
о главном всегда узнаём случайно
взрыв! – и нельзя ничего изменить
беглец – ночной мотылёк, зачем же
спешить без оглядки из темноты
сжигая крылья трепетнонежные
в обманных кострах тщеты?!
ответь мне залётный щегол и щёголь
в моём роняющем листья саду:
какую правду просвистел-прощёлкал
в каком ненастном году?..

2022 – Эссен

ФУГА СОЛЬ МИНОР

Ах, какое было время! –
В доме пахло ванилином
и бразильским чёрным кофе,
и шампанским в хрустале...

В доме радуга сияла,
в доме музыка звучала:
заводил беседы с Богом
Моцарт. – Рондо ля мажор.*
Гнёзда ласточки лепили
по углам – под потолками,
и водили хороводы
дети с Ангелом живым!
Мы и сами были юны,
Все витали в эмпиреях,
дружбу с музами водили,
пели гимны в честь любви.
Лучезарный умер Ангел. –
О, ни городу, ни миру
Он не нужен, не угоден,
чёрным саваном увит.
В доме пахнет валерьяной,
горьким дымом и слезами,
дорогой ценой раздора
и палёным коньяком.
Гнёзда ласточек разбиты,
сами ласточки в раздоре,
низко над землёй летают,
видно, к снегу и дождю...
Ах, верните, догоните
это Время Золотое!
Ах, часы остановите,
поверните время вспять!
Невозможно, говорите?
Что ж, тогда хоть помолчите!..
Пробил час, иное время –
время думать и молчать.

2022 – Эссен

* Моцарт. Соната ля мажор (Adur)

SILENTIUM

Вот так просто попасть в – палачи:

Промолчи, промолчи, промолчи!..

Александр Галич. (1963 г.)

Век шутов, век безумцев –
И смейся, и плачь! –
Век кликуш-вольнодумцев,
Каждый – суд и палач.

Из Вселенских окраин
Мутный сходится сброд:
Неприкаянный Каин
Души в полон берёт.

На крестах распинают,
В плоть вбивают бичи,
Бесновато взывают:
– Заточи! Затопчи!

Разжигают огни,
Поднимают мечи...
В эти судные дни
Бисер слов не мечи.

Не брани. Не предай.
Не кричи. Не ловчи.
За потерянный рай
Помолчи у свечи.

Грянул век-крысолов,
И – молчи-не молчи –
В жерлах адских кругов
Попадёшь в палачи.

9 мая 2022 – Берлин

ПЬЕРО ПЕЧАЛЬНЫЕ НАПЕВЫ

Вы из фарфора,
Вы хрупкий и нежный,
и тронуть боюсь,
а вдруг разобью?..

А. Вертинский

1.

У любви нет надёжных пристанищ,
Ей любезен стремительный бег...
Чуть замедлишься или отстанешь,
След её потеряешь навек.
Не догонишь, мольбой не приманишь,
Не отыщешь ни днём, ни с огнём;
Быстрокрылая, скрылась в тумане,
Брешь оставила в сердце моём.
О беглянка! Не жду исцеленья.
Поздно плакать – я сам виноват.
Но – как сладостны были мгновенья,
Как прекрасен был их аромат!

2.

Как холодны и колки
В горячечной крови
Коварные осколки
Разбившейся любви!
Стою – ни сном ни духом –
На сквозняке – артист...
Грозит мне оплеухой
Кленовый мокрый лист.
Как нестерпимо больно!
О mon petit ami,
Надменно и двустольно
Молчаньем не томи!
Открой надеждам дверцы,
Ресницами взмахни,
Зажги в разбитом сердце
Обманные огни!



3.

Вы мне твердите: я – Вам не опора,
Пьеро рождён совсем не для того...
Что предложить мне Вам, кроме фарфора
Моей руки и сердца моего?
О белая души моей голубка,
Что может возразить Вам Ваш Пьеро?
Всё мимолётно, призрачно и хрупко,
Как в смерче голубиное перо...
Как в смерче голубиное перо.

4.

Ваши плечи в нежнейшем ажуре,
Ваши тонкие бледные руки,
Ваши локоны цвета лазури
Не дают мне покоя в разлуке.
Ах, Мальвина! Мой ангел Мальвина!
Мы друг друга так нежно любили...
Ждёте Вы своего господина?
Но – не Вы ли клялись мне, не Вы ли?!
Он придёт к Вам небрежной походкой,
Пьян и дерзок по самые брови,
Он взмахнёт семихвостую плёткой, –
На ажуре две капельки крови...
Впрочем, нет, это блики рубина –
Господина законный подарок... –
Пламень сердца в груди моей жарок,
Всех рубинов он жарче, Мальвина!
Но – дороже Вам блики рубина...
Что ж, прощайте, мой ангел Мальвина!
Вам – рубины и плеть у камина,
Мне – любви нашей бедной руина.

5.

Адамó шепчет: "Tombe la neige...",
Голос нежный кружит в вышине,
И снежинки кружат над манежем,
Словно знаки, что посланы мне...
На пути моём – Чёрная речка,
На душе моей – чёрный тюльпан,
На коне – золотая уздечка,
Под конём – чёрный дым и туман.
Конь лихой, удалой, беспримерный,

Конь, как чёрная ночь, вороной,
Друг надёжный, единственный, верный,
Не прощайся – до срока – со мной!

2023 - Эссен

МОЙ ДОМ

Мне мой дом напоминает храмы:
На белёных стенах солнца блик,
Лики, образа, резные рамы,
Переплёты драгоценных книг.
Холила влюблённо, вдохновенно,
Красоте внимала, чуть дыша...
Что же станет с роскошью нетленной,
Если в мир иной уйдёт душа?
Ни вишнёвой косточки в ладони,
Ни росинки маковой во рту,
Ни пугливых бликов посторонних –
Не возмёшь... Всё канет в пустоту.
Ничего ни дать, ни взять не можно, –
Там, на неизвестном небеси,
Не пропустит строгая таможня, –
Плачь, не плачь, проси иль не проси.

2024 - Эссен

* * *

Снег сметала с крыльца парадного,
Тонкий лёд под ногой похрустывал. –
Я сегодня тебя порадую, –
Не посмею петь песни грустные.
Расскажу тебе сказку лучшую –
Про синицу за синим за морем.
Я сумею (давно обучена!)
Пережить-перешить всё заново.
Выйду встретить тебя без маски я
У ворот с золотой подковою.
Ну, входи же смелей, мой ласковый,
Новый год – с надеждою новою!

2024 - Эссен

* * *

...вот городской пейзаж
не плох и не хорош
причудливый коллаж
где рядом с правдой ложь
оглянешься вокруг
и сразу не поймёшь
кто враг тебе кто друг
где правда а где ложь
заглянешь вглубь себя
и не осилишь дрожь –
переплела судьба
и правду всю и ложь...

2024 - Эссен

* * *

...Он перепуганных зовёт своих детей:
Грозит бессмертным смерть, грядёт исход их дней!
И небо вздрогнуло от слухов непривычных...

Гийом Аполлинер

Я ставлю точку невозврата:
Кто – мне чужой? И кто – родня?
Не жаль ни друга мне, ни брата,
Не пожалевших и меня...

Но жаль погибших, незабвенных,
Чужих и не знакомых мне,
Детей – невинно убиенных –
В чужой стране, в чужой войне.

2024 - Эссен

КОЛЫБЕЛЬНАЯ БОМЖУ

вот парк и мост – под ним лежат бомжи
ни молнии не мечут ни ножи
а просто живописно так лежат
над ними мирно голуби кружат
а что? – лежи себе и не тужи
и пусть стригут лазурь небес стрижи
а где-то там беснуется война

да только в парке не слышна она
потягивай из баночки пивко
чтобы жилось беспечно и легко
вокруг враньё террор и мятежи
но ты лежи лелея миражи
а к ночи травкой затянишься слегка
тебя в объятья примут облака...
волшебный сон пленительный полёт
архангел колыбельную споёт

2024 - Эссен

ШУТ И МЕЧ

Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил.

Р. Бёрнс

Шут, познавший трон короля,
за власть сражается не на шутку.

Е. Рыбуя, из интернета

Когда безумный шут не в шутку поднял меч,
Когда у власти демоны и бесы,
В такие времена игра не стоит свеч,
В такие времена Париж не стоит мессы.

Опасны и темны бесовские дела,
Нет, не шутя шуты играют в кости:
Шагают на убой рекрутские тела,
И бьют крылами флаги на погосте.

Шутам прощали всё в былые времена, –
Смешили королей их выходки и шутки...
...А в наши времена – не велика ль цена
Их шутовству, их двойственности шуткой?!

2024 - Эссен

ПТИЦА-ЖИЗНЬ

О птица-Жизнь! Над ликом мирозданья
Паришь самодержавно и вольготно!
И не было б в тебе очарованья,
Когда б ты не была так мимолётна.

Безудержно, стремительная птица,
Летишь без промедленья, безоглядно,
Сверкнув во мгле, как яркая зарница,
И, ей подобно, гаснешь безвозвратно.

2024 - Эссен

* * *

...в тревоге о мире, в тревоге о жизни,
о сердце разбитом своём
мы – то ли на празднике, то ли на тризне –
без праздника в сердце живём,
и всё же – с надеждой – на клин журавлиный
мы смотрим опять по весне,
и сладость иллюзий с печалью полынной
отмерены нам – наравне.

2024 - Эссен

* * *

Кленовый лист ласкает щёки
Шершавой жёлтой пятернёй, –
Как будто кто-нибудь далёкий,
Но сердцем – близкий и родной.
Лавина времени не смысла
Инициалы тех имён:
Я помню всех, кого любила,
И всех, кто был в меня влюблён.

2024 - Эссен

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА – 25

О, весна без конца и без краю...
Александр Блок

Цвела пасхальная весна,
Дремал туман над мирным Рейном,
И в чистом воздухе елейном
Плыла над кирхой тишина.

Над миром новый день вставал,
И – словно ястребы – летали
Слова – в значении летальном:
«Nach Osten», «Waffen», «Rheinmetall».

Утих крикливый карнавал,
Сменившись суетною Пасхой,
А под сурдинку шла огласка:
«Nach Osten», «Waffen», «Rheinmetall».

...Цвела пасхальная весна
На перекрёстках полушарий,
И миру канцлеры внушали,
Что на миру и смерть красна...

Апрель 2025. Эссен





Наталья Орлова / Россия /

Окончила Литературный институт имени Горького (семинар Е. М. Винокурова). Автор трех стихотворных сборников и многих статей о поэзии Серебряного века, переводчик, филолог, составитель ряда школьных хрестоматий по литературе. Главный редактор в долгосрочном проекте «Антология русской поэзии». Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Континент», «Знамя», «Юность», «Арион», «Студенческий меридиан».

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Лубяными январскими робами
Завалило поля и дворы,
Молча елки легли под сугробами
В рукавах золотой мишуры.

Что-то было такое, не помните?
Мандаринный, игрушечный рай,
И кружился ночами по комнате
Смоляного добра каравай,

И кипела беседа сердечная,
Собирая гуртом у стола,
Да застряла в полу поперечная,
Нехорошая память-игла.

Отсияли надежды и вымыслы,
Стали будни попойному злы.
Вот и все. И покойника вынесли.
И помыли, в иголках, полы.

* * *

Земля кипит, как чайник утренний,
То поутихнет, то всклокочет,

Враг иноземный, враг внутренний
Державу горькую порочит.

А мы согреты, не шелохнемся
Своею смертною постелью
И до ресниц, до глаз запекшихся
Накрыты черною метелью.

Чего нам ждать, и что привидится
Под стопудовую удачей?
С пригорка – диск горячий близится
Весенней солнечной раздачи.

Судьба, как лошадь загулявшая,
Толчется в изгородь бессонно,
Зовет хозяина, лежащего
Понад пятою многотонной.

Зови, зови и мордой теплою
Коснись плеча и глаз запавших
И бабой чудной, доброй Феклою,
Переверни могильный ящик.

Какой такой нежданной милостью
Незримый крест по сердцу вышит?
И знаем то, что нам не снилося,
И слышим то, что мы не слышим.

ВАЛЬСИНГАМ

Когда столетья временный перрон
Заполнила времен скороговорка,
И прилегла на теплый полигон
Всесветной башни – шуховская горка,

И выпекали чудо-пирог
Из мирового меда – теле соты,
Из утренней запекшейся пурги
Вдруг проступили маршевые роты.

И громоздилась звездная крупа,
Промытая сквозь солнечное сито,
И торопились новые гроба
В цинкованное Вечности корыто...

...А ты скажи: «Какое дело нам?»
А ты добавь: «Вино в бадьях играет!»
Зовет к столу бесстрашный Вальсингам
И пушкинского пуншу наливает!

Чтобы поспеть на праздник светлых муз
И помянуть и Пущина, и Сашу,
И выпить за связующий союз!
За Дельвига,
 За Кюхлю!
 За Наташу!

МЫ ВЕРНЕМСЯ!

Горе – песнями да стихами,
Где потеряны соль и суть,
Да вчерашними пирогами –
Окормило, не продохнуть!

Среди тех ли дней, мыловарен
Ждали верного строгача.
– Надевай полушубок, барин,
С пугачевского да с плеча!

Это сон ли какой, ей богу,
Чтоб себе отходную петь?
Не трави же тоску-тревогу,
Что ж бы нам, не родясь, стареть?

Понакрылся горестью витязь,
Позадернулась дней кудель!
Мы не звали вас – отступитесь,
Провалитесь в глухую щель!

Кровоточит пространства темя,
Жить не хочет вчерашний тлен,
Опрокинулось навзничь Время
И не встанет судьба с колен.

Тихо-тихо... Земля и воды
От людей перемены ждут!
И вскипают струпьями соды
Протеканья сонных минут!

Время-время! Очнись, побалууй,
Тыча под руку – теплый лоб,
Тучей, мыслящей, огнепалой,
Прожигаая стылый сугроб.

Позови нас, еще мы рядом –
Под незрячим взглядом твоим.
За невидимую оградой.
Не уходим. Гурьбой стоим.

ДОЖДИК МЕЛКИЙ И ЧАСТЫЙ...

Дождик мелкий и частый,
Родовое причастье.
Даль – близь.
Неизменная правда.
Всепланетное счастье.
Жизнь.

Пересменок весенний.
Распевания птичьи.
Есть – нет.
Но стоит в отдаленье
И не гаснет, привычный,
Тот Свет.

...Это – мне и вам,
Да глотнули Тьму.
Зачерпнули Сажу...
Горячо губам.
А случись, что Там
Кто-то есть...
Что мы скажем Тому,
Что Ему мы скажем...
Жесть.

* * *

Повымело, зачем я время трачу,
Все сгнуло, как летнее кино,
А я стою и говорю, и плачу,
На свете нет, конечно, нас давно.

И, наконец, кому какое дело,
Зачем лежит в тетради карандаш,
Что я Вас не любила, не жалела,
Когда Вы просто написали: «Ваш».

* * *

Что-то стало неясно в народе,
Будто сделались тише на треть,
Не садится никто в переходе,
Чтобы людям под праздники петь.

Жизнь открылась навстречу с изнанки,
Эти слезы – других солоней,
Полустанки, «Прощанье славянки»
И прощальные дали полей.

Колокольня в ночи не звонила,
Не точили закаты цевье,
Но История вдруг прекратила,
Поперхнувшись, течение свое.

ДОРОЖНАЯ

Пообрушилась феникс-держава,
Та же ль даль да высокая рожь?
Что с тобою, моя ж ты забава,
С кем гуляешь, о чем ты поешь?

Закатились веселые будни
За какой-то безлюдный рубеж,
И решительней все, многотрудней,
Хоть и тошно – не хочешь, да ешь!..

Не докличешь России, Рассеи,
Все запущено наоборот,
Не кончается гибель Помпеи,
И звучит довоенный фокстрот.

РАЗГОВОР

Нового мира хозяева
Сами не помнят себя,
Чем обернулось Сараево,
Даже и вспомнить нельзя.

Что прокатилось и сгнуло,
Чтобы восстать пострашней,
Сердце людское повынуло,
Выпило душу вещей.

И начинаются хлопоты
Животворящих начал,
Тихие оклики, ропоты
Тех, кто в провалах пропал.

Ходят предчувствия волнами,
Ловят нетающий снег,
Темными толками, толпами
Полнится выросший век.

Нам ли – Пустыня безводная?
Нам ли – Карающий Меч?
Видишь ли – горе народное,
Слышишь ли – русскую речь?

* * *

Ракетная по миру переключка,
Военных буден откровенный сюр,
И выдана последняя наличка
Внутрипланетных грозных увертюр.

Последние ли песни и секреты,
Безвидные магнитные поля?
Она – молчит, в ответ на все на это,
Моя старушка древняя, Земля.

И – ни горбушки дня, ни – километра
Она – не проторгует, не отдаст,
И горбится, и ежится от ветра,
Собою прикрывая, хилых, нас.

Нероны, Годуновы, Хасмонеи,
Лукавых звезд простой иконостас,
Ну, что еще нам совершить над нею,
Пока она – горой стоит за нас?

...И вот когда под грохот опрокинут
Прогнувшуюся Книгу Бытия,
Я прокричу в Божественную Спину:
«Нельзя же так? Нельзя же так!»
Нельзя...





Наталья Полякова / Россия /

Поэт. Главный редактор журнала «Литература». Родилась в городе Капустин Яр Астраханской обл. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Урал», «Дружба Народов», «Знамя», «Новый берег», «Новая Юность», «Волга», «Интерпоэзия», «Октябрь», «Новый мир», «Литература», «Литературная гостиная», «Prosodia», «Номо Legens», «Плавучий мост», «Кольцо А», «Дети Ра» и др. Автор книг «Клюква слов» (СПб.: Любавич, Библиотека «Пиитер», 2011), «Сага о московском пешеходе» (М.: АртХаус медиа, Библиотека журнала «Современная поэзия», 2012), «Радио скворешен» (М.: Воймега, 2016), «Легче воздуха» (М.: Литература, 2018). Лауреат премии «Начало» им.Риммы Казаковой, 2009г. Член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕНцентра.

* * *

Пока лежишь ты высохшим цветком,
Уткнувшись в буквы на листе шершавом,
Идёт ребёнок в шортах, босиком,
И синий цвет несёт в ведёрке ржавом.

А в нём цыплячий тополиный пух,
И чёрные гремят на дне моллюски.
У ласточек захватывает дух,
И радио трещит побелорусски.

Но память просит точный перевод,
По ком звенело старое ведёрко.
И, кажется, переведёшь вотвот
Сквозь пустоту смешливого ребёнка.

Пусть он отыщет в «Горе от ума»
Пастушьей сумки позвоночник ломкий.
И смерть пройдёт, как обморок, сама —
По самой кромке.

* * *

Неловкое счастье с чужого плеча в царапинах, ссадинах, пыли.
Лишайные кошки всего двора и псы по пятам ходили.
Зелёные яблоки вяжут во рту. Укусы натрёшь петрушкой.
И детства парного целый бидон радостно черпаешь кружкой.

Калошка поспела, айда собирать и есть эту сладость горстями.
Запахнет блинами, домашним вином — и дом наполнялся гостями.
И бабушка чёрным глаза подведёт, как в юности, губы — алым:
Даже в селе офицерской жене обабиваться не пристало.

На балконе у дедушки мастерская. Заточка ножей и ножниц.
Так военного лётчика жизнь приручала — пересевшего на
«запорожец».
Так жили, так водку пили, так в горле першили крепкие папиросы.
И меня под мальчика стригли — всё лучше, чем жидкие косы.

А я и рада, и, чёлку смахнув со лба, тугие крутила педали
И дедушку обгоняла. И открывались с моста иные, озёрные, дали.
Я слышала сзади весёлый звонок — он следовал всюду за мною.
Пока не замолк. Пока не замолк. Пока не замолк за спиною.

* * *

А неба синего эмалевый бидон
Ещё пустой, но ливня гул далёкий
Уже ловлю раскрывшимся зонтом.
К нам добежав по высохшей осоке,
Начнётся с капли, рухнет, замельчит,
Детей спугнёт, по гнёздам их разгонит.
Но рукава баб Галя засучит,
И молоко заплещется в бидоне.
Перебивая ливня ровный гул,
Оно гремит о стенки и бормочет.
Мы — не разлей вода — на берегу
За два часа до самой тихой ночи.
Когда земля напьётся и уснёт,
Раскрытый зонтик высохнет в прихожей.
Созреет сыр, положенный под гнёт.
Осветит поле, дом и огород
Сорняк проросший — одуванчик Божий.

* * *

- На каком глазу у тебя ресница?
- На левом.
- А, нет, на правом.

В коридорах памяти запросто заблудиться.
Доверяй деревьям, дремучим травам,
Бабочкамоднодневкам, зимующим птицам.
Прячешь руки. В руке синица.

- В левой синица?
- Синица в правой.

Переплывая лето, пользуйся переправой.
Время продолженное течёт и длится.
На каком языке говорит пространство?
На русском? А, нет, английском –
Незнакомом, далёком, каком-то близком.
Выбирая волю и вольтерьянство,
Смахни ресницу,
Отпусти синицу.

* * *

Зима грунтует грубый холст земли,
Пропитанный дождём, крупнозернистый.
Чтоб кисти беличьи нарисовать смогли
Следы зверей и серый лес безлистый.

Моих подошв нехитрый мастихин
Смешал цвета, и всюду глина, глина.
Но выбралась из потемневших глин
На свет, на снег, где ранена рябина.

Она роняет ягоды в сугроб,
Они в снежинках ломких, как в известке,
На перекрёстке всех звериных троп.
И на моём случайном перекрёстке.

* * *

Вынимаешь рифму и историю вместе с ней.
Цедишь её по капле, как валокордин.
За что ни возьмёшься — фактура вчерашних дней,
Трапеции сонных льдин.

В складках холщовых прячутся фонари.
Северный Альбион. Но проще сказать: ни зги
Не видать. Говоришь вот: умри, умри.
А как умереть посреди строки?

В Невской лавре пекарня, сладкий дымок бежит
Медового воска и белоснежных просфор.
Крестик нательный прабабкой в подушку защит.
Я нашла, он хранит меня до сих пор.

Снежнаягодник белый – ягод нарву на бегу
Целую горсть. И утро с пустого листа.
Пятна сангины и уголь следов на снегу.
Всё кажется мельче. Если смотреть с моста.

* * *

Я – чучелко, набитое песком.
С губами-нитками, глазами. Кукла вуду.
Ты завязал мне руки узелком.
Я не жива и жить уже не буду.

Но та, другая, связана со мной
Бумажным сердцем, платищем шуршащим.
Она дрожит, она живёт с иглой —
Сквозною болью в сердце настоящем.

* * *

Не разобрать себя, как сложный текст,
Не посчитать все стопы и длинноты.
Снимаются слова с привычных мест,
Как птицы и отыгранные ноты.

И не понять, где музыка жила,
В каких частях разобранной шкатулки.
Но выходила, плакала, звала
И наполняла парк и переулки.

И поднималась выше лип и крыш,
Летела снегом и толкала в спину.
Лови её! Ну что же ты стоишь?
В пустом дворе. В земле наполовину.

* * *

Говорят за глаза и вешают за глаза
На нитке от ветки до ветки.
Висишь и сохнешь, и редкая стрекоза
Навестит тебя. И дожди редки.

Сохнешь по морю, поджав плавник,
Жабры открыв на просушку.
А вечер к пивному бочонку приник,
Льёт пену в стеклянную кружку.

Но если представить, что нитки нет,
Нет боли в прошитых глазницах.
И горе – не море. И горя нет.
И рыба – немного птица.

* * *

Ангел пролетает стороной
С готовальной и пером гусиным.
Он парит в просвете тёмно-синем,
Белый тубус виден за спиной.

Проводов натянут нотный стан.
Ласточек летающие ноты,
Чередую такты и длинноты,
Август разрезают пополам.

Это жизни целое число —
Стало дробью. Ты её числитель.
Беспокойный близорукий житель,
Будь здоров. А прошлое прошло.

* * *

У вечности займи и нежности отдай
Меня, моё тепло, моё худое тело.
Держи меня во рту и языком катай,
Как мятный валидол, чтоб сердце не болело.

У верности в плену, у бедности в жильцах,
На риск меняя страх попутно то и дело,
Держи меня в руках, держи меня в руках,
Чтоб выпасть не смогла, очнуться не посмела.

Из лодочки руки, из осени кромешной —
В холодный свет реки. Реки обледеневшей.
Неси меня в горсти, глотай меня неспешно,
Как тёмные плоды черешни переспевшей.

* * *

Отыщет нас на смятой простыне
Обычный день, шагнувший из-за шторы
В наш съёмный рай с цветами на окне,
Где чередуем сны и разговоры.

А вещи — пыль, а деньги — шелуха.
Есть только свет, и он во всём на свете.
И мир — не мир, а форма для стиха,
Где мы за рифмы точные в ответе.

* * *

Пока легка для путника тропа,
Пастушьей сумкой порастает поле,
Где жизнь травы — смятенье и борьба,
И слово «жаль» нашло себя в глаголе.

Но посмотри, как много дел в саду,
Плоды сочатся сладостью земною.
И дом стоит у солнца на виду,
Что часовой с винтовкой за спиною.

Смотритель комнат, сторож пустоты
И междуречий шороха и скрипа,
Пока хранят портретные черты
На простынях влюблённые Магритта.

* * *

А свет по форме может быть любой:
То сажей газовой, то веткой голубой.
Он обитает в окнах и очках.
И в женщине с ребёнком на руках.

Закреть глаза, считать до тридцати,
В вагоне спать, не зная, куда идти.
Открой глаза: вот лестница, вот дверь,
Вот мир за ней в ожогах от потерь.
Он уступает место старикам.
Придет пора, и он уступит нам —
Не гладью вышьет землю, а крестом.
Родится женщина, а девочка потом.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ветер гладит против шерсти
Потемневший лес.
Спит младенец. Будет смерти
Жизнь в противовес.

Соло бельевых веревок,
За окошком тьма.
Весь секрет её уловок —
Пудра и сурьма.

Ходят волки, рыщут волки
Возле и окрест.
Бог не вынет из пелёнки —
Волк не съест.





Артур Новиков/Украина /

По роду занятий – поэт, публицист, прозаик, сценарист и даже критик.

Родился в ноябре 1963 года в Киеве. Самые яркими воспоминаниями детства стали годы, проведенные с родителями в Алжире, отец преподавал в военном училище. Африка, муэдзины по утрам, французский язык и арабские сверстники, почти идеальное детство. Потом институт (Одесский Электротехнический Институт связи им. А. С. Попова) в Одессе. Далее работа в Киеве, стажировки в Питере, тогда в Ленинграде, и – Советская Армия. Лейтенант Новиков служил в белоцерковском гарнизоне. После армии работал в Институте кибернетики АН УССР, откуда уволился почти одновременно с Горбачевым, кибернетика разделила судьбу Союза. Затем долгое время жил в Одессе, занимаясь рекламой, вебдизайном и постижением одесского образа жизни, в чем и преуспел, пока в биографию не вошла АлмаАта и великая страна КЗ. Долгое время работал с Посольством Казахстана на Украине, МИДом РК и параллельно с алмаатинской епархией, написав первый сайт Кафедрального СвятоВознесенского собора, который и администрировал почти 6 лет, до 2018 года. Первое стихотворение было написано 29 сентября 2011 года, и в жизнь окончательно вошла литература. Что и продолжается сегодня и вероятно останется навсегда.

Стихи и эссе публиковались в журнале «Крещатик» и в ежегодниках поэзии и прозы под редакцией Татьяны Ивлевой.

PAK KAZAKHSTANIS

/свободный очерк мореплавания/

«...не Ромул, конечно, Астану строил,
но,
оно, видимо, к лучшему...»
Рем

Американское общество основам этнической терпимости научила Гражданская война, а уже магистратуру вел проф. Мартин Лютер Кинг, жаль, так недолго.

Что касается многоконфессиональности, последняя тоже не в один день пришла, Салем образца 1693 года, мне порукой.

Вообще говоря, несмотря немалую ирландскую, затем и итальянскую диаспору, католиков протестантское большинство тоже не сильно жаловало. Ирландцев правда к началу XX века стали считать за своих, а вот с итальянцами сами знаете.

К чему рассуждения об Америке в статье о Казахстане? – все просто. Рассматривая что угодно, мы всегда в уме держим себя, потому продолжаю:

Вьетнам дал Штатам окончательное чувство свободы, притом Свободы с такой большой буквы, что ей известная статуя по колено

будет. Музыка, литература, дух юности до захлеба по всему маршруту Форреста Гампа, браки и союзы? – да какие угодно. За слово –раса приличный хиппи мог и в морду дать. О религии с тех пор можно говорить только через приставку поли, т. е. поликонфессиональность, и так до зоны чистого абсурда. Не удивительно, что именно тогда в штаты полетели гуру всех мастей, от индусских фамилий рябит в глазах как от храмов Кхаджурахо. Пожалуй, до начала 80-х в Америке стоило говорить только Good Morning Freedom!

А потом лучше вспомнить братьев Стругацких «Обитаемый остров».

Любимое ругательство тамошних жителей было «массаракш», мир наизнанку, идеальное определение американского сейчас (Dasein). Свобода как ртуть, перетекает в любое состояние, от зеркального до зазеркального.

И потому BLM языческая секта, общественным движением ее назовет либо человек наивный, либо ангажированный циник, т.е. либо дурак, либо сволочь.

Пред нами культ черной расы без малых отличий от Ubermensch недоброй памяти рейха с густой примесью чисто негритянского мистицизма. Вспомним только похороны Джорджа Флойда в золотом гробу с миллионными демонстрациями и сносом исторических памятников чуть не по всем штатам. Сносят старых богов только новые культы, большевики в том порукой.

Второе, по времени первое, массовое язычество конечно же ЛГБТ.

Опять же, почему не назвать общественным движением? – вопрос слепого к перископу.

Мы видим культ Бесполого, Андрогина, Содома как новой Мекки или, будем толерантны, Ватикана. Чистое освящение любой формы сексуальной деформации, истерия и экстаз как форма ритуального действия на всех прайдпарадах от Берлина до ЛосАнжелеса. По-настоящему страшно здесь полное отвержение человеческого просто на биологическом уровне.

Мы от природы созданы двуполоыми, как и большинство созданий планеты и уничтожение границы равноценно уничтожению сапиенса как вида живой природы.

Беснование и язычество проявляются абсолютной нетерпимостью к рядовому человеку, термин гомофобия говорит сам за себя. Отметим также, что Радуга неслучайность лейбштандарта ЛГБТ, здесь намеренное святотатство. Вспомним по Ветхому Завету, когда она впервые была явлена человеку.

Что же по рассуждению?

Похоже, всётаки не рекомендуется для выживания общества и вида располагать Статую Свободы в нише Богоматери.

Все же, американский путь во многом и многим пример, главное,

учителей не превзойти.

Переходя к Казахстану начнем с положительных моментов, подойдя к ним на уровне чистой эмпирики.

О вероисповедании? – пробуем:

ислам пустыни и ислам Степи кажутся двумя совершенно разными конфессиями, и природа здесь играет не меньшую роль чем этнос, прямая отсылка к Гумилеву. Сам характер степной жизни не предполагает религиозной одержимости, для нее нужен либо концентрированный в немногих оазисах среди бескрайних барханов мир бедуина, либо тесная жизнь в городской ограде средневекового европейца.

Поэтому представить Савонаролу или Аввакума где-нибудь на кыстау без определенного градуса воспаленного разума довольно сложно.

Далее субъективно:

Ислам très artificiel dans les fondamentaux для изрядного числа исламских стран. В том же Казахстане православие более согласуется с исходной космогонией Тенгри, тем паче в плане обрядовой практики, не зря первым в степи явилось христианство несторианского толка, оно и с Великой Ясой не противоречило. Поменяем аруахов на святых подвижников и – voilà!

Конфессия хороша по месту возникновения? – religion is origin, у небес без ошибок. Христос мог прийти только и исключительно в античный мир, Нагорная проповедь в Индокитае попросту бы растворилась без остатка в Желтом море, иероглифа б не осталось.

Пророк Мухаммед в джунглях?

Вопервых, горилл смешить, а вотвторых разбилась бы конфессия на пару сотен племенных культов со своими обрядовыми танцами и до экватора б не дотянула.

Куда уж там конкиста от Пиринеев до Хингана.

Что же степь?

О фанатизме как виде идолопоклонства поговорим ассоциативно, не заходя в бескрайность апологетики такыром схоластики, в русле чистых аллюзий эмоции взгляда.

Живой зрачок очки завсегда испортят.

Как упомянуто, Аввакум и Савонарола не могли явиться среди Великой степи, природа вымарывает крайности, на которые так богата европейская городская среда.

Не только она, не будем однобоки.

Высокогорье в сочетании с редкими долинами и бесплодной землей, где только караваны гонять, духовной терпимости никак не способствует. Там любая религиозная канва загоняется в такие рамки костлявой архаики, что явленное откровение само себя не узнает. Представили дервиша во власянице, да еще с пудовыми веригами? –

вот такой там и танцует.

Но куда высокогорью до джунглей и тучных земель Индостана, чем южнее, тем страшнее. Коров ясное дело резать не гуманно, на таракана не наступи, а иноверцев святое дело, и Вишну не чихнет.

Христос в Мумбаи?

Ладно, отстранимся.

..

Представляется, что гумилевский постулат о нерасторжимой связи этноса и ландшафта нагляднее всего проявился в истории церкви.

Взгляд безусловно авторский, а значит предвзятый, но честный.

Католическая церковь после распада в 1054 году полностью перевоплотила собой дух Римской империи. Реинкарнация до гротеска, приглашаю:

сенат – коллегия кардиналов, они же и сенаторы в полном римском смысле слова.

Сословие всадников – епископы и прелаты и далее по капитулам вниз. Князь Церкви – немислимое словосочетание для православного слуха. И образ естественно творит содержимое, какая бутылка, такое и вино; потому императорские амбиции пап, их войны со светскими властителями, удивления не вызывают, а образ жизни? что Александр VI, что Каракалла и Домициан, естественное целое, они просто обычные римляне.

Полагаю, Нерон чечетку отбивал в Гадесе, наблюдая св. Доминика и созданную им инквизицию, кто на костре горит неважно, важно пламя негасимое.

Но еще большую аберрацию выдал протестантизм, явив во всей красе древнегерманскую племенную раздробленность бесчисленных саможивущих фрагментов изначально не единой *puovo confessione*.

Тут хоть Тацита вспоминай: сколько герулов, столько и церквей, что особенно наглядно в Штатах.

Куда предпочитали заселяться те ли, иные пилигримы-изгои старой Европы, там и доминирующее вероисповедание. Пресвитерианцы в Вирджинию (англичане), пуритане в Массачусетс (шотландцы), и да, не забываем про Сейлем!

Лютеране в Пенсильванию (из немецких земель), анабаптисты (Швейцария) хоть в Индиану и так далее. Просто панорама движения германских племен эпохи крушения Рима.

Вообще говоря, забавно, ведь и сама Реформация была войной северогерманских народов с Римом, т. е. с католической церковью и имперской армией в лице Карла V и герцога Альба, колесо сансары, да и только.

Не забудем, войну начали реформаторы, а не римские ортодоксы.

Выходит, для просвещенного дилетанта, что протестантизм по сути племенная и политическая конгломерация, где сама апостольская

проповедь не более, чем заимствованный атрибут, взятый по нужде, да и надолго?

Вспомним судьбу римского орла, заимствованный напрокат Германской и Австрийской империями. Орел правда остался, вот с империями как-то не задалось.

Что до евангельской идеи у протестантов, смотрим во что она трансформировалась для современной нам Европы.

Апостол Павел – провозвестник толерантного догматизма и мультикультурной парадигмы?

И естественно, эти «церкви» ни к какому объединению не стремятся. Да и правда, что герулу до алана и гота?

Nichts. Ist mir gleich.

С написанным можно не согласиться, но – memento mormoni (вспомним мормонов).

Dixit.

Зато демократия сама стала формой вероисповедания, притом вполне нетерпимой к любой другой политической конфессии. Конечно же не без сектантства; демократы зеленые Бельгии и демократы республиканцы Штатов, но усадите их в одном кабинете на сутки.

Скорая за счет заведения.

Полное единство в одном, нетерпимость таких разных их к природным формам общественного устройства, морали, etc.

Мир иноверный, неважно, православный, коммунистический, исламский, собственно любая историческая общность, живущая в своих канонах, отвергается безусловно.

Чем еще отлична эта мессианская секта, планетарного масштаба, не забываем, так беспардонностью и навязчивостью всюду, где не ожидает встретить серьезный отпор; касается и внутренней и внешней политики.

И, слепая бездарность даже в этом.

Паноптикум не знает своих граждан, вспомним Швецию во время эпидемии, а что за пределами демоанклава, лес темный, Грузия мне порукой. Кто от Тбилиси самостоятельности ждал? – Боррель?

Налицо оторопь всего конклава, пардон, Европарламента.

Разумеет, Платон, Фукидид, Перикл тож данному феномену олигократии (см. олигофрения) дали бы совсем иное определение, возможно афинским матом.

Реакцию римского сената предсказать не берусь.

**

::Ad penates.KZ::

Признаем, политический corpus vivendi любой страны инерционен невероятно. Что товарняк на перегоне, тормозной путь мили и мили, а стопкран возможен разве в ситуации финального отсчета.

Жаль, успевших мало.

ГКЧП кто-нибудь вспомнит? Прекрасная иллюстрация хита Final Countdown шведской группы Eurore как раз того периода.

Ведь как символично, господа!

К Казахстану относится следующим, и пусть я буду неправ.

Здешнее отношение к Европе на уровне Россия–2010 или, скажем, между Пашиным и Лукашенко, срединный путь.

Или Сцилла и Харибда, кому как нравится.

Ноябрь 23-го как выстрел из двустволки, сначала парадный визит Франсуа Макрона, затем бюргерскипочтенный Олафа Шольца.

С Макроном что-то там о культуре и виноделии, к Шольцу же прозвучало в стиле меча и орала, о соединении немецких технологий с безграничными ресурсами РК. Где-то так славяне Рюриков призывали, давно это было.

Не вдаваясь, спросим – а что нынче Шольц и Макрон? В каком они, простите, месте текущей политической сцены?

Но важно даже не это.

Важно то, что оба высоких господина вряд ли вспомнят и этот визит, и страну Казахстан и ее президента. У них знаете ли свои европейские заботы, поглубже римской клоаки день ото дня.

Ничего обидного в этом нет, просто субъектность государства приобретается иным путем.

Читайте Дэн Сяопина.

Или Голду Меир, в крайнем случае.

**

::Ab internum::

Считать ли интеллигентскую фронду Казахстана, эго и femini активистов, антизастройщиков и прочих, omnia in omnibus гражданским обществом? – по числу энтузиастов не выйдет. Малы да громки, и все ж далекий гром дождем не пахнет.

Другая ассоциация, москитный флот, где у каждого свой маяк.

Гражданин, демос в Элладе, по умолчанию соработник и сотрудник государства, прочие шли по классу идиотов (хабитант живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан и иных формах государственного и общественного демократического управления).

Не о нынешней Греции, скажем.

Что характерно для фронды, не только в РК, желание управления властью, без понимания природы оной (ad potestas naturae):

им блаженна роль демиургов за сценой и грёзы о некоем государстве, которое более государственно чем существующее и, конечно! – превосходящее Россию. Любая калька в строку, пусть трижды абсурдная: снос последней атомной станции в Германии, что для самих немцев клиника, безглазая вера в победу Украины, Франция, liberte pas de humanite, короче, dream of californication на всю катушку.

Если же само государство еще не определилось, кто оно? Тогда идет подсказка посторонних, направленная главным образом, чтобы плебс зрелищем занять, хлебушек позднее завезут. Вне моды и времени – коррупция и зеленая повестка. Третью пропускаю, она и так на слуху. Вообще говоря, борьба с коррупцией жупел для простецов, подкормка нищих иллюзией благоденствия, вульгарно говоря замена жратвы муляжами. Настоящие, серьезные вещи делают в тишине. А здесь? – восточный базар.

Худшее в названом – девиации шведского синдрома.

Происходит какбы общественное «вживание» в очередного коррупционера (эксминистра, убийцы и садиста) и, наступает внутренний комфорт. Зло покарано, что-то там восторжествовало, а человекто может и неплохой. Наш все-таки, с кем не бывает. А вещи, реально важные для страны, тихо проходят побоку.

**

Информацией считаем совпадение личных ожиданий с опубликованной реальностью. Объективность, выходящая или противоречащая желаемому, идёт фоном вне восприятия условногражданским субъектом.

Ложь, несущая в себе искусно воссозданную достоверность, т. н. fake, удовлетворит любую потребность в сведениях о текущей картине ближних и дальних миров.

Многолетняя школа гуру, психоанализа, экологов и гендерных аналитиков явили необходимый 5-й элемент: рукотворный абсурд как действующую силу преодоления реальности до социальной помойки.

А к чему еще может привести агитация отбросов?

Примерс? – элементарно: перечислите цвета и сезоны всех революций от Туниса до Минска и Бишкека и оцените результаты. С Минском не срослось, климат и пассионарность совпадают не часто.

Бишкек выстоял.

Здесь география вероятно, экзальтированные шуты в горах не приживаются.

Далее идет нивелирование персональности государства.

Нейтралитет по нынешним временам смертелен, минимум для СМИ. У них ситуация, когда не особенно понятно, как и о чем писать; в итоге публикации центральных изданий напоминают скорее не калейдоскоп, а крошку. Естественно, их родовое место занимают сертифицированные freedom fighters, от СоросКазakhstan, Фонда Фредерика Эберга, USAID и конечно же птица Гамаюн всяя планеты, радио Свобода.

Азатык, на местном сленге.

Что же, когда верхи не думают, впрочем, может и мыслят, но так, не вслух, то низы фантазируют;

аксиома.

Как видим, Президент РК согласен со сказанным:

«Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией.»

(Послание народу Казахстана – 2024)

менее понятен вывод «Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан», имея в виду «экосистему для граждан»; что же, вероятно слабое знакомство со смысловыми перцепциями Казахстана.

**

Идея национальной цельности абсурдна безусловно, таких наций история не ведала. А свои революции, реформации и еретики были в том еще Египте, Израиль и Иудею вообще не трогаем, и ведь кто скажет, чем самаряне были не семиты?

Антисемитами их точно не назовем.

В период Реформации гугеноты отлично резали католиков, а германским княжествам даже повод веры был ни к чему, не та у тебя швабская морда и все.

Вопросы этноса мозги не проясняют.

Что общего у жителя Гарлема с обитателем ПортоПренса, а у обоих с зулусами? До сих пор недоумение, как хуту определяли тутси? – равно как финнов от эстонцев отличать.

А один миллион вырезан.

Такие дела.

Рах Kazakhstanis
/свободный очерк мореплавания/

“...non scegliamo gli orari, sono dei...”
Phoebus
“Чужие зубы волка не прокормят”
Тропою Лося

Темы восстановления исторической справедливости даже не спекулятивны, там попросту нет истории. Что есть? – расовая теория, адаптированная по географии.

Для чего? – социальными или экономическими призывами толпу уже не поднять, времена «арабской весны» прошли, а этот рецепт действует.

Древние укры, пришедшие из Гипербореи, выстроившие одномоментно Стоунхендж, пирамиды майя и Гизы, просветления не дали, тьма египетская только гуще.

Реальный профит: NeoHistoria|isteria| самая продаваемая конфессия после ультраэкологии (ultra~ecology). «Зеленые» Европы стали новым сословием мытарей на иудейский манер, только собранные деньги идут корпоративным, а не политическим властям. Названия податей одно другого слаще, здесь и «зеленая энергетика», и «глобальное потепление», ну и Китай с Россией, ситуативно. Над китаи и бездомными собаками пролито больше слез, чем за всеми убитыми в Газе.

Украину не трогаем.

Зеленый заповедник на планете.

Ad colloquio.

Интересно, что настоящие бывшие угнетенные становятся, пусть не удивит инополярность, куда как большими расистами и глобалистами чем их бывшие владельцы. За примерами не к Шерлоку бегать, рекомендую:

Барак Обама, Остин Ллойд, Камала Харрис и, о конечно! – Колин Пауэлл. Цветные, по канувшему в прошлый век определению, по факту же трибуны мировой демодиктатуры. Разумеется, куда им до теоретического и интеллектуального(!) базиса Льва Троцкого, зато в экспансии не уступят.

Настоящие монтаньяры французского Конвента, тени Дантона и Марата меня поддержат.

Право интересно, если представить всю четверку и Великолепного Джо рядом, одна ассоциация напрашивается – синтетические персоналии.

Plastique rouppees exhebiton, vraiment.

Что же, это было коротко о демплатформе, перейдем к национальной.

Что у нас с ЮАР и особенно нынешней Зимбабве на момент ликвидированного апартеида?

Правильно, зеркальный апартеид, или негатив давно отснятой пленки. Буры и белые вообще, бесправнее бывших париев Соуэто. В Зимбабве конфискованные земельные владения бывших белых хозяев ныне пустыри запустения, увы. Колхозов не построили, сами как фермеры тоже не состоялись.

Страна Родезия некогда кормила полАфрики и поставляла вина в Париж, страна Зимбабве живет на подачках и кормится со свалок.

Офисные небоскребы Йоханнесбурга, ЮАР, частично превратились в общежития для исконных граждан. Свет местами, водопровод где как, санузлы – всё. Новыми местами общественной гигиены стали шахты в бозе почивших лифтов.

Собственно, дела хозяйственные, вопрос в другом.

Все же страна ЮАР сумела сохранить промышленную и сельскохозяйственную основу, и вернуться в лидеры континента.

С небоскребами наверное тоже разберутся.

Вот Зимбабве да, Лимпопо.

Одно пока плохо, белый цвет кожи – заверенный пропуск на тот свет, практически повсеместно.

Поверьте, мессеры, не голословно.

Лучшее подтверждение роман «Бесчестье», 1999, южноафриканского (белого) классика Джона Максвелла Кутзее. По-настоящему удручает то, что книгаинверсия, dark side of the Moon его предшественника (цветного) классика ЮАР, Алекса Ла Гумы.

Все как в арифметике для 1го класса, на перемену мест слагаемых сумма чихать хотела.

No Changes is Only Our Future.

Но что нам Африки печали?

На европейские скрижали переместимся

А затем

Нью-Йорк Нью-Йорк

Венец проблем

(неШекспир)

**

Соблюдая объективность как мерило толерантности, заглянем в Малую Европу, что протянулась от Немана до вод Балтийских. Волшебные прибалты, часть которых была во время оно личной гвардией Ильича, другая составляла едва ли не треть органов ЧК. В блаженное время позднего СССР были завидной витриной зрелого социализма, и внезапно изобрели колониальный период с сегрегацией коренного

населения чуть ли не от Екатерины до Горбачева включительно. Новые виртуальные угнетенные не уступают реальным коллегам в Африке и Штатах: контрибуцию за годы несправедливости? – ну разумеется; унижение и вытеснение по этническому принципу бывших «белых»? – приличный африканский уровень; переименование исторического гардероба? – таких портных иди найди.

Прибалтийский режим апартеида живое настоящее (live present). То, что термин вслух не произносятся, содержания не меняет, разве делает его более жутким.

Незванные страхи убивают, читайте Стива Кинга.

(латыши, отметим, вообще нация экстремалов: либо ВЧК, либо Waffen SS, без вялой середины. Любопытно, как они ныне чувствуют себя в НАТО? – миролюбивая же контора в Брюсселе, по замыслу)

Cogito sum

Как отлично показали этнические районы Парижа, Лондона, страны Бронкс в городе Нью-Йорке и потерявшая девственность под сирийским накатом Германия, белый звучит куда оскорбительнее и опаснее, чем некогда цветной. Уродливый гротеск новых времен, in teatro dalla fogna, теперь апартеид живет по общественному согласию, негласный демоконкордат, так сказать.

Обратившись к зоологии получаем противоестественный союз свиньи и страуса:

стыдливое молчание о вседозволенности ВЛМ, особенно в демократических штатах, растущей наглости и безнаказанности новых конкистадоров, оговорился, беженцев в Европе, но кто попробует заикнуться о защите исконных или там посконных и домотканых жителей Европы?

Или белого пока не меньшинства в Штатах?

В навоз и перья и на выставку уродов всех толерантных медиа.

Возможно еще какой-то минимальный отпор дают французы и британцы, а немец просто боится сесть в трамвай или лишний раз выйти в супермаркет. Есть правда в Европе еще одно воинственное племя, которое иди задень, только они тоже кочевники.

Не уточняю откуда.

Резюме? – восстановление исторической справедливости на новой сцене.

Дальше? – мертвый театр.

Сведем зрочки к другому микроскопу.

Конечно в Казахстане и близко не наблюдается такого шабаша историков и летописцев, но, дьявол не так кроется в деталях, как заходит с мизера. Разговоры в интеллигентской фронде о неких областях, принадлежавших в некие времена, кому? – ответ уклончив. Наряду с этим idea fixe о вторжении России в СевероВосточный

Казахстан сразу же по окончании СВО, зачем? – догма вне обсуждения. Сознание, по Павлову, влияет на желудок и, если в уме шумит внизу штормит.

Допустим не моментально, а по мере накопления. Даже при сильном ливне песок не сразу превращается в мокрую глыбу, зато потом иди высуши.

Украину оранжады поливали с 2003, зато какой результат через два десятка лет! – залобуешься.

Вопрос в том, насколько быстро государство способно разглядеть угрозу.

Судя по калькам с западных изданий на Tengrinews.KZ и неумолкаемой свирели Азаттык – в блаженном неведении.

А в остальном прекрасная маркиза:

Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа.

..

В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какомулибо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону.

Позволил себе еще одну цитату из –Послания.

Звучит прекрасно, нумерология тоже хороша, 10 разделов, 5 главных социальных зол, но общее впечатление от документа: размер домбры не влияет на мастерство исполнителя.

Без пояснений.

В предыдущей части я писал, что канцлер Шольц вряд ли помнит о своем прошлогоднем визите в РК, ан нет, ошибочка случилась, извиняюсь. Ну да по нужде кого только не вспомнишь?

Нужно понимать, что герр Олаф никак не мог нанести визит в Москву, и даже в Минск, поскольку такой вояж расценили бы как позорную капитуляцию всего западного мира. А Астана что же? – очень нейтрально и вроде бы по делу.

Безусловно, визит в копилку действующего президента и плюс к международному статусу Казахстана, пусть в мировых СМИ пока без пафоса.

Саммит Центральная Азия – Германия должен лечь на душу удрученным немцам и поддержать домашний имидж самого папы Олафа, но, не основное.

Ассоциативно к визиту вспомнилась давно забытая граммофонная

фирма His Master Voice. С чего? – поясняю:

Вместо запланированной прессконференции, прозвучало только соло К. Ж. Токаева по мирному решению для Украины. То есть глава государства выступил в роли диктора Левитана для канцлера Германии, поскольку впервые прозвучала именно новая позиция Шольца по украинскому конфликту. Что-то безусловно новенькое в международной практике, но какое время, такие мизансцены.

Прочий антураж соблюден идеально, еще четверо глав государств прилетели на саммит, и даже банковские соглашения на 300 млн. евро подписаны.

Приличный повод для трансконтинентальных перелетов.

Шб

“...рыба шторма не боится”

О’ Кунь

“...страшишь внутренней цензуры”

Inner Vo

Правоверное чванство как новая элитарность даже по отношению к землякам? – внезапно, но очень заметно.

Или сказывается пятилетнее отсутствие в АА?

Нового дресскода на улицах хватает и натуральным он выглядит также, как фрачная пара на нудистском пляже, все же мы не в ЭрРияде; вот эмоция другая, не ироничная.

Сам антураж не главное, *modus vivendi*, мессирь! А именно носимый образ причастности к чему-то недоступному большинству профанов. Скорее не надменность, здесь преподношение себя, избранного к условным согражданам.

До гримасы напомнило носителей канадскогаличанского диалекта на неньке, *en mass* по взору и манере держаться, *en personne* по стилистике.

Нойеукры тоже опознавались по прическам (о, бороды!) и пародийной нацстилистике, фрагментами.

Кто они, здешние?

Провестники неокастовой иерархии в КЗ?

То, что Казахстан светское, а не клерикальное государство заметно в одном: полная невидимость любой конфессии в медийном и визуальном пространстве, помимо ислама.

Импортного, как на взгляд вояжера.

Против мусульманской доминанты в стране выступал еще Чокан Валиханов, требуя от русского правительства(!) прекратить покровительство исламу.

«Мусульманство еще не велось в нашу плоть и кровь, оно грозит нам разъединением народа в будущем.»

Религиозная самозамкнутость и отчуждение, магометанский пуританизм, по взгляду классика были в полном противоречии с естественным духовным миром и бытом кочевника.

Не могу не согласиться. О, Тэнгри, где ты??

Но здесь не кочевье, а город, бывшая столица! – предвижу. Правда, странноватый характер урбанизации и тем более городской субкультуры, не находите? Саудитами в любом случае не стать, вот Афганистан... впрочем, не сгущаем сливки в молоке.

Пакистанцы и арабы на улицах, ранее не виданные в таком числе, придают законченность новому ландшафту, пять лет назад кажется они просто не встречались. С одной стороны, они усиливают восточный аромат, с другой, что неплохо, не стали естественной частью городского пейзажа, как скажем в Дюссельдорфе. Ни капли ксенофобии, исключительно забота о самобытности АлмаАты.

Третье любопытное, индийские студенты. Публика веселая и самодостаточная, в каком университетском городе ты бы их не встретил. Они прекрасно вписываются в любую национальную среду, пример Риши Сунак, становясь «своими» в Йоханнесбурге, Кремниевой долине, городе Москве и местечке ЛьоретдеМар на каталонском побережье. Свое не навязывают, чужого много не берут, в любом случае казахская медицина и техносфера только выиграют от прививки на хинди.

Что же, надежда на взаимную компенсацию анклавов? тогда, через пару лет АлмаАта обратится в своеобычный LondonamTienShan. Или СтратфорднаВесновке, все же культурная столица.

Перспектива не из скверных, не то что Киев, стремительно мутирующий в ПортоПренс. Вообще ассоциация Украины с Гаити самая верная, сплошное вуду в сознании и ТВзаклинаниях, а президент – клинический Бэби Док, в котором от белого европейца только припудренный нос остался.

r.s. после Шольца остались малые группы немцев, в основном пенсионеры и ваганты, концессионеры не замечены. Что же, АлмаАта достойный туристический центр, не все в нашем мире Ибица.

Выше говорилось, что нейтралитет смертелен, возможно преувеличение. Важно то, что любой нейтралитет лжив, что отлично показали Швейцария и Швеция в годы второй мировой, силы ООН в Руанде в 1994, ныне ближе всего, пожалуй, МАГАТЭ, годами не видя(?) откуда именно угроза атомным станциям в текущем конфликте но, конечно горячо осуждая сам факт таковой.

Похоже, после сожалительного ухода Назарбаева, Казахстан не знает,

как ему быть государством. Лейблы «многовекторность», «открытое общество», «демократический выбор», «национальная идея», аки заслонки печные попросту не позволяют разглядеть чистую суть: Государство – это что?

Ближайшее наблюдаемое – сутолока реформ и кабинетные шахматы; неизбежны недоумение населения и гаитянская смеси анархии с закручиванием болтов в довольно неожиданных местах.

Первые, кого касается государственное недоумение, правоохрнительные органы всех видов.

Из исторических аналогов – внешняя разведка становится внутренней, госбезопасность начинает ощущать себя преторианцами, а полиция в паузе мысли, то ли они центурионы по римскому образцу, то ли шерифы по дальнезападному.

С национальной доминантой вообще беда, она неизбежно ведет к дурному подражанию. Как бы упор в некое исконное, которое где нужно – дополнить, где нет – додумать и все непременно в параднолошеном стиле; последнее же относится к народному, как Курултай к Magna Charta Libertatum.

Анекдотична здесь история с новым гербом РК, почти по поговорке «Бог шельму метит». Не успел лидер подцементировать национальное сознание предложением нового герба стране, как небеса поправили: самое масштабное наводнение едва ли не от целинных времен.

Уход русского языка (гипотетично) из АлмаАты равно как облупившаяся краска на парадном фасаде, новая штукатурка ложится коекак, и все строение обретает местечковый шарм. Цитаты О. Бендера не привожу из политеса.

И совершенно не врубается, пардон, неоинтеллигент, что изгоняя русский, он обрекает себя на прилежную зубрежку китайского или турецкого. То, что один из мгновенно станет государственным он вряд ли заметит.

Близорукость и очки наизнанку, что еще от народовольцев повелось. Свою преемственность от них здешние интеллектуалы конечно же не признают.

А ведь что проще?

Та же замена кириллицы на латынь ломает культурное сознание аки ледокол Арктика полярные льды и пример Азербайджана мягко говоря профанный.

Милая разница в том, что азербайджанская письменная культура создавалась не одно столетие, ей фиолетово, хоть клиньями пиши.

Письменная же культура Казахстана, литература, пресса, театр, наука и многая прочая, полностью выросла на кириллице.

вышибание знака из глаза равно вышибанию из мозга, потом только черепки лежат, иди заново склей

**

Многовекторность конечно славный термин, жаль не на все штаны наклейка. Собственно, адекватно его могут использовать страны, которым он без особой нужды, своя политика объясняется внятно с иными формулировками.

По-настоящему многовекторна одна Швейцария, но ей как-то и вопросов никому не задает. Что касается прочих пользователей, здесь все исчерпывающе показал Карло Гольдони комедией Слуга двух господ. То есть получаем такие государства – труффальдино, вся внешняя политика которых строится на предложении услуг какойлибо стороне так, чтобы по возможности не заметила вторая.

В отношении Украины вообще особь статья, как говаривали при Екатерине, проявилась назначением нового посла Дархана Калетаева. Первое, чем запомнился гений дипломатии, были появившиеся зимой 2023-го по всему Киеву Юрты Незламности. Второе еще краше, фото в обнимку с Виталием Кимом, одним из самых удивительных подонков, главой военной администрации Николаева.

Что же многовекторный нейтралитет *in purissima*.

...и во всем этом Россия не слышна, глуха и незаметна.

Честно говоря, ощущение, что все представители по СНГ троечники МГИМО.

Или вообще из профтех...

Текущая внешнеполитическая ориентация республики похоже направлена на сходящий с исторической сцены общественный уклад. Настоящий слепой видит врага не там, где он есть, а там, где привычно. Никто не заметил, что в атмосфере просто грядет Новый Великий Октябрь? Ведь речь сейчас не о переделе мирового влияния и не о реинкарнации принципа: два лагеря/*δύο λόγους*/ один мир. По идее, как представляется ненаблюдательному дилетанту, мы идем к Новому Союзу Республик правда, шагаем не по терниям, а по непечатному эквиваленту некоторых затруднений.

Новизна будет в действенном суверенитете, с полным равенством всех перед каждым, что выглядит чистым идеализмом, но, не приводя пример Страны Советов, возьмем Швейцарию с полным равноправием кантонов, либо Рим, где ни одна провинция не имела преимуществ перед другой. Главное, общая цель, мессеры.

Rex est ex unione nisu!

Гипермонопольный, транснациональный, олигархический капитализм поддыхает окончательно.

Судьба кадавра, переварившего себя самое.

..

Возможное вхождение Турции в БРИКС неизбежно скажется на политической жизни РК, особенно в том, что касается внутренней части. Эрдоган взял паузу, но при том готовится к встрече с российским президентом сразу после окончания саммита в Казани.

Но есть немецкие эксперты, господа:

"Стремление Токаева сохранить геополитическую субъектность, а не раствориться среди полутора-двух десятков государств, которых затягивают в БРИКС, на мой взгляд, важная лидерская заявка, за которой могут последовать и другие приглашенные на саммит в Казань, в том числе страны СНГ. В частности, подобную позицию уже заняла Армения. Им легче будет вслед за Казахстаном уклониться от этого предложения, от которого, как выясняется, можно отказаться. И Казахстан это демонстрирует" покровительственно сообщает служащий DW Аркадий Дубнов.

Естественное любопытство, кого он здесь по плечу похлопал – лично президента Токаева или весь Казахстан в целом?

Руководит всегда простое, версии отличны.

Банальная зависть к Путину или Си на госуровне?

Понятно, что не первым ни вторым Токаеву не стать, и дело не в объективном потенциале Казахстана, а исключительно в субъективной шкале власти как вида *homo imperios*. Возьму Францию, она далеко.

Президент де Голль и Франсуа Олланд ярчайший пример образа и пародии, или как говаривали при царизме – денщик генеральский сапог нашел.

Талант власти или ген власти, он от Бога, или от Тенгри, как в данном территориальном случае.

Видимо, никто никогда не играет себя, свою игру, по своим же правилам. Только соглашательство, выдаваемое за что угодно, например, за особую позицию и личный, но международный взгляд. Обидно при этом получить оплеуху как президент Токаев, провозгласивший ООН *ab ovo ex ordine mundi*, а не какой там БРИКС, и столкнувшийся на нем нос к носу с Гутерришем.

Не думаю, что последний вынес ему благодарность.

Все знают, или думают, что знают о шведском синдроме.

Полагаю, есть еще как минимум один, назову его синдром спасенного, *confusio servatorum*. Вообще говоря, его еще Достоевский рассматривал в своем очерке о будущем балканских стран. По идее, субъект, человек или страна, неважно, должны быть благодарны тем, кто помог им выйти из дурной ситуации.

Но что идеи реалистам?

События января 2022, которые в Казахстане называют Кандар, закончившиеся благополучно с помощью ОДКБ, через некоторое время привели к достаточно резкой антипатии в кругах художественной интеллигенции по отношению к России и ее лидеру. Видимо и главный интеллигент страны заболел той же ветрянкой. *que reuxtu faire, c'est ainsi que les gens sont faits..* избежав опасности, они вначале испытывают облегчение, потом им крайне неловко, что они попали в такую лажу, а уж тот, кто видел их положение и попросту вытащил из него, становится очень и очень неприятен.

**

Мы можем как угодно относиться к Советской власти, тем не менее многие ее принципы, в особенности интернационализм отлично легли на казахский национальный характер, Ильяс Есенберлин меня поддержит. Уже в первой книге из трилогии Кочевники, Заговоренный меч, голова пухнет от перечислений всех родов, жузов, племен: керей, аргыны, дулаты, нойманы, это не считая торе, потомков Темучина и Бортэ.

Живая степная необходимость не позволяла замкнутости, отчужденности, пренебрежения к любому иноплеменному просто зародится. Когда так много всех нас разных обычные правила выживания подсказывали – любой незнакомец тебе далекий брат и отношение к нему такое же.

Степной этногенез знаете ли, по Льву Николаевичу Гумилеву и, как в основном вижу я сам на улицах АлмаАты и среди своих казахских друзей, никуда он не делся.

Да пребудет с нами Тэнгри!

Вообще говоря, будущее нужно провидеть по Джонатану Свифту. Он единственный истинный и неоспоримый пророк, сразу после Иереми.

«...поздравляю вас, господа, вы не успели в капитализм!

в национальное государство и прочую атрибутику гимн, флаг, язык, национальный характер, президент, валюта, бешбармак, тоже. все уплывает позапрошлым веком.

и первыми об этом вам сообщат деньги, их аморфная и неуловимая форма. доллар, увитый юанем до легкой прострации сколько я стою и что мной платить? евро, с безумной ностальгией глазеющее на сестерций и Рах Romana как таковой, что нынче мера и чей будет Рах? уверен во всем наверное только альпийский франк, но мало его, вряд ли на всех хватит.

вторым голубком конечно станет погода.

привычные формы скорее всего придется менять на Союз Залитых

областей, Республика Сухо и Соединенные Территории Времен года. с границами будет напряг, иди ты знай разметку водной глади, да и посуху будет не легче, песок, жарко, миграции бедуинов.

а птичка третья смена доминирующих лексем.

хуже всего будет с понятием политическая партия, что такое политика неясно уже давно, а слово партия с явлением Цукерберга, особенно Маска, стало признаком глубокого бессилия мозга. ну а дальше, да пребудет с нами Фантазия и Клиффорд Саймак.

или кто там еще написал «Неуловимая планета»?

Элита имени Прощай! –





Любовь Птакул / Россия /

Любовь Птакул родилась в СанктПетербурге, там же ходила в детский сад, потом в школу, потом в пединститут, потом снова в школу – и так до пятидесяти лет. Затем началась вторая жизнь в бродячем кукольном театре. Там она (Любовь Птакул) сценарист, режиссер, кукольник, декоратор, актриса, звуковик и все остальное. Это продолжается уже 16 лет. Хотелось бы еще столько, и полстолька, и четверть столько, и еще пару лет.

Да будет во спасенье нам
От унижительного страха,
От окончательного краха,
От неминуемого дна

Зеленоглазая весна,
Трава, встающая из праха,
Гнездо свивающая птаха,
Летящая сквозь времена
Скрипичная партита Баха!
27.02.23

АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ

На время в стороне остались
Его зеленые заботы,
Апрель накинул белый талес
В канун Божественной субботы,

Он обращал в тиши ночной
К недостигаемому Богу
Свою бессонную тревогу
О хрупкой красоте земной...
20.04.24

* * *

Потоками вечернего дождя
За окнами смывало Петроградку,

И дворники, руками разводя,
Все не могли призвать его к порядку.

Автомобилей мокрые стада
Едва плелись, застигнуты потопом,
Осколками дробилась пестрота
Ночных огней, крутясь калейдоскопом,

Оскалились, выискивая цель,
Химеры петербургского модерна,
Слезами растекалась акварель
Пленительно желанного Инферно,

С восторгом погружаясь в миражи,
Не одолеть лукавого соблазна...
Зачем на этом свете дальше жить?
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
30.09.24

* * *

Сметая ветром старую листву
В шуршащий под ногами пестрый ворох,
Природа приготовила канву,
Мечтая о диковинных узорах.

Сокрытая немой осенней мглой
Однажды по внезапному наитью
Серебряной сверкающей иглой
Тончайшей белоснежной нитью

Начнет неторопливо вышивать
Мелодии, иероглифы, виденья,
Пророчества, путей переплетенья,
Пришептывая что-то, колдовать...

И мы поверим зимней тишине,
Как верим Богу,
Как когда-то маме,
Что не случится худшего ни с нами,
Ни с теми, без кого нам жизни нет...
26.10.24

* * *

Без мольбы, надежды и азарта,
Прежний пыл теряя на ходу,

Из вчера через сегодня в завтра
Предзакатным временем иду.

Каждый день — неверная ступень
Лестницы к неведомому краю.
Восхожу по ней и наступаю
На свою изломанную тень.

Память за плечами тянет вниз.
Там уютно, радостно и просто,
В том краю все было мне по росту
Оглянись, остановись, вернись!..

Слабый хор знакомых голосов
Тонет в наступающем молчанье,
И все чаще звездными ночами
Слышу чей-то отдаленный зов...
9.11.24

* * *

На свете смерти нет.
(Арсений Тарковский)

Когда настанет мой последний день,
Прекрасный, как далекое начало,
Пусть не плачут обо мне нигде,
Пусть не заметят, что меня не стало.

Придет на землю новая зима,
И не замечу даже я сама,
Что больше не отбрасываю тени
Ни на галерке, ни на авансцене.

Быть может, будет прыгать по планете
Неугомонный пыльный воробей,
Не зная, что живет на этом свете
Смешной реинкарнацией моей...
15.04.24

* * *

Обронил белый ангел перо
И спустился на землю искать.
На земле превратился в Пьеро
И совсем разучился летать.

Вместо крыльев теперь рукава
Неуютную землю метут.
Белый клоун все ищет слова,
Что далекое небо вернут...

21.12.24

* * *

Зимой природа, поистратив краски,
Углем, мелком рисует на мольберте
Картинки из одной знакомой сказки
О бедном Кае, о печальной Герде.

Чудовищное зеркало глумится
Над красотой, истиной и верой,
Калечит души, искажает лица
И мерит всех и вся одною мерой.

Летят неисчислимые осколки
Сперва в глаза — незапертые дверцы,
Потом в зрачки — оставленные щелки,
Точнее пули попадая в сердце.

И маленькая Герда плачет долго
Над маленьким раскаявшимся Каем,
Смывая холод страшного осколка...
Мы смотрим на картинку — и вздыхаем...

А лет, веков, тысячелетий сколько
Осеннему дождю рыдать над нами,
Покуда след последнего осколка
Не будет смыт последними слезами?..

17.01.25





Павел Кренёв (Россия)

Павел Григорьевич Кренёв (Поздеев) коренной помор, родился и провёл детство в деревне Лопшеньга, что на Летнем Берегу Белого моря. После окончания восьмого класса переехал в Ленинград, где закончил Ленинградское Суворовское военное училище. В 1976 г. закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, работал в ленинградской прессе. В Ленинграде опубликовал первые две книги лирической прозы для детей и был принят в Союз писателей СССР. С 1987 г. живёт и работает в Москве. Закончил аспирантуру Академии безопасности России. Кандидат юридических наук. Состоял на военной и государственной службе на высших должностях, являлся сотрудником Администрации Президента РФ, Полномочным представителем Президента России в Архангельской области. Секретарь Правления Союза писателей России, награждён рядом всероссийских и международных литературных премий. лонгистёр премии «Большая книга» (2023), Арктической всероссийской премии (2020), всероссийской литературной премии «Душа природы» (2023), международной литературной премии им. Ф. Искандера (2022), всероссийской литературной премии им. А.С. Грина (2024), Патриаршей премией им. С. Аксакова (2022). Автор 31 книги, проза переводилась на турецкий, польский, болгарский, эстонский, сербский и французский, китайский. Творческие вечера прошли в Турции, Польши, Литвы, Эстонии, Болгарии, Черногории, Франции, Белоруссии, во многих городах и республиках (Дагестан, Татарстан) России.

МИШКА

Илья Лукич морщит загоревшее, обветренное лицо и, скобля ногтем воблину, довольно побрякивает, ерзает по табуретке. Всем своим видом выказывает радость оттого, что опять приехал «сосед», как именуюсь у него я, что можно будет снова по вечерам покалякать, перекинуться в «дурачка», в котором Илья Лукич мастер непревзойденный. Мы сидим в моем не протопленном еще доме, попиваем привезённое мною жигулевское и уже калякаем о том да о сем. Неторопливо судачим и о предстоящем небывалом сенокосе, потому что травы в этом году самолучшие, и о селедке, которая «куда-то деется», и нынче рыбакам трудно по ней брать план, и о сыне Ильи Лукича Саньке, который удумал жениться до армии, а теперь вот взяли, и жена его Галинка, должно быть, загуляет.

— Как думаешь, Василий, загулят али нет? — спрашивает меня сосед явно с надеждой, что я утолю его сомнения. Я бы и рад, да не могу поручиться за Галинку, потому что ни разу в жизни не видел ее.

— Загуляют! — и Илья Лукич с обреченным видом пригубляет стакан.

Чтобы перевести разговор в русло, более приятное для нас обоих, я интересуюсь:

— А как Мишка, поживает, дядя Илья?

Но это тоже не вызывает у Ильи Лукича обычного возбуждения, хотя речь и идет о его собаке. Видно, что тема досадная. Он лишь вяло машет рукой:

— Ааа, никак уж. Решил я его.

Я таращу глаза:

— Как это?

— Как собак решают. Кокнул, да и всё.

Тут я начинаю всерьез волноваться.

— Да ведь он красавец у тебя был, умница! За что ты его?

— Кобель он был, кобель.

— Ну кто же за это?..

Илья Лукич нервничает, видно, что ему неохота о Мишке. Но я, наверно, в таком замешательстве от услышанного, что он рассказывает:

— Сам знаешь, какой он был. Ни одной проходу не давал, как время у той подходило. А тут весной пристал к Зосимкиной Стрелке. Ну а та чистопородная, ты ж знаешь. Как ее, это, сибирская западная. — Сосед почмокал губами, помолчал. — Зосимка ее на повети закрыл. «Не допушшу, говорит, породу портить». Дак Мишка, дьявол, подкоп под поветью сделал, а до суки добрался...

...Наши с ним отношения развивались далеко не гладко. Когда я после долгой отлучки приехал той осенью в деревню и увидел у соседа этого необычного для здешних мест пса, целый день ходил вокруг него и восторгался. Все то было у него, что называется, не как у людей: голова лобастая, короткоухая— волчья,

окрас — совершенно белый, а размеры просто поражали раза в полтора крупнее любого здешнего кобеля. Белый волк да и только! Только хвост, настоящий «калач» лайки, свидетельствовал о том, что хозяина его не надо путать с какимнибудь там неведомым доселе лесным хищником.

Мишка довольно равнодушно, если не сказать наплевательски, отнесся к моим восторгам, потом, выказывая крайнюю снисходительность, пришел ко мне в гости и с независимым нахальным видом сожрал кулек пряников, которые я высыпал перед его симпатичной волчьей мордой.

Дни в отпуске летят как прекрасные мгновения; Чтобы не терять времени попусту, я решил на следующее же утро пройтись по Старым Логам за рябчиками. Встал на зорьке, быстро собрался и вышел за деревню. Уже вошёл в лес, когда услышал за собой топот о промерзшую за ночь землю: меня догонял Мишка. Хотя и надо было теперь менять

дневные планы (какие уж тут рябчики, когда с тобой собака? Встретишь выводок — перегоняет всех сразу), однако я обрадовался. Ведь Мишка сам вызвался идти со мной, совсем не знакомым для него человеком, и тем выказал мне доверие, а может, и уважение. Я должен был это оценить. Решил идти за Бекетов Мох на Брусничные Угоры. Там всегда жили глухари.

Мы шли с Мишкой без дороги через косогорье, поросшее можжевельником и высоким осинником. Я вдыхал прохладный воздух осеннего леса, напоенного крутыми, настоящими запахами, и на сердце лежала радость новой встречи с родными местами. Мишка восторгался не меньше меня и носился по лесу неустанно. Истосковался по охоте, понимал я собаку, хозяинто ружья в руках давно уж не держал. Пес пустился тем временем в заядлый поиск: наткнулся на наброды и ходил кругами мягкой размашистой рысью, пригнув к земле огромную свою голову и насторожив уши. Иногда с его стороны слышались хлопки взлетающих, крыльев и даже одиночные басовитые Мишкины взлаивания. Сердце мое в такие мгновения отбивало в груди ликующую барабанную дробь. Но Мишка смолкал; видно, поднимал с земли тетеревов и рябчиков, а те редко сидят, «под собакой». Лишь перед мхом, когда пошел негустой сосняк, он залаял впереди вязко и задиристо.

Хоть руки и дрожали от напряжения и нетерпения, я сделал подход по всем правилам: тщательно подкрался, высмотрел низом, куда лает Мишка, и, осторожно выглянув из-за дерева, долго шарил глазами по высоченной елке. Глухаря на ней не было: обычно его огромное черное туловище хорошо выделяется на фоне хвои. Но Мишка лаял с остервенением, морда его была устремлена в одну точку. В конце концов я вышел из-за укрытия и, уже обходя осторожно ель, разглядел белчий хвост, свисающий с лапины на самой макушке. Стрелять белку не хотелось: едва ли «дошел» еще мех, но Мишкины усилия надо было как-нибудь вознаградить, и я, отойдя подальше от дерева, чтобы не портить сильно шкурку, поднял ружье...

Все происшедшее потом запечатлелось в памяти кадрами комедийного фильма с драматическим финалом. Сначала я увидел, что белка надает. Следующий кадр: она почему-то в пасти у Мишки и тот смотрит на меня, весело скаля зубы. Потом я не терпящим возражений тоном кричу ему: «Фу, фу!», но Мишкина пасть делает глотательное движение, и хвост белки исчезает за двумя рядами великолепных, оскаленных в смехе собачьих зубов. Затем я страшно злюсь на Мишку и бегаю за ним с хворостиной...

В ту осень я больше не брал его на охоту. Да он и сам не стремился. И когда я с ружьем на плече спозаранок проходил мимо взвоза, под которым он обычно спал, Мишка чуть приподнимал голову, сонно открывал глаза и начинал сладко потягиваться, выказывая полное равнодушие. А однажды дал выволочку какой-то деревенской

собачонке, которая за мной увязалась. Это меня и возмутило и развеселило: «Надо же, ни себе ни другим!..»

Зосимка подкараулил, да и треснул Мишку слегой по загривку. — Дядя Илья скрипит чешуей, запивает жигулевским. Остренький кадык его при этом бойко бегают по длинной, давно уже не бритой шее, словно поршень заборного насоса. — Заболел псина. Лежит на повети да стонет, лежит да стонет. Из уха у ево потекло, провонял совсем. Ну, я думаю, куды дальше? Да и Анисья, женка моя, востребовала: «Изведи, и все!» Ну куды дальше? Дальше некуды.

Соседу в тягость разговор о Мишке и, со вкусом хлопнув о стол очередной пустой бутылкой, он решительно встряхивает плечами.

Ну чего все об ём да об ём. Чего было... Давай, сосед, обо што другое покалякаем.

Ни о чем другом мне с дядей Ильей говорить сейчас не хочется, и я будто не замечаю его решимости.

— А лечить, выхаживать как-нибудь ты его не пробовал?

Дядя Илья кипятится, похоже, всерьез.

— Ну, Василий, ну как ты не понимаешь! Он же провонял весь, а Анисья, мать ее, пристала как банный лист: «Изведи да изведи!»

Я понимаю, что мои вопросы о Мишке сейчас некстати, что нельзя так с соседом, что можно обо всем узнать и потом, постепенно, когда обживусь, но нервничание Ильи Лукича мне доставляет в эти минуты непонятное удовлетворение.

— А чем кончилось-то, дядя Илья?

— Вот заталдычил — как да чем, — машет устало рукой сосед. — Тем и кончилось, что смастрячил я капронову петельку, да и пошел за ним...

...В следующий раз, после той осени, когда у нас с Мишкой так и не сложились отношения, я приехал в деревню не один, а со старым приятелем, тоже заядлым охотником. Стояла та нежная ароматная пора входившей в силу осенней поры, когда ушедшее бабье лето почти растрясло уже золото с еще недавно богатых берез, и только на нагретых за лето солнечных склонах угоров догорали последние пожары обожженных морозами рябин и осин.

Мишка словно забыл о прошлогоднем разладе, и мы, выйдя на следующее утро из дома, увидели его у крыльца. Морда у Мишки выражала самое искреннее к нам расположение и радушие, хвост приветливо летал из стороны в сторону. Он, улыбаясь, поднялся с земли, отряхнулся и нетерпеливо запританцовывал, будто высказывал всем видом: ну и спать же вы, ребята, заждался я...

— Неее! — сразу заволновался мой напарник, еще

в городе наслышавшийся от меня о Мишкиной бесцеремонности.

Я его поддержал, хотя и был почему-то обрадован перспективой восстановления отношений с этой все равно уважаемой мною собакой, но встал вопрос уязвленной в прошлый раз чести. Надо же выдержать характер, нельзя же так — сразу в объятия.

— Нет уж, Миня, повремени, не выдержал ты испытания, — сказал я Мишке и в знак неколебимости своего решения подтолкнул его в соседскую, домашнюю для него сторону.

Гордость знающего себе цену кобеля не позволила Мишке сразу же пообещать нам вслед, и мы оставили его у крыльца, хмурого, опешившего от неласковой встречи. На выходе из деревни приятель мой не удержался, пожалел:

— Это мы зря, наверное. Кобель-то вроде справный.

Я промолчал, потому что думал так же, и с надеждой оглянулся.

Мишка, поняв, что я его увидел, сразу активно замахал хвостом и опустил голову. Он, видимо, унял свою гордость и теперь бежал следом, надеясь на нашу отходчивость. Мы для порядка решили быть непреклонными и погрозили Мишке кулаками, мол, и не надейся, бесполезно, мол... Он же помчался вдруг галопом куда-то в сторону, и мы, довольные, не могли не заметить, что бежит он, огибая нас по окружности, радиус которой чуточку превышает возможный бросок камня или палки. Вот он обогнул нас, вот бежит по мосту через речку, которая отделяет деревню от леса, вот сидит перед лесом, глядит на нас, задирая от радости морду, влаивает.

— Ну и нахал! — восхищенно отмечает мой напарник.

— Сукин ты сын, сказал и я Мишке. Но предательская радостная интонация моей ругани была немедленно обнаружена умной собакой. Мишка поднял улыбающуюся пасть, залился счастливым лаем и вместе с ним исчез в лесу.

Та охота была похожа на сказку. В самом начале леса, в первых, что называется, деревьях, Мишка облаял первую белку. Повел он себя при этом до невероятности галантно. После выстрела сел перед ней и терпеливо ждал, когда будет снята шкурка и ему преподнесено законное мясо. На нас взглядывал при этом возбужденновесело и озорно. Потом, не успели пройти и полкилометра по прибрежной, заросшей сосняком кошке, как Мишка залаял снова, потом еще и еще... Ошалевший приятель мой носился туда и сюда с вытаращенными глазами, с ружьем наперевес и только выдыхал: «Ну и собака! От ты, надо же!» А перед самым озером Чевакиным, где обычно кормятся тетерева и глухари, Мишка запринохивался к земле, начал ходить по кустам кругами и наконец, в сотне, метров от нас, затаившихся, дрожащих от азарта, с гулкими частыми хлопками поднялся глухарь. Мишка бросился за ним. В таких случаях главное: далеко ли птица улетит, сумеет ли собака «усадить» ее на дерево и облаять. Это чудо, конечно, но глухаря мы взяли тоже. Мишка сработал красиво и, как говорится, выложил дичь на блюдечке. Напарник мой целовал его в нос и растроганно причитал:

— Ну, псина, ну, разбойник! Я ж тебя теперь всю жизнь помнить буду.

Мишка держался солидно, но восторги в свой адрес принимал с видимым удовлетворением.

Потом мы, уставшие, сидели на берегу у костра, глядели на воду и слушали лес. У того берега озера в высокой прибрежной траве маленьких лахт плескались и ссорились из-за корма утки. Мишка, устроившись у самой воды, прислушивался к их возне и иногда взлаивал для острастки. Кряканье прекращалось ненадолго, скоро начиналось снова. Мишку это забавляло, и он опять негромко лаял.

Солнце начинало прятаться за высокие раззолоченные березы, что росли на угоре над ручьем. С другой стороны горизонта ранний осенний вечер потихоньку, украдкой разливал по небу мутноватый фиолет сумерек...

— ...Мишка-то, слышь, на повети лежал. Ну я к нему, это, с веревкой и ступаюсь. — Илья Лукич порядком уж захмелел, зарумянился и рассказывал теперь с азартом. — А он голову как взнял, да и глянул, Вася, так, не дай Господи. Ну я назад. «Анисья, говорю, растудыт твою, или сама иди вешай, или дай хлебнуть для задору. Тебе, говорю, надо-то, не мне. Мне-то чего, пусь, мол, и живет, коли желат. Ты же все гундишь, что корову вонь пугат!» Налила, куды ей деваться, Илья Лукич хохотнул. — А уж хлебнул, тогда дело спорей пошло.

Потом сосед скусил морщины на щеках и огорченно хлопнул пятерней по колену.

— А вот как глядел, сукин сын, все помнится! Буди и собака, а тоже видит, что смерть пришла...

— Вот зараза, чуть палец не отгрызла. Дядя Илья, выноси дробовку, счас вмажу ей. Ох, связался я!..

Сергея Шеколдин, колхозный тракторист, как пуля выскочил из-под дома и теперь, обматывая палец тряпичей, ругался почему зря и проклинал собаку. Пропадала обещанная Илье Лукичем поллитровка.

— Нее, Серега, стрелять опасно, дом спалишь! А промажешь? Подумал?

— Это я-то промажу? — уязвлялся Серега и кипятился еще больше.

— Дак темнота же, — смягчал ситуацию Илья Лукич и предупреждал: — Она тебе тагды неизвестно чего откусить может. Давай уж, Сергеюшко, подрядись-ко снова. А в холодильнике сам знашь, чего стоит.

Сопротивляться последнему аргументу Серега не в силах. Он запахивает старенькую пыльную фуфайку, поправляет уши поношенной ушанки, которой не жалко, если изгрызет собака, в правую руку берет опять длинную лыжную палку, в левую — фонарик и опасливо подходит к дыре, ведущей в поддом. Оттуда сразу доносится злобный хрипящий лай, Серега съеживается, как перед броском на амбразуру, и, поправив на боку холщовый мешок, ныряет на четвереньках в дыру. Лай под домом стервенеет.

Илья Лукич стоит у крыльца и удрученно поругивается. Напасть какая-то. Егорушкина Венка не могла найти другого места ощениться, как у

него под полом, растудыт ее в хвост. Что, ей своего дома мало? Почему именно его выбрала? Сначала и не заметил, ну бегают собака около дома и бегают, леший бы с ней. Потом уж жена ночью расслышала возню под полом у печки и писк какой-то. Думали, померещилось. А как наутро нашел под стеной дырку, как сунул туда нос, а оттуда как взвояет. Ужас! Стало ясно: сука гнездо себе сделала. Щенков надо бы как-то вынуть, да как? Самого Егорушку не подключишь, тот на тоне селедку ловит, жена его, Танька, сама собака, каких свет не видывал, знамо дело, послала Илью Лукича, куда он и предполагал. Далеко послала. Он и сам хотел отлынить от этого дела, да Анисья заела: щенки, говорит, всех куриц сожрут. Значит, без яиц теперь жить придется, потом и сам домой не попадешь. Надо, говорит, истребить. Хорошо вот Серега за бутылку соблазнился. Только, почесал голову Илья Лукич, за палец он может и другую востребовать. Не доведи господи, Венка ему еще какое увечье нанесет. Злая, вся в хозяйку, в Таньку.

Из-под дома доносятся непрерывный лай и угрозы Сереги в адрес Венки. Илья Лукич ежится, представив сейчас себя на Серегином месте, и в этот момент думает о нем с уважением. «Все же Серега смелый парень, размышляет он. – Там же смертоубийство сейчас под домом совершается... Это ж надо, на какие геройства может пойти человек за такую малую плату – всего за одну поллитру. Он сам даже за две под дом бы не полез, очень надо терпеть собачьи укусы за понюх табаку. Может Венка в темноте какие-нибудь нужные места ему пооткусывает. Что тогда на это скажет Лизка – Серёгина жена?»

Последнюю мысль Илья Лукич прокрутил в голове с выраженной ехидностью. Лизку, эту занозу, крикливую, вздорную бабенку, он откровенно не любил, как и Зосимкину Таньку. «Может, тогда и хорошо будет, коли Венка, осердясь, оттяпнет важные Серегины места?»

Затем лай переходит в тоскливый вой, причем не понятно чей, и, наконец, слышится шебаршение под Серегиними коленками. Видимо, тот возвращается. Вот уж видны из-под стены каблуки кирзачей, потом измазанный в земле Серегин зад. Илья Лукич помогает ему выкарабкаться из дыры. Вид у тракториста самый что ни есть взъерошенный, возбужденный. Сам он уже вылез, но никак не может вытянуть мешок, потому что в него зубами вцепилась Венка и тянет обратно в подпол, оскалившись, рычит.

— Вот ты у меня сейчас поскалился, я тебе поскалюсь! Отдай, зараза! — радостно кричит Илья Лукич, помогает Сереге и тычет Венку в морду припасенным поленом. Та наконец отступает и только заходит в лае и вое из дыры.

Илья Лукич и Серега, вооруженные на случай нападения Венки жердьем, бегут с мешком к морю. Серега, запыхавшийся, взъерошенный, на ходу рассказывает жуткие сцены из только что

пережитого («На вторую напрашивается», — думает Николай Семенович), сообщает, что щенков было пять. Уже у воды он вдруг предлагает:

— А Венка-то в лесу — лучше некуда. Может, себе возьмешь какого, покуда не поздно?

— Да куда мне с им, я ж не охотник, — отмахивается Илья Лукич.

Покуда не прибежала Венка, Серега торопливо тянет за палку рыбацкий карбас, который стоит у берега на рейде, подтянув, прыгает туда вместе с мешком и отталкивается на глубину веслом. Метрах в пятнадцати — двадцати от берега он кидает мешок в воду и плывет обратно. Илья Лукич вздыхает облегченно и, заулыбавшись навстречу трактористу, достает «беломорину», поразмышляв малость, вынимает еще одну, для Сереги.

Потом они сидят на бревнышке у воды, с видом людей, завершивших нелегкую работу, опустив меж коленей руки, покуривают. По кромке берега уже бегают, нервно принохиваются к воде и скулят Венка. Мужики над ней потихоньку и уже отрешенно посмеиваются.

Илья Лукич первым замечает белый комочек, который будто бы приближается к берегу, начинает по этому поводу волноваться и показывает Сереге. Тот вглядывается и узнает:

— Ну, точно, белый щенок. Самый злой из выводка был. Тоже хотел меня кусить, змей. — Серега привстает с бревна и предлагает: — Может, его камнем огреть, а? Доплывет не то.

Илья Лукич испуганно его останавливает:

— Нее, Сергеушко, с Венкой лучше не связываться... Она и тебя и меня тогда...

Белый щенок, видимо, крайне устал и почти уж захлебнулся морской водой, маленькая мордочка его едва видна на поверхности. Он тяжело перебирает лапками, соленая вода то и дело перекачивается ему через голову, заливая глаза. Щенок порывисто свистит маленькими ноздрями, с трудом отфыркивается и медленно-медленно все же приближается к берегу. Потом его хватает за шиворот мать, поднимает над водой, и он, совсем уж в забытьи, не перестает в воздухе упорно перебирать лапками.

Илья Лукич, увидев, как Венка затащила щенка обратно к нему под дом, вконец расстроился и снова приступился к Сереге:

— Может, его еще раз, его, коли взялся уж...

Тот вытаращил глаза, схватился в неподдельном страхе за палец, обмотанный тряпкой:

— Венка теперь ученая, искромсат всего! И бутылки не надо!

Это Николая Семеновича маломальски успокоило.

...Белый щенок по имени Мишка лежал под полом рядом с матерью и тянул из сосца густое молоко, которое возвращало ему силу. Потом он прильнул к ее теплому животу свое тонкое тельце и, обласканный, успокоенный, забылся в глубоком детском сне. Мать подняла над

сыном голову и долго вылизывала из его пушистой шерсти остатки соленой воды.

Белый щенок по имени Мишка начинал свою полную запахов и охотничьих страстей, радостей и обид, дружбы и драк, редких похвал и нередких пинков, свою недолгую собачью жизнь, исполненную любви и преданности человеку.

— ...А опосля чего, сам понимаешь, отвел я его на берег, надел на голову петельку. Бьется и бьется, не задавится никак... Послал сына Веньку за дробовкой и хлопнул заряд в его, чего собака мучится. Не то жалко. А с другого боку, чего тут такого. Собака, она собака и есть. Жись у ей така.

Илья Лукич помолчал, потом встрепенулся: .

— Зато шкура у его, Вася, спасу нету! Как шуба. Анисья на спине носит от радикулиту. Грит, помогат. Н-да. Ну ладно, все про ето да про ето. Плесни-ко лучше пивка, Вася, за твой приезд.





Алёна Рычкова-Закаблукковская (Россия)

Алёна Рычкова-Закаблукковская родилась в 1973 году в селе Баклаши Иркутской области. Автор трёх книг стихов: «В богородский сад», «Птица сороказим», «Про свет». Член Союза российских писателей. Публиковалась в литературных журналах и альманахах: «Плавающий мост», «Байкал», «Юность», «Сибирские огни», «Новый Гильгамеш», «Литература», «Формаслов», «Паровоз», «Глагол» и др. Лауреат и дипломант международных поэтических конкурсов: «Эмигрантская лира», Чемпионат и Кубок Балтии по русской поэзии, «Заблудившийся трамвай».

ХРОНИКИ ЧЁРНЫХ ДНЕЙ

*

пришли волхвы и принесли дары
когда вошла звезда над усть-балеем
господь сказал все будет иудея
я никого из вас не пожалею
пока вокруг смещаются миры
господь сказал а после будет рай
мы будем тихо жить своим аббатством
ты только ничего не возжелай
чужой жены и пастбищ и богатства
чужой судьбы не возжелай сынок
а все иное мы переболеем
и горсть за горстью сыпался песок
в разверстый рот земли под усть-балеем

*

А в Нижнеудинске бесснежно
И потому уже морозно.
Так, принимая неизбежность,
Идти по темноте острожной,
Дыша в мембрану телефона.
Недолгое голосовое
Уходит в купол поднебесный,
Как откровенье ножевое.
Что город ждет волну вторую

И слух течением подводным,
Что всяк негодный будет годным,
Колеблет свод околоплодный.
И эту точку болевую
Не сжать ладонью. Небо звездно.
Наш диспансер туберкулезный
На ладан дышит и скрипит.
И комой медикаментозной
Туман над городом стоит.

*

тут народ клепает свечи
и готовится к весне
он пока по-человечьи
изъясняется вполне
но за малым дело стало
жатва требует кровей
и звериные оскалы
проступают у людей
там на станции конечной
путевой обходчик спит
из последних человеческих
человечий индивид

*

Здесь в июле видится простое.
Тишина эпохи травостоя,
В переулке строящийся дом.
Ночь длинее, день уже короче.
За забором худосочный срочник
Выбритым отсвечивает лбом,
Рвет малину в звонкую тарелку.
Воробьи заводят перестрелку
Над иргой. Развесистым кустом
Наклонилась красная сморода.
Нынче праздник будет у народа -
Металлурга достославный день.
И уже настроили динамик,
И плывет наш медленный Титаник
Грузно, не отбрасывая тень.

*

под небом из стали и цинка
согласная миропорядку
на фоне разбитого цирка
как гриб воплотилась палатка
наймитов берут по контракту
бликует фонтан у почтамта
и плесени трупные пятна
на прошлом твоём невозвратном
здесь голубь уже не знаменье
он только лишь призрак бесплотный
над общим висит безвременьем
беспочвенно и беспилотно

*

не помогают дома стены
нигде они не помога
на рыночке у манекена
синеет голая нога
он в неизменном камуфляже
от исчисления времен
висит средь копоти и саж
людской любовью заклеимен
и ею же обескуражен
один из многих буратин
он целлулоидно отважен
и без ботин

*

Ангарская вода
Перетекает в небо,
Звенят колокола.
Расходятся с молебна.
Хвалебный в небе грай
И хлебный дух завода.
Не смей, не умирай
В такое время года!
Рассеивая мрак
Навеянный повесткой,
На Ангаре рыбак
Разматывает леску.
Марток, семи порток
Адепт и проповедник,

Не больно нынче строг –
По темноте передних
Теснится обувь в ряд
Всех внесезонных видов.
И пестуют ягнят
На мартовские иды.

*

Все осторожно приспособятся
И понесут благою весть
Тебе, живущей наособицу,
Что счастье есть.
Что в состоянии придушенном
Дышать легко.
И даже хлеб дают насущный
И молоко.
По праздникам не святотатствуя
Берут дары –
Кровавое парное мясо.
Для детворы –
Флажки и дудочки из глины,
Вертеп и посвист шутовской.
И надо всем закон старинный
И воровской.

*

Август скоро перестанет.
Отчужденье за окном.
Август – пир во время брани
В лепрозории чумном.
Неизбежная остуда,
Проникающая двери.
Убывающие люди,
Обнажающие звери.
Август пахнет матиолой,
Вызревшей травой горчашей.
Август извлекает слово
Из груди кровоточащей.

*

синицы снуют там где им подают
но мимо летят свиристели
и ягод калины они не клюют
которые нынче сомлели

как будто в ветвях заплутала заря...
в сплетениях тонких и хрупких
огнем негасимым пунцово горят
кистей кровавые обрубки
зимой этой скорбной калина горька
как самая горькая хина
как ягод ее полыхают бока
над судной моей палестиной
как будто напита́на плоти их взвесь
всей кровью и горечью ада
и по миру птицы несут эту весть
и ягод им этих не надо





Наталья Горячева (Казахстан)

Наталья Горячева – писатель, член Союза писателей Казахстана, поэт-песенник, музыкант, искусствовед, заведующая отделом культуры литературнохудожественного журнала «Простор». Училась в Алматинской консерватории им. Курмангазы, закончила СанктПетербургский гуманитарный университет, а также Открытую литературную школу г. Алматы. Публиковалась во многих сборниках, журналах и альманахах. Повесть «Ахо» и цикл рассказов «Вера» вышли отдельной книгой в издательстве журнала «Простор».

ВОРОБЕЙ

из цикла рассказов «Вера»

Лента новостей казалась причудливым коллажем. А как ещё назвать эту невероятную мешанину селфи, цитат, репостов и тестов из серии «Убей время»? Последние самые опасные. Только попадись им на удочку, и часы протекают без малого от пяти до тридцати мелких делений. Полчаса вроде немного. Иллюзия. Тридцать минут – весомая часть жизни той же подёнки, мотылька с эфемерными крыльями, исчезающего к концу суток. Похоже, лишь мы, люди – бессмертны. Иначе не пропадали бы часами в сети.

Мышка прокрутила страницу вниз, и в дневнике появилась неровная карандашная запись: «Помешательство. Вторжение тем судьбы. Мимо не проползти». Открыв первую ссылку, я мысленно отругала себя за любопытство. Ничего нового. Аффирмации. «Повторяя ежедневно по сто раз формулу успеха и счастья, через год вы добьётесь впечатляющих результатов. Окружающие вас оценят». Ерунда! Сколько ни внушай себе: «Я – самая обаятельная и привлекательная», – увидишь это лишь ты, и мнение окружающих теперь вряд ли понадобится. Проверено на собственной шкуре.

Другой заголовок, прилетевший от фрэнда, звучал необычно – «Рельсы судьбы». Не раздумывая, я кликнула на название, и в новой вкладке открылось окно. «Человек похож на поезд. С каждым годом его скорость растёт, вагоны прибавляются, и предубеждения – тоже. Лишь особый случай, к примеру, клиническая смерть, может поменять рельсы, по которым мчится поезд, свернуть в нужную сторону». На этом простота текста растаяла, и потекли пространственные размышления о судьбе и могуществе веры. Канцероген для мозга, не

иначе. Лишь в конце автор вывел более-менее понятную формулу: «Когда карманник встречает святого, он замечает только его карманы. Вы видите то, во что верите. То, во что вы не верите, вам недоступно. Откройте волшебству мира».

Я усмехнулась. Можно ещё понять, если у ребёнка в голове всякие чудеса творятся. Но когда воспалением фантазии страдают взрослые?! В детстве я много чего видела! Эксцентричная дама в белом являлась по утрам с потрепанным томиком поэзии и кубком шампанского в руках. Надоедливый муравьед приползал поздними вечерами, когда я, лёжа в кровати, считала слонов, пытаясь заснуть. Помешанный на музыке, он всегда что-нибудь напевал по-итальянски. И уж если начистоту, фальшиво и гнусаво. Позже я узнала, что мне «повезло» родиться с абсолютным слухом. Потому-то муравьед меня и раздражал. А ещё ко мне прилетал ветер, чтобы рассказать какую-нибудь историю. Эти существа казались мне живыми и реальными. По крайней мере, я до сих пор могу воскресить их образы в памяти.

Закрыв страницу соцсети, я пошла на кухню варить кофе, «интимный напиток», как назвал его то ли Черчилль, то ли Голсуорси.

За окном горы, подёрнутые дымкой облаков, казалось, висели в небе без всякой опоры. Деревья размеренно, неторопливо сбрасывали листья, оголяя ветви. «Не мудрят они, не сомневаются. И аффирмации им не нужны». Рассмеявшись, я закрыла глаза и практически тут же открыла. Во дворе что-то происходило: всполошились, заверещали птицы, заволновались, затрещали деревья.

Полгода назад в нашем микрорайоне поселился сокол. Любопытные соседские мальчишки пытались выяснить, где его дом и есть ли у него хозяин. Они облазили почти все чердаки, обзавелись армейским биноклем и обошли с вопросами всех местных старушек. Но, увы. Никто ничего не знал о пернатом. Единственное, чем могли похвастать мальцы, так это рассказами о соколиной охоте, от которых мне физически делалось нехорошо. Над моим балконом уже несколько лет вили гнезда горлинки. Их давно не встретить в городе, а здесь они чувствовали себя как дома. Я надеялась, они не станут ничьей добычей. На плите зашипел кофе, выливаясь из турки на конфорку. Я выключила газ и снова взглянула в окно.

Сокол преследовал воробья. Испуганная птаха, мелькнув возле вершин деревьев, уходила пониже, к ветвям, потом пыталась взмыть вверх, насколько хватало силы крыльев, и снова падала вниз. Обречённая. Сокол пикировал стремительно, и мне казалось, предугадывал каждое трепыхание жертвы. Замерев, я беспомощно смотрела на него, боясь вдохнуть, как будто от этого могла зависеть чужая жизнь.

Охотник гнал добычу прямо на меня. Или это воробей мчался ко мне за помощью. «Стекло!» – только и успела я ему крикнуть. Зажмурилась. Удар!

Уродливое пятно смерти отпечаталось на окне. Комочек перьев

стукнулся о подоконник и полетел вниз. За ним устремился сокол. Мне захотелось стать большой и сильной птицей, нагнать хищника и вонзить в него когти мести.

Я зашептала молитву. «Клиническая смерть. Лишь она способна помянуть рельсы». А если настоящая? Руки сами по себе сжались в кулаки, меня зазнобило. Жизнь – она хрупкая, прозрачная, словно стекло. Предугадаешь, когда разобьётся?

Плохой это знак. Бабушка говорила, что птица бьёт в окно, когда несёт весть из другого мира. И чаще из мира мёртвых. Надеюсь, не сейчас.

И вдруг зазвучала «Tabula rasa». Эту музыку впервые я услышала в киноленте о сталинских репрессиях. Там есть сцена, где узники Гулага вырезают на брёвнах свои имена и фамилии, а их матери и жёны ждут этот лес, чтобы по письмам определить, живы ли их близкие. В эти пронзительные мгновения и звучит «Tabula rasa», как символ надежды и в то же время отчаяния. Отыскав мелодию в интернете, я закачала её на телефон, и лишь на днях случайно узнала, что пациенты Хосписа называют её «ангельской» и просят, чтобы именно она звучала в их последний миг на земле. Меня это напугало, и я даже подумывала о том, чтобы стереть мелодию. Вот только рука не поднялась.

И тут я подскочила на месте: «Никакой мистики. Просто звонит телефон».

— Алло.

— Привет, – проверещал знакомый голос.

Я не поверила ушам, а внутри будто разлили что-то тёплое, от чего я тут же согрелась:

— Ирка?! Это ты?

— А кто ещё?

— Ну, ты даёшь!

Почти год назад врачи поставили ей неоднозначный диагноз – «внутричерепное новообразование» – и назначили день операции. Но вместо того чтобы обследоваться и лечиться, Ира продала квартиру и укатила в неизвестном направлении. «Никому не позволю копаться в своих мозгах», – отрезала она вместо прощания. Да и объясняться ей было особо не с кем. Родители несколько лет назад погибли в автокатастрофе. Тётка, хоть и жила по соседству, когда встречала племянницу, отворачивалась, словно она чужая. Не поделились с ней наследством. Квартира-то от бабушки Иркиным родителям досталась. Вот и получалось, что ближе подруг однокашниц, меня и Сони, у Иры никого не было.

Когда она исчезла, я подскакивала от каждого звонка, хватала трубку или бежала к двери. Сонька организовала поиски в соцсетях, надеясь, что кто-нибудь узнает нашу легкомысленную подружку и откликнется. Бесплезно. А недавно я поймала себя на том, что больше не бегу к телефону.

— Верка, ты чего? Чего молчишь-то?

— Перевариваю. — проговорила я почти по слогам.

— Сними кастрюлю с плиты, а то подгорит, — захохотала она.

— Почему не звонила? Не писала?! Где ты? — я почти кричала. От радости и злости одновременно.

— Да здесь я. Сегодня прилетела. «Тебе вот первой звоню», — она всегда так говорила, и я усмехнулась.

— Придушить бы тебя! Для профилактики.

— Вот, уже убить хотят. Что за люди?! Что за... — Ирка осеклась. — Ну, хорошо-хорошо. Поймала. Звонила я Соньке.

Она немного помолчала, а потом выпалила:

— У тебя остановлюсь?

— Конечно. — я рассмеялась. — Что за вопрос?!

— Скоро буду. Жди. — раздалась короткие гудки.

Я отскоблила засохший кофе с плиты, прикрыла занавеской окно, так и не набравшись духа посмотреть вниз, и села дописывать курсовую.

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ

(песня)

1.

Мне приснилось, что я управляю ветрами.

Это было как будто вчера. Ну и что ж?

Мне приснилось, что между мною и вами

Протекает река, не перейдёшь.

Мне приснилось, что мир стал немного добрее,

Позабыли все люди зависть и ложь.

Мне приснилось, как жаль, что это лишь снилось,

Будто миром правит богиня Любовь

Припев:

Даже если проснуться, вокруг оглянуться,

То окажется весь этот мир не так уже и плох.

А если однажды в чудо поверить,

То окажется миром правит только любовь.

2.

Мне приснились мосты, снились мне переправы,
И теперь между нами не будет преград.

Мне приснились какие-то странные дали,
И птицы как будто оттуда летят.

Мне приснилось, что люди стали счастливей
Независимо от толщины кошелька.

Мне приснилось, как жаль, что это лишь снилось,
Будто жизни река бесконечно длинна.





Мина Полянская (Германия)

Мина Полянская – прозаик, эссеист. Выпускница филологического факультета Ленинградского пединститута им. Герцена середины 60-х, в пору его расцвета, когда там преподавали легендарные Ефим Григорьевич Эткинд и Наум Яковлевич Берковский. Эткинд, Маранцман, Берковский, стали действующими лицами книги Полянской «Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне», вышедшей в Петербурге в 2012 году. В 1995 году в Берлине Мина Полянская (с мужем Борисом Антиповым, техническим редактором, и сыном Игорем Полянским, главным редактором журнала, ныне профессора Ульмского университета) создала культурно-политический журнал «Зеркало Загадок». Журнал объединял вокруг себя «новую» и «старую» русскую литературную эмиграцию, оставаясь открытым также для авторов из других стран. Редакция проводила кропотливую работу в архивах Государственной библиотеки Германии и других библиотеках, создав, пользуясь первоисточниками, уникальную рубрику «По страницам прессы русского зарубежья 2000-х годов». Журнал просуществовал восемь лет, с 1995 по 2003 год. В «ЗЗ» публиковались Лев Аннинский, Александр Кушнер, Лазарь Лазарев, Александр Мелихов, Михаил Пиотровский, Борис Хазанов, Ефим Эткинд, Владимир Маранцман и другие деятели литературы и культуры. Постоянное сотрудничество с выдающимся прозаиком второй половины двадцатого века Фридрихом Горенштейном, жившим в Берлине с 1980 года, не прекращалось до самых последних дней жизни писателя (умер 2 марта 2002 года). Мина Полянская член Союза российских писателей. Лонгистер Бунинской премии 2009 года за книгу «Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине». Победитель 8-го 9-го Международного Волошинского конкурса за 2010 и 2011 годы в номинации, учрежденной журналом «Вопросы литературы», «Лица современной литературы». Автор многочисленных книг.

Цена отщепенства

По страницам романа Фридриха Горенштейна «Место»

Мы с вами – сироты,
и – вы ведь тоже пишете стихи? –
сироты и поэты. Вот!

М. Цветаева. Пленный дух

Да не будут наказуемы смертью отцы за детей,
и дети не будут наказуемы смертью за отцов
Дварим, 24:16),

Роман Фридриха Горенштейна «Место», написанный в 1972 году, впервые был опубликован в Москве не ко времени — не 1988 89х годах, когда публика ринулась читать возвращенцев (так читали когда-то «Историю...» Карамзина: «опустел Невский проспект, все сидели за книгами»), а в 1991 году, когда всё было прочитано, и оголодавшая от

реформ и бешеных инфляций публика уже ничего не читала, а занялась поисками хлеба насущного. Вот тогда и выплыл восьмисотстраничный роман, выплыл без «литературных толков», согласно выражению Белинского, меж тем, как Ефим Эткинд посчитал его «одной из очень высоких точек развития русской литературы в XX веке». Роман был представлен к премии «Русский Букер», впервые учрежденной в 1992 году, но не удостоился её, оставшись в «коротком списке». Писатель посчитал присутствие романа в «коротком списке» не отличием, а унижением и в дальнейшем — до самой смерти в 2002 году — в литературных конкурсах не участвовал.

В рамках настоящего очерка коснусь одной из основополагающих тем произведения темы отщепенства. «Место» с подзаголовком «Политический роман» — роман о московских диссидентах, «антидиссидентах» и тайных политических организациях — пронизан личностью Никиты Сергеевича Хрущёва с его оттепелью, хотя сам глава государства на его страницах ни разу не появляется, остаётся за сценой или смотрит весело из портретной рамы «в капроновой шляпе и рубашке с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи». (Все цитаты ниже с неуказанным в тексте источником — из романа «Место», Слово / Slovo, М., 1991). Повсюду о нём говорят — на кухоньках, где советская интеллигенция решала важнейшие вопросы бытия, на вокзалах, в поездах, троллейбусах и трамваях. Тем не менее, о конкретном времени следует говорить с большой оговоркой, поскольку роману свойственны элементы анахронизма, согласно Бахтину («Роман воспитания и его роль в истории реализма»), утверждающему о романе как таковом, что мир его героев «остаётся тем же, каким он был, биографически жизнь его героев тоже не меняется, чувства их тоже остаются неизменными, люди даже не стареют». «Место» доказывает, что человек в условиях любого времени и независимо от структуры общества может оказаться без крова, или же не может снять и напоминающей гроб комнатухи Раскольников. Возможны каинова зависть, жертвой которой Горенштейн считал свою трагически сложившуюся писательскую судьбу, голод, беспросветная нищета и наполеоновские амбиции выброшенного из общего жития человека.

Для Горенштейна, в отличие от Набокова, покинутая Россия не была потерянным раем (и, тем более, страной счастливого детства), и, в отличие от Достоевского, Москве не уготована судьба Нового Иерусалима. Утраченному Эдему нет на земле места, и поэтому поиск «места» в его книгах превращается в поиск временного пристанища как наименьшего из зол. И беспрестанно скитаются по страницам его произведений бездомные герои — в рассказе «Дом с башенкой», повести «Улица Красных Зорь», в романах «Искушение» и «Зима пятьдесят третьего года» и в особенности в романе «Место», который писатель считал, наряду с романом «Псалом», своим главным

произведением и посвятил его отцу, приговоренному к расстрелу «Особой тройкой» в 1937 году. Повествование в романе ведётся от лица главного героя, однако автор, что справедливо, не советовал отождествлять его с героем, несмотря на то, что факты биографии, особенно в первой части романа, до неправдоподобия совпадают. Первой части романа «Койко-место» предпослан эпиграф из Евангелия, настраивающий на сострадание к герою: «Лисицы имеют свои норы, и птицы небесные гнёзда; а Сын человеческий не имеет, где приклонить голову».

Двадцатисемилетний Гоша Цвибышев вернулся в город (по многим приметам — это Киев), где до войны был репрессирован отец, но времена «фальшивого хрущёвского ренессанса» не вернули ни жилья, ни права прописки. Трагедия жителя здесь, с одной стороны, вневременная, и потому «литературная», а с другой — это трагедия поколения определенной страны после «Большого террора». В течение трёх лет мысли Гоши сведены к одной черте: чтобы проникнуть в общежитие, ему надо пересечь порог как можно тише, не хлопнув дверью, дабы комендантша его не заметила, а затем быстро взбежать по лестнице. Суета героя, координатная система его помыслов и желаний, на пересечении осей которой находится узкая железная кровать, напоминает борьбу за койко-место героя романа Кафки «Замок», где нравственные ценности определенного населенного пункта (Деревни), опрокинуты в силу опрокинутости самой основы бытия. У Цвибышева, так же, как и у героя романа «Замок» К., нет юридического права занимать койку. Однако, согласно закону, свидетельствующему об особой гуманности властей, Гошу из общежития «Жилстрой» не могли выселить зимой. Страх перед наступлением долгожданной для всех весны выделяет героя из рядов нормальных граждан, вырывает из будней общежития, вырастающего в символ общего жития, из которого выброшен Цвибышев. Герой разъясняет необходимость сохранения за собой жизненно важного пространства: «Койко-место — это то, что закрепляет мою жизнь в общем, определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю всё». Таким образом, жизненное пространство сужается до размера койки, на которой можно физически поместить своё тело. Узнав о том, что реабилитация отца, генерал-лейтенанта, всего лишь фикция («Ваши законы построены так, что сироты имеют меньше прав, чем те, у кого есть родители»), Гоша становится настоящим разбойником.

Для Горенштейна, как и в романе «Псалом», важна ветхозаветная модель связанных поколений, постоянное указание на отцовство, восхождение к общему прародителю и заповедь Торы «Да не будут наказуемы смертью отцы за детей, и дети не будут наказуемы смертью за отцов» (Дварим, 24:16).

И днём, и ночью он выходит на охоту в поисках сталиниста, чтобы

избить его до бесчувствия. Борьба за место, таким образом, превратилась в «длинную однообразную цепь политических драк», «идейные избиения», или, как ещё говорил герой, в индивидуальное «политическое патрулирование» улиц. Политический террор, объясняет Гоша — это месть, приносящая удовлетворение тому, кому нанесена обида. Гоша довольно скоро находит таких же, как и он, хулиганов, творящих самосуд, определяя жертву по внешнему виду или какой-либо фразе.

Тогда объявилось вдруг много людей с разрушенной трагической судьбой, и сопровождалось это явление даже некоторой растерянностью, правда кратковременной, властей, «перед этими трагическими судьбами и перед последствиями собственных деяний». Политический накал атмосферы был настолько высок, что коснулся и самых неожиданных, неучтенных в большой политике представителей общества уличных проституток. С одной из них сталинисткой Гоша подрался на политической почве. И если не бояться преувеличений, можно сказать, что политически ангажированная уличная девица у Горенштейна — уникальный в литературе персонаж. То было время, когда власть, «завершая какой-либо цикл, перестаёт казнить без разбора и в массовом порядке», власть ещё не возражала против общественного мнения «вокруг частных столов, уставленных закусками». В романе представлена большая комната, в которую вошел Гоша: в ней почти не было мебели, однако красовались «символический уже портрет Хемингуэя и икона Христа, новшество для меня (Гоши — М. П.), ибо увлечение религией, как противоборство официальности, прошлому и сталинизму ещё только зарождалось в среде протеста». В помещении, где собралось общество оппозиции, царила атмосфера неуважения власти и авторитетов, или, как ещё говорил писатель, атмосфера «политического греха». Одним из эпиграфов к третьей части романа («Место среди жаждущих») Горенштейн взял слова из «Книги Судей»: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым». Новый глава государства Никита Хрущёв, вступивший на смену абсолютному самодержцу, глубоко почитаемому обывателем, считавшим его правление «порядком», своими «простонародными действиями и простонародной личностью» уничтожил святость власти. Горенштейн поясняет: «А если в такой обстановке у русского человека отнимать хлеб и пряники, он знает, что ему делать. Подспудно дремавшее чувство вековых российских смут просыпается в нём, и российский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как весёлое и забытое сказочное чудище». по мнению Горенштейна, ущербное детство зачастую даёт уродливые всходы, «...отдельным мученикам мученичество это в бытовом смысле придало черты самых обычных негодяев. (Задатки коих, наверно, у них существовали и до мученичества, мученичеством же лишь были усилены)». В особенности

ущербны фанатичные натуры, они чаще склонны к терроризму. Горенштейн изучает сущность террориста, пытаясь понять этого, по выражению Достоевского, «особого взъерошенного человека с неподвижной идеей во взгляде». Несчастный случай в детстве одного человека может иметь роковое значение для общества. В неоконченном романе «Веревоочная книга» писатель уделил внимание ущербному детству Сталина, показывая «Нерукотворную Историю» через личный, бытовой фактор. Поскольку отчим Сталина был сапожником, писатель заинтересовался сапожными инструментами, и в особенности отличием сапожного молотка от обыкновенного. Оказалось, что ударная часть сапожного молотка имеет круглую, полированную поверхность, им нужно не только гвозди забивать, но «околачивать» кожу. Интерес Горенштейна носил вполне целенаправленный характер, и было очевидно, что молоток в качестве символа насилия был ему так же необходим, как неевангелическое (не то, через которое верблюд скорее, чем богатый, войдет в Царство Небесное) конкретное игольное ушко в его повести «Притча о богатом юноше».

В романе «Место» несколько «вставных» сюжетов, «скобок», которые Борхес называл «литературными лабиринтами»: история директора завода Гаврюшина-Лейбовича, история Висовина и Журналиста, рассказ Орлова «Русские слезы горьки для врага». История Меркадера (Горенштейн знал убийцу Троцкого лично) в романе также вставная. Это — рукопись в синей папке, рассказ от первого лица убийцы Троцкого Меркадера, страдавшего эдиповым комплексом — ущербностью, которая в первую очередь учитывалась «комиссией по убийству Троцкого» при выборе кандидата убийцы. Троцкий Горюн, обладатель бесценной рукописи, сообщает: «Первоначально намечались подобрать исполнителя приговора с железными нервами... Твёрдого человека... Однако потом всё резко переменялось...». Горюн разъясняет: «В высокой, но тайной политике к таким фактам относятся, как к медицине, — серьезно и делово».

На наш вопрос, почему писатель в романе поменял орудие убийства (Троцкий был убит ледорубом), он ответил: «Существует несколько версий убийства Троцкого, а мне для замысла нужен был садовый ломик». Предмет, которым убивают в романах Горенштейна — особая тема. Я выделила «инвентарь» убийцы в «Месте» и представила его в книге о писателе («Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне». СПб, 2011). В данном очерке я выдвигаю краткий перечень «оружия» на передний план. У персонажей-убийц в романе, как правило, «скромные», одомашненные даже орудия насилия, отмеченные печатью личностного, интимного данного конкретного убийцы и даны автором всегда с уменьшительно-ласкательными суффиксами: маленький садовый ломик, молоточек и бритва, острый ножик (в рассказе «На вокзале» орудием убийства сделались саночки). Внешняя

безобидность «приборчика» для кровопролития удачно оттеняет «симпатичного» террориста. И подчёркивает личность преступления, истоки которого — в пережитых детских трагедиях и травмах.

Горенштейн «меняет» не только орудие убийства. Он «меняет» место убийства, а также «производит обмен» секретаря Троцкого на секретаршу. Рамиро влюбляется в секретаршу, которая тоже влюбляется в Рамиро, горячего испанца с чёрной повязкой на голове — свидетельство ранения, полученного в боях с фашистами. Обратим внимание на то, как личный фактор надвигается и постепенно вытесняет фактор идеологический. «Лев Давыдович Троцкий, благодаря своей мужской слабости (...), к молодым красивым женщинам, что свойственно многим некрасивым низкорослым пожилым мужчинам, (...), подготовил свою гибель». Вспомним завет Горюна: «Личное начало в политике и терроре — вот что необходимо для успеха, и это поняли в спецкомиссии по Троцкому». (Место.)

Вот как произошло убийство. Троцкий «приставал» на скамейке в саду к красивой секретарше. Она со слезами убежала, на ходу застегивая блузку. И Рамиро, который подстерегал Троцкого, чтобы убить его, и всё никак не мог на это решиться, увидел убегающую девушку с расстегнутой блузкой.

Из исповеди Меркадера (что в синей папке): «Я не знаю, откуда взялся на песчаной дорожке небольшой садовый ломик возможно, он был забыт садовником, а возможно, и подброшен судьбой (испанцы, даже материалисты, суеверны в удаче и в неудаче). Я схватил этот ломик и безрассудно шумно пошёл, чуть ли не побежал к беседке. Но Троцкий настолько был увлечён работой, что поднял на меня глаза в тот момент, когда я занёс ломик правой рукой, левой, для крепости удара, ухватившись за стойку беседки».

В момент церемониала вступления в организацию Щусева, напоминающего средневековые ритуалы, Гоше подали на блюде стакан чистой воды и маленький, остро отточенный ножик, которым следовало надрезать палец, выдавить несколько капель в стакан с водой и, отпив из стакана, передать по кругу сотоварищам для дальнейшего «отпития», однако Гоша от волнения сделал слишком глубокий надрез, и крови пролилось гораздо больше, чем можно было предположить. Ножик на блюде становится зловещим символом. Автор замечает: «В организации Щусева, конечно же, был силен элемент бескорыстной детской игры. Чрезвычайно развит был ритуал и некие даже обряды». А затем предупреждает: «Всякая игра, которая ведётся систематически и увлеченно, рано или поздно теряет условность и приобретает самые реальные бытовые формы». Троцкист Горюн доверил рукопись Меркадера Гоше, поскольку находил в нём «физиологически» сходство с убийцей Троцкого. Гоша считает, что

отнятое детство — причина его «горячечных мечтаний». Он — полон даже более дерзновенных мыслей, чем Меркадер — вплоть до желания стать царем на Руси (эта мысль, согласно роману, оказывается, не столь уж оригинальна, и многие из нас, связанные общей судьбой, лелеют мечту каким-нибудь образом возглавить страстно любимую Россию). Автор делает попытку понижения роли Кремля как символа власти. Гоша впервые увидел Кремль не со стороны Красной площади, не осененный былинным величием, а, наоборот, сниженный до обыкновенности, поскольку находился на набережной с заведениями «общепита», со сквериком, где старушки гуляли с малышами. Гоша и Коля (Коля — политически активный и принадлежащий к интеллигенции протеста несовершеннолетний герой романа) — сели на уютный холм с дикой травой и прыгающими кузнечиками у той части стены, которая выглядела особенно провинциально. Вся обстановка — стрекочущие кузнечики, ржавая лампа, поскрипывающая у кремлевских зубчатых бойниц — «была направлена против символов и авторитетов» и внушала уверенность в себе. Ночью Гоша один пришёл к холму, на котором они днём с Колей говорили о праве Гоши на царство, и прижался к древним, ещё не остывшим от солнца кремлёвским кирпичам и пребывал в таком положении довольно долго, испытывая, как ему казалось, чувство религиозное. Он ещё поцеловал кремлевские кирпичи, сказав при этом: «Господи, помоги». Целование кирпичей и обращение к Господу — не менее парадоксально, чем «символический уже портрет Хемингуэя и икона Христа». Вдруг оказалось, что таких, как Гоша, ничего не делающих людей — неправдоподобно много, точно так же, как и в «Бесах» Достоевского. И в самом деле, персонажи обоих романов постоянно сталкиваются друг с другом в одних и тех же местах, однако, согласно меткому выражению Бердяева (по поводу «Бесов»), «заняты одним Великим Делом». Горенштейн объясняет, почему так происходит: «Подобные, казалось бы, опереточные случайности среди так называемых заговорщиков закономерны. Даже и в период между серьёзными революциями всё ж основная масса народа не вовлечена в политические схватки, а занята созидательным трудом, и антиправительственный пятачок бывает весьма узок, так что всё у всех на виду, политическим заговорщикам разных направлений приходится сталкиваться между собой даже чаще, чем с властями». Как выяснилось, тайные образования конца пятидесятых — не плод фантазии Горенштейна.

Однако тема организаций опять же, вневременная, поскольку так называемые тайные общества, хотим мы этого, или нет, были и есть, причём, с соблюдением немислимых ритуалов и тайнами, которые торжественно передаются по наследству, как закон и право, с клятвами, превосходящими по значению все остальные клятвы, включая и ту, которую дают государству, родине, вере. Тема организаций актуальна:

у Горенштейна в романе представлена и нацистская организация со всеми необходимыми атрибутами, разумеется, с портретом Гитлера и свастикой, а нацистские образования почему-то неистребимы и сегодня во многих странах, в том числе и в России.

Митинги и сборы у памятников Маяковскому и Пушкину, отгремевшие несколько лет тому назад, уже давно ярко и сценично были изображены в романе «Место», причём, у этих же памятников. Иной раз я узнавала целые сцены, как будто разработанные кем-то по роману «Место». Я, кроме того, легко узнавала политиков с «натурой вождя улицы», готовых сделать стандартную карьеру авантюриста и захватить власть в стране. Узнавала и Щусева, и Горюна и в особенности Орлова и мысленно вопрошала: «И ты хочешь быть царём на Руси, и ты, и ты?» Вспоминала Журналиста, предупреждавшего Гошу, тоже претендующего на власть, об опасности самозванства: «Властолюбцы редко бывают патриотами, но счастье того властолюбца, чьи стремления совпадают с народным движением. В противном случае его пеплом выстреливают из пушки, как это случилось, например, с Лжедмитрием».

Гоша становится членом националистической организации, скажем так, не крайнего толка. (В романе представлена и крайне экстремистская националистическая организация Орлова, автора сентиментального сочинения «Русские слёзы горьки для врага»). Организация, в которую вступает Гоша построена по типу террористической организации в «Бесах». В «Бесах» Пётр Степанович Верховенский организовал ячейку из пяти человек, «пятёрку», в которой все друг за другом «шпионят» и ему «переносят» — «народ благонадежный». Лидер уверяет, что по всей России сотни таких «пятерок», а где-то там, наверху управляют этим движением. В «Месте» глава организации Платон Щусев, отсидевший двадцать лет в лагерях (и оказавшийся в конечном счёте доносителем) также построил её поэтично. «Сверху» — крикливая легальная группа людей, рассказывающая политические анекдоты, под ней — организация, напоминающая, на первый взгляд, группу сумасшедших. Настоящая организация состояла из нескольких человек. Похоже, ещё жива идея рока и миссии, возвышающая членов неких объединений над иными смертными, готовых ради всеобщего добра растоптать ближнего. Щусев — человек с «натурой вождя улицы», знал, что мог бы сделать стандартную для вольного времени карьеру авантюриста и захватить власть в стране, если бы не был смертельно болен. Целью организации было выявить «сталинскую сволочь», осудить формулировкой «достоин смерти», а затем — жестоко избить. В романе состоится и важнейшее заседание трибунала, на котором для привлечения мирового внимания необходимо вынести решение убить человека международного масштаба. «На конкурс» для приговора «достоин смерти» выдвинуты две «кандидатуры»: Рамона Меркадера и

Вячеслава Михайловича Молотова. Кандидатура бывшего министра иностранных дел Молотова (Меркадер уже не актуален) одержала верх. Щусев, довольный выбором, произнёс торжественную речь: «Наша организация вынесла смертный приговор сталинскому соратнику номер один, палачу Молотову, который много лет вместе со Сталиным душил и истязал нашу многострадальную родину... Вам, русские мои юноши, выпала великая честь... Вот он, случай, о котором писал Герцен и которого недостаёт, чтоб сделать нашу оппозицию национальной, каковой она была во времена декабризма».

К слову сказать, о любви, или нелюбви к России — любишь, не любишь — в романе говорится много, она (любовь) — разменная монета любого деяния. За нелюбовь к России щедро раздаются пощёчины (причём влажной ладошкой — кивок Достоевскому; я бы не побоялась сказать, что роман «Место» — роман пощёчин), проливается кровь и, что примечательно, за любовь к ней — тоже. Писатель доводит тему ложного патриотизма, которым можно прикрыть любые преступные деяния, до абсурда, и эта тема весьма актуальна для независимого исследователя.

Щусев заверил организацию, что «смертный приговор» — всего лишь символ, что Молотов, как и прежние жертвы, отделается пощечиной, тогда как на самом деле он намеревался убить его — у него были для этого заготовлены бритва и молоточек — и тем самым погубить мальчиков, которые пойдут с ним. Комментарий троцкиста Горюна: «Замысел его страшен, он умереть хочет, как умирали предбиблейские цари хеттов. Вместе с молодыми, не отжившими своё жизнями вокруг... В одной могиле...». Красноречие политических героев Горенштейна уходит своими корнями к традициям тургеневского литературного героя (вспомним Рудина с его ораторским талантом), а также к традициям велеречивых политиков, которых Герцен называл начётчиками и резонерами.

Уже более года Молотов отстранён от дел и лишен личной охраны, чем нанесён непоправимый удар его власти и авторитету, ибо власть имущие при режиме были невидимы народу и недоступны ему. Он теперь по утрам прогуливался со своим чёрным шпиком в районе правительственного дома. Гоша решил перехватить инициативу и предотвратить кровопролитие, поскольку Щусев был «на изготовке», то есть держал руку в кармане, «где у него была бритва, эта переносная карманная гильотина индивидуального террора» (курсив мой — М. П.). С криком «сталинский палач!» Гоша ударил ладонью «по гладко выбритой, сытой щеке» бывшего министра, который от удара пошатнулся, но тут подоспел Щусев и зачем-то ещё и толкнул Молотова, и тот упал на четвереньки. «Сцена была дикая и нелепая. Мы оба неловко топтались, потеряв четкость плана, лаяла собака, а на мостовой у наших ног лежал и кричал Вячеслав Михайлович Молотов, бывший всемирно известный могущественный

министр иностранных дел, человек, имя которого произносили следом за именем Сталина, и звал на помощь тем самым голосом, который в 1941 году возвестил стране о начале войны».

Из устных разговоров Горенштейна: «Гоша — человек с несвободной, рабской душой, а пытается своевольничать, потому что почувствовал — можно. Время такое, хозяина нет. Он и ему подобные несвободные люди бьют по щекам Молотова, потому что теперь можно. Молотов в опале, с него снята охрана, он прогуливается по аллее с собачкой — отчего бы не ударить, не поставить на колени, не превратить в посмешище? Толпа разъяренных людей с душой рабов устраивает погром в городе, поджигает завод. Что может быть страшнее разъяренной толпы людей-рабов?»

В романе «Бесы» в главе «Последнее решение» «собрались наши в полном комплекте впятером». В маленьком покривившемся домике на краю города поздним вечером «пятеркой» было принято решение убить Шатова, на том основании, что он, якобы, донесет. Место убийства в «Бесах» описано Достоевским в лучших традициях готического романа. Шатова, приговорённого к смерти, террористы заманили в мрачное место ночью в конце парка у старинного грота и придавили к земле. Пётр Степанович «аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор и — спустил курок». Заметим: у Достоевского убийство «успешно» состоялось, а Горенштейн превратил его в фарс. Мой давний оппонент — так называл Горенштейн Достоевского. Он преднамеренно вводил в свои произведения эпизоды из романов «оппонента», пародировал его (в книге о писателе я осмелилась употребить слово «передразнивание», наряду с общепринятыми терминами: «пародирование», «шаржирование», «реминисценции») и относился к пародированию так же серьёзно, как к своим любимым романам-пародиям «Дон Кихот», «Бравый солдат Швейк» и последнему неосуществленному роману-пародии «Верёвочная книга». Горенштейн откликается на Достоевского параллелями и антитезами, рассматривает те же проблемы — террора, самосуда, агрессии, бунта, грехопадения, спасения души. Вступив на путь терроризма, Гоша нечаянно(?) втягивает в свои опасные игры любимую девушку Машу (принадлежащую к другой тайной организации), берёт её с собой в южный город, где ожидался экономический бунт. Сцена бунта и убийства толпой директора завода Гаврюшина-Лейбовича («перед смертью толпа уж над ним потешилась, чуть ли не по-ребячьи подурачилась, как могут дурачиться лишь во время лихих русских погромов») предупреждает, что в стране без «хозяина» при возрастающей оппозиции массового обывателя пришло время самозванцев.

Писатель, чуть ли не приподнял русский бунт до пушкинского упоения в бою, назвав его весёлым сказочным чудовищем. И куда уж лучше: «А

если в такой обстановке у русского человека отнимать хлеб и пряники, он знает, что ему делать. Подспудно дремавшее чувство вековых российских смут просыпается в нём, и российский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как весёлое и забытое сказочное чудище». Однако, отдав дань традиции, писатель в этом же романе вдруг решительно убрав всякую сказочность. Убрав все эти бунтарские «красоты», он в южном городе, напоминающем, кстати, Новочеркасск, (где в шестьдесят втором и в самом деле произошёл бунт, причём – антихрущёвский!), устроил не бунт с неотразимым вождём-разбойником, цветаевским Вожатым, а постыдный, еврейский погром. Тут уж и в самом деле «некрасивость убьёт», как сказал бы старец Тихон в романе Достоевского «Бесы».

Один из значимых персонажей (ему принадлежат пророчества о судьбе России) Журналист предупреждает Гошу об опасности самозванства: «Властолюбцы редко бывают патриотами, но счастье того властолюбца, чьи стремления совпадают с народным движением. В противном случае его пеплом выстреливают из пушки, как это случилось, например, с Лжедмитрием». В романе безоговорочно действует принцип: преступление влечет за собой другое. Игра героя велась «систематически и увлечённо» и, потеряв свою условность, приобрела реальные формы. Маша стала жертвой группового изнасилования, результатом которого явилось рождение мальчика. Гоша, ставший мужем Маши, отметил, что из мальчика «окончательно глянул мужичок (...). Иван, кстати, был ребёнок ласковый и некапризный, но любил вдруг ущипнуть или укусить, причём, не подетски больно, так что одну девочку в яслях даже водой отливали». Мужичок, который, как змея, опасен смертельным укусом, опасен и «бытовым существованием, против которого бессильны любые карательные меры».

Горенштейн даёт характеристику советскому явлению, оставившему глубокие следы — незавидной судьбе интеллигента при отсутствии власти и наличии «мужичка» с его классовой ненавистью к интеллигенту: «...Идеал покойного умеренного оппозиционного интеллигента — стоять с незатянутой петлей на шее, на прочном табурете — возможен лишь тогда, когда на узкой тропе Истории только Власть. Когда же туда, навстречу власти, словно дикий кабан на водопой выходит Народное Недовольство, то первым результатом их противоборства является двойной удар сапогами по табурету, и миру после этого остаются, в лучшем случае, лишь хриплые, необъективные, как всё мертвеющее, запоздалые мемуары удавленника-интеллигента». И поскольку в литературе, в отличие от истории, всё же принято делать предположения, я и осмелюсь задать риторический вопрос: а что было бы, если бы роман «Место» опубликовали вовремя, то есть тогда, когда был написан? Может быть, мы, вовремя прочитав роман, лучше подготовились бы ко второй «оттепели» разбойных

свобод, когда снова отбивали замки, отпирали ворота и туда вбегали не те, кого мы ожидали, и (по выражению Герцена), «неотразимая волна грязи залила всё»? И ещё один вопрос в сослагательном наклонении: а что было бы, если бы роман Тургенева «Отцы и дети» с его «героем нашего времени» и его убийственно материалистической тенденцией, оказавший колоссальное влияние на поколении, застрявшее надолго на стадии нигилизма, увидел свет, допустим, тридцать лет после написания? Изменился бы ход истории?

«— Я поясню, — ответил Фильмус(...). — В литературе противоположная истина не ложь, а другая истина... Вот так... Установка вместо принципов... — Политический фрейдизм! — крикнул Бительмахер. — Если угодно, — ответил Фильмус.»

Между тем, Гоша, неожиданно для самого себя, становится втянутым в совсем уже скверную игру и просыпается однажды утром осведомителем КГБ, то есть организации террористов «высшего разряда», настоящих специалистов по уничтожению ни в чём не повинных людей. Бывшие сотоварищи плюют ему в лицо, разумеется, не обходится и здесь без пощёчин, а несовершеннолетний Коля ударил Гошу чугунной болванкой по голове так, что чуть не убил его, сказав: «За кровь преданных тобой честных патриотов России».

«Строительство» романа Горенштейн сравнивал с работой вольного каменщика, строящего Храм Истины, подобно Мандельштаму, считавшему, что «строить можно только во имя “трех измерений”». Истинный мастер-строитель обладает мировоззрением в том значении, в котором это слово в качестве термина впервые ввёл в обращение Эммануил Кант. Художник обладает особым состоянием, когда мир рассматривается одним взглядом как цельность. Гумбольдт, адепт такого мировоззрения, пытался для наглядности писать картины без горизонта. «Если глянуть с большой высоты» («Псалом»), то и взгляд становится слишком объективным, а поведение мечущегося Гоши, ставшего осведомителем (почему-то доносившим только о националистах и нацистах — тоже вопрос!), рассматривается под другим углом зрения. Лазарев (в предисловии к роману «Место») считал, что нравственного катарсиса у героя в конце романа не произошло, впрочем, с оговоркой. Горенштейн, согласно Лазареву, не навязывает оценок и потому к эпилогу предлагает в качестве эпитафии слова из Экклезиаста: «Говорить с глупцом, все равно, что говорить с мёртвым. Когда окончишь последнее слово, он спросит: «Что ты сказал?». Мне же представляется, что, не вмешиваясь в объективный ход романа, не насилуя сюжет, писатель всё же протягивает Гоше руку. Вслед за героем, которому «приличные» люди, среди которых оказались и бывшие члены тайных организаций, не хотели подавать руку, автор спрашивает — кто есть кто, кто из нас самый порядочный и

что такое «хороший человек», что включает в себя это понятие? И приходит к выводу: не следует бросать в Гошу камень, ибо камень может превратиться в бумеранг. В романе присутствует нравственный сдвиг в сторону всеобщей вины всех, переживших страшный режим. В душе героя «Места», оказавшегося на пороге жизни и смерти, происходит перелом — по Бахтину, хронотоп кризиса и душевного перелома героя.

В цветаевском «Пленном духе» Андрей Белый говорит Цветаевой: «Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo». Но затем он поднимает тему — до сиротства, и далее — выше и выше — к сиротству поэта, призванного оплакать его: «Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе): — всё равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? Сироты и поэты. Вот!»

Горенштейн — сын профессора, расстрелянного спустя три года (8 ноября 1937), после того, как Цветаева написала «Пленный дух» на смерть Белого 8 января 1934 года. Все трое, оказывается, — дети и жертвы одной эпохи. Называя Цветаеву в предисловии к моей книге о ней («Флорентийские ночи Берлина...») «гордой женщиной, королевой», писатель сообщил об одном любопытном бездомном совпадении: «С дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон я был одно время прописан в домовый книгу на Тарусской даче по причине общего бесправия быть прописанным в Москве и общей бездомности». Сиротство детдомовское, и, соответственно, бездомность, благодаря дару, стало вдохновенной тоской Фридриха Горенштейна и, в конечном счёте, как это ни звучит жестоко, обернулось литературной удачей. Писатель страдал «блудному сыну» Гоше, которому, в отличие от евангельского, некуда было вернуться, не допустил самоубийства, хотя герой был готов и к такому «избавлению». Пережив искушение властью, лишения и разочарования, Гоша занял своё место среди живущих.

И тогда писатель щедро наделил героя своим даром, «силой Творца и приобщил... к тайне искусства» («Псалом»). Именно Гоше для исповеди раскаявшегося грешника принадлежат священные слова — заключительный аккорд романа — «И Бог дал мне речь». А вот это и есть цветаевское: сироты и поэты. Вот!



У театральной тумбы. Мина Полянская, Фридрих Горенштейн, Фото. И. Малкиэля, 1998. Случайная фотография. Встреча по поводу публикации, Фридриха Горенштейна памфлета "Товарищу Маца..."

Холодный дождь идёт и ветер дует

Смешная печаль

Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита!
А. Пушкин. Каменный гость

В конце девяностых наш берлинский друг писатель Фридрих Горенштейн узнал от редакторов, что настало время маленьких романов. Страниц на двести.

Он решил испытать себя в криминальном жанре, написать детектив о браконьерской добыче и контрабанде в устье Волги чёрной осетровой икры. Зона Астрахани, полагал он, – Клондайк не только для криминальных магнатов, но и для «крими». Он опасался, что его опередили и что московская пишущая мафиозная братия, пользуясь туманностью переходного времени, уже выслала на разведку в бесконтрольную Астрахань своих агентов.

Ещё в семидесятых в московской своей жизни он приезжал в Астрахань, и в берлинской в начале девяностых. В семидесятых он записал свои впечатления в жанре записок путешественника, и эта более чем тридцатилетней давности астраханская рукопись хранилась у него на «запчасти». И вот сейчас могла пригодиться.

Он написал письмо в городскую библиотеку Астрахани с просьбой выслать ему материалы о процессах, о незаконной торговле икрой и рыбой мафии, но не получил ответа.

А в 90-х он приезжал в Астрахань в сентябре, и там стояла неподвижная жара, как в Мадриде. Солнце, достигнув вершины полдневной своей силы, вело себя законным властелином и намеревалось погрузить всё живое в рабское оцепенение. Лавки и ставни домов закрывались, фасады становились слепы. Городской пейзаж напоминал испанскую сиесту. А вечером солнце превращалось в огромный красный шар и медленно опускалось над Волгой, внушая мистический страх.

Смешная печаль...воздух лавром и лимоном пахнет так он определит свою испанскую мечту, которая должна была соединить в задуманной книге Астрахань и Севилью.

Однако романа страниц на двести не получалось, и писатель с испугом объявил, что рукопись угрожающе растёт. «Материал может подавлять автора даже чисто физически своим объёмом, не говоря уже о содержании», *повторял* он тревожно.

Тема варварского добывания икры браконьерами отодвигалась, возникли исторические темы, которых настоятельно требовала магическая энергия места – о скифах, сарматах, славянах. Астраханское пространство тяжким грузом давило на современность,

гунны, хазары, монголы — конский топот истории со II по XIII век должен был сопровождать роман, и гений места требовал объяснить многонациональную природу современной России — «тяжёлую помесь верблюда и мамонта», и важно было беспристрастно задержать облик текучего времени.

Роман, задуманный как детектив, перешедший в политический детектив, отказывался быть детективом, жанр сопротивлялся, бунтовал, превращаясь в исторический роман с элементами сатиры! Уже там уверенно расположились крупные партийные деятели и руководители страны эпохи советов, уже там беспрепятственно хозяйничали Никита Сергеевич и Леонид Ильич. И конечно же Иосиф Виссарионович.

В романе объявилось много вставных «скобок», например, сюжет о том, как во времена одного из государственных правителей Михаила Андреевича Суслова возникла идея поставить балет по работе Ленина «Шаг вперёд, два шага назад». Этот балет мог бы интернационально называться «баледо»: Раз, раз-два! Та, та-та! Шаг вперёд, два шага назад. Шаг вправо, шаг влево. Намечался ещё сюжет создания балета по книге Иосифа Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Вставной сюжет о Сталине превращал роман совсем уже в лабиринт, так что невольно вспоминался роман ирландца Флэнна О'Брайена «В кабачке «Поплыли птички»», литературный лабиринт которого не имеет себе равных.

«Слава Богу, о Грозном написал. Думал, не выдержу. Тяжело было работать с материалом. Не только, конечно, это о Грозном. О жизни в переломном 16м веке. Мои книги — это балзаковская шагреновая кожа. Чем больше книга, тем меньше кожа».

Узнав, что Сталин сочинял стихи и даже их публиковал, писатель вдруг прервался, чтобы «копаться» по Сталину. Образ диктатора поэта озадачивал его. Он решил уделить время ущербному детству Сталина, понять, как детство спровоцировало злодейство. Поскольку отец будущего вождя был сапожником, он заинтересовался сапожным делом, и в особенности чем отличается сапожный молоток от простого молотка. Друг писателя Борис, ортопедический мастер, консультировал его профессионально. Ударная часть сапожного молотка имеет круглую, выпуклую поверхность и вполне возможно, что удары отца молоточком по нежной коже ребёнка спровоцировало злодейство.

Здесь намечалась экспрессия, как и в «Притче о богатом юноше», где на первый план выдвигалось крошечная деталь игольное ушко, сквозь которое не прошёл бы, наверное, верблюд. Горенштейн высказал своё принципиальное несогласие с трактовкой евангельского изречения: «Скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богатый войдет в Царство небесное». По версии писателя Христос предложил отказаться от богатства только «богатому юноше», который понравился ему, и

потому пригласил пойти вместе с ним трудным избранническим путём. Если же *остальные* примеряют Его слова к себе, то, стало быть, они претендуют на избранничество, святость и апостольство. Для того, чтобы «выдвинуть» смысл с игольным ушком, писатель применил экзпрессионистский приём. Игольное ушко становится сценическим центром, выходит на крупный план.

Решил в годы НЭПа Егор Лазаревич заняться изготовлением дефицитной швейной иглы. «Но долго пришлось повозиться с игольными ушками. Шлифовка на шлифовальном круге должна быть нежной, чтоб отшлифовать середину проволоочки, то место, где пробивается ушко на маленьком штампике». Внимательно рассматривает писатель нежное игольное ушко, словно примеряясь к нему: *пройду - не пройду?*

—

«Не лучше ли поделить роман на две части?» – спросил писатель, обеспокоенный размерами рукописи. Помню, мы втроём (я, писатель и Борис) были тогда за городом у озера Ванзее – живописнейшее место для решения судьбоносных литературных вопросов. Он просит нас держать в секрете название романа «Крем-брюле», позаимствованное в одной астраханской комсомольской газете. В газете так назван был раздел криминальной хроники. «Брюле» в переводе с французского – нечто горелое, жжёное, а под словом «крим» подразумевался криминал. Стало быть, расшифровка названия приблизительно такова: «Криминальный пожар» – название, подходящее для постсоветской истории. Писатель с мечтой алхимика намеревался исследовать романтическое горение истории, разгребать головешки, пышущие историческим жаром.

Одна из «половинок» романа стала называться «Крем-брюле». Был ещё и подзаголовок: «Уголовно-антропологический мифистифельский роман-комикс с мемуарными этюдами». К названию «Крем-брюле» прибавилось ещё одно: «Верёвочная книга».

«Крим-брюле – это астраханский след, «Верёвочная книга» Севилья, в которой писатель никогда не бывал. В Севилье в донкихотские времена продавались верёвочные книги.

В самом названии «Верёвочная книга» уже зашифрована «качественность» книги. Причём, «качественная» книга должна ещё быть рассчитана на широкого читателя, то есть «Верёвочная книга» – это бестселлер. А что считать бестселлером, определяли в старой Севилье рыночные торговцы. Заметим: не учёные, не профессора, не литературные знатоки, а именно торговцы, хорошо знающие вкусы потребителя. Опытные торговцы вешали книги хорошего качества на верёвках рядом с окороками, колбасами, сельдью, копчёными сырами, балыком и прочей снедью. На признанные авторитеты торговцы внимания не обращали. У Мигеля де Сервантеса, например, только «Дон Кихот» удостоен был чести попасть на ярмарочную верёвку, да и

то – не в Севилье, а в Гренаде, что было менее почётно. Остальные же книги его никогда не удостоились чести висеть на верёвке рядом с мясом, фруктами, овощами и прочим хорошим товаром. А что до Сервантеса, то он сам подталкивает нас к фантазиям такого рода. В шестой главе «Дон Кихота» оценку его «Галатеи» даёт не литератор, а простой цирюльник. И он, цирюльник, книгу Сервантеса не одобряет! Мои сведения о висящей на верёвке книге исключительно со слов писателя! На следующий после смерти Фридриха день меня связали с литературным критиком Александром Агеевым, до недавнего времени заведовавшим отделом прозы в журнале «Знамя» и опубликовавшим в 1991 году впервые в России первую часть романа «Место». Я написала некролог, сопроводив следующим письмом (5 марта, 22 часа 43 минуты): «Уважаемый Александр! То, что я сообщаю Вам сегодня о Горенштейне, на самом деле ещё никому не известно. Пишу тогда, когда он ещё не похоронен».

И я рассказала «Верёвочной книге».

«Смешная печаль» – вот как писатель назвал испанскую мечту и написал во «Вступлении»: *«Смешная печаль имеет свою прародину, свою страну рождения – это Испания. Недаром гоголевский Поприщин стремится в Испанию. Да и легенда о Великом Достоевском... то есть, простите, невольно оговорился, описался, но вычеркивать не буду, о Великом Инквизиторе испанском – это Севилья – «воздух лавром и лимоном пахнет», поэтому и я, как известно, большой подражатель великим, решил обратить свои взоры на Испанию».*

*Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и тёмной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идёт и ветер дует.*

—

В романе «Место» несколько «вставных» сюжетов: история директора завода Гаврюшина-Лейбовича, история Висовина и Журналиста, рассказ Орлова. Всё это часть сложного лабиринта романа. Рукопись, («дело о Маркадере») лежавшая в синей папке – исповедь Меркадера, рассказ от первого лица о том, как было совершено убийство Троцкого. Во времена ещё первой оттепели была у Горенштейна подруга, красавица-чилийка, студентка университета «Дружбы народов». Она ввела Горенштейна в круг своих друзей, встречавшихся в Испанском клубе, где клокотали испанские страсти. Там и состоялось знакомство с одним из героев будущего романа

«Место» с убийцей Троцкого Рамоном Меркадером. «Я был знаком с убийцей Троцкого Меркадером!» – гордо заявлял писатель.

Меркадеру не было тогда ещё и пятидесяти. Несмотря на долгие годы мексиканской тюрьмы, он выглядел вполне крепким, слегка седеющим, импозантным господином. *Впоследствии, в романе «Место» Горенштейн напишет о нём: «Будучи натурой неудовлетворенной, озлобленно-капризной и поэтичной, он искал шума, политических лозунгов и мученичества».*

Писатель был потрясён ортодоксально-революционной атмосферой клуба: здесь не было и тени «оттепели», а, наоборот, властвовали ледяные «времена разращения», «времена до смешного революционные».

В Берлине иногда вдруг на пальце у писателя объявлялось кольцо с красным, похожим на рубин, камнем. Было почему-то очевидно: это чейто знаковый подарок. Когда же я любопытствовала, спрашивала о кольце, писатель многозначительно, загадочно молчал.

«Наверное — это подарок латиноамериканки», размышляла я. Знакомство с террористами в испанском клубе произошло в пору любви к латиноамериканской красавице, так что можно и здесь предположить, откуда «Гренада-Севиля моя».

Одним из героев «Верёвочной книги» должен был стать Великий Инквизитор – Севильский. Не прочитала я ничего о Фридрихе о неожиданном явлении Христа народу, не довелось мне увидеть текст о севильском Великом Инквизиторе.

И создаю свой образ этого великого грешника.

Я увидела у стены кирпичную скамью под золоченой Богородицей, а на скамье – окруженного толпой старика с иссохшим лицом и впальми глазами в грубой монашеской одежде, похожего на Великого Инквизитора моего воображения. Вот он обыкновенным образом сидит передо мной на скамье. Прямые седые волосы до плеч, лицо бескровное, худое, руки непомерно длинные, и правой властно сжимает трость. Он прикован к скамье давно? вечность? Как булгаковский Понтий Пилат? Нет, не прикован... Вполне себе свободен и жив как будто. Осанка величественная, не барствепен: царственен.

И по-прежнему окружен мрачными своими помощниками и «священной стражей». И смотрит на меня, сдвинув седые брови, и взгляд его, как в «Братьях Карамазовых», сверкает «зловещим огнем». Но я заметила в его глазах страх непрощённого грешника. Инквизитор поманил меня пальцем.

—

14 марта 1999 года писатель, как обычно, сидел за письменным столом и писал, разумеется, чернилами, поскольку только в процессе работы

по старинке пером и чернилами зарождаются идеи и чувства. Неизвестный сильным толчком выбил чернильницу из рук. Он вспомнил, конечно, легенду о Мартине Лютере, переведившем Библию на немецкий язык. И увидел чёрта.

«Чёрт, который сам сатирик и юморист, боится чужого юмора сильнее, чем креста и ладана. Проповедник Лютер не перекрестился, а запустил в него чернильницей»

И не попал в него. Она пролетела мимо и ударилась о стену. На стене замка в Виттенберге до сих пор сохранилось чернильное пятно, которое показывают туристам.

Лютер переводил эпитафию апостола Павла к «Посланию к Коринфянам». Там ничего юмористического не было, а совсем даже наоборот: «Погублю мудрость мудрецов и разум». Лютер перевёл по-другому: «Я уничтожу богоборчество». И чёрт запустил чернильницей в конкурента-врага.

У Фридриха осталось большое чернильное пятно на ковре. Он показывал нам это пятно и уверял нас, что на рукопись не пролилось ни капли чернил. На рукопись – не пролилось! И чёрта он не видел. Он не провоцировал, в отличие от Лютера, нечистого своими текстами, а сравнивал «Введение» Пушкина в «Повестях Белкина» с «Введением» Достоевского в «Записках из Мёртвого дома».

Я после смерти писателя внимательно перечитала «Повести Белкина» и «Записки из Мёртвого дома». И увидела!

Я обнаружила переключку Ивана Петровича Белкина, оставившего после своей смерти в возрасте 30 лет прелюбопытнейшие истории, услышанные им от разных особ («остальными рукописями Ивана Петровича ключница заклеила окна») с Александром Петровичем Горянчиковым, оставившем после своей смерти в возрасте 32 лет каторжные записки, «Сцены из Мёртвого дома», как он назвал их в своей рукописи.

Хозяйка за двугривенный принесла Фёдору Михайловичу «целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Хорошо ещё, что только две тетрадки истратила, а не все два лукошка! А на что, кстати, старуха рукописи истратила? На заклею окон? Или на растопку?

И вы ещё говорите, что рукописи не горят! Пламенеют! И воскресают, подобно фениксам, в очищенном, совершенном виде! Гоголь сообщает о своих сожжениях вдохновенно! И он любит пламенеющими исписанными листами, словно бы «тайну прелести находит и в самом ужасе» содеянного: «Как только пламя унесло последние листы моей книги, её содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком ещё беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным».

Но что могло не понравиться нечистому в рукописи нашего писателя? Может быть, сам процесс писания чернилами, как писали старые

мастера?

Неповторима графика писаний Гоголя, Толстого и в особенности Пушкина. Страничку пушкинского черновика можно было бы и в рамку вставить!

У Пушкина складывались добрые отношения с собственными рукописями, а вот у него, у Горенштейна, не складываются!

Несмотря на то, что почерк писателя был нечитаемым, рукописи не смотрелись торопливой скорописью. Напротив: каждое слово он вырисовывал, как иероглиф, и становился для других непонятным. Процессу писания чернилами он придавал значение таинства, мистерии. В его книге «На крестцах. Хроники времен Ивана IV Грозного в шестнадцати действиях ста сорока пяти сценах», изданной в Нью-Йорке в 2002-ом году, летописец-дьякон Герасим Новгородец произносит монолог об особом удовольствии самого процесса писания: *«Люблю я красоту дела письменного – чернильницу, киноварь, маленький ножик для подчистки неправильных мест и чинки перьев, песочницу, чтоб присыпать пером непросохшие чернила, а пуще всего – сидеть на стульце, положив рукопись на коленях, и писать тонкословием со словами приятными...»*.

Случай с пролитыми чернилами по мере ухудшения здоровья нашего друга стал преследовать его, и, хотя он твердил, что на рукопись чернила не пролились, и ни малейшего контакта с нечистой силой не произошло, всё более сторонился романа.

Роман, между, тем, уже перевалил за сотни страниц! И становился всё более документальным на протяжении недозволенного для художественного произведения количества страниц, несмотря на яркие сюжетные вспышки и вспышки образности и метафоричности. Он утешал себя, говорил, что вопрос художественности непрост, так же, как и тема «художник ложный – художник истинный». Он ещё вспоминал Достоевского и Толстого и говорил, что обоим требовались титанические усилия, чтобы преодолеть власть фактов.

И у нашего писателя не получалось преодолеть власть фактов, но, как ему теперь казалось, не сумел он свои записки преобразить в беллетристику. И это после написания великой прозы и драматургии! Он говорил, что Толстой окончил «Войну и мир» больным человеком, Данте окончил «Божественную комедию» – умер от инфаркта, а Сервантес, завершив «Дон Кихота», умер от инсульта. Поэтому так важна самогигиена и техника безопасности при написании подобных книг. Он сравнивал труд романиста с тяжёлой физической работой каменщика и даже артистично изобразил нам, как снизу берёт камень и кладёт его в воображаемую стену Храма Истины, и показалось, что ему не хватает только фартука вольного каменщика Хирама.

Он говорил, что труд романиста прозаичен, хотя и открывает новые горизонты и сопряжён с чудотворством. Он старался всячески противопоставить такую работу романтическому мифу о поэте-маге,

певце и боговдохновенном импровизаторе. Эта «прозаичность» и была тем самым противоречием между ним, рассматривающим искусство как ремесло со своим каноном и золотым сечением, и шестидесятниками-романтиками, этот канон, по его убеждению, разрушавшими.

—

К пролитым чернилам прибавилось ещё одно событие, мешающее созданию романа. Он прочитал рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Скрытое чудо» об ускользающей субстанции времени. Автора неоконченной пьесы «Враги» Яромира Хладика фашисты должны были расстрелять. Но за день до расстрела Яромир попросил у Бога отсрочку на год – чтобы дописать пьесу: «Если я каким-то образом существую, если я не одна из твоих ошибок или повторов, то существую как автор «Врагов». Чтобы закончить эту драму, которая станет оправданием мне и Тебе, нужен ещё год. Дай мне его, Ты, владеющий веками и временем». Это была повелительная, богоборческая речь! И вот, глубокой ночью, всепроникающий голос сказал Хладиду: «Тебе дано время на твою работу».

Во время расстрела внутри казармы (Хладик стоял у стены, а четыре солдата с нацеленными в него винтовками ожидали приказа) время замедлило свой бег, так что казалось прошёл целый год. Капля дождя у виска остановилась на год, а Хладик мысленно дописывал пьесу «не для будущего, и даже не для Бога, чьи литературные вкусы малоизвестны. Тщательно, неподвижно, тайно он возводил во времени свой лабиринт». У драматурга на всё хватило времени, даже на то, чтобы дважды переделать третье действие. Он драму завершил, но не хватало лишь одного эпитета. Он нашёл его. И тогда дождевая капля поползла по щеке. Время двинулось. Оказалось, что в реальном земном времени ему было дано всего две минуты для того, чтобы пьеса «Враги» появилась в Универсуме. И когда он окончил пьесу, залп четырёх винтовок свалил его с ног.

Однако какое совпадение! Яромиру Хладиду приснился вещий сон тоже 14 марта (14 марта 1936 года). А история с пролитыми чернилами случилась тоже 14 марта – в конце тысячелетия.

«Всё оттого, что я занимаюсь демонами добровольно, и они мне мстят, не давая себя изобразить. Как мстили Врубелю и Черткову из «Портрета». И ещё: «Рогатый не так уж глуп, он интересуется теми, кого считает конкурентами. «Люцифер» означает клеветник, он стремится оклеветать человека перед Богом».

Подобно Генриху фон Клейсту, перечитывавшему с нарастающим недоверием свою трагедию «Роберт Гискар», над которой работал «500 дней подряд, и большинство ночей» (а потом предавшем её огню, воскликнув: «Это ад даёт мне половинные таланты. Небо дарует человеку целый талант или ничего»), наш писатель тоже вначале восхищался, а потом... возненавидел рукопись.

Но о том, чтобы рукопись... Нет, о таком кощунстве писатель и не помышлял. Он помнил, что Гоголь, после сожжения второго тома «Мёртвых душ» раскаивался на следующее утро и говорил, что его бес попутал.

Впрочем, можно ли верить раскаяниям Гоголя? Вот что он сказал Тургеневу: «Если бы можно было воротить сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжёг её».

Второй том «Мёртвых душ» Гоголь сжигал не однажды. Уже в 1845 году он бросал его в огонь. А спустя шесть лет второй том «Мёртвых душ» был вновь старательно набело записан аккуратным почерком в нескольких тетрадях с тем, чтобы в ночь с 11-го на 12-ое февраля 1852 года предать сожжению, крестясь при этом непрерывно. «Надобно уж умирать, – сказал он на следующий день Хомякову, – а я уж готов, и умру». После акта сожжения Гоголь категорически отказался от еды, отвернувшись к стене на своей узкой кровати.

Рукопись Горенштейна была отложена на неопределённое время...

Внезапно писатель тяжело заболел. Диагноз онкология неоперабельной поджелудочной железы был уже поставлен. Всю вторую половину февраля он находился в больнице. Но уже было теперь не достать чернил и плакать.

28 февраля в палату вошёл врач во всём белом в окружении коллег во всём белом, так что от белизны и мрачного предчувствия стало больно глазам.

Врач сказал:

«Господин Горенштейн, современная медицина оказалась бессильна».

«Сколько дней мне осталась?» – спросил Фридрих.

«Примерно два дня»

«Что же мне делать? Я не могу застрелиться, как Хемингуэй. У меня нет двустволки».

Хемингуэй в пригороде Гаваны в своём поместье Finca Vigía 2-го июля 62го года выстрелил себе в голову из двустволки Vincenzo Bernardelli. Эта двустволка в некоторых писательских кругах называлась «Hemingway», и сделалась она символом внутреннего конфликта писателя, увы, с последующим самоубийством.

«Что мне делать?» повторил писатель. Вопрос звучал повелительно. А через некоторое время он заявил, что у него сильные боли и потребовал обезболивания. И тогда врач сделал ему укол, и погрузил его в милосердный сон.

Наш друг умер 2 марта 2002 года в 16 часов 25 минут в больнице Августы Виктории в моём присутствии, не дожив две недели до семидесяти лет.

И осталась книга недописанной. Недописанной? А что, если тот, кто владел веками и временем, дал писателю время для создания книги. И он втайне тщательно возводил во времени свой лабиринт. И роман – за чертой страницы – написан.

И где кончается и не кончается строка? Сей крылатый слова звук принадлежит берлинскому предшественнику нашего друга, тоже писателю и драматургу: *продлённый призрак бытия синееет за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка.*

Портрет человека в капроновой шляпе

Хроники села Калиновка

«Некрасивость убьёт», – прошептал Тихон, опуская глаза.

– Что-с? некрасивость? чего некрасивость?

– Преступления. Есть преступления поистине некрасивые.

Ф. Достоевский. Бесы

Вот не покидает меня ощущение, что я видела Калиновку с её «горюхинцами» и энергетическими аномалиями, повлиявшими не только на их сознание, но и на ход мировой истории. Так и стоит у меня перед глазами деревня, утопающая в безбрежном море колыхающихся с серебристой рябью цветов, и как будто вижу дома по-бредберевски неправдоподобно яркие. Окруженные чуть ли не со всех сторон яркими полевыми цветами, сохранившимися со времен Екатерины Великой, домики эти подсвечены особым сиянием, краски не перемешаны, а, наоборот, даны в чистом виде: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый.

Но, увы, правда жизни выпорхнула на волю подражанием вымыслу, который почему-то радует сочинителей больше, чем обратный процесс.

В деревне Калиновка летом четырнадцатого года произошёл бунт, тот самый, классический, классиком изображенный, дружно подхваченный другими классиками – бессмысленный и беспощадный. Я впервые услышала о русской деревне, пограничной с Украиной – всего их разделяют десять километров лет двадцать тому назад от берлинской моей приятельницы Ольги Л.

Ольга – дальняя родственница Никиты Сергеевича Хрущёва. Настолько дальняя, что не существует для такого родства генеалогического термина. Тем не менее, она на удивление похожа на Хрущёва. К тому же, и родилась она в той же деревне, что и Хрущёв – мать приехала в Калиновку на две недели в гости и там её родила.

Деревня Калиновка Хомутовского района Курской области расположена в зоне Курской магнитной аномалии. В небесах над Калиновкой, как в Бермудском треугольнике, отказывали приборы на борту первых советских самолётов. Ольга полагает, что эта аномалия отразилась на жителях деревни, пронизанных какой-то особенной

магнетической энергией. Калиновцы похожи друг на друга и все вместе взятые на Хрущёва. А, кроме того, они сильно смахивают на жителей села Горюхина: *росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы <...>. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью.*

У калиновцев одинаковое выражение глаз, как будто бы и весёлое и даже с хитрецой, но всё же... не совсем нормальное, наверное, из-за неугасающей улыбки на устах. Рассказы Ольги о родной деревне вызывали в памяти романтика Э. Т. А. Гофмана с его пристрастием к «животному магнетизму», теории, созданной австрийским врачом Францем Месмером об особой энергии живого, способной гипнотически влиять на психику.

Некалиновские родственники Ольги любили иронически и многозначительно подчеркнуть, что она, мол, родилась в Калиновке, а стало быть – «другая». Например, Ольга не может носить электронных часов, электронные будильники останавливаются при её появлении, а компьютеры, разумеется, замирают.

—

Весной 1997 года наш берлинский друг писатель Ф. познакомился с Ольгой и, выслушав странные рассказы о Калиновке, назначил Ольгу, несмотря на её протесты, внучатой племянницей бывшего главы страны, и, сама того не подозревая, она оказалась втянутой в очередную литературную игру писателя, поскольку Хрущёв – персонаж главного его романа, детища его. Глава государства на страницах романа ни разу не появляется, а остается за кулисами, или смотрит весело из портретной рамы. В домах реабилитированных жертв сталинизма красуются его портреты – «в капроновой шляпе и рубашке с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи». Личностью Хрущёва буквально пронизан преогромный роман, повсюду о нём говорят – на кухоньках, на вокзалах, в поездах, троллейбусах и трамваях:

«А анекдот слышали?» — сказала толстуха с янтарными бусами, и, ещё не успев рассказать анекдот, она затрясла жирным своим бюстом. — Хрущёва, значит, возле мавзолея поймали: с раскладушкой туда пробирався... А то ещё один: как найти шахту, где Хрущёв в молодости работал...

Да какой он там шахтёр, — махнул рукой старичок, — помещик он... Из помещиков... Хотите коммунизм, говорит... Вот вам коммунизм... Вот вам голодуха...

Ольга не подозревала ещё, что в глазах Ф. ей доведется нести личную ответственность за поступки и деяния давно ушедшего из жизни Никиты Сергеевича. Время от времени в её берлинской квартире раздавался звонок – на проводе был наш писатель с очередными претензиями по поводу событий более чем тридцатилетней давности:

говорил, например, что не простит перестроенного в эпоху «оттепели» Арбата. Узнав о том, что памятник работы Эрнста Неизвестного на могиле Хрущёва на Новодевичьем кладбище разрушается – на нём появилась трещина! – он потребовал, чтобы Ольга восстановила памятник: «Стыдно жалеть каких-нибудь пару тысяч марок, когда разрушаются памятники!»

Рассказы Ольги о Калиновке органично вписывались в созданный писателем противоречивый образ «Любушки-России». Быть может, и в самом деле магнитная аномалия виновна в скудости и убожестве Калиновки? Или же магнитная аномалия – метафора, не поддающаяся объяснению?

В одной повести Ф. в приволжском городке герой случайно заходит в столовую под названием «Блинная». Грязная и прокуренная, она напомнила ему записки некоего серба-путешественника, потрясённого когда-то атмосферой русского трактира, «где из века в век сидят люди мелкого счастья, лакомы на питьё, где место и посуда свинского гнуснее». Однако рассказчика обескураживает не пошлость заведения, а отсутствие логики, аномалия происходящего. В таком притоне должно отталкивать абсолютно всё, в том числе и качество блюд. Но фирменное блюдо заведения превзошло всякие ожидания. В лучших ресторанах не ел герой таких обжариваемых до румяной корочки блинчиков с тающими во рту фаршем из рубленых варёных яиц, риса и мяса. Рассказчик вопрошает: «Зачем жарили здесь эти блинчики? Зачем их подавали на заплёванные столы или на смрадные вонючие скатёрки. А если и подавали, то отчего не вымыли помещение, не постелили хрустящие белоснежные скатерти, на которых таким блинчикам место? В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то достоевщина, какой-то гоголевский шарж, какая-то тютчевская невозможность понять Россию».

Здесь напрашивается сравнение с противоречивой Калиновкой. С незапамятных времён Горюхино... оговорилась – Калиновка! – славилась своим плодородием и благодарственным климатом. Вот, например, курский чернозём! Он самый плодородный в мире. Однако это обстоятельство, долженствующее как будто бы и содействовать процветанию и благоденствию, повлияло на калиновцев гораздо меньше, чем магнитная аномалия, сказавшаяся не только на их сознании, но и на ходе Большой истории (Карибский кризис, первые полёты в космос – курско-бермудский треугольник). Стоят скособоленные деревянные избы, окрашенные в давно выцветшие цвета.

А рядом, совсем рядом торжествует островок первозданности неземной красотой, заповедная Стрелецкая степь, которая не запахивалась со времен Екатерины II. Миллионы трав уничтожил человек, а Стрелецкая степь осталась! И до синего горизонта в середине лета рассыпаны крупные, намагниченные полевые цветы всех цветов

радуги. И особенно здесь много ромашек, маков, солнечных володушек и лиловых волчегонников. И растут цветы у дорог, проникают и в Калиновку (а маки алые так целыми оазисами!), их там видимо-невидимо у заборов, у отхожих мест, у курятников и свинарников, и куда ни кинь взор, рвется с фантастической энергией из земли ликующая красота.

И можете себе представить такое положение? Рядом с красотой примитивный быт Калиновки, следствие, на мой взгляд, всё же в первую очередь магнитной аномалии, повлиявшей на исторические процессы. А вот, кстати, ещё одно противоречие, напоминающее о чудесных блинчиках: хотя и льётся самогон рекой, а в избах царит нищета, здесь еженедельно, всей деревней направлялись в баню. Личная гигиена соблюдалась неукоснительно.

И свято в нашей деревне оберегалась чистота традиции: мебель и другие предметы в жилищах десятилетия не сдвигались и не снимались со своих мест, на стенах висели фотографии из давно ушедшей, другой жизни и открытки из прошлых времён, а в углу – икона Казанской Божьей матери, которая почему-то не убиралась в антиклерикальные времена, прославившиеся невиданных масштабов погромами церквей, а на стене охранная грамота Калиновки портрет Хрущёва, благодетеля и гордости деревни, посетившего её однажды, что и было запечатлено на обложке журнала «Огонёк»: на центральной площади девочка вручала ему цветы. Кстати, именно это хорошенькая девочка станет впоследствии вождём бунта. Вероятно, вождь произнёс тогда односельчанам речь: «Дорогие товарищи! Социализм победил не только полностью, но и окончательно. Опасность реставрации капитализма в Советском Союзе исключена». Или: «Дорогие товарищи односельчане! Путь открыт, и если мы правильно будем компас держать, то будем уверенно идти вперед!»

И номер засиженного мухами «Огонька» на обложке Хрущёв, окружённый радостной толпой односельчан, принимающий букет от девочки, приколотый гвоздём, висел в каждом доме возле иконы Божьей матери.

А мы для надвигающегося неизбежного конфликта постараемся же выдвинуть на передний план два главных предмета декорации обиталищ: икону и портрет погромщика икон в других уголках страны. Итак, справа, в красном углу у нас икона Казанской Божьей матери в красном одеянии, покрывающем голову, навеки наклоненную над младенцем Иисусом, а в центре – портрет. В капроновой шляпе. Вы помните эпохальный лозунг человека на портрете – «коммунизм – это химизация всей страны?» Отсюда и шляпа!

—

Нашего писателя уже давно не было в живых, когда Ольга вдруг позвонила мне и гневно сообщила, что летом четырнадцатого года в Калиновке произошёл русский бунт против Хрущёва за отдачу в

пятьдесят четвёртом году Крыма Украине. Претензий к девяносто первому году, когда по небрежности другого вождя Крым уже совсем-совсем отъехал, у калиновцев не было, поскольку с девяносто первым пускай себе разбираются деревни Бутка – гнезда, из которого выпорхнул другой птенец, ставший впоследствии бесшабашным, и тоже, кстати, на удивление весёлым, первым российским президентом. Ольга требовала, чтобы я о деревенском позоре, надругательстве над вождём написала. Я отнекивалась, говорила, что достаточно написала (целую главу!) о ней и её деревне в книге о писателе Ф., но Ольга политически накалённая, как и вся её деревня, породившая вождя-феномена, о котором ещё Сталин предупреждал: болен манией вечных реорганизаций, требовала, чтобы я переписала текст, ибо это – мой долг и моя честь. Ничего себе: моя честь!

Как верно заметил писатель Ф., утрата единства мстит, злорадствуя в каждой частности. И мне, частному человеку, не следует расслаблять себя такими фатальными понятиями как «логика истории» и её «закономерности», или же другими утешениями, которые предлагают нам философы истории, короче, мне не следует стоять в сторонке и делать вид, что меня это всё не касается.

К тому же я и в самом деле была захвачена историзмом момента. А, кроме того, поскольку я о Калиновке что-то некогда написала, то установилась у меня с деревней метафизическая связь.

Да, я как будто вижу её, утопающую в цветах, вижу маки пурпурные, оазисами проникающие в недра деревни, кружащиеся в хороводном танце вокруг крикливых свинарников и курятников, и вижу... гой вы, цветики мои, цветики степные! Что глядите на меня, тёмно-голубые?

И вижу Стрелецкую степь ковер, меняющий в бесснежный период нарядный свой покров и цвета свои. И чередуются один за другим не семь радужных божественных цветов радуги, а двенадцать!

—

Жизнь гениальный автор! Жизнь сочиняет фантастику! Наш писатель отдал дань традиции живописать русский бунт: «русский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как весёлое и забытое сказочное чудище». Однако он затем начисто убрал сказочность и устроил в южном городе, отдаленно напоминающем Новочеркасск, где в шестьдесят втором и в самом деле произошёл антихрущёвский бунт. Так вот, он устроил не пушкинский бунт с романтическим вождём-разбойником, цветаевским Вожатым, а постыдный, без сказочного чудища, еврейский погром.

Безмятежным летом четырнадцатого года калиновцы, охваченные веяниями нового времени, сформировавшее их врагами бывшего своего благодетеля, всей неделимой этнографической группой дружно сняли со своих обветшалых стен старые портреты Хрущёва в шляпе из капрона и толпой, подчиняющейся уже не законам личности, а законам массы, когда любое слово и движение носило уже не

самостоятельный, а публичный смысл, торжественно вынесли эти портреты на площадь и предали публичной казни. «С детской резвостью» топтали они бывшего односельчанина. И свершилась казнь над изображением человека эпохи, как это свершалось в эпоху инквизиции.

После такого рода протестных выступлений, независимо от того несут ли они в себе элемент массовости и народности, или же они результат действия кучки злоумышленников, могут возникнуть даже и всеобщие беспорядки, могут запылать даже и пожары, может быть разгромлен винно-водочный магазин, но мне про такое развитие бунта ничего не известно. А известно только, что затихла замерла деревня.

И пустынная площадь, заваленная стеклянными осколками, обломками рамок, обрывками бумаг иной раз и с разорванной вдвое вчетверо улыбкой Никиты Сергеевича, разносимых ветром, производила впечатление катастрофы.

Неужели это и есть «проклятие памяти» творение Римской империи? Совсем-совсем стереть исторического деятеля не только в памяти народа, но и в памяти родной деревни?

Sic transit gloria mundi? Жалко и горестно было мне видеть этого некогда воистину эпохально значимого человека, растоптанного, разорванного в клочья на собственной родине.

А и в самом деле: отчего бы не ударить, не поставить на колени, не превратить в посмешище, если за это не последует наказания?

Позвольте-с! – ответил мне Салтыков-Щедрин. – Что мы не можем бунтовать иначе, как показывая кукиш в кармане, это так. Но это печальное требование времени и ничего больше. Это скудная форма современного [русского] бунта, которая, однако ж, отнюдь не предreshает вопроса о форме и содержании бунтов в будущем.

Да, Михаил Евграфович, финал в этой истории обречён на вечную циклическую повторяемость, поскольку всего лишь на время была убрана заповедь «не сотвори себе кумира» до появления нового кумира. Или новый кумир на горизонте уже обозначился?

Вместо заключения

Июнь пятнадцатого года. Звонила Оля. Сообщила, что всё сбылось. Всё сбылось! Кумир есть. Найден старый памятник Ленину, отреставрирован, и уже он красуется на той самой площади, где безжалостно расправлялись с изображением бывшего вождя. А предводитель бунта, помните хорошенькую девочку, которая вручала на площади вождю цветы, помните ли вы эпохальную обложку журнала «Огонёк» с девочкой и Хрущёвым? так вот, эта бывшая девочка, а потом бунтовщица, выстроила себе на площади архитектурное античное чудо – anticuus! белоколонный магазин.

Я осмелилась послать Ольге этот свой рассказ.

И получила ответ (орфографию сохраняю):

«Спасибо за Твою гражданскую позицию, за Ф., за Твою совесть, за любовь к России, за Калиновки, за Горюхины!

С любовью!

Оля»

Между тем, Ольга уже побывала в другой деревне родине отца, на этот раз не в русской, а украинской глуши, тоже проблемной, поскольку находится у западных каких-то геополитических границ. И последовали один за другим настойчивые её телефонные звонки. Ольга сладкими речами заманивала меня в другую деревню предков с подробностями тоже живописными, со старым лирическим заброшенным кладбищем, столетними деревьями, пережившими век отцов, опять же алыми маками, синими колокольчиками... Но другой деревни у меня не будет! Хватило мне Калиновки! Так что простите, колокольчики степные, не кляните вы меня, тёмно-голубые!

Август двадцать четвёртого года.

Увы! Не сбылись мои мечтания.

Соседи напали на Курскую землю. Я кинулась к географической карте. Не на Калиновку ли мою нападение? Слава Богу, не на Калиновку, семьдесят километров ещё до неё. Однако топчут сапоги священную Стрелецкую степь, маки алые, степные колокольчики, ромашки, солнечные володушки и лиловые волчегонники. Что дальше будет с неземной красой этой?

Ефим Эткинд *а также Бродский, Солженицын, Горенштейн, Маранцман и другие...**

И славы блеск, и мрак изгнания,
И светлых мыслей красота,
И мщенья – бурная мечта
Ожесточённого страдания.

Александр Пушкин

О стихах Пушкина, приведённых мною в качестве эпиграфа, Ефим Григорьевич Эткинд говорил, что именно они эпиграф ко всей его жизни. Он ещё уточнил: «Всё это в бесконечно ослабленном виде – выпало и на мою долю».

* Очерк «Мемуарные размышления о Ефиме Эткинде» был опубликован в журналах «Персона PLUS» 4(Ефим и «Слово\Word» 2011, №69. Настоящая версия дополненная, в особенности в связи с тем, что издана переписка Эткинда (Ефим Эткинд: Переписка за четверть века. Спб., 2012).

Мне довелось присутствовать на защите докторской диссертации Ефима Григорьевича в колонном зале пединститута имени Герцена (ныне университета) в октябре 1965 года, и я считаю эту блистательную защиту одним из важнейших событий моей жизни. «Несмотря на довольно специальный характер темы, – вспоминал Эткинд, – «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» – аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно».

Ещё бы! Участниками научной баталии были прославленные академики В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев, а также её главный герой Эткинд. Не забуду восторга переполненного зала. Как это было красиво! И могу лишь воскликнуть вслед за Салтыковым-Щедриним, вспоминая «оттепель» начала царствования Александра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» И не предполагали мы, как и Михаил Евграфович, что всё это может так незаметно исчезнуть, тогда как следовало предполагать, поскольку, как предупреждал Герцен, когда в очередной раз ломают стены и отбивают замки и отпирают ворота, то в первую очередь вбегают не те, кого ждали. Мы – не предполагали. А Горенштейн, малоизвестный автор, сидя в «чужом углу», малопонятным почерком писал свой роман «Место» с подзаголовком «Политический роман» о хрущёвской оттепели, обернувшейся очередным фарсом.

—
Уже в те времена, когда я училась в «Герцена», имя Эткинда, автора книг «Поэзия и перевод», «Разговор в стихах», основателя школы перевода, прославившего институт, было окружено легендами. Наш преподаватель во время войны служил военным переводчиком, но среди студентов существовал миф о том, что он был разведчиком и в форме немецкого офицера запросто являлся к немцам – именно так мы романтизировали его образ. Эткинд вполне соответствовал чеховской эстетике о человеке, в котором всё должно быть прекрасно, но в моих глазах наш преподаватель являл собой ещё и сказочного, бесстрашного рыцаря. Однако же, если оставить его даже и военным переводчиком, что, кстати, соответствовало истине, то разве не восхитительно, что он, этот изысканно красивый, элегантный человек, во время войны переводивший тексты (устные и письменные) о планах противника, его расположении, расположении танков и пр. в этом роде, после войны стал переводить стихи, а потом ещё основал школу перевода, утверждающую максимальное уважение к оригиналу?

Ярким образцом школы перевода Эткинда является его книга «Маленькая свобода. 25 немецких поэтов за пять веков» с параллельным переводом, составленная в обратном хронологическом порядке, изданная в 1999 году. Дата выхода книги год смерти Эткинда свидетельствует о том, что он навсегда остался верен созданной им школе. Цитирую Игоря Полянского («Маленькая свобода», Зеркало

Загадок, 8, 1999»): «Идея обратного построения антологии возникла у Эткинда более тридцати лет назад. По признанию автора, она восходит ко Льву Толстому, преподававшему историю «от следствий к причинам» (...). При всей точности и адекватности перевода, антология Эткинда по-немецки не случайно названа не «Übersetzung», но «Nachdichtung», то есть дословно «стихотворчество вслед» (...). По-русски «обратная антология», а по-немецки – «rückläufige», то есть «бегущая вспять». Привожу эпитафию к сборнику:
У Лессинга:

*Wer wird nicht einen Klopstok loben?
Doch wird ihn jeder lesen? – Nein.
Wir wollen weniger erhoben,
Und fleißiger gelesen sein.*

У Эткинда:

*Вы почитаете Клопштока?
Но кто читал его хоть раз?
Не почитайте нас высоко,
А лучше – почитайте нас!*

Я ещё 1964 году умудрилась, находясь в очереди, протянувшейся вдоль Фонтанки чуть ли не до Невского проспекта, купить билет на спектакль в БДТ имени Горького (теперь имени Товстоногова) «Карьера Артуро Уи» по пьесе Брехта в переводе Эткинда.

Помню, что это было зимой, кругом лежал снег и, когда я, грустная, потерявшая надежду попасть на спектакль, стояла у площади Ломоносова и до здания театра оставалось ещё более двухсот метров, ко мне подошла женщина в бежевом пальто (запомнилась деталь!) и протянула мне билет. Бывают же чудеса: именно меня женщина выбрала в этом нескончаемом потоке! Спектакль «Карьера Артуро Уи», сыгранный более трёхсот раз незабываемое событие театральной жизни Ленинграда 60-х годов и, разумеется, моей жизни тоже.

Зал неизменно восторженно реагировал на постановку, на сцену с бурными овациями вызывались не только режиссер и актеры Артуро Уи играл грандиозный Евгений Лебедев но также и переводчика пьесы Ефима Эткинда. Эткинд рассказывал, что ему было интересно переводить пьесу, в которой оказалось множество двусмысленных пассажей. На одном из первых спектаклей присутствовал (это было уже после сенсационной публикации «Одного дня Ивана Денисовича») Александр Исаевич Солженицын. Он сидел во втором ряду, недалеко от мэра Ленинграда Василия Толстикова, которого не знал в лицо, и так громогласно выражал свой восторг, что Товстоногов и Эткинд, полные дурных предчувствий, уже приготовились к тому, что Толстиков

запретит спектакль. Однако обошлось. Грозное будущее на самом деле уже водворилось, «наступили суровые дни» (правда, не те, о которых писал Плещеев: Париж беспокойный не волновался, а даже совсем наоборот, то были суровые дни «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина) но, как это иногда бывает, солнце иногда с опаской, но всё же выглядывало. Мне кажется, что коварство оттепели и состоит в том, что *незаметно* она отступает.

60-е годы многие из нас очарованы были лекциями Берковского и Эткинда. Весьма показательна описанная Татьяной Черновой сцена (в статье о моей книге "Музы города" "Голос Музы, еле слышный" в книге "Адреса педагогического опыта", СПб, 2002), характеризующая нашу "сказочную" студенческую жизнь. Вспоминаю себя, первокурсницу, на Прачечном мосту в той самой толпе страдающих Иосифу Бродскому и ожидающих решение суда так, как будто решалась судьба очень близкого мне человека. Слушание дела о «тунеядстве» Бродского состоялось в середине марта 1964 года в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с домом бывшего Третьего отделения шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Ефим Григорьевич, как известно, на памятное моим современникам судилище был вызван в качестве свидетеля. На суде присутствовала публика, не имеющая никакого отношения к литературе, Бродского не читавшая. Рабочие, служащие и даже дружинники выражали Народное Недовольство. У Михаила Голодного (1932): Суд идёт революционный, Правый суд. Конвоиры песню «Яблочко» поют. Судья: *Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. Эткинд... Ефим Гиршевич... Мы вас слушаем.* Так застенографировано Ф. Вигдоровой. Впоследствии выяснилось, что судья прочтала отчетливо Эткинда не по паспорту (там было Григорьевич), а по другому источнику – из особого отдела филиала КГБ. Воистину, вслед за Пушкиным можно сказать: *и, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, своими криками преследуя тебя...*

Эткинд, тем не менее, вполне смог справиться с первыми сценами унижения, поскольку главной задачей было – избавить Бродского от судилища. Очень точно заметил о нём Владимир Маранцман: «Кидая в Эткинда камни, ораторы порой опускались до уровня 1937 года. А сам виновник охального торжества не только не каялся, но с вольтеровским остроумием и здравым смыслом русских сатириков сохранял достоинство и недоумевал: «По какому случаю тут?»

Эткинд, как бы не замечая невежества толпы, пытался объяснить суду, что Бродский не тунеядец, трудится на литературной ниве, зарабатывая переводами.

«Перевод стихов, убеждал он суд труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта».

Однако приговор был приготовлен заранее: Бродский был сослан в отдаленные места сроком на пять лет на принудительные работы.

Сбылось предчувствие Ахматовой о судьбе молодых поэтов шестидесятых годов:

*О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе.*

«Золотое клеймо неудачи» возникло на челе Бродского. Позднее признание, Нобелевская премия не вернули подорванного здоровья, он умер в Нью-Йорке 27 января 1996 года в возрасте пятидесяти шести лет и похоронен в Венеции на острове Сан=Микеле.

Такое же «золотое клеймо» обозначилось на челе нашего профессора, спасавшего двух будущих Нобелевских лауреатов – Бродского и Солженицына. В 1974 году в Педагогическом институте им. Герцена *при тайном единогласном голосовании коллег* Эткинд был лишён всех званий, в том числе и учёного звания профессора. Затем он был изгнан из Союза писателей, где состоял с 1956 года, лишён гражданства и выдворен из страны по сфабрикованному КГБ «делу». Рукописи Солженицына, которые Эткинд хранил, значились в «деле» как главные пункты обвинения. В «Записках незаговорщика» издевательства над собой Эткинд назвал «Гражданской казнью». Мемуары впервые были опубликованы в Лондоне в 1977 году и мгновенно стали бестселлером. «Записки незаговорщика» переиздавали, переводили на другие языки. В Германии книга вышла на немецком языке с названием «Бескровная казнь» и имела наибольший успех. Сейчас, когда я пишу этот очерк, передо мной на столе лежит книга, изданная в России спустя два года после смерти Эткинда, в 2001 году.

Перечень заграничных почетных званий Ефима Григорьевича свидетельствует о том, как оценены были его заслуги в просвещенном мире: профессор Десятого парижского университета, член-корреспондент трёх немецких академий, кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения, доктор honoris causa Женевского университета. Количество научных трудов – более 600. За границей были опубликованы книги Эткинда: «Записки незаговорщика», «Форма как содержание: Избранные статьи», «Материя стиха», «Стихи и люди» и другие.

Однако мировое признание не вернуло ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подозреваю, не вернули страдальцу Иову покоя и удовлетворения новое богатство, взамен старого, и другое потомство, взамен бывшего. «Записки незаговорщика», написанные с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствуют о том, что рана его так никогда и не зажила. В 1989 году Эткинд вернулся в город, «знакомый до слёз». Он был приглашён

в наш раскаявшийся «Герцена» и, вероятно, для завершения драматического сюжета, согласился явиться на встречу с бывшими коллегами, причём, в тот самый четырнадцатый корпус на Мойке 48, где пятнадцать лет тому назад преподавал. Самая большая аудитория не вместила всех желающих. Остальные, как говорили, «весь Ленинград», стояли в коридоре. Так произошло покаяние и прощение.
* * *

На этой встрече Эткинд рассказал о Горенштейне, книги которого во Франции имели шумный успех, назвав его крупнейшим русским писателем двадцатого века, «вторым Достоевским». Таким образом, в России Эткинд возвестил о Горенштейне за три года до выхода в Москве в издательстве «Слово» трехтомника писателя.

Итак, в моём тексте выдвигается на сцену ещё одна очень крупная фигура в истории русской литературы (правда, без Нобелевской премии), спасаемая нашим преподавателем. Эткинда удивило, что произведения такого мастера, как Горенштейн, не были известны в мире литературно-художественного андеграунда 70х годов и не появились при советской власти *даже в самиздате* – об этом он и написал в своей статье «Рождение мастера» (Эткинд Е. Рождение мастера: О прозе Фридриха Горенштейна // Время и мы (Нью-Йорк), 1979).

Эткинд неоднократно пытался исправить ошибку литературного истеблишмента, совершенную с Горенштейном, просчёт (оплошность?), из-за которого в течение двадцати с лишним лет его романы не читал не только широкий, но и «узкий» читатель. Осенью 1980 года в Вене Ефим Григорьевич случайно оказался почти соседом Горенштейна – он жил в одной из квартир Венского университета, куда был приглашён читать лекции. Горенштейн в качестве «транзитного» эмигранта жил на Кохгассе 36, апартамент 23, второй этаж (из Вены писатель через некоторое время сумел переехать в Берлин). При первой встрече известный ученый, литератор и поэт-переводчик показался Горенштейну совсем молодым (Эткинду было 62 года). «Содержания беседы не помню, – писал Горенштейн, – но если говорить о моей биографической жизни, то эта исходная точка нашего с Ефимом Эткиндом сюжета была безусловно важна для моего нового биографического времени» (Беседы с Ефимом Эткиндом. Зеркало Загадок, 2000, 9.) Венская встреча и в самом деле оказалась исходной точкой для Горенштейна, поскольку Эткинд старался изо всех сил помочь ему пробиться сквозь дебри литературных препон.

Недоверие к «перемещенному лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику, как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно, настораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в своё время не был внесён парижский

эмигрант Иван Бунин, Нобелевский лауреат, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесён, весьма показателен. Вспомним двадцатые годы, когда Берлин стал местом пребывания небывалого количества талантливых русских литераторов, причем, для некоторых из них немецкий был вторым родным языком – для Цветаевой, например. В настоящее время германская литературная наука с благоговением изучает те самые двадцатые годы, мимо которых когда-то прошла, не заметив, например, Набокова, ощущавшего себя в Берлине «бесплотным пленником», притом, что два его произведения – романы «Машенька» и «Король, дама, валет» были переведены на немецкий язык.

Что же касается Цветаевой, с её особым личностным отношением к Германии, называвшей её «Vaterland» (Но как же я тебя отрину, Моя германская звезда), то она и вовсе не была ею замечена. В Берлине Цветаевой был создан эпистолярный рассказ «Флорентийские ночи». Находясь в Париже, Цветаева перевела на французский язык этот рассказ, предлагала его многим французским издательствам, однако издатели не желали даже с ней разговаривать. И лишь в 1981 году итальянская исследовательница и переводчица Серена Витале опубликовала его во Франции и Италии.

Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась. Недоверие к пришельцу осталось незыблемым. За год до приезда, в 1979 году, роман Горенштейна «Искушение» был переведён на немецкий язык и опубликован в Берлине весьма солидным издательством «Люхтенгарт». Однако талантливого романа оказалось недостаточно. Необходимо было авторитетное слово. А где же взять такого, безусловно авторитетного человека, который мог бы *поручиться за талант*, своё веское слово сказать, к которому бы прислушались? Им оказался всё тот же рыцарь литературы, во имя неё неоднократно пострадавший.

Рекомендация Эткинда, наконец, возымела действие. В девяностых годах издательством «Ауфбау» было опубликовано семь книг Горенштейна, издательством «Ровольт» – три. Среди них произведения, написанные уже в Берлине на Эксизештрассе: повести «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», несколько рассказов, а роман «Летит себе аэроплан» издавался на немецком языке три раза. О Горенштейне тогда много писали во влиятельных немецких газетах и журналах, попеременно называя его то «вторым Достоевским», то «вторым Толстым».

На смерть Эткинда Горенштейн откликнулся эссе «Беседы с Ефимом Эткингом», которое ни в коем случае не желал называть «некрологом».

«И вспоминаю последнюю встречу у меня на квартире в Берлине осенью 1998 года. Я по просьбе Ефима читал финальную сцену «В книгописной монастырской мастерской» из моего многолетнего труда

«Драматические хроники времён Ивана Грозного». Ефим остался очень доволен финальной сценой. Я помню его слова: «Хорошо, очень хорошо». Был доволен и я. Не то, что я был ориентирован на чужое мнение. В целом я хвалю и ругаю себя сам. Но в данном случае был многолетний, давящий на меня труд, и был Ефим Эткинд, вкусы которого я, несмотря на те или иные разногласия, высоко ценил. Потому так обрадовала меня его похвала, и даже подумалось: теперь и Ефиму взял на себя тяжесть многолетнего моего труда, облегчая мне ношу. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря»*.

* * *

Летом 2002 года я посетила мою бывшую преподавательницу литературоведения Дину Клементьевну Мотольскую, впервые приобщившую меня когда-то на профессиональном уровне к литературе – я уже не говорю о ямбе и хорее, которые научила друг от друга отличать. Сидели мы, единомышленники, за столом – Дина Клементьевна, слепая и почти глухая, моя бывшая однокурсница Рита Заборщикова и я, держась за руки, и говорили только о возвышенном и прекрасном, – о литературе, о высоком её предназначении, и Дина Клементьевна просила меня рассказать о Горенштейне, которого – она это сама слышала двенадцать лет назад – Эткинд назвал «вторым Достоевским». Зная о дружбе моей семьи с Горенштейном, она просила, чтобы я рассказывала о нём – образ этого трагического писателя был для неё значим не менее, чем звёзды на небесах. Она просила писать о нём. Дине Клементьевне принадлежит выражение, ставшее обиходным в нашем кругу: «Лучше текст написанный, чем ненаписанный» (я последовала совету Мотольской и впоследствии написала книгу о Горенштейне, уделив в ней значительное внимание Ефиму Эткинду).

Выступление Эткинда запомнилось и другому моему бывшему преподавателю – профессору Владимиру Георгиевичу Маранцману, члену корреспонденту РАН.

В 1999 году Маранцман опубликовал свой перевод «Ада»

«Божественной комедии» Данте[†]. Это был, кроме всего прочего и поступок, поскольку после блистательного перевода М. Лозинского, переводить «Комедию» не осмеливался никто.

Прекрасно иллюстрированная «Комедия» в переводе Маранцмана хранится у меня с его дарственной надписью: «Мине с верой, что даже

* Горенштейн Ф. Беседы с Ефимом Эткиндом, Зеркало Загадок, 2000, 9. С. 40.

† Данте Алигьери. Божественная комедия: Ад / Пер. с итал. В. году Маранцмана. СПб. Специальная литература, 1999. Полностью: Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. с итал. В. году Маранцмана. М.: Классика Стиль, 2003.

дороги ада ведут к звёздам. 28 / VI, 2000».

Эткинд незадолго до смерти прочитал его «Ад» и остался доволен как переводом, так и уникальным комментарием. Маранцман считал себя учеником и последователем Эткинда – сторонником следования оригиналу ритму, мелодии и сохранению размера стихов.

В некрологе Эткинду Маранцман писал:

«В Ефиме Григорьевиче жила и эта нежность доброты, и эта дерзость вызова. И поэтому его до самозабвения обожали женщины, что с ними нынче редко случается. Море добрых дел, которыми одаривал Е. Г. Эткинд людей достойных и незначительных, неизмеримо. И это шло не от самолюбивой снисходительности всемогущего мэтра, а от того, что он умел бескорыстно, по-детски радоваться удаче других. Он мог, получив новый перевод, сказать: «Вы гений». Он мог провожать человека долгим, внимательным, запоминающим взглядом. (...). Смелость его иронии всегда дразнила важных персон. В нём была бесстрашная отвага гасконцев и печальная мудрость библейских пророков, достоинство русского интеллигента и отточенное изящество дипломата».

* * *

Из трех спасаемых Эткиндом крупнейших русских писателей второй половины двадцатого века (если не бояться преувеличений, то можно сказать: столпов русской литературы) – Бродского, Солженицына, Горенштейна благодарным за спасение оказался только Горенштейн, тот самый Фридрих, на которого в русской литературе установился даже и дискурс, подогреваемый почему-то и сейчас некоторыми средствами массовыми информации: «трудный, неуживчивый человек».

Итак, политический скандал вынес Иосифа Бродского на суд высших «литературных инстанций». В 1972 году Бродский эмигрировал в США, и Нобелевскую премию он получал уже как гражданин Соединенных Штатов, однако впоследствии ему невыносима была мысль, что гонения на родине способствовали получению Нобелевской премии. После выхода в 1988 году книги Ефима Эткинда «Процесс Иосифа Бродского» Бродский отвернулся от своего бывшего учителя и спасителя.

После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» советская печать в застойные годы не издавала Солженицына. Уместно в контексте данного очерка вспомнить, что литературный редактор судьбоносного тогда журнала Анна Берзер «Ивана Денисовича» сумела «протолкнуть» (а, как потом стало известно, повесть Солженицына была опубликована ещё и по личному распоряжению Хрущёва), а спустя три года «Зиму 53-го года» – «протолкнуть» не смогла. Горенштейн, работавший после Горного института на шахте, в своей повести со всей очевидностью полемизировал с солженицынской

повестью: труд советского человека иной раз несколько не лучше подневольного каторжного труда в сталинских лагерях. Положение, в котором находился главный герой повести Ким, сын «врага народа», ничуть не лучше положения Ивана Денисовича. Более того, в то время, как у Ивана Денисовича остается хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободиться» можно либо в лагерь, напрямик к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. Во вступительной статье Инны Борисовой к книге Анны Берзер «Сталин и литература»,* рассказывается о скандале, возникшем в «Новом мире» в связи с тем, что Анна Самойловна приложила максимум усилий для того, чтобы опубликовать «Зиму 53-го года». Произведения Солженицына публиковали за границей, и это не нравилось советскому руководству. В 1969 году Солженицын был исключён из Союза писателей, а спустя год «Архипелаг Гулаг» был удостоен Нобелевской премии.

Солженицына и Эткинда шельмовали параллельно и почти одновременно отправили за рубеж в 1974 году. Солженицына в феврале доставили самолетом в ФРГ, Эткинда в апреле буквально выгнали по израильской визе, что заведомо должно было его лишить диссидентских привилегий. Солженицын вспоминал: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу». У Эткинда были приглашения нескольких зарубежных университетов. Он пытался выехать на два года, с советским паспортом, как М. Ростропович, В. Максимов, В. Некрасов многие другие. Но ему ответили, что для него возможен только один выезд – через Израиль, то есть с потерей гражданства. Горенштейн, выехавший, так же, как и Эткинд, без заграничного паспорта писал: «Таким образом, мне пришлось ехать рядовым эмигрантом-евреем» (курсив мой, М. П.).

Сам Эткинд не любил рассказывать о своей роли в жизни и творчестве Солженицына. Сейчас впервые опубликована «Переписка»[†] Эткинда тиражом в 700 экземпляров, и составители П. Вахтина и И. Комарова прислали мне в Берлин один экземпляр, за что я им очень благодарна. Я обнаружила в книге письмо Эткинда Лидии Корнеевне Чуковской от 10–11 ноября 1977 г., где Ефим Григорьевич отвечает на упрек Лидии Корнеевны по поводу его молчания о Солженицыне и объясняет принципиальную позицию не афишировать свою роль в творческой судьбе нобелевского лауреата: «Заметьте, я ничего не отрицаю. Я не

* А. Берзер. Сталин и литература. Звезда, №11, 1995. Вступительная статья редактора «Нового мира» тех лет Инны Борисовой.

† Эткинд Е. Переписка за четверть века / Сост. П. Вахтина, И. Комарова, М. Эткинд, М. Яснов. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.

говору: у меня не хранился А(рхипелаг) Г(улаг), я не выполнял поручений Q*, я не помогал А. С. встречаться с нужными ему людьми, и т. д.. Я говорю иначе: они этого про меня не знают и знать не могут. Обысков не было. Писем не отнимали. На допросы не вызывали. Очных ставок не было <...> Это значит: перлюстрировали переписку. Установили микрофоны подслушивания. Подсылали стукачей. То есть вели себя преступно. Делали то, что запрещено всем тайным полициям во всех демократических странах <...> Знаете, и мне было бы приятнее исполнять роль активного действующего лица, а не пассивной жертвы. И мне было бы о чём рассказать – Вы ведь знаете. Помните, как я перевёз за границу письмо к съезду?†. Как я (и не я один) способствовал Нобелевской премии? Как мы держали в земле все архивы Q <...> Делать себе капитал ссылками на эту книгу‡ и на мои отношения с её автором я считаю безнравственным.

В октябре 1996 года мы вчетвером (Фридрих Горенштейн и я с мужем Борисом Антиповым и сыном Игорем Полянским, тогда главным редактором «Зеркала Загадок») побывали в гостях в Потсдаме у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты тогда уже три года). Эткинд тогда уже публиковался в нашем журнале. Так, в «Зеркале Загадок» были напечатаны две его значительные работы: «Русская литература и свобода» и «Две еврейские судьбы. Читая дневники Виктора Клемперера».

На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества. приводились многие доводы, в том числе и тот, что мало публиковался (это и в самом деле было так: с 1948 года Пастернака в печать не допускали по распоряжению свыше, то есть Сталина), и прочее в этом роде

В тот вечер Эткинд рассказал нам о заявлении Солженицына: «И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!» То есть у Эткинда. Который из-за Солженицына был отторгнут от России. Цитирую Солженицына: «Даже в Таврический дворец – посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если попал я туда весной 1972 года – русский писатель в русское памятное место при «русских вождях»! – то риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...». (Новый мир, 1991,12).

В рассказе «Русский писатель и два еврея» Эткинд подвел печальный

* Так Солженицын шифровал свою машинистку Елизавету Денисову-Воронянскую, которая была арестована за сотрудничество с ним и после допроса в КГБ покончила с собой (из комментария к книге: Эткинд Е. Переписка за четверть века. С. 381, 383).

† Благодаря Эткинду письмо А. Солженицына 4-му Всесоюзному съезду Союза советских писателей (16 мая 1967 г.) было опубликовано в газете «Ле Монд» 31 мая 1967 г.

‡ Имеется в виду «Архипелаг Гулаг».

итог этой «дружбе неотрицаемой»: «Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора «Ивана Денисовича» Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию».

* * *

Вечером 22 ноября 1999 года в Потсдаме на 82м году жизни после тяжёлой операции скончался последний из плеяды русских просветителей, замечательный поэт-переводчик Ефим Эткинд.

Тело его было кремировано. Мне не известно, почему и кем было принято решение о кремации, противоречащее как еврейским, так и христианским традициям, но очевидно, что принятие такого решения было сопряжено с трудностями захоронения Эткинда рядом с первой женой, погребенной во Франции. Мне (а также моему мужу Борису Антипову и сыну Игорю Полянскому) довелось вместе с Фридрихом Горенштейном и Шимоном Маркишем присутствовать на траурной церемонии и поминках, состоявшихся в его потсдамской квартире. Урна с прахом затем была перевезена в Бретань, в селение Ивиньяк и захоронена рядом с первой женой Ефима Григорьевича Екатериной Федоровной Зворыкиной, которая, по его собственным словам, разделила его судьбу. Горенштейн за три года до собственной кончины писал:

«Я пишу «Ефим», ибо сам Ефим Григорьевич попросил так себя называть, хотя нас разделяло солидное временное пространство. А теперь нас разделяет солидное географическое пространство. Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океана. И теперь уж придется беседовать с Ефимом Эткиндом только там, на гомеровских Елисейских полях. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря».

Бродский, Эткинд, Горенштейн, Солженицын – все они ушли из жизни. Полное безусловное признание в России и главные почести выпали на долю Александра Исаевича Солженицына. В Москве создано солидное учреждение «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына», творчество его изучают в школе, так же, как и творчество Гоголя и Достоевского – он объявлен классиком. Изучаются три произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и в сокращенном варианте «Архипелаг Гулаг». Именем его названы улицы многих городов – всего не перечить. Воистину пророческим оказалось его шуточное конспиративное имя, бытующее в среде друзей Эткинда: ВПЗР. Что означало: Великий Писатель Земли Русской.

Иосиф Бродский принят новой Россией, разумеется, не с таким почетом, как Солженицын, но всё же – принят. Признанным, уважаемым литератором является Ефим Эткинд (несмотря на унижительные процедуры возвращения ему регалий в нашем «Герцена» в 1989м и 1994м годах – это отдельная, другая история). Архив его находится в петербургской Российской национальной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Петербурге в Европейском университете учреждена Международная премия имени Ефима Эткинда.

Протискивается в Россию Фридрих Горенштейн – его книги сейчас публикует издательство «Азбука-классика». Возникает вопрос: а как к столь позднему возвращению Горенштейна в Россию относится «Дом Русского Зарубежья имени Солженицына» и в особенности его *Отдел литературы и печатного дела Российского Зарубежья*? Разумеется, не все могут знать учреждения. Могут и не знать.

*Способ, как творил Создатель, Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель Комитета о печати.*

А. К. Толстой, конечно, прав: не все могут знать люди и учреждения. Я по возможности изучила интернетный сайт «Дома русского зарубежья», особенно раздел «Солженицын и его окружение». О Ефиме Григорьевиче Эткинде более чем скромная статейка (скорее, даже справка), не отражающая истинных событий, и более того, преднамеренно опускающая важные факты. Для меня – живого свидетеля трагедии Ефима Эткинда, его взлёта, а затем краха всего, чего достиг он именно в России, такая мифология отношений в литературном процессе вызывает удивление, если не сказать больше. Если бы знать, как взирает *на всё это* мой любимый литератор Ефим Эткинд с Елисейского поля Гомера, что на берегу Океана с его неумолчным шумом волн, напоминающем о первобытном хаосе? Может быть, что-то нашептывает ему Океан? Доволен ли, или же

недоволен плодами трудов своих и страданий, или что-то тревожит его в распределении регалий для крупнейших русских литераторов, изгнанных из Советской России?

И утешеньем служит мне надежда: в иных мирах для лучших из лучших всё же есть «литературный» уголок, где все равны перед законами искусства. Его узрел в своих видениях Данте. Это «novile castello», благородный Лимб. Там автор «Илиады» всегда держит в правой руке меч, символ первенства в эпической поэзии. *Гомер – монарх поэтов многолетний, сатирик наш Гораций вслед идёт, Овидий – третий и Лукан последний. И каждый имя гордое несёт* (из перевода русского интерпретатора «Комедии» Маранцмана).



Вгостях у Ефима Эткинда на его даче в Потсдаме 1998. Слева направо: Ефим Эткинд, Фридрих Горенштейн, Игорь Полянский (в то время главный редактор журнала "Зеркало Загадок", а ныне профессор Ульмского университета), Мина Полянская, литературный редактор "33". Фото Бориса Антипова, технического редактора журнала «33».

Великолепная перспектива для истинного литератора: беседа благородных теней в благородном замке, там, где завтрашний день неотличим от вчерашнего, или же от сегодняшнего. Дискуссия о сущности истинного искусства, которой не будет конца. Занавес.



Берлин, Торштрассе 7. В гостях у Мины Полянской. Фридрих Горенштейн, Мина Полянская, Борис Антипов. 1999. Фото Игоря Полянского.



Мина Полянская у памятника на могиле Фридриха Горенштейна. Надпись на памятнике: «О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте. Книга пророка Исаии. 62:6-SYNO»

Фогельфрай

*Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста! Тра-та-та!
А. Блок. Двенадцать*

«Фогельфрай» Vogelfrei старинное немецкое слово, означающее – свободен ты, как птица; но в средние века слово приобрело злое значение: человек объявлялся лишенным правовой защиты, отверженным, а ещё: отданным хищным птицам. Так, например, Мартин Лютер, переведивший Библию на немецкий язык, был объявлен инквизицией «фогельфрай», он маскировался, бороду отращивал, прятался каждый мог его убить. В конце июня сорок первого евреи румынского города Яссы сделали «фогельфрай».

А не «сказочен» ли город, в котором горожане-злоумышленники, учув времена разбойных свобод, разрисовали половину домов города крестами, а другую – нет? Высунув от усердия язык, каждый из жителей с «детской резвостью» изображал кресты на своих домах, чтобы обрушиться на дома без крестов. Помните? в одной сказке сметливая служанка увидела, что ворота крестом помечены и сообразила: «крест мелом нарисовал взрослый человек, и этот человек задумал против нас злое дело. Он хочет запомнить наш дом, чтобы нас убить или ограбить».

А в румынском городе Яссы сказочный сюжет опрокидывался, кресты менялись местами: следовало нападать на дома без крестов. И бойня началась 26 июня 1941 года. И продолжалась семь дней.

Толпа с лихорадочным блеском в глазах, подчиняющаяся уже не законам личности, а законам массы вместе с солдатами врывается в дома без крестов, чтобы убить и ограбить, зная, что не будет нести ответственности за свои деяния, ибо сограждане-евреи были объявлены вне закона. Как в «Птицах» Хичкока, налетали горожане на соседей, вцеплялись когтями в бывших друзей, их детей, и на улицах лежали горы тел, и немцы жаловались на неорганизованную работу румын, не убирающих трупы, так что *немецким пулям пролетать мешала гора кровавых тел.*

Сколько же тысяч лет в этих жалких птичьих мозгах, за разящими наотмашь клювами и острыми глазами, копился всеокрушающий инстинкт ненависти, который теперь прорвался наружу и заставляет истреблять людей с безошибочным автоматизмом машин.

Крестовые дамы и короли налетали на людей без креста вместе с отрядами железно-гвардейцев румынских фашистов, слетевшихся на добычу из разных уголков Румынии во главе с диктатором Антонеску, свергнувшим Михая.

И небо, превращённое в хаос, надвинулось на город и наполнило его своим смятением, река Бахлуй стонала и металась, и вечерами колеблющийся свет уставших от кровопролития фонарей раскачивал крестовые дома. И остался с тех пор город непрощённым грешником.

—

Двадцатилетняя Бэла Лернер, испуганная бухарестскими погромами, отправилась в поезде к родителям по маршруту Бухарест-Яссы-Бельцы, но в Яссах поезд остановился, и для Бэлы это была последняя остановка — ясская бойня пребывала в самом разгаре. Транзитная Бэла выскользнула из поезда, протискивалась между вагонами, пряталась за домами дворами, садами.

Однажды, изможденная от страха, голода, бесконечных блужданий по чужому городу, она набрела на особенный какой-то одухотворённый светло-розовый каменный домик, смотревший на неё приветливо.

Деревянная дверь была приоткрыта, дверные стёкла призывно поблёскивали, а над дверью красовалась вывеска с писанным масляными красками портретом мужчины с лицом бронзового цвета и густыми чёрными усами-коромыслами и надписью: «Frizerie» (парикмахерская). Неужели это щель в мир людей? И осмелилась — переступила порог.

Бэла не обманулась: там в одиночестве сидел хозяин, румын-парикмахер, который не участвовал в бойне, а наоборот, пребывал в глубокой скорби по своему народу, убивающему людей, злоупотребляя крестным знаменем. Он увидел девушку *вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют. Звездой блестят её глаза.*

И спрятал у себя девушку, но соседи выдали её гестапо. Гестапо состояло из румын, которые, хоть и считали себя прямыми потомками древних римлян, то есть арийцами самой высокой пробы, но были не столь фанатичны в своей расовой идее, как немцы, в особенности, когда дело касалось денег, и парикмахер (вот кого Праведником мира надо бы назвать музею Шоа Яд Вашему, а он из-за моей тётки погиб, а я не помню его имени!) выкупил её у арийских румын, но потом пришли русские войска, и румынские соседи донесли, что Бэла была арестована гестапо. И выпущена! Еврейка выпущена гестапо! Шпионка, стало быть. Бэлу арестовали, допросили, отправили в Воркуту.

Колей Мерзлюкиным скрестила её судьба. Колю после тюрьмы увезли на поселение к уголовникам-убийцам в воркутинскую зону вечной мерзлоты, где и суждено было встретить Бэлу, отбывавшую сроки как немецкая шпионка.

—
Коля Мерзлюкин победно въехал на танке в Берлин весь в орденах. После капитуляции Германии восьмого мая можно было и разгуляться. И пора было разгуляться! Вот нашли танкисты кнайпу, пиво пили, песни пели. Скоро домой!

Но в кнайпе кончилось время танкиста. Злой Рок его там дожидался. Злой Рок сидел за соседним столом в облике недобитого фашиста, и глубокий шрам прорезал его лицо, и взгляд его был тяжёл, и «русише швайне» он кричал, и Николай, горевший в танке трижды, в фашиста кружку запустил. Убил!

Арестовали Николая, отвезли в воркутинскую тюрьму не видать родной Москвы, не видать отца и матери, и даже в первую оттепель завершить дни свои доведётся в глухой молдавской деревушке.

Что до орденов, то они, оказывается, где-то хранились для героя, но не для живого, а мёртвого. Следило ли недремлющее ОКО за течением и продолжением его столь значительной для государства жизни и окончанием её, неизвестно, а как только от внезапного сердечного приступа умер престарелый дядя Коля, так сейчас же из Москвы в молдавское село, где после воркутинского поселения довелось ему жизнь доживать, значительные люди ордена привезли, и за гробом на подушечке несли. Похороны москвича Николая Мерзлюкина сделались исторической страницей молдавского села, его единственной легендой-эмблемой такого пышного зрелища и собрания значительных лиц жители не видели никогда.

—
В начале тридцатых мой дед по материнской линии Ихил Лернер «Ихил дер Робер»

(Ихил рябой), так его называли из-за двухцветных усов — левый ус был светлым, а правый — чёрным, переехал из Бухареста в Бельцы и построил себе там дом, куда приходил и сам Штефенештер Ребе.

До войны город располагал колоритными улочками и своей песней «А штейтеле Бэльц». Синагоги стояли на каждом шагу, были ещё мужская и женская еврейские гимназии, еврейская больница, поликлиника, и ночной приют.

Торговые лавочки находились по одной стороне еврейских улиц, а по другой — дружно, идиллически теснились мастерские.

Мой дед Ихил Лернер и бабушка Мина Лернер, урожденная Лозман, успели эвакуироваться, на повозке доехали до станции Вапнярка, сели в поезд, увозящий их в Узбекистан, но погибли весной 1942 года, вероятно, от тифа в узбекском городе Наманган и похоронены в братской могиле.

За два года до смерти Сталина тётя Бэла, не знавшая ничего о судьбе родителей, оставив на время дядю Колю в зоне воркутинской мерзлоты отправилась на разведку. Сбежала Бэла с места поселения и направилась в молдавские в Бельцы в родительский дом, куда она так

и не доехала в июне сорок первого из-за ясного погрома, но там, как в песне «враги сожгли родную хату».

Брат Хаим поселился в Бельцах с женой по имени Фейгалэ, что в переводе с идиша означает птичка, и птичка оказалось той ещё птицей – из того же страшного фильма Хичкока. Хаим потерял свою птицу на дорогах войны, и, решив, что она погибла, женился на красивой, доброй женщине и родилась у них дочь, и все были довольны. Но однажды Хаим столкнулся на рынке со своей птицей судьбой, она произнесла страшные слова, глядя на него одним глазом (на втором было бельмо), и он, устранившись проклятий, мгновенно покинул новую жену с маленькой девочкой и вернулся к старой.

Хаим был весёлый красивый человек и мастер своего дела. Заготовщик – это вам не сапожник! руководил большой мастерской по пошиву обуви. Слава о нём дошла до Берлина. Однажды на флюмаркте (блошином рынке) я наткнулась на торговца, выходца из Бельц, и спросила его, знал ли он сапожника Хаима Лернера. Торговец был оскорблён моим цеховым бескультурьем. «Хаим Лернер никогда не был сапожником. Хаим Лернер был заготовщиком!» сказал он, глядя на меня сурово.

Вот как! Я, стало быть, принизила в своем значении покойного дядю Хаима, которого так любила! И умолчав, что я племянница дяди Хаима, ушла тихо, успокаивая себя мыслью, что нахожусь в другом эпохальном поветрии, стараясь не помнить! о том, что он не пустил однажды на порог, не приютил сбежавшую из тундры свою сестру Бэлу, которой, в отличие от библейских птиц, имеющих небесные гнёзда, негде было приклонить голову.

Обаятельный Хаим, шутки которого повторяли коллеги (вот, что вчера сказал наш Хаим!) был любимцем коллектива. Работа в его мастерской кипела, здесь шутили, веселились, пели песни. Сапожное мастерство определяло стиль и масштабы Хаима Лернера, некогда бухарестского мальчишки из бедной еврейской семьи, занесенного ветром истории в советский молдавский город.

Он привозил мне в Черновцы цеховые шедевры, навеянные духом уже не ремесла, а Ренессанса (не смейтесь над гиперболой моей!), сшитые им из лоскутков кожи разноцветные сказочные туфельки (например, синие с красным зубчатыми язычками туфельки с яркими шнурками, украшенные ещё и ещё чем-то, или же чёрные с блеском сапожки из мягкой кожи), и весь наш двор восторженно вздыхал. Он со мной всё время во что-то весело играл – может, тосковал по своей брошенной навсегда девочке?

Итак, Хаим Лернер жил в Бельцах с Фейгой на тихой, задвинутой в угол грунтовой улице Свободы, которую в дождливую погоду можно было преодолеть только в резиновых сапогах. Но за деревянными воротами шла другая историко-культурная жизнь: она дышала покоем и благополучием людей, которые недавно скитались по дорогам войны,

а теперь приобрели свой дом как будто бы навсегда. И, кажется, бессмертен здесь быт, и нет и тени отщепенства Бэлы, которая вотвот появится на пороге.

Деревянные высокие ворота я хорошо помню, они мне казались приветливыми, за ними в просторном дворе располагались полукругом три крепких дома, выложенных из какой-то особой смеси глины и ещё чего-то, и, чем больше они оседали в землю, тем крепче становились. Хаим жил слева от ворот в уютной квартире в сытости и довольстве.

Они обедали, когда на пороге появилась Бэла. Семья была наслышана о воркутинских «приключениях» Бэлы, и реакция Фейги была мгновенной, как будто она готовилась к появлению Бэлы. «Ах ты, шпионка немецкая, убирайся отсюда!» и крик её настороженным эхом разносился в гулком пространстве притихшего двора. А Хаим, а он молчал, сжавшись на стуле, не проронил ни слова. Он, стало быть, выгнал своим молчанием младшую сестричку на улицу. Слава Богу, это было летнее время года и надеюсь, что Бэла, прежде, чем направиться к нам, в Черновцы, нашла временное пристанище.

Между тем, Фейга, которая в моём присутствии дети ничего не понимают! постоянно ругала братьев и сестёр Хаима, заботливо купала меня в ванночке, когда меня привозили в гости, пекла любимое печенье, собирала в большой кастрюле абрикосовые косточки, которые я во дворе терпеливо раскалывала камнем, извлекая ядра. Слаб человек, слаб дядя Хаим, который не мог Фейге возражать, погрузившись в атмосферу её вечного скандала, и слаба Фейга в своём вечном гневе Ксантиппы и вечном страхе, что у неё такого замечательного Хаима отнимут, как уже однажды отняли война и другая женщина. А к тому же, и она успела заразиться сталинизмом, синдромом, от которого не избавиться, и, как ты не лечись, никакие припарки, эликсиры и прочие снадобья не помогают.

Не выдержав фейгиного диктата, Хаим умер в возрасте 56 лет от сердечного приступа. А Фейга – фейгеле птичка ему красивый памятник на могиле установила с чугунной узорной оградкой и приветливой калиткой можно зайти, посидеть, подумать и о смысле жизни. Лучшего памятника нет на всём еврейском кладбище!

—

Не потерять бы мне звена в цепи хода времени, не потерять бы местечка в переменах мест. Возвожу каркас без стен, сквозной и открытый. Поезд несётся сквозь ночь, мелькают за окном вагона станции, поселки, города Бухарест, Яссы, Берлин, Воркута, Зона Вечной Мерзлоты, Бельцы, и вотвот мы уже причалим к зеленому куполу черновицкого вокзала в стиле западного модерна со статуей богини Ириды на купольной крыше в окружении ангелов-хранителей. Но надо ещё просквозить транзитное местечко, в котором я родилась. А оно, транзитное местечко, внесено в мое свидетельство о рождении. С чего начинается родина? С погрома у нас во дворе. Я родилась в

сожженной фашистами молдавской деревне Рышканы, куда родители после войны приехали из эвакуации. В этой деревне уже после победы! молдаване убили моего вернувшегося из Самарканда деда Янкеля Полянского. В документе о смерти дедушки записано: «умер неестественным образом».

И прежде, чем я сейчас покину Рышканы, впечатанные намертво в мою метрику (я никогда на погромную родину не заглянула), сообщу факт, принадлежащий истории. Президент Германии начала десятых годов нынешнего столетия Хорст Кёллер из Рышкан. А точнее, мать президента родилась в Рышканах в 1904 году. А мой отец там же родился в 1908 году. Оба родились в достославном селе тогда, когда там господствовала ещё царская Россия с ограничительными правилами черты оседлости.

Но такого быть не могло, чтобы будущая мать немецкого президента родилась в еврейском поселении. Согласно немецким информационным службам, Рышканы поселение немецкое без намека на близость евреев. Тогда как «в русском» интернете Рышканы значатся как еврейское местечко без намека на приближение немцев. Я была так озадачена немецко-еврейским курьёзом, что позвонила в Израиль (ныне покойному) девяностолетнему дяде.

Мой дядя Йойна, названный в честь библейского пророка Ионы, житель библейского Назарета, урожденный рышкановец, сообщил мне, что в двух километрах от наших Рышкан, возле дачи Бирмана, очень богатого, очень почтенного человека, до Второй мировой войны процветало немецкое поселение.

Йойна пришёл в такой ужас от моего вопроса «ты там бывал?», что куда там страх пророка Ионы в чреве Левиафана, посланного Всевышним. Вдруг возникла черная безбожная тень гетто.

Черта оседлости образовала из еврейского и немецкого Рышкан параллельные миры. Иной раз не преодолеть и маленького пространства, хотя иные полагают, что мир тесен. И в нескончаемом кружении блуждаешь на крохотном куске земли, поскольку дальше идти не положено.

И все же, может, она, будущая мать будущего немецкого президента, видела моего папу? Может быть, на перекрестке дорог, у дачи Бирмана, на нейтральной полосе, немецкая десятилетняя девочка однажды столкнулась с мальчишкой из черты оседлости моим шестилетним папой? Мой папа умер молодым, когда мне было семь лет, и я о нём тоскую, и мне важно, видел ли его ещё хоть кто-нибудь?

—

После убийства дедушки уехали мы в Черновцы, где по слухам уже в 44-м пустовали квартиры. Мы почти опоздали: нам досталась квартира не в центре, а ближе к окраине без особенных красот и удобств, но с краном на кухне с округлой в орнаментах чугунной раковиной, под которой я долго просиживала, изучая её узоры.

Крышу нашего дома украшал весёлый дымоход в углу кухни, ближе к двери стояла пузатая печь, и мама пекла в ней круглые белые хлебы. В этих румяных, пышных, пышущих жаром хлебах – мудрый и высокий смысл простого быта послевоенного города, неторопливо просыпающегося, высвобождающего, и, не побоюсь банальности, расправляющего крылья свои после оккупационного паралича. И все соседи растапливали свои печи, и над сказочными домами поднимались ввысь тонкие струи дыма. Дымоход, печь и кран создавали ощущение незыблемости существования и сделались символами домашнего очага.

Помню призрачный маленький сад в светлой дымке с причудливо изогнутыми деревьями и раскидистыми узорными ветвями; на некоторых деревьях висели зеленые, не созревшие маленькие яблоки их легко можно было достать, а на других, высоких, длинноствольных призывные, но недостижимые ярко-красные, налитые, нарядные черешенки.

Тётя Бэла внезапно появилась в дверях сказочно яркая, наверное, потому, что в ушах были красные, как черешенки в нашем саду, клипсы, от которых я, пятилетка, не могла оторвать восхищенных глаз. Было очень шумно, обнимались, плакали, а мой папа бегал вокруг и приговаривал, что он ВСЁ устроит. (Это означало, что папу за взятку кое-кому пропишет к нам тётю Бэлу). Но кто-то из соседей... Опять соседи! Да что же это такое, братцы? Соседи дверь напротив нашей двери, бывшие полицаи выдали мою тётю Бэлу.

—

Входная дверь со двора в дом была двухстворчатая, верхние её половинки были застеклены и отделаны резной чугунной решёткой. Я недавно с помощью моего внука Феликса и «гугл-мэп» нашла этот двухэтажный дом с отчужденными, бесстрастными окнами. И с закрытыми наглухо воротами!

И, как я ни пыталась щёлочку найти, «заглянуть» в ворота, или за ворота, увидеть с орнаментом чугунные ручки входной двери «нашего» коридора (а они совсем близко, слева, у самых ворот), а может быть – о чудо! те самые густые непролазные колючие кусты диких роз во дворе перед нашими окнами, и те самые кусты сирени, ничего у меня не получилось. «Сцена» отделена была от меня видимой и невидимой преградой. Жизнь не струилась шелестом деревьев, трепетом листьев. И таким образом, по выражению Набокова, страстно тоскующем о детстве, мне выпало, как и ему, испытать разве что зыбкую «удовлетворённость страдания». Быть может, не было двора, быть может, мифологизировала его а заодно и старинную улицу, и булыжную мостовую, по которой не ездили машины, дома, как ангелы, и ангелочки на домах?

Итак, все двери в коридоре были двухстворчатые, отделанные обычными досками, а дверь напротив нашей была сколочена, как в

сарая, наскоро, из грубых, щербатых досок. Как будто бы враги огородились и затаилась в ночном дозоре. За кошмарной дверью за нами наблюдал бывшие полицаи, суровая парочка, благополучно пережившая жестокую черновицкую оккупацию, и до сих пор копошилась. Эти муж и жена были, на мой детский взгляд, похожи друг на друга, сутулые, одного роста, сухощавые, в чернильных тонах одетые.

Мне было строго наказано не вступать с ними в беседы, которые я очень любила. А в нашем дворе, а там нас было 33 ребёнка – мыслимо ли такое? со всеми другими соседями можно было сколько угодно разговаривать, веселиться, смеяться, петь и танцевать, а здесь, в коридоре – следовало быстро пройти и скрыться за нашей дверью, которая это же надо! была напрямую напротив вражеской двери! Эти соседи потом – уже после доноса на тётю Бэлу, а потом ещё и на моего папу – исчезли.

Однажды двое сердитых мужчин во всём сером пришли, когда мы с тётей Бэлой были вдвоём в квартире. Они велели мне сидеть на стуле и не двигаться. Так сурово со мной никто никогда не разговаривал. Я сидела на стуле между кухней и комнатой. Эти серые приступили к своему обыску, а тётя Бэла стояла в проёме двери и говорила: «Ну, хорошо, я виновата, что приехала без разрешения. Но эти люди ни в чём не виноваты. Зачем вы их обыскиваете?»

Серые личности вдруг прекратили обыск и сказали: «Чтобы через 24 часа вас здесь не было!» Уехала тетя Бэла на своё холодное поселение под Воркутой. Кстати, я единственный свидетель этой сцены, задаю себе вопрос: рассказала ли я родителям о том, как мамина сестра защищала их от энквэdistов? Вот – не помню я почему-то этого. Запоздалое свидетельство записываю, ибо, как сказано древними, слова улетают, а то, что записано остаётся.

—

Что же сделать для того, чтобы связи неблагоприятного сюжета не успели ещё окрепнуть? Как обмануть судьбу? Бэла жертва судьбы, как в античной трагедии, причём, жертва повторяющихся ситуаций: её всё время кто-то выдавал предавал, учуяв животным чутьём её отверженность, «фогельфрайство»!

Спустя годы тётя Бэла мне, школьнице-старшекласснице сделала такое признание: «Я никогда никому не скажу больше ни слова о яском погроме. Мне никто не верит, что был такой погром, считают обманщицей или сумасшедшей». Ей суждено было, как в сказке Андерсена, поверять свои тайны колодцу, который умеет слушать, эхо, возникающее в нём, негромко и быстро замирает. Время разоблачения Холокоста в Румынии и на оккупированных нацистами территориях СССР тогда не пришло, вернее, не совсем пришло.

Впоследствии, после воркутинского поселения, когда в молдавском селе от сердечного приступа умер дядя Коля, и тётя Бэла осталась одна,

её опять выгнали на улицу в другом месте – в молдавском городе Орееве.

В Берлине мне рассказали, что некие люди за небольшую плату сдавали ей комнату, но вели себя с бывшей узницей так же, как и предыдущие соседи, бесцеремонно, разве что не доносили. И почему-то не угасала её красота, глаза светились по-прежнему особым блеском, она курила папиросы, как и все бывшие ссыльные, и не замечала убожества вокруг неё. Как будто бы. Да, прощала неразумным соседям глупость и ограниченность. Но по вечерам кровавые тени той страшной бойни сокрушали её.

—

Прошло столетия и выяснилось, наконец, что именно ясский погром, замалчиваемый при советах одно из отличительных событий Второй мировой, поскольку речь здесь шла (как и в концлагерях) о расчеловечивании человека, у которого на фасаде дома нет креста! Новая власть во главе с Антонеску, приказала не только местным властям, полиции и прочее, но и горожанам – евреев убивать. И друзей-евреев убивать, в гости, к которым захаживали горожане на еврейский пасхальный седер. Мацу еврейскую они пробовали и говорили, что это, как в нашей церкви – облатки. Несмотря на православие местного замеса, ели мацу, фаршированную рыбу и всё остальное еврейское пасхальное, поздравляли с праздниками, обсуждали всевозможную политику, погоду и прочее житьё-бытьё.

А нынче дан приказ: убивать друзей-евреев в домах, убивать на улицах-переулках, дворах и домах. И сказано: убиение сие богоугодное. За нами крест!

Лет пятнадцать тому назад, случайно, я включила телевизор и услышала траурное пение кантора. «И упало каменное слово на мою живую грудь»: «Яссы». Кантор пел у обелиска, открытого к семидесятилетию ясского погрома, и я вспомнила слова Бэлы: «Никто мне не верит!» И увидела я скромный обелиск. И сиротливо ютились подле него выжившие жертвы, группа стариков. А Бэла, скитавшаяся по чужим пространствам и временам, нашла уже своё последнее прибежище на израильском кладбище города Бер Шева.

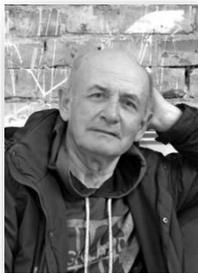
А могла ли она, залетная птичка «фогельфрай», официально участвовать в церемонии, она нежительница Ясс, транзитная пассажирка, выжившая ещё и потому, что не было у неё в Яссах собственного дома без креста.

—

Всё пытаюсь представить финал ясской бойни лета сорок первого года. Ну, что же? Наступила ночь, а затем утро и... Нет, не запели утром петухи, эти скромные вечные труженики, отгоняющие прочь всякую

накопившуюся за ночь нечистоту. И ветки деревьев, испытавшие свой смертный час, дрожали. Огромные внимательные птицы, сидевшие на ветках, с необычайно большими глазами, смотрели пристально, испытующе в окна людей, совершивших всем национальным коллективом злодеяние.





Алесь Поплавский (Беларусь)

Член Союза белорусских писателей. Автор нескольких книг прозы и поэзии. Стихи публиковались в Литературнопублицистическом журнале «Литерра нова», в альманахах: "Другие времена" изд. "Алетейя", Санкт-Петербург. 2021г. "Зимние сны" изд. "Алетейя", Санкт-Петербург. 2022г. и "Главный стих 2022", "Книга ру", Барнаул, 2023 г., в коллективных сборниках: "В контакте со Вселенной" и "Автор года 2024", 2024г. издательство «Ridero». Премия Международного Союза русскоязычных писателей "Автор года 2024", номинация "Поэт года". Международный поэтический конкурс «Я только малость объясню в стихе 2022» (шортлист)

КАМЕНЬ

* * *

Открой окно, лови закатный свет.
Лови на стёклах сполох бирюзовый.
Его уже не выдернуть без крови
из тьмы, сводящей всё вокруг на нет.
Где грусть моя, вскормившая меня,
к ногам чужим на грязную брусчатку,
бросает, словно белую перчатку,
скудную тень сгорающего дня.
Эпохи ускользящей фрагмент,
в игре недостающий паттерн пазла.
И я, как воскрешённый Богом Лазарь,
расплачиваюсь мнимостью взамен.
И всё вокруг не то, и все не те...
Неважно что: пустыня это, степь ли...
Мне кажется, мы все чуть-чуть ослепли,
самих себя не видя в темноте...

* * *

Бескрайний немой горизонт чист и светел.
В пространствах не вьюжат метели...
Проснусь, как когда-то давно на рассвете,
я в маминой тёплой постели.
Один, словно перст, в тишине антикварной.
И только в тени занавески,
её влажный взгляд с фотографии старой,
как взгляд с Рафаэлевой фрески.
В бездонных прорехах на небе бесцветном,
усталое солнце маячит.
Слезятся глаза её: "Как ты там в этом,
безвременье судном, мой мальчик?.."
Меняют дожди февраль на апрели.
Камзол меховой на холщёвый...
"Скажи, с кем ты дни свои скудные делишь,
мой ветреный, мой непутёвый?.."
Мелькнёт чья-то тень у стены в полушаге.
С постели вскочу наудачу.
Коснусь лоскута пожелтевший бумаги,
и тихо, беззвучно заплачу...

* * *

Ни Христа, ни пророков, ни Будды...
Лишь на сердце рубцы да следы
раскрещённых, расхристанных будней,
как предчувствие близкой беды.
Мне б, конечно, смеяться со всеми,
в ожидании праздной тусы,
наблюдать торопливое время,
бесконечно смотря на часы,
и брести в никуда январями,
полагаясь, как все, на авось...
Помолись за меня в этом храме
безутешных невидимых слёз!..
На пороге обещанной Пасхи,
где осталось – ребёнку сродни –
мне, как в детстве картинки-раскраски,
разрисовывать радостью дни...

КАМЕНЬ

Я тенью был – безгрешной и невинной,
когда Твой дух носился над пучиной.
Когда сей мир срединный в горних высях
считал себя святым, я торопился,
смотрелся в святость чёрных циферблатов,
в рассветную печаль и в мрак закатный.
Разматывали медленные стрелки
немую вечность... Все казалось мелким.
И таял миг за мигом в прошлом... Либо,
терялся в швах разодранных изгибов.
И вот меня опять, как в коем веке,
целуют ночи в сомкнутые веки.
И в кукольных рождественских вертепах,
дни новые чужие тени лепят.
Ваяют мир присутствия и тлена
рукой непревзойдённого Родена...
В нездешней тьме ночной первопричинной,
оставь меня быть камнем, а не глиной...

У ДВЕРЕЙ МОИХ...

Всё исчислено, порознь взвешено...
И в мой сон,
входит утро почти безгрешное,
блеском солнц,
в тесноту узких улиц вклинившись,
тьму обжив,
разбросав у ног божьи линии
вкось и вкривь.
В неоглядной тщете окраинной,
фонари,
словно лица ослепших Каинов
в тле зари.
Словно блик красной мглы на гравии,
павших ниц,
никогда не воскресших Авелей –
душ без лиц.
У дверей моих чей-то грех лежит,
словно тень.
Не споткнуться бы и войти без лжи
в новый день

Только пялится утро раннее
мне вослед,
как на отданный на заклатие
силуэт...

* * *

Пустынных мокрых улиц нагота,
как тень от исполинского креста.
Из чрева старых башенных часов
выглядывает новый день Христов.
И где-то в сонных скверах по глотку
пьёт осень нашу давнюю тоску.
В глазах твоих под нежной кожей век,
как в зеркале, фальшивый этот век –
с ликующими толпами льстецов,
с улыбками, грязнящими лицо,
с несбыточностью смутных сладких грёз
и реками невыплаканных слёз...
Деля груз данной ноши на двоих,
мы, так же как и тысячи других,
насытившись бессонницей ночей,
привычно входим в этот день ничей,
мечтая снова каждый о своём –
я думаю о ней, а ты – о нём...

В ПРЕДВЕРИИ...

Внутри вневременных неразберих,
кочую впопыхах по октябрю.
В чужих домах ночью, как в своих.
Живу, как по адвент-календарю,
На плюшевых диванах мягких сплю
у тех, кто ничего не обещал.
В объятиях химер пустых – как шлюх –
кантуюсь в тесноте былых общаг.
Приладившись к ментальной хромоте,
то крадучись, то вёртко семеня,
таскают за собою дни, как тень,
лукавого, нездешнего меня.
Из ночи в ночь, из дома в чей-то дом,
как мысль в небытие из бытия...
Всё умерло, кажись, что было «до».
И я уже, как будто, и не я.

Ни цента, ни полцента на счету.
Ноябрь в окне и ночь уже близка,
как этот учащённый сердца стук
во внутреннем кармане пиджака.

* * *

У алтарных святынь предрассветных,
на краю ускользящей тьмы,
ледяные, колючие ветры
покаянные пели псалмы.
Неземные пространства краснели,
омывая в бордовой воде,
будто в Овчей крестильной купели,
роковой распелёнутый день.
Стыл рассвет, на вчерашний похожий...
Горизонты дымились вдали...
И кукожилось сердце под кожей.
И мурашки по теле ползли.
Неприкаянный призрак муссонный
расцарапывал сонную мреть.
И мне слышались вздохи и стоны,
уготованных жизнью на смерть...

* * *

На зелёных полотнах штапельных
маков крап.
Одинокие всхлипы капелек:
кап да кап.
Словно тиканье старых ходиков:
Тик... тик-так...
С ритма сбившихся в беге, вроде как –
скверный знак.
Дни спешащие, как прохожие –
без конца.
Друг на друга во тьме похожие,
в пол-лица.
Прилепившийся эхом прошлого
к тишине,
я, как тень от цветка проросшего,
в чьём-то сне.
Как давным-давно тихо умерший
громкий смех,
просочившийся в эти сумерки,

словно грех.
Я, как ношенный-переношенный
давний страх,
на пути чужом жизнью брошенный
впопыхах.
В толще лет, словно в чреве матери –
гол, как перст...
Чем вам груз этот не распятие?
Чем не крест?
Улеглась синева на плечи мне –
весь в шелках...
И, как Он, пригвождён я к вечности
на века.

СОН

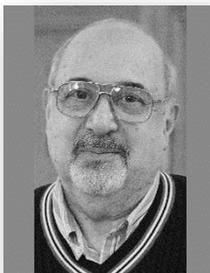
Девочка милая, девочка-ветер!..
Спелым подсолнухом ночь на рассвете.
Даль полусонная. И не фасонно
чёрное с белым на жёлто-зелёном.
Палые листья – ненужная ветошь,
райские дни облетевшие с веток.
В тесном пространстве чужом, непогожем,
ты в этом платье на лето похожа.
Девочка милая, капелька света!
Что ты здесь делаешь в осени этой?
Что ты забыла здесь, солнышка лучик?
Я для тебя ненадёжный попутчик.
Я для твоих неподвластных величий
слишком неправильный и архаичный.
Время безжалостно и вероломно...
Девочка милая!.. Ты только сон мой...

РЕКВИЕМ УХОДЯЩЕМУ

Словно дикую поросль по лету
разбросало нас время по свету.
Разделив обречённую осень
епитимьей на "до" и на "после".
Где-то там далеко, в устье Леты
Изливаются кровью рассветы.
И дожди, и снега, и туманы,
как токсичная мирра на раны.

Всё ещё в том безумно далеком
видим мы свой спасительный кокон.
И, как всеми отвергнутый нищий,
в посторонних глазах себя ищем.
Огрызаются в след эти дали...
Жизнь сведёт нас друг с другом едва ли.
За семью горизонтами где-то
угасает вчерашнее лето.





Владимир Делба / Россия /

Прозаик, поэт, эссеист. Родился 24 мая 1946 г. в Абхазии. Секретарь Ассоциации писателей Абхазии, член Союза литераторов России, Союза писателей XXI века. Сопредседатель литературного Совета Ассамблеи народов Евразии. Член редакционных советов: газеты «Поэтоград», журнала «Новые витражи». Автор девяти книг. Дипломант 26-й Московской международной книжной выставки-ярмарки 2013 г. Лауреат Международного конкурса «Живая связь времен», 2014 года. Первое место за книгу – «Амра, галеон юности моей» в номинации «Творческий поиск». Лауреат Международной Премии имени Леонардо да Винчи за 2016 год. Лауреат Международной литературной премии им. Фазиля Искандера за 2019 год. Первое место в номинации «Проза».

ЛЕТО, НОЧЬ, ЛУНА...

Женщины любят рассуждать о доле своей безрадостной, причём и в тех случаях, когда жизнь их складывается достаточно комфортно и даже счастливо. Мужчины же, наоборот, крайне редко жалуются на что-либо, в том числе и на судьбу.

Так уж заведено, так заложено природой – каждому полу свой генетический код поведения, свой психологический статус. Хотя причин для грустных мыслей у некоторых наших мужчин-южан более чем достаточно.

Растёт, скажем, в благополучной семье мальчик. В детстве родители выбирают ему школу, решают, заниматься ли, дополнительно, музыкой, спортом или нет. Потом «устраивают» в ВУЗ, не спрашивая, нравится ли отпрыску будущая профессия.

Ну, и в один прекрасный день объявляют, что подобрали ему невесту, более того, уже сосватали и свадьба состоится такого-то числа.

И на вопрос жениха, кто же та, которой суждено его осчастливить, отвечают, что она из хорошей семьи, папа у неё бухгалтер, мама врач, они близкие родственники дяди Раждена, который сам прекрасный человек и к тому же друг деверя нашей золовки, тётки Розы.

И неважно, что у избранницы одна нога короче другой, врождённый астигматизм и лёгкое заикание, главное – она тихоня, хорошо варит фасоль, ну а насчет её семьи мы уже говорили.

Ну, и как, имеет право такой джигит немного посетовать на жизнь? А ведь он не жалуется, ибо в жизни мужчины есть масса других приятных вещей, помимо домашнего очага. И потом, рядом всегда верные, находчивые и весёлые друзья. (Товариш-ш автор, не пора ли ближе к теме? Конечно, пора)!

Итак, лето, ночь. В собственном доме, в комнате, выходящей окнами в сад, в огромной двуспальной кровати из румынского гарнитура, подаренного на свадьбу, мирно спят обессиленные от жары и страсти молодожёны.

Спят все в большом доме, спит город, только со стороны вокзала изредка слышны короткие и негромкие свистки маневрового локомотива.

Не могу утверждать, что у молодых это первая брачная ночь, но что пока медовый месяц – факт.

Неизвестно, что видела в ту ночь во сне жена. Мужу же, с его слов, снилась, в тот момент, другая, незнакомая женщина, редкой красоты, нежная и искушенная в ласках.

И пока наш герой млеет в её объятиях, радуясь, что ему выпало счастье обладать такой райской птицей, у его новой партнерши вдруг стали расти, как у друидов, густые усы и борода, из жестких самшитовых веточек. Один листочек попал прямо в ноздрю и защекотал, джигит чихнул... и проснулся.

Бородато-усатая дева растворилась в жарком ночном воздухе, но в прямоугольнике распахнутого окна объявился неясный мужской силуэт.

В одной руке, протянутой в направлении кровати, человек держал ветку, которой щекотал нос молодожёна, другой же рукой подавал некие знаки, означавшие, что необходимо подойти к окну, соблюдая осторожность и тишину.

Окончательно пробудившись, наш герой узнал в ночном госте одного из своих друзей.

Уже у окна тот поведал жарким шёпотом, что узрел на площади у вокзала двух девушек. Поезд пришел с опозданием, городской транспорт уже не работал, такси ночью в городе большая редкость, в общем, проехать мимо было бы ошибкой, если не сказать – преступлением.

– Пока, суть да дело, я завез их в рощу, на улицу Геловани, чтобы никто к ним не пристал и обещал договориться об устройстве в гостиницу или на квартиру. Короче, они ждут и есть шанс их быстренько «обработать». Чувихи классные, москвички, и потому шустро ныряй ко мне в машину и вперед, с песнями. Никакие возражения не принимаются. Твоя спит, как убитая, а то, что ты в трусах – не страшно, они у тебя спортивные и сойдут за шорты. По коням!

Небо к этому времени очистилось от облаков, и на черном звездном полотне во всей красе повисла китайским фонариком луна.

Через несколько минут «Волга», пролетев ночной птицей по пустым улицам, взобралась по склону горы и с выключенными фарами остановилась у эвкалиптовой рощи.

Водитель несколько раз негромко окликнул девушек, но роща ответила молчанием.

Тогда, оставив друга в машине, новоявленный дон Жуан отправился на поиски.

– А теперь начинается, – как обычно объявлял вокалист из модного ресторана «Мерхеули», незабвенный Реваз Халатов – вторая, основная часть нашего вечера.

Дело в том, что в нескольких десятках метров от дороги, на противоположной стороне рощи, находилась городская психиатрическая лечебница, в народе называемая сумасшедшим домом.

Представьте, лето, ночь, луна. Вдруг, в дверь клиники упорно кто-то звонит. Перед заспанным дежурным врачом предстает молодой, хорошо одетый, явно образованный и воспитанный молодой человек. Он с дрожью в голосе рассказывает о несчастье, постигшем его ближайшего друга.

– Доктор, в последние дни он стал неадекватен и агрессивен, постоянно требует женщин, и не видя содействия окружающих, бросается на них с ножом.

– Обычное дело, – зевнув, произносит врач. – Это обсессии или делириум тременс, последствия белой горячки, возможно. Давайте адрес.

– Адреса не нужно, доктор, больного обманом удалось усадить в машину. Он в одних трусах сидит на заднем сидении.

Врач снова зевает и нажимает кнопку вызова санитаров.

«Волга» с выключенными фарами стояла под сенью эвкалиптов, над кустарником стелился ночной туман, в котором возникли неясные фигуры каких-то здоровяков. Совсем, как в модной тогда песне «О-Бала, Бала, из леса вышли два амбала». Амбалы приблизились к автомобилю и склонились к открытому окну.

– Извините, уважаемый, Вы кого-то здесь ожидаете?

– Да, жду приятеля, а кто вы?

– А Ваш приятель где?

– Он пошел за женщинами, ожидающими нас в роще. А вы-то кто? Я так и не понял.

Пришедшие переглянулись и утвердительно кивнули друг другу.

– Ну, мы вообще-то друзья вашего приятеля, женщин разместили на квартире поблизости, а нас послали за Вами. Пойдемте, здесь недалеко, но машина к дому не проедет, так что прогуляемся пешочком.

– Так я же в одних трусах.

– Так трусы же у вас спортивные, к тому же ночь.

Напоминаю, дело происходит в те благословенные Времена, когда подобные ситуации в нашем городе не вызывали и тени опасения или страха.

Поэтому наш «спортсмен» спокойно вышел из машины и направился в полной темноте за незнакомцами.

В темноте же со скрипом открывается, а затем клацает замком,

тяжелая дверь. Через минуту окрестности оглашают истерические крики:

– Вы что, суки, творите? Отпустите меня сейчас же, да я вас, тварей, порву на части, изрежу на мелкие кусочки, дайте телефон, а-а-а...

Другой голос устало произносит – В шестую его, в шестую.

И над тёмным зданием лечебницы, над тихо шепчущими в ночи деревьями, вновь воцаряется тишина. Небо начинает понемногу светлеть, луна становится почти неразличимой.

Наступает утро следующего дня, воскресения. Один дежурный врач сдает смену другому, они неспешно беседуют за чашечкой ароматного кофе, сваренного сиделкой.

– Как прошла ночь?

– Да обычная скукота. Но ты знаешь, к нам чудика одного доставили, так он нас позабавил немного. Представляешь, бросался на друзей с ножом, чтобы баб ему дали. Его друг схитрил и сказал, что нашел ему девок, сразу двух. Мол, на Геловани, в роще они его ждут, усадил мудака в машину и притащил сюда. Он, баран, такое здесь учинил! Орал, что порежет нас, козлов, на куски, секретарю обкома сообщит, сказал, что у него папа профессор, друг нашего главврача.

Но тот, кто его привёз, утверждал, что родители больного – обычные крестьяне, живут в селе, в Гальском районе. В общем, поместил я его в буйную, шестую, естественно, в рубaxe. Всю ночь бузил, сейчас, видимо, спит. Типичное обсессивно-компульсивное расстройство, отягощенное агрессивным маниакальным синдромом, подобное описывал доктор Жданов. Посмотришь его?

– На кой он мне сегодня нужен? Вот завтра, в понедельник, все врачи и лаборанты будут на месте. Тогда и решат, за кем его закреплять и как лечить. А сейчас пусть вкаты успокоительного побольше. Хоть поспит Итак, воскресное утро. Летнее солнце щедро заливает горячими лучами большую светлую комнату, где в огромной, румынского производства кровати нежится и никак не хочет пробуждаться молодая жена нашего героя.

Утренний сон особо сладок, но, а вдруг, постучится в дверь свекровь и строго спросит, где утренний кофе для ее любимого сыночка. Или свекор, профессор, глядя поверх очков, заметит, что по традиции именно невестка должна вставать раньше всех и готовить завтрак на всю семью.

Поэтому женщина с трудом приоткрывает один глаз, затем другой, и с удивлением замечает отсутствие мужа на его законном месте. Может, он в душе или делает в саду зарядку, или поднялся на второй этаж к родителям?

Но в душе тихо, в саду никого нет, и в комнату родителей её муж вряд ли бы пошёл с утра.

Надев халат, женщина тихонько отправляется на разведку. Ванная комната пуста, кухня тоже, со второго этажа из гостиной доносятся

обрывки разговора, это мирно, вполголоса, беседуют родители мужа. Преодолев неловкость, невестка поднимается к ним по винтовой лестнице.

Родители мужа нежно, но с удивлением глядят на молодую жену сына, на свою новую родственницу.

– Что, деточка, тебя побеспокоило, наш уважаемый отпрыск еще, небось, спит?

– Да нет, он уже встал, но внизу его нет, и я подумала, может, он с вами.

– К нам он сегодня не заходил, наверное, пошёл к соседу через дом. Они, по выходным иногда играют в нарды, ты не беспокойся, он скоро придёт, выпей с нами чая. Я с утра уже испекла каду и яблочный пирог.

– А это удобно?

– Деточка, теперь это твой дом, ты наша дочка, для тебя удобно – всё! За чаем невестка вдруг вспоминает важную деталь.

– Вся его одежда висит в шкафу, нет только тапочек!

Чаепитие затянулось до середины дня.

– Видимо, мужчины заигрались, – глядя на часы, говорит свекровь, – пожалуй, я схожу за сыном и напомним, что он теперь человек женатый. Но довольно скоро она возвращается с озабоченным видом.

– К соседу он сегодня не заходил, ума не приложу, где может быть. Скорее всего, пошел на охоту, хотя к охоте, обычно, готовятся загодя, с вечера, и он всегда предупреждает нас. Калистрат, оставь, наконец, свою газету, и скажи что-нибудь, речь ведь идет и о твоём сыне тоже! Вдруг с ним что-то случилось?

– Что может случиться с взрослым, образованным человеком в нашем маленьком, мирном городе? Да где-нибудь с друзьями загулял.

– Бросил он меня, несчастную, бросил, – вдруг начинает голосить невестка. – Есть у него другая, есть!

– Прекрати истерику, – впервые повысила голос свекровь, – у всех у них есть зазнобы на стороне, даже у присутствующего здесь профессора, как правило, после всяких партсобраний и научных конференций глазки подозрительно масляные бывают. К этому надо привыкать, но не в медовый же месяц? Это, по-моему, перебор! Давайте успокоимся и попробуем проанализировать ситуацию. У соседа его нет, охоту и женщину мы исключаем, да, да, исключаем. Значит, что? Значит, у кого-то из друзей банальное застолье. Произнесут тосты, выпьют море вина, и наш уважаемый общий родственник припрётся домой. Фу, как я раньше этого не поняла! Так что надо просто ждать и не паниковать!

Но к вечеру паника стала полновластной владелицей всего большого дома.

Уже обзвонили всех друзей, выяснили, что никто не знает ни о каких банкетах и застольях, что ближайший друг, самый главный гад, соблазнитель, гуляка и эпикуреец, единственный на весь город владелец автомобиля «Волга» еще на рассвете отбыл в аэропорт

Адлера, откуда улетел в Узбекистан, на военные сборы, на три месяца. В милиции, слава Богу, нет данных о каких-либо происшествиях, в мормги города, за последние сутки, «поступлений» тоже не было.

Новестка пребывает в полной уверенности, что молодой муж, всё-таки, её бросил, променял на другую и т. д., и т. п.

Время, увы, остановить невозможно, и вечер незаметно переходит в долгую, бессонную для обитателей дома ночь.

Наутро главный врач психиатрической лечебницы появляется на работе раньше обычного, расстроенным и нервным. И на вопрос: что случилось, отвечает, что у его близкого друга, профессора, пропал единственный сын.

– Надо же какое совпадение! – отзывается дежурный врач.

– У нас новый буйный пациент появился, он тоже выдает себя за сына профессора. Его в ночь на воскресенье друзья привезли, пришлось в шестую поместить, держим на транквилизаторах, хотите взглянуть?

– Не до пациентов сейчас, – говорит главврач, и вдруг, бледнея, шепотом спрашивает:

– А фамилию свою он называл???

Услышав ее, хватается за сердце и уже кричит во весь голос:

– Срочно откройте шестую и телефон мне, быстро телефон.

Через десять минут «буйного» пациента, ошалевшего от снотворного, яркого солнечного света и суеты вокруг его персоны, забирали домой заплаканные родители. С эскортом из двадцати автомобилей, принадлежавших друзьям и родственникам, которые дежурили с раннего утра около дома и принимали посильное участие в розысках, наш герой вернулся домой.

Поблагодарив всех, страдалец принял холодный душ, надел чистую одежду, взял из специального шкафчика ружье, несколько патронов с пулей «Жакан» (на медведя), сел в машину друга, и назвал адрес.

– Неужели это его работа? – удивился ошарашенный друг. – Но он еще вчера рано утром уехал на сборы, куда-то на полигон в Средней Азии, его не будет несколько месяцев.

Далее события развивались как в сказке о Старике Хоттабыче, только с точностью наоборот.

Помните о втором джинне? Так вот, сначала он обещал озолотить открывшего бутылку, потом, только, обняв, поблагодарить его.

Но, спустя века, озверев в заточении, пообещал избавителя убить.

А вот наш герой сначала поклялся обидчика, как паршивую собаку, пристрелить! Спустя несколько недель пообещал жестоко избить, потом принял решение плюнуть ублюдку в лицо, а еще позже заявил, что никогда не подаст ему руки.

Прошло время и в один, как говорится, прекрасный день, сидя с друзьями за бокалом домашнего вина, он вдруг с восхищением воскликнул:

– А ведь этот гад создал шедевр, сотворил розыгрыш самой высокой

пробы! Надо же, додуматься до такого, да так всё рассчитать! Пожалуй, при встрече, я обниму его и пожму руку!

Именно так, в конце концов, и произошло!

Ах, Сухум, Сухум! И эти летние лунные ночи нашей юности!

P.S. Много лет спустя, приехав летом в родные края, я встретил в кофейне «Брехаловка» автора розыгрыша. Сидя за чашечкой кофе, мы вспоминали юность, вспомнили и это происшествие, и я не удержался от соблазна высказать, задним числом, мое восхищение гениальной режиссурой. Мой собеседник замахал руками:

– О чем вы все говорите? Это самый большой провал в моей практике розыгрыша! Я допустил непоправимую ошибку, заставил незаслуженно страдать родителей и молодую жену. По моей задумке наш герой должен был попасть домой утром следующего дня.

Но я, идиот, перепутал субботу с воскресеньем! Уж лучше бы он меня, действительно, тогда пристрелил!

КАРЛОВ МОСТ

Ирэне Ссанс

Моравский брют, миндаль и плед,
Над Влтавой вечер летний тает,
Старинных шпилей силуэт,
И где-то музыка играет.

Скрипит печально старый плот,
И странной временной дилеммой
Плывёт над волнами фокстрот,
Чуть слышной музыкальной темой.

Скульптуры Карлова моста
В реке, качаясь, отразятся,
Печаль отступит... Неспроста
Тот плот и музыка мне снятся.

* * *

Из тетради – «На волне любимых стихов»

Было что-то? Не помню. Не плачу,
Не зову, даже если я рядом,
Угасающих дней листопадом
Трачу золото осени, трачу.

Серпантины дорог в одночасье
Первым снегом, как пледом, укроет,
И безумства мои успокоит
Белизна, хоть на время, согласьем.

Незаметно свеча догорает,
Тает воск в ожиданье рассвета...
Было, было! Когда-то и где-то!
Знаю я! И она это знает!

Что-то в памяти вспыхнет, как порох,
Женский профиль в обрывках сознания,
Где-то там! В глубине мироздания.
Но и там только шёпот и шорох

Тает воск, вот рассвет подступает,
И свеча, наконец, догорает.

* * *

Колючий ветер, вечный странник,
Прорвавшись к морю из-за гор,
Холодной осени посланник
Озвучил лету приговор.

Дождём обрушился на крыши,
Рассеяв стаи сонных птиц,
И дробью барабанной свыше,
Как гром небесный, рухнул ниц.



Накрыл мелодией печали,
Дворы и танцевальный зал.
Смогу ли пережить? Едва ли,
Холодный долгий сериал.

Зимой морозной у камина
Стихов моих продлится нить.
Свет ночника, стаканчик джина,
Не стану время торопить.

* * *

Теней неясных хоровод
Едва на стенах различаю,
Я сам себе грехи прощаю,
Печальный провожая год.

Заносит снегом старый дом
И вдаль бегущую дорогу,
А память лепит понемногу
В душе холодный снежный ком.

Закрыв в себя я тайный ход,
Готов принять судьбы решенье,
Почти не мучают сомненья,
Что б не сулил небесный код.

В далёкой призрачной стране,
Где ветер свеж и звёзд обилье,
Стихи, как эльфов легкокрылье,
Раскроют тайну смыслов мне.





Саша Зеленская (Швейцария)

Саша Зеленская родилась в 1968 году в Ленинграде, в семье военного моряка. Жила на Камчатке, в Новосибирском Академгородке и Москве, а затем в Швеции и Америке. Последние 20 лет проживает в Базеле, Швейцария.

Окончила Биофизический факультет Стокгольмского университета и Фарма факультет Университета города Бордо. Защитила диссертацию в Каролинском Институте по нанотехнологии. Работает в области медицины. Интересуется поэзией и искусством. Стихи пишет с детства. Автор поэтического сборника «На краю вселенной» (2014) и двуязычного (*русско-французского, немецкого и английского*) сборника детских стихов-загадок «Звериный калейдоскоп» (2018–2020). Её стихи публиковались в детском журнале «Ставроша», французском подростковом альманахе «Сверчок», украинском литературном альманахе «Порог» и американском литературно-художественном альманахе «Чайка».

Занимается популяризацией русской культуры и поддержкой русского языка дальнего зарубежья. Принимает участие в ежегодной Ярмарке Русской Литературы в Париже и конференциях учителей русского языка в Европе. В поэтических союзах не состоит. Можете модифицировать текст на своё усмотрение.

* * *

Сумерки, комната, свет проникает
Тоненькой струйкою перетекает
С шёлка подушки на нежную кожу.
Я не коснусь вас и не потревожу.

Спите спокойно, прекрасная дама,
Вся из ребра и из плоти Адама.
И, обладателем первой из дев,
Так и уйду, разбудить не посмею.



* * *

В позабытом прошлом
Мой далекий дом.
Светится окошко,
Тихо все кругом.

Снег лежит периной,
Покрывая двор
И кусты малины,
Улицу, забор.

Все вокруг застыло,
Свет и тишина.
Над трубой повисла
Новая Луна.

А внутри домишка
Кошка на окне,
Старенькие книжки,
Коврик на стене.

Шебуршатся мыши
В выжженной золе.
Мирное затишье
На моей Земле.



* * *

Мне снились маки в хлебном поле,
Трепещущие на ветру.
На лепестках, как капли крови,
Роса алела поутру.

И золотился хлебный колос,
И в небо взгляд стремился мой,
А я бежал, и ветра голос,
Как мама, звал меня домой.



МОЁ ГНЕЗДО

Моё гнездо с тремя птенцами
На древе жизни приютилось.
И я с мальчишками – юнцами,
Как в первый раз, летать училась.

Пока они ещё неловки,
И попережку перья с пухом,
Полёт – он требует сноровки
И воли, чтоб не падать духом.

И я, как курица над ними,
Пою, кормлю, переживаю.
Но день настал, и вот отныне
Им двери жизни открываю.

Теперь они, как птицы, вольны
Лететь туда, где солнце краше,
Где рыба водится, и волны
Переполняют моря чашу.

На всё на свете Божья воля,
Но тяжела нам доля наша.
И я в пустом гнезде от горя
Реву, как глупая мамаша.



* * *

Я не вернусь, мой выбор сделан,
Туда, где сердце я оставил.
Не оглянувшись, шагом смелым
Вперёд себя идти заставил.

Но поступь, твердая, как кремень,
Ворвётся эхом в дом закрытый.
А за спиной – ветра и темень
Скрывают в прошлом мир забытый.





Юрий Радзиковицкий /Германия/

педагог с сорокапятилетним стажем, проработавший многие годы в системе народного образования Ставропольского края: учитель русской словесности, инспектор отдела образования, директор гимназии. С 1999 года проживает в городе Эссен, Северная Рейн-Вестфалия. В течение десяти лет работал в Воскресной школе, обучая детей чтению и основам правописания по разработанным им авторским методикам. Издаваться начал с 2012 года. С того времени по настоящий момент им было опубликовано десять книг разной жанровой направленности. Наиболее значимыми из них являются «История Листии», пособие для родителей по обучению детей чтению на русском языке, 2012; «Потаённые смыслы», курс понимающего чтения для старшеклассников, 2014; «Оригами бытия», собрание эссе, мемуаров, новелл и повестей, 2018; «Макабрические анекдоты», сборник рассказов в жанре антиутопии, 2021; «Особняк на Романовском проспекте», сборник новелл в жанре саспенс, 2022; «Экзерсисы», издание, состоящее из произведений последних лет, 2024.

МЕТАМОРФОЗЫ АДЕЛАИДЫ, ИЛИ ЭКЗИСТЕНЦИЯ БЫТИЯ

Состояние в свете бытия
я называю экзистенцией...
М. Хайдеггер

Бытие есть, а небытия нет.
Парменид

Бытие жизнь, существование.
Словарь

Река Завидовка в полной мере могла быть той данностью, что сподвигла Льва Толстого на часто цитированное потом суждение, что «люди как реки. <...> Каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то холодная, то мутная, то тёплая». Завидовка, имея в виду себя, могла бы добавить к этому: то глубокая, то ленивая, то мелкая, то озорная. то прозрачная, то своенравная, то мутная, то прозрачная, хоть ребра считай у плотички. И, несколько подумав, присовокупила бы – и, конечно, счастливая. Ведь уже несколько веков ей счастливо теклось

среди этих холмов и лугов, среди лесных угодий и людских поселений под этими небесами: то хмурыми, то бирюзовыми, то солнечными, то звёздными. И лермонтовская строка: «И золотые облака. Из южных стран, издавека. её на север провожали, тоже могла бы ей соответствовать. Только вот скал никаких не было, так что они «тесною толпой» её не окружали и «таинственной дремоты полны, над ней не склонялись головой, следя мелькающие волны», «глаголу вод её внимая». Это вместо них делали купы деревьев и кустов, что то и дело виднелись на её берегах, то пологих, то обрывистых, то песчаных, то галечных, то покрытых манящими лужайками и прозрачным редколесьем.

Народ, что издавно обретался на её берегах и в недалёком от них отдалении, вероятно, постиг это её мироощущение, дав ей столь недвусмысленное наименование Завидовка. И как не завидовать такому божьему чуду как эта бесконечная водная гладь, невесть откуда берущая своё начало и невесть куда устремлённая, и несущая свои воды в столь живописных ландшафтных декорациях.

«И надо же такому случиться», как когда-то обмолвился известный русский остролов и мудрец, что в одной из скромных заводей, скрывающейся под прибрежной ивовой сенью, обреталась обыкновенная речная жаба. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что это была не совсем обыкновенная жаба. Ведь эта земноводная особь была значительно больших размеров, чем известные ей сородичи. Весьма крупная и осанистая, она к тому же впечатляла сторонний взгляд огромными навывкате жёлтыми глазами с блестящими чёрными горизонтальными зрачками, особенностью которых является способность различать неподвижные предметы. Да и её малахитовая. шкурка со светлыми подпалинами была тоже не рядовым явлением: склизистая, складчатая, грубая и бородавчатая, она являла собой примечательный природный феномен, предназначенный не только для защиты, но и для устрашения и запугивания.

Однако была в ней одна существенная особенность, которая не позволяла ей воспринимать те понятия, смыслы и значения, которыми была атрибутирована река Завидовка несколько ранее в этом повествовании. И это был не махровый пофигизм или тотальная индифферентность ко всему внешнему. Как раз нет! Просто она это не осознавала по причине отсутствия мышления. Все три составляющие её головного мозга, особенно его так называемая продолговатая часть, успешно решали все вопросы жизнедеятельности её организма, но никак не занимались производством мыслей и смыслов, то есть каким-то восприятием себя и окружающего мира. Образно говоря, она была во власти некоторого количества манипуляторов, вроде тех, что регулируют движение на дорожных перекрёстках. Возник разрешающий сигнал к поиску пищи, и жаба устремляется в прибрежную топь в поисках червячков и прочей мелкой живности. Или

поступает разрешение обосноваться на суше и время от времени внезапными выбросами липкого язычка отлавливать незадачливых букашек, а то и зазевавшихся стрекоз и бабочек. Да и басовитых жуков и шмелей может ожидать подобная участь. В другорядь, например, поступает разрешение на спасение от неистой жары, и жаба с шумом и плёском прыгает в прохладные воды Завидовки. Только ноздри да глаза потом некоторое время маячат над её поверхностью...

Но иногда её охватывает странное чувство: то ли тревоги, то ли озабоченности, то ли беспокойства. Тогда она напрягается и, открывая широко рот, оглашает окрестность странными прерывистыми звуками, громкими и досадливыми. При этом глаза, замерев, чёрными зрачками вперяются в поднебесье, что нависло над Завидовкой и просвечивало сквозь кроны деревьев. Зачем она это делает, ей было не дано знать по уже установленной ранее причине – из-за отсутствия сознания, а в данном случае – самосознания, являя собой парадоксальный пример противоречия утверждению француза Рене Декарта, что если он мыслит, то, следовательно, он существует *cogito ergo sum*. Так что ей удавалось существовать без всяких размышлений, как бы не упорство Рене в этой своей максиме.

Откричавшись, она чувствует некое успокоение и желание перекусить каким-нибудь комариком, а то и несколькими его собратьями.

Правда в последнее время приступы подобного звукоизвлечения участились и стали настолько продолжительными, что это стало очень её утомлять и даже перегревать из-за чрезмерных усилий. И панацей от этих обстоятельств комарики уже никак не могли быть. Спасали только холодные воды Завидовки.

И в тот вечер, отсолировав в вечерней тиши, она незамедлительно устремилась в прибрежное речное затишье, где, отражаясь, «своей дремоты превозмочь» не могла ивовая листва, и розоватый флёр заката мерцал на глади заводи. Но только холодность речной воды придала жабе некоторое успокоение, как вдруг нечто вздыбило воду где-то в ближайшем отдалении. Затем раздался надсадный звук, и разом накатившая немалая волна выплеснулась далеко на берег, после чего, клубясь и оставляя пенные лужи, сползла в речные пределы.

В одной из таких луж через некоторое время себя и обнаружила жаба, несколько оглушённая и помятая. И сразу спросив: «Что это было?» тут же остолбенела, если так можно говорить о земноводных, чьим образчиком являлась эта особь. В такое состояние её ввергло не внезапноошеломительное перемещение из заводи в лужу, которой никогда ранее здесь не бывало. И не этот факт неожиданной левитации привел её к такому вопрошанию. Хотя, да что там говорить, любое живое существо при такой пертурбации не только потеряет дар речи, но и забудет как его зовут и какого оно рода племени. При этом надо заметить, что нашей жабе своё имя было не то что не известно, а оно ей было просто безнадобности. Это здесь, в тексте этой истории, это

существо именуется жабой. И почему её так обозвали, можно только предположить. Много толкований на сей счёт, но значение, которое имеет место быть в древнем средненижненемецком наречии, привлекает своей образностью: «влажная масса» не то что болышеротая или болотная, как в некоторых других языках. Так что этой пучеглазой забывать было нечего. Ведь нельзя запомнить то, чего не было. Как тут не вспомнить: «если у вас нету тётки – то вам её и не потерять».

А вот с обнаруженным ею даром речи всё обстояло куда занятнее. И тут, видимо, необходимо одно существенное пояснение, состоящее в том, что она не спросила, как было сказано ранее. Ведь если бы кто-то паче чаяния оказался вблизи той лужи, где наводилась эта земноводная прелестница, то он не услышал бы этого её вопрошания. Она его не произносила: он, этот вопрос, просто возник в её голове. Ничего подобного с ней раньше не случалось. Именно это её ошеломило более всего. Но находиться в таком состоянии ей не пришлось долго, так как её недреманные манипуляторы, видимо, оправившись от внезапного шока, тут же предписали ей ряд установок: лужу немедленно покинуть, обосноваться на достаточно возвышенном месте, желательно под солнечными лучами, там пересидеть до прихода темноты.

Через некоторое время уже можно было увидеть сидящей на основательном куске скальной породы, что, вероятно, был выброшен на берег суматошной волной. Вид этого примечательного экземпляра «влажной массы», то ли сидящего, то лежащего с закрытыми глазами на солнцепёке, был обманчив. С одной стороны, это была живописная картина спокойствия и умиротворения, это с внешней, видимой стороны, с другой стороны, невидимой, в её естестве, она сама не могла толком определиться, где жила и ширилась некая стихия, которая ранее в ней не существовала. Эта стихия порождала нечто, что принимало формы слов, которые потом организовывались в предложения, порождающие мысли. Их, этих мыслей, становилось всё больше и больше, они теснились, заполняя всю её сущность. Она пробовала заснуть, забыться, чтобы избавиться от этого морока. Но все её эти усилия были втуне. Что объяснилось совершенно иррациональным выводом: она из жабы обыкновенной (*comune tubetae*) в силу невероятных причин превратилась в жабу мыслящую, в *cogitans tubetae* Иными словами, у неё появилось сознание, то есть она стала мыслящим существом. На первых порах этот её новый статус доставлял ей ряд неудобств, главным из которых было осязаемое противоречие между теми установками, что поставлял манипуляционный центр, и теми соображениями, которые ею переживались в этот момент. Скажем, поступало предписание: надвигается ночь, время озаботиться поисками пропитания, а эта «жидкая масса» в данных обстоятельствах всматривается в звёздное

небо и, если и не задаётся вопрошанием искусного словотворца: «Если звёзды зажигают значит это комунибудь нужно? Значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда!» то пытается получить ответ на свой простой недоумённый вопрос: «Если эти холодные мерцающие огоньки обретаются так высоко наверху, то почему они не падают, или их кто-то подвесил, как тот паук, что подвесил себя на длинной нити под веткой соседнего шиповника?» И отвлекаться от подобного размышления ей никак не хотелось, да и не настолько она была голодна, чтобы тут же устремиться куда-то в поисках чего-то там съедобного.

Так что «задумчивость, её подруга», стала занимать в её жизни всё большее и большее время. Ведь, по сути дела, она стала заново обживать тот мир, в котором раньше длилась её жабья жизнь. Правда основательно озадачивает отсутствие у этой мыслящей особы какоголибо недоумения по поводу появления невесть откуда взявшихся понятий, облечённых в слова. Ведь в прошлой жизни, до её умопомрачительного перемещения из вод Завидовки в злосчастную лужу, они ей были неизвестны. Скажем, упомянутый здесь куст был нечто таким, что просто нависало над ней, что вставало на её пути, заставляя двигаться в обход, что служило прибежищем для некоторых вкусных созданий. но только не был формой древесного растения, именуемого почемуто кустом. А тут будто кто-то на всё, что она видела, слышала и чувствовала, повесил бирочки с названиями. Более того, стали появляться слова, предназначенные для обозначения того, что она никак не могла видеть, слышать или чувствовать. Они именовали то, что было связано с её настроенными, переживаниями, с чем-то очень личным. Для всего стали вдруг находится слова. Вот взглянула на белку и поняла, что она её не любит: уж больно вертлявая и суетная. А ведь раньше и слова такие, как белка, вертлявая, суетная, а уж любить тем более, не существовали для неё. Просто было нечто, что появлялось и исчезало из поля зрения, несъедобное и неопасное.

Со временем, убедительно теряя фактор новизны, всё как-то вошло в размеренное и узнаваемое русло. Лишь иногда вызывало некоторую оторопь появление уж очень своеобразных в её жабьем понимании слов. Последний такой случай имел отношение к слову первозданная, которое у неё появилось, когда она созерцала неторопливый бег вод Завидовки среди волнистых берегов на утренней зорьке: «Красота прямо первозданная!» хотя что такое красота, а тем более первозданная, она не очень понимала. Но ведь почему-то её такимто образом осенило!

Неизвестно, к чему эта словесная экспансия привела бы. Возможно, эта «жидкая масса» под тяжестью обретенных словес вдруг станет говорящей жабой (*Bufo loquentes*). Правда можно лишь предположить, на каком наречии она стала бы изустно объясняться, Это было бы скорее всего нечто славянское, ибо в этих землях текла с юга на север

Завидовка.

Но до осмысления подобного своего состояния ей было не дано домыслить, так как через некоторое время произошло нечто совершенно inferнальное. Хотя ей это несуразное на слух слово, так называющее какую-либо жуть, однако, ещё не было ведомо, что, однако, не меняет сути произошедшего вскорости.

В то утро она, рано проснувшись, сладко и протяжно зевнула во весь свой немалый жабий рот, тут же мимоходом употребив нечто зеленоватое и мохнатое, незатейливо пролетавшее мимо, призадумалась над дилеммой: то ли окунуться в прохладную водицу Завидовки, то ли посидеть, придрёмывая, на прибрежной коряге в ожидании, когда солнечные лучи разбудят всякую летающую и ползущую живность. Вот тогда и начнётся её полноценный завтрак.

После некоторого раздумья было принято решение: день ожидается жарким и душным, так что набраться свежести в утренней прохладе речных вод было бы весьма кстати. Но едва она сделала несколько прыжков к заманчивой цели, то, как бы выразился всё тот же известный словотворец, «потолок пошёл снижаться вороном» на неё. Никакого потолка, разумеется, на этом побережье не было и в помине. Но то, что она, замерев и буквально оцепенев, лихорадочно пыталась понять, что с ней происходит, было в полне очевидно... А происходило нечто трудно объяснимое. Среди сонма слов, что она воспринимала в себе в этот момент, возникли слова, которые не имели к ней никакого отношения: «Нет! Я больше не могу терпеть это безобразие! Стоит мне только устроиться на каком-нибудь дереве, как тут же какая-нибудь летунья тут же садится рядом. Ладно, если бы это была моя родственница или давняя знакомая. Ан нет! Совершенно чужие физиономии. Более того! Тут как-то ко мне подсел дятел. Представляешь: я и какой-то дятел! Словом, пора лететь из этих мест куда подальше. Ты со мною, дорогуша?».

Ошеломлённая бедняжка жаба, видимо, ещё долго пыталась понять природу появления всех этих словесных построений, если бы не внезапный шум от взлетевших где-то поблизости каких-то птиц. И тут же она увидела двух сорок, стремительно улетающих в сторону противоположного речного берега. Провожая их взглядом, уже исчезающих в утренней дымке, она вновь почувствовала, что «потолок стал снижаться вороном». И ему было отчего снижаться. В это состояние её повергла совершенно очевидная мысль: она, жаба, стала понимать чужую стороннюю речь. Однако, тут же подумав, что всё ещё находится в мороке ночных сновидений, направилась к речной воде, надеясь, что прохлада Завидовки избавит её от такого невероятного наваждения. Через некоторое время, почти озябнув, она выбралась на берег и, устраиваясь на прибрежной коряге, тешила себя надеждой, что, пригреваемая ещё нежаркими солнечными лучами, она избавится от этого недавнего испуга. Но тут с речного пространства ей явственно

послышалось: «Сколько раз я вам, пострелята, говорила, что не разрешаю заплывать за тот речной поворот. Там, говорят, обитает прожорливая зубастая выдра, очень охочая до таких несмышлёнышей как вы. Говорила я вам или не говорила?» Жаба посмотрела в сторону услышанного голоса и увидела на водной глади дородную гусыню в тот момент, когда она была занята воспитанием своего выводка, пятерых присмиривших гусят.

Надежда, что это был ночной морок, исчезла, как писал «наше всё», «как сон, как утренний туман». Сомнений никаких не осталось, её кто-то наградил ещё одним даром: у неё появилась способность понимать любые наречия. То есть она стала понимающей язык жабой *Lingua intellectus bufo*.

И сразу стало ясно, что с этим новым обретением ей будет жить весьма не просто, а если не сказать, неуютно и тревожно. Мир, окружающий её, был переполнен голосами. Конечно, и раньше она их слышала. Но теперь эти голоса ей что-то сообщали, на что-то обращали внимание, к чему-то звали, чем-то угрожали и уговаривали на что-то. Она понимала, что всё это сказанное к ней не имеет никакого отношения: они, голоса, так общаются между собой. Но она невольно оказалась в курсе всех этих словесных перепитий. Это лишило её одиночества, того одиночества, когда она могла быть наедине со своими мыслями и настроениями. Только с наступлением ночи, когда под её пологом живое засыпало, наступала возможность быть предоставленной самой себе. Лишь недреманный филин где-то ухал чащобе: «Который час? Который час? Который час?» и замолкал, не получив ответа. А затем вновь: «Который час? Который час? Который час?» «И далось тебе это время!» устало думала тогда жаба.

То, что верна пословица: «Время всё сглаживает», она поняла где-то через месяц, научившись не придавать никакого значения всему говоримому вокруг.

Вот почему она не обратила внимание на разговор двух особ, что расположились на поляне, которая была в некотором отдалении от берега и от того места, где обреталась жаба. Вернее, она сначала не придавала значения их появлению. Люди и раньше здесь появлялись, но они её мало интересовали, так как были лишь частью той данности, где она обитала. Не более того. К тому же тогда она ещё не могла постичь смысл их разговоров, поскольку такой дар ещё был на пути к ней. Теперь, когда этот дар, неотразимый «как Натэ!», как бы определил неожиданность его вхождения в её личность всё тот же знаменитый словотворец, стал частью её сущности, среди прочих наречий она должна была бы понимать и людское общение. Но случай убедиться в этом ей пока не предоставлялся.

И был день, и было утро, когда до неё долетели фрагменты общения двух человек, судя по голосам, пожилого мужчины и девочки-подростка. Саших участников словесного обмена она не видела: кусты

терновника не позволяли этому. Но к их разговору внимательно прислушилась.

Вот и ладно – полатку мы установили. Теперь, Дарьюшка, возьми вещи из машины и перенеси их в палатку и не забудь развернуть спальники – пусть подышат теплом. Да и перекусить что-нибудь сообрази из того, что мама с бабушкой собрали нам в дорогу. Что-то аппетит у меня разыгрался на природе.

Ты, дед, никогда не страдал его отсутствием, сколько я тебя помню.

Не умничай больно! Ишь взяла бабкину манеру на вооружение. Поди, ты и сама не прочь перекусить её выпечкой:

Не без того. Слушай дед, тут вот что я подумала: пока ты наловишь ершей да плотичек для уха, давай я поймаю несколько лягушек и сварю французский суп.

И не вздумай! Нечего кастрюлю поганить такой дрянью! Она для ушицы наварной, а не для этого пошла. Прости, господи, как тебе в голову могло прийти такое, душенька моя бестолковая!

За душеньку, конечно, спасибо, дедуля! Но я совсем небестолковая. Я об этом прочитала в интернете на странице советов для юных туристов. Даже рецепт переписала. Хочешь, прочту его тебе?

Некогда мне выслушивать эти мерзкие глупости. Пойду на берег: пора готовить удочки и снасти. Вон уже как солнце высоко поднялось: того и гляди утренний клёв пропустим.

Кулинарный изыск, предложенный девочкой, вызвал у жабы поток не совсем однозначных соображений: «Видно, у этих французов основательно повывелись звери и рыба, да и птиц поубавилось, раз они стали употреблять в еду этот плюгавый народ. – Тут она в очередной раз удивилась, откуда у неё взялось это весьма несимпатичное слово «плюгавый». Ведь там и есть нечего – одни кости да шкура. Нн то что мы...» И тут она пришла в некоторое волнение, а вдруг эта юная кулинартуристка предложит своему спутнику переключиться на жаб. А то, что это может произойти, у жабы были весомые опасения и предчувствия. Ведь она доподлинно знала, что никакого улова у этого пожилого человека сегодня не будет: из-за невероятной дневной жары рыба ушла в холодные глубины Завидовки, и ей, рыбе, до утра будет не до тех соблазнов, что обретаются на дедовских рыболовных крючочках. Поэтому, решив быть более в курсе предстоящих событий, она спустя некоторое время сумела подобраться поближе так, чтобы не только слышать, но и видеть эту парочку.

Они сидели за небольшим походным складным столиком и, поедая нехитрую снедь, вели неторопливый разговор. Многое из того, чего они касались в нём, мало интересавало эту визионершу. Пока Дарья не вернулась к утреннему своему предложению.

Твоя рыбалка, дед, обернулась пшиком: две тощие плотички не устроят даже нашего Ваську. Это кошачье создание, призрачно посмотрев на это твоё приношение, отвернётся и уйдёт, нервно

подергивая хвостом, как бы говоря, что уважающие себя коты такое не едят – одни кости и чешуя. И если бы ты не отверг моё предложение сварить французский суп, если не с лягушками, то с с мясистой жабой, что я приглядела здесь на берегу, мы бы питались не этими достовучными бутербродами, а уплетали наваристый суп., которого хватило бы и на завтрашнее утро. Выходит, что дело я тебе тогда говорила, а ты: «Не надо поганить кастрюлю! Наловлю рыбку, и будет нам ушица». И где она твоя расчудесная ушица, скажи на милость?

Ещё не выросла, а уже сварливая, как моя бабка...

И тут разговор принял столь любопытный для жабы поворот, что та значительно пододвинулась вперёд, изрядно рискуя быть невзначай замеченной.

Еда едой, суп супом, а тебе не приходит в голову, что могла сварить для утоления нашего голода царевну? Ту царевну, которой суждено принести счастье доброму молодцу, царёвому сынку, которая...

Постой, дед! – оборвала старика Дарья. Ты о чём, о какой такой царевне, которой угрожала моя кулинарная прихоть, в твоём, конечно, толковании? Хотя постой! Ты намекаешь на персонажа из сказки, которую мне читал, когда я была маленькая?

Именно так, моя внученька. Именно так. Читал, и не единожды читал. Тебе она тогда очень нравилась.

Да, я помню, что меня тогда беспокоил один вопрос, зачем царевич из сказки сжёг лягушачью кожу? Да и сейчас не очень в толк беру.

Да толкто очень мудрый в сказке той: люби ту, которая тебе судьбой уготована, такой, какой она есть, и тебе воздастся за это сторицей. Сжёг шкур потому, что хотел, чтобы женой у него была красавица Василиса Прекрасная, а не болотная невзрачная лягуха. А вот если ещё бы стерпел три дня, то тогда бы всё вышло поевольному.

Любовь, моя милая, сберегает терпение. Нет терпения, и никакие волшебные клубочки, косые зайцы, могучие медведи, шуки зубастые да баба –яга преклонных лет они все вместе взятые тебе не помогут по одной простой причине – они все из сказки, а в нашей жизни можно рассчитывать только на себя. На свою любовь, на своё терпение. Вот так, моя милая. Уяснила, красна девица?

– Уяснила, батюшка, в тон ему ответила внучка. Теперь я понимаю, почему ты меня продолжаешь любить, несмотря на все мои загогулины, как ты иногда называешь мои, как бы так аккуратно сказать, мои странности в поведении. Я правильно поняла тебя, мой мудрый дед?

– Правильно, оно-то правильно, только вот, скажи на милость, чем мы с тобой займёмся до вечерней зорьки, когда я вновь попробую испытать своё рыбацкое счастье?

– Прежде чем ответить на твой вопрос, я сделаю официальное заявление пред тобой, этим лесом и рекой, перед теми, кто здесь обитает, и прежде всего перед Аделаидой.

— Что за заявление, кто такая Аделаида? Опять ты, Дарья, хочешь что-то отчебучить! Уймись уже! Мало тебе домашних катавасий, так ты и здесь, на природе, пускаешься во все тяжкие. И чего тебе неймётся, какого рожна надо!?

— Ой, охолонь, дед, как тебя урезонирует моя бабушка, охолонь. Или не гони пургу, как говорят у меня в классе. Ничего я не затеваю, просто хочу объявить этому миру, что никого не собираюсь включать в своё меню. И вон тот толстоногий боровик пусть растёт спокойно, пока его белка на дерево не утащит и на суку не пристроит, чтобы там подсох основанательно. А что до Аделаиды, то такую кличку я дала той жабе, которую я было вознамеривалась приготовить по французскому рецепту, да ты воспротивился. Знаешь, ей это имя очень подходит: она большая, солидная и важная. Прямо как фрау Фрекен Бок из мультика про Малыша и Карлсона. И если ты увидишь эту жабу, то ты наверняка со мной согласишься: она такая. А дела и да! Умереть не встать, как говорит твой сын, то бишь мой родной дядя. А он самых честных правил, как говаривал, кажется Пушкин. — И заметив достаточно угрожающее движение своего собеседника в её сторону, вновь затараторила: «Кончаю дозволенные речи, как молвила Шахрезада, и, дед, волноваться похчка, как успокаивает себя мой однокашник армянин Самвел, то есть не надо. А я сейчас сбегая к роднику и наберу чайник водицы, и потом мы будем пить чай с заваркой из душицы и мяты — я тут недалеко собрала большой пучок — ещё домой принесём. И мы обсудим за чаем, чем займёмся до вечерней зорьки.

Не встретив возражения, девчонка убежала, провожаемая взглядом пожилого человека, который даже с некоторым облегчением выдохнул, когда остался один, всё ещё, правда, сохраняя достаточно недовольное выражение лица.

Что касается жабыуайеристики, что не только наблюдала за этой парочкой, но очень внимательно вслушивалась в беседу этих прямоногих. так для себя она с недавнего времени стала именовать тех людей, что появлялись в поле её зрения, то возникшая пауза ей была весьма кстати.

По ходу беседы у неё возникали разные мысли, но сосредоточиться на них она не могла, так как боялась пропустить чтолибо интересное в разговоре. И вот теперь у неё появилась возможность привести свои соображения в относительный порядок. Впервых, она окончательно убедилась, что прямоногие ей гораздо интереснее тех, что летают и обретаются на деревьях, тех, что плавают то тут, то там по Завидовке, и тех, кого она определила как волосатых, то есть всех этих белок, енотов, зайцев, лис и медведяшатуна, что изрядка наведывается, чтобы охолонуть в Завидовке в знойную пору. Это соображение в полной определённости у неё возникло неделю тому назад, когда на ближайшей полянке расположились две пары молодых людей. Их разговоры были мало интересны жабе до того момента, когда один из

них, поддавшись на уговоры собеседников, достал нечто, именуемое гитарой, и начал петь, сопровождая своё пение игрой на этой штуке. Из десятка песен ей запомнилась только одна. Запомнилась настолько, что потом поздними вечерами, сидя на коряге и вглядываясь в звёздное небо над головой, она произносила про себя удивительные слова, что услышала тогда:

*Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки наивной, смешной.*

Получая удовольствие от этих слов, она не понимала, что такое счастье и что такое сказка, в которую некто хотел бы попасть, но из разговора девочки и её деда она уяснила, что сказка – это место, где она сможет стать прямоногой и даже принцессой. Но чтобы её лишили собственной шкурки, этого она никак не хотела. Ведь это означало бы, что она никогда не сможет вернуться на берег Завидовки в прежнем образе, в образе жабы. Такого она никак не могла представить. Выбор между обликом царицы и обликом жабы был для неё очевиден: она навсегда останется понимающей язык жабой. *Lingua intellectus bufo.*

Вовторых, ей совершенно претило быть как-то именуемой. И кличка Аделаида только усилила это чувство, которое возникло после встречи с созданием, отзывавшегося на кличку Борзик. Это существо, лохматое настолько, что даже его глаза и нос были едва различимы, и размером оно было чуть более средней белки. Появившись как-то в ближайшем к жабе окружении, он проявил неукратимую деятельность. Стремительно бегал кругами, обнюхивая цветы и кусты, распыляя бабочек и стрекоз, издавая при этом визгливый лай. Окрики его хозяев, расположившихся в шезлонгах, принесённых из машины, его мало вразумляли. Более того, в один из своих стремительных забегов он сходу налетел на корягу, где в это время благоденствовала жаба. Налетел, заметил жабу, обнюхал её, а затем совершил нечто совершенно абсурдное. Повернулся боком к ней, поднял заднюю ногу и оросил сидящую жабу чем-то тепловатым и очень смрадно пахучим. Только многократное купание в Завидовке да омовение под сильным ливнем избавили её от этого мерзопакостного запаха. После этого случая у неё сложилось крайне недоброжелательное отношение к собакам и почему-то к кличкам вообще.

В-третьих, угрозе быть сваренной по французскому рецепту она не придавала особого значения, ибо не понимала характер подобного действия: при ней ещё никого не варили в том, что называется кастрюлей. И к заверению Дарьи, что таки она не будет заниматься впредь, отнеслась без внимания по той же причине.

Были у неё свои соображения по поводу любви и терпения, но тут

вернулась Дарья с чайником полным воды, с ходу заявившая деду, что она придумала, чем они заполнят время до начала вечерней поклёвки. Так что жаба оставила уяснение смыслов любви и терпения до иных времён, ибо надо вновь быть в курсе того, что продолжает происходить с этой парочкой.

— Дед, ты что забыл, — начала Дарья с энтузиазмом, что на дворе, то есть здесь, на берегах Завидовки, стоит XXI век? И у меня с тобой есть смартфоны. И они позволяют играть во всевозможные игры, вот я и подумала...

— И продолжать не надо, — достаточно резко остановил пожилой человек внучку, — я с этими штуками не дружу, ничего у меня с ними не получается, разве только позвонить. Никак не осилить мне все их заморочки.

— Ничего осиливать не надо вовсе в моём случае. Вот как мы с друзьями иногда с их помощью развлекаемся. Дётся задание, выбрать какое-нибудь слово, скажем, гололедица, Затем в яндексе найти три пояснения к этому слову. Потом определяемся, у кого найдено самое прикольное из них, тот и признаётся победителем. Играем до трёх или пяти раз, но каждый раз берём новое слово. Меня иногда очень заводит такая игра.

— С Яндексом я, пожалуй, справлюсь. А какое слово ты предлагаешь для первого тура?

— А тут и думать не надо. Предлагаю слово жаба. Ведь о ней мы уже много сегодня сказали.

— Жаба так жаба. Почему бы и нет, раздумчиво ответил её собеседник, потянувшись рукой в карман куртки.

Можно, конечно, подумать, что наша жаба наострила уши, услышав, что о ней скоро поведуют много интересного с помощью неведомого ей яндекса. Но это было бы досадной ошибкой. У жаб, как и у всех земноводных, нет внешних признаков ушей. Вместо них у неё барабанная перепонка. Вот как об этом информирует всё тот же Яндекс: «Когда барабанная перепонка лягушки улавливает звуковые волны, она вибрирует. Затем барабанная перепонка передаёт звуки и вибрации в среднее ухо. Среднее ухо усиливает звуки и передаёт их во внутреннее ухо. Наконец, внутреннее ухо и его тонко настроенные волосковые клетки “преобразуют” звуки и вибрации в сложные электрические сигналы. Эти сигналы отправляются в мозг лягушки. Затем мозг лягушки интерпретирует эти сигналы, чтобы найти пищу, спрятаться от хищников».

Так что барабанная перепонка завибрировала, и жаба тут же обратилась вся во внимание, наблюдая, как собеседники, взяв в руки какие-то прямоугольные предметы, стали в них тыкать пальцами, время от времени останавливаясь и всматриваясь в эти предметы, которые девочка назвала замысловатым словом смартфон.

Но тут пожилой человек прервал это занятие и с явным

неудовольствием в голосе обратился к Дарье:

— Не знаю как тебе, а мне Яндекс на запрос «жаба» выдал четыре тысячи ответов. Если предположить, что буду читать и осмысливать прочитанное со скоростью один ответ в минуту, то на это у меня уйдёт чуть более тридцати трёх часов. А это почти полтора дня. Я на такое не подписываюсь, как говорили в моём детстве. Думаю, надо чем-то ограничить этот поиск.

— И как ты это себе представляешь?

— Давай запрос сведём к следующей формулировке: «Жаба в творчестве российских поэтов». Ведь любопытно, как это явно не поэтическое создание явлено в их стихах?

— А почему я не поэтическое создание? – попыталась было обидеться Аделаида, но не успела, так как Дарья тут же среагировала на предложение своего дедушки:

— А что, ништяк! Давай поюзаем на эту тему, и через некоторое время радостно воскликнула, послушай, что я нашла у некоего Мандельштама:

*Здесь отвратительные жабы
В густую падают траву.*

— Действительно, наступил XXI век – для моей внучки Осип Мандельштам какой-то поэт, произнёс как бы сторону пожилой человек, а, обращаясь к внучке, сказал, что у Николая Гумилёва он тоже обнаружил весьма нелицеприятное изображение жабы.

— Суди сама. Я прочитаю вслух этот достачно объёмный текст:

*Захотелось жабе чёрной
Заползти на царский трон,
Яд жестокий, яд упорный
В жабе чёрной затаён.
Двор смущенно умолкает,
Любопытно смотрит голь,
Место жабе уступает
Обезумевший король.
Чтоб спасти свои седины
И оставшуюся власть
Своего родного сына
Он бросает жабе в пасть.
Жаба властвует сердито,
Жаба любит треск и гром.
Пеной чёрной, ядовитой
Всё обрызгала кругом.*

*После, может быть, придёт
Победитель тёмных чар,
Но преданье не забудет
Отвратительный кошмар.*

После окончания чтения воцарилась тишина. Видно, Дарье нужно бы некоторое время, чтобы обдумать эту готическую жуть. Что касается нашей жабы, то она впала в полную прострацию:

Та вот что эти прямоногие пишут о ней! Это ведь сплошной наговор, что она «любит треск и гром», что «пенной чёрной ядовитой» может всё обрызгать кругом, что она просто «отвратительна», что «яд жестокий, яд упорный» в ней затаён!

Преисполнившись праведными обидой и гневом, жаба уже было собралась уйти и впредь избегать общения с любыми представителями прямоногих, но задержала всё же внимание на том, что начала, говорить Дарья:

— А вот у французского поэта Виктора Гюго я нашла строки, рисующие жабу с другой стороны, которую я назвала бы благородной и весьма уважительной к предмету своего изображения. Здорово, дед, я сказала? Сама не ожидала от себя. А ты говоришь, XXI век. Готов слушать? Только тоже предупреждаю, текст немаленький.

*Что знаем мы? Кто глубину вещей изведал?
Диск солнца в розах облаков дремал под пледом;
Гроза водой терзала день, и запад прятал
Брильянты ливня в тлеющих углях заката;
А возле колеи, у лужи, жаба смело
И восхищенно в небо красное смотрела;
Серьезная, мечтала, её ужасный вид
Блеск отражал, который страдание таит;
Увы, но в Позднем Риме Августов шли полки,
И Цезаризлодец, как жабы бугорки,
Его покрыли, словно бартонии луга,
Как солнечные блики скрывают берега;
Алеющей листвой пристыжено деревья
Свой прикрывали ствол, как птицы в свои перья,
В ней прятались, в выбоине вода сверкала
Смешавшись с травой, ночь опускалась вяло,
И птица, утомившись, вдруг тише стала петь,
Замолкнув вовсе, словно её закрыли в клеть;
Всё стихло: и в воде, и воздухе. Лишь жаба
Без страха и тоски, слегка склонившись на бок,
Без гнева, без стыда, смотрела нежным взглядом,
Как тихо занавес вослед за солнцем падал...*

— Гюго, с твоей подачи, открылся мне в неизвестной доселе ипостаси. Я знал его как изумительного прозаика, а тут такое поэтическое мастерство, которое меня весьма впечатлило. Но хочу заметить, что его опыт прозаика, потающего увидеть жизнь во всём её многообразии, в противоречиях и сложностях, сказался и в этом его творении. Поэту жаба в его описании предстаёт совсем неоднозначной данностью. С одной стороны, она имеет «ужасный вид», с другой стороны, она серьёзная, мечтательная, наделённая к тому же нежным взглядом.

И заметив желание Дарьи что-то сказать по поводу только услышанного, поспешил остановить её:

— Подожди. Мне ещё есть что сказать в связи с нашей игрой. Дело в том, что я удивился не только неожиданной стороне творчества этого французского мастера слова, но в большей степени поразила совпадению идейной установки этого его стиха под неказистой внешностью могут скрываться весьма привлекательные качества личности – с основным посылом одного рассказа, что только что мне нашёл яндекс. Его написал Радий Погодин, известный в своё время детский писатель. Рассказ так и называется «Жаба». Он достаточно большой, поэтому я ограничусь кратким пересказом его содержания. Это история одного мальчика, которого звали Коля Уральцев. История одного его опрометчивого поступка и того, что ему пришлось пережить после этого его пакостного деяния.

— И что же совершил этот безобразник? Что последовали какие-то неприятности для него? Что-то украл? Кому-то соврал? Или разбил чьюто любимую голубую чашку? Помнится, как ты читал мне эту гайдаровскую историю.

— Я хорошо помню, как тебе было жалко тех, к кому с обвинениями пристала та, которая лишилась любимой чашки. Как ты тогда возмущалась: «Ей чашка важнее дружбы и мира».

Но давай договоримся, что ты не будешь перебивать меня. А то я теряю нить своего пересказа. Спрашиваешь, что он совершил? Отвечаю: на прогулке перед сном он камнем убил жабу, которая прыгала по садовой дорожке.

— Взял и убил? За просто так? не удержавшись, воскликнула Дарья.

— Вот как он сам это объяснил бабушке, Послушай фрагмент из их разговора. Я прочитаю его со своего смартфона:

— Чего так долго ходил?

— А я жабу кокнул, – сказал ей Коля.

— А за что ты её не пожалел?

— А чего она такая некрасивая на свете живёт?

И тут эта старуха начала вразумлять этого мальчика:

«Если всех некрасивых камнями побить, – сказала она, – тогда и красоты на земле не останется. Иная бабочка или жучок такие золотые,

прекрасные с виду, а насквозь ядовитые. К чему ни прикоснутся – испортят. А некрасивая твоя жаба всю ночь шлёпает, трудится, чистит землю для утренней красоты».

Видно, Елизавете Антоновне, так звали эту старуху, этот довол показался не совсем убедительным. Поэтому она перешла на природу отношений между людьми:

«А посмотри, люди под старость все некрасивыми делаются. В морщинах да сутулые. А руки у них у всех узловатые. И смотрика: чем некрасивее руки, чем больше морщин у старика на лбу да возле глаз, да чем у него спина горбатея, — значит, больше других понаделал он за свою жизнь работы. Ты вот в школу пойдёшь, ты учителей поспрашивай. Может быть, человеческая красота молодая потихоньку переходит в ребятишек или в работу, которую человек работает. А иначе куда же она девается?»

— И что эти её рассуждения подействовали на мальчика? Ведь даже мне стало как-то неудобно за своё несколько неприязненное отношение к этим квакающим и ползающим скользким созданиям.

— Подействовало, ещё как подействовало. Он весь испереживался до того, что вновь отправился в сад: он очень надеялся убедиться, что жаба осталась живёхонька после его броска камнем в неё.

— И что действительно оказалась живой?

— Ещё какой живой. Вот как пишет об этом Погодин:

«Та же толстая жаба мимо него идёт по своим делам. Прыгает всем телом. Шлёпает по земле брюхом. Большущими круглыми глазами в темноту смотрит».

— Вот и вся история. И хочу спросить тебя, ты уловила связь погодинского рассказа со стихотворением Гюго, которое ты до этого зачитала мне?

— Уловила, ещё как уловила. Даже вспомнила моей бабушки со стороны мамы присказку – не с лица воду пить, в том смысле, что некрасивая внешность не аргумент против, скажем, дружеских отношений.

И давай, дед, прекратим эту игру. Что я приустила. Хочется полежать, подремать под спокойный музон. Ты не против?

— Ладно. Принято. Но нам нужно определиться ещё в одном вопросе. Яндекс напомнил мне о существовании двух литературных сказок, где главным действующим лицом выступает жаба. Речь идёт о сказке «О жабе и розе» русского писателя Всеволода Гаршина и о сказке «Жаба» датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Так вот, ты должна сказать, какую из них ты хочешь, чтобы я тебе прочитал на ночь, предварительно найдя в инете?

— Дед, ты серьёзно хочешь, чтобы я сделала выбор, не имея ни малейшего представления, о чём они?

— Не подумал, извини. Но это дело поправимое. Вот краткий отсыл к этим сказкам. Сказка Гаршина, трогательная и грустная, рассказывает

о роскошной розе бледного цвета, расцветшей в заброшенном саду. И так случилось, что она стала предметом обожания мерзкой жабы, которая в доказательство своих нежных чувств решила слопать эту прекрасную розу, предпринимая для этого решительные попытки, даже несмотря на то, что колючие шипы куста, на котором цвёл и благоухал предмет её страсти, в кровь её ранили.

Но цветения этой розы в это время с нетерпением ждал очень хворый маленький мальчик. И чем закончится это история, ты сможешь узнать, если предпочтёшь эту сказку.

— А в сказке Андерсена мы знакомимся с жабой, когда она находится на дне глубокого колодца вместе со всей своей жабьей семьёй. Все её родственники довольствовались жизнью, тем более что верили в наличие какого-то драгоценного камня в своей голове. Но жаба, о которой пойдёт речь, в это не верила. Кроме того, ей страстно хотелось выбраться на поверхность и увидеть, что из себя представляет тот неведомый, но так манящий мир, что находится там, на поверхности, под солнцем. Ведь она могла видеть лишь малую толику того мира над головой, там, наверху: кусочек неба, облака и иногда солнце. И ей удалось это осуществить. Дальнейшее развитие сказки – это её путешествие в новом для себе мире, который её всё больше и больше очаровывал. Что увидела жаба, чем ей стал близок новый мир и чем это всё закончилось для неё, ты узнаешь, если выберешь эту историю. Так что прими решение и иди отдыхать, а я займусь снастями.

— Выбор не так уж сложен. Сказку Гаршина я точно не хочу слушать. Причина одна: она мне кажется слишком тоскливой. А вот история с жабой из колодца мне любопытна. Интересно, чем её покорила наш мир, и что он, этот мир, приготовил для этой любопытной особы?

— Вот и ладно. Отдыхай, только не переполоши местный мир своим музоном, как ты изволила назвать это звукоизвлечение. И пожалей местную жабу, а то у неё нарушится обмен веществ от столь благостного звучания.

— Дед, это что за наезд!?

Пожилой человек, не обращая внимания этот возмущённый вопль, уже шёл в сторону реки, и обескураженной девчонки ничего не оставалось другого, как забраться в палатку, откуда вскоре стали раздаваться тяжёлые джазовые синкопы.

Аделаида была в некоторой нерешительности. Ей, конечно, хотелось остаться и вместе с Дарьей узнать всё о приключениях любопытной жабы из колодца в новом для неё подсолнцевом мире. Кроме того, Аделаиде было бы интересно сравнить впечатления этой исследовательницы со своим восприятием. Но было принято решение воспользоваться длительной паузой до встречи с андерсеновской сказкой для основательного перекуса и отдыха с дремой. Всё это надлежало осуществить на привычном месте: на берегу Завидовки и, безусловно, на заветной коряге. Не торопясь, она направилась к этому

давно ею облюбованному месту, Причём, эта неспешность не объяснялась усталостью. Просто тем временем она всё ещё пребывала в плену размышлений по поводу того, что она услышала после того, как преодолела обиду на прямоногих за их отношение к жабам, всё же продолжила отслеживать дальнейшее содержание беседы этой парочки. И с удовлетворением резюмировала для себя: услышанное позволило ей изменить резко негативное отношение к прямоногим. Ведь француз Гюго и погодинская русская старуха убедили её в том, что среди людей есть благоразумные, для которых жабы не предмет неприязни или какого-то другого отторжения. Хотя гаршинское видение жабы её вновь огорчило. Мало того, что жаба у него мерзко жуткая, так она ещё поедает цветы, что просто отвратительная ложь. Уж а она-то знает доподлинно, что едят её сородичи. Именно поэтому она одобрила выбор Дарьи, а не потому, что предложенная сказочная история кажется тоскливой.

Размышляя над этими обстоятельствами, она почти приблизилась к своей прибрежной коряге, как началось настоящее светопреставление. Внезапно стремительно налетел сильный порыв ветра. Зашумели кроны деревьев, посыпались сухие листья и сучья. Разбуженный филин спросонья стал в отдалении озабоченно вопрошать: «Который час? Который час? Который час?» Враз потемнело и похолодало. А затем наступила тишина в преддверии чего-то непредсказуемого.

Пожилой человек тем временем уже бежал от берега, крича:

— Дарья! Идёт грозовой фронт! Давай помогай собирать вещи. Хватай всё и как попало бросай в багажник и на заднее сиденье. Надо успеть до ливня выехать, иначе застрянем здесь надолго.

Уже начался моросящий дождик, когда шум мотора засвидетельствовал, что этой парочке удалось сбежать вовремя. Ибо через мгновение ослепительно резко сверкнула молния, и оглушительный гром сотряс земную твердь и воды. И тут же разверзлись хляби небесные, и неукротимый мощный ливень обрушился на всё живое и неживое.

Через некоторое время вся эта сумятица также внезапно закончилась, как и началась. Наступило некоторое затишье, лишь были слышны звуки множества капель, падающих с крон деревьев на кустарники и на подножные траву и поросль.

Жаба сидела на своей корчаге в расстроенных чувствах. Но не этот внезапный природный катаклизм поверг её в это состояние. Она от него благополучно укрылась под той же корягой. И пряталась она там не от ливня, а от падающего под воздействием стихии сухостоя. Её печалила несостоявшаяся возможность познакомиться со сказкой Андерсена, да продолжить наблюдение за этой приглянувшейся ей парочкой прямоногих ей тоже хотелось бы продлить.

Она согбенно сидела на берегу, наблюдая за всё ещё залопающимися дождевыми пузырями на поверхности Завидовки, а в голове навязчиво звучали строки, так щемяще откликающиеся где-то у неё внутри:

*Я сегодня смеюсь над собой:
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой...*

Если кто-нибудь каким-то образом окажется в ближайшее время на берегах Завидовки, то он там наверняка спрыгнет с ума, как говаривалось ещё в XIX веке, то есть сойдёт с ума от вящей неожиданности. И как не лишиться рассудка, если сидящая на корчаге внушительных размеров жаба, глядя в глаза вам, пришельцу в её пределы, с весьма галантной приятной интонацией поинтересуется: «Который час, не скажите, любезный?»

И откуда знать этому бедняге, что Аделаида вышла на новый виток своего развития. В дополнение к предыдущим дарам она стала обладать ещё и способностью к вербальному, словесному, общению, иными словами стала *Et loquentes bufo*, то есть говорящей жабой.

Такие настали времена, в конце которых можно ожидать появление и *Bufo erectus est*, то есть жабы прямоходящей, или, как она сама определила, прямоногой.

Эсен. 2025.





Изя Шлосберг / США /

Художник, изобретатель, программист, человек, который пишет прекрасные стихи и увлекается игрой на музыкальных инструментах, – Изя Шлосберг прожил первую половину своей жизни в белорусском Пинске. Получил высшее инженерное и художественное образования. В 1994 году он эмигрировал в США и проживает в окрестностях Балтимора.

КАРТИНЫ И МЫСЛИ

1.

Если человек ежедневно носит галстук, принимает душ и чистит туфли, это говорит только о том, что он принимает душ, носит галстук и чистит туфли. Любовь к чистоте еще не показатель ума, таланта, способностей. Аккуратный до мелочей менеджер может оказаться реальным извергом. Итальянский психиатр Ломброзо утверждал, что внешность связана с характером, и когда я пишу портреты, стараюсь анализировать черты портретируемого и учитывать находки физиогномики.

А теперь мои собственные наблюдения из окна дурдома (это я делаю себе скрытый комплемент - как известно "Пейзаж в Овере после дождя" Ван Гог писал из окна во время последнего лечения). Так вот, я неоднократно говорил о человеке, как о виде животного. Согласен, животные, даже очень домашние, не чистят туфли, жены не гладят им галстуки. Зато у них четыре конечности, два глаза, два уха, один рот.

Даже размножаются тем же способом, что и человек. Соответственно, в поведении человека многое перекликается с теми, кто бегают по двору, включая внешность. Раскосое положение глаз очень часто говорит об агрессивности, вспыльчивости. Собака наклоняет голову набок точно так же, как это иногда делают люди, изучая собеседника, а ваш сосед превратится в медведя, если вы вымажете клеем его дверь.

В прилагаемой картине я, ради шутки, вытащил скрытых в нас животных наружу. Люди удивляются летящему метеориту, но не видят удивительного в тех, кто стоит рядом.

Кто виноват? Разумеется массовое сознание, формируемое СМИ.

Сегодня они устраивают оргии в честь верховного главнокомандующего, но стоит ему потерять погоны и переселиться в дом попроще, СМИ потребует засадить его в комнату три на три метра возле парашаи.

Ну, да бог с ними. Давайте говорить о живописи. Только она сегодня может улучшить настроение.

2

Женщин нужно поздравлять и хвалить каждый день, а не только на 8-е марта. При желании всегда есть за что:

— Дорогая, у тебя новая кофточка - ах, какой у тебя неповторимый вкус. В ней ты больше не похожа на снеговика. А то, что она стоит как два наших телевизора только добавляет настроение.

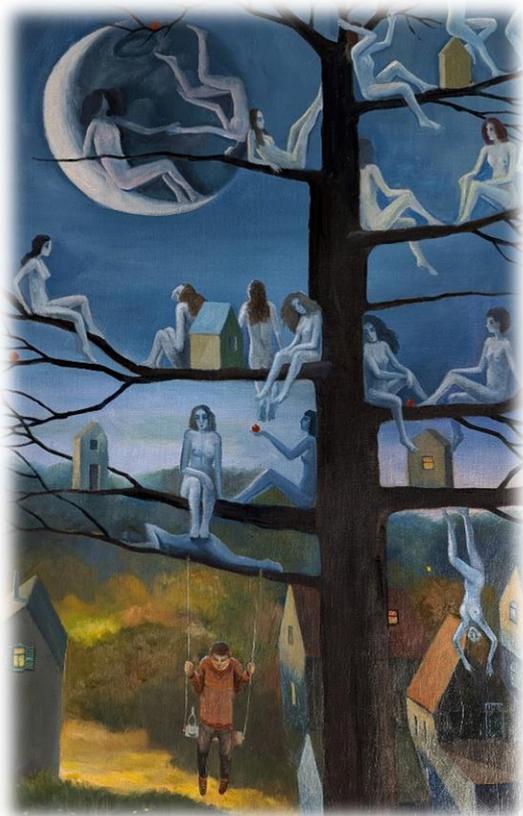
- Солнышко, ты пришла с девичника бухая и с мужскими трусами в руках. Спасибо, дорогая за подарок, а то моя единственная пара протерлась на всех выпуклостях.

- Ты наконец получила духи из Китая? Ничего страшного. У меня есть противогаз. Зато к тебе сейчас может подойти только мужчина с ковидным насморком.

- Дети — это цветы. Подарим каждой женщине по цветку! Женщина как цветок, дети как цветы — вот вам букет. В магазин можно не бегать.



- При рождении бог выдает женщине нимб, а мужчине на макушке место под рога. Со временем нимб по понятным причинам истирается, остается только корона. Если у мужчины к этому времени отведенное место заполнилось рогами, женщина делает в голове дырки, чтоб прятать избытки. Поэтому, если мужчина называет женщину "моя королева", значит нимба там уже давно нет. Если женщина называет мужчину "козел бодливый", то имеется в виду не только запах.



Никто не станет спорить, что женщина — это символ красоты. Самые значительные скульптуры и портреты воспевают женщин. Попробуйте представить Джаконду, Статую свободы, Родину мать с лицами наших президентов. Попробовали? По-моему даже не смешно. Зато женщина, держащая в руках факел, или меч, или сковородку — всегда воспринимается как призыв к свободе.

У женщин дурь распределяется по всему телу. Так что не пытайтесь спрогнозировать откуда вам прилетит.

У мужчин вся дурь под черепом. Постепенно она вытесняет мозг, и

тогда человека отправляют на пенсию, или он себя в президенты. В этом случае дурь превращается в самодурь.

Поскольку я придумываю шутки сам, а не беру из интернета, они могут показаться забавными только мне. В этом случае, дамы, прошу прощения, что не вызвал вашу улыбку.

Старался успеть закончить до 8-го марта картину про женский девичник. Вопрос к френдам: следует ли обозначить на какой-нибудь ветке парковку и заполнять ее метлами, или не приземлять поэтичность и фантазию женщин, собравшихся на шабаш?

"Шабаш" — так называется моя картина.

3.

По-моему, уже все высказались про скандал на высшем уровне. Актеры однозначно претендовали на Оскар. Будь моя воля, я бы дал заветную статуэтку обоим хозяевам кабинета. Жаль номинации, в которой выступали главный герой и его помощник пока не существует.

Нам постоянно повторяют, что история расставит все по своим местам.



Например, переставит местами хозяина и гостя. Только фигня это. Ничего история не исправляет. Поэтому давайте пофантазируем и представим, что наших героев все-таки поменяли местами.

Представили? Кому забавно могут развить эту идею в комментариях. Не уверен, что Зеленский сумел бы сделать America great again, или победить коррупцию, но было бы весело. А вот Украина уже на второй день правления нового правителя устроила бы майдан.

Ну да бог с ним. Все обещаю не лезть в ассенизаторы и не трогать политику, и каждый раз высказываюсь. Хотя признаюсь: ни дебаты полностью не смотрел, ни Оскар. Зато пока обедал, послушал интервью с Антоном Долиным. Я его оценкам верю.

Замотался и не успел поздравить всех с весной, днем Писателя и всемирным днем дикой природы. Два последних праздника я бы объединил. Как у меня на картине: Дикий Зевс ворует Европу, а начинающая поэтесса Европа помогает ему себя воровать.

4.

С возрастом цели впереди размываются и исчезают. Начинаешь шелестеть страницами прошлого.

В моем прошлом был Советский Союз с его понятиями справедливости, требованиями к вере в светлое будущее... Собственно, зачем об этом говорить: те, кто жил в СССР все знают сами, тем кто родился позже мои воспоминания неинтересны.

Вернемся к искусству. Оно, согласно Ленину, принадлежало тогда народу, и было политично.

Можно хихикать, но Ленин был самым образованным из лидеров страны за всю историю. Однако, тут закрадывается противоречие. Искусство принадлежало не народу, а музеям - народ в массе не имел достаточно денег. А то, что попадало в музеи редко являлось искусством. Куда ни глянешь — веселая и трезвая молодежь с граблями спешит сгребать (это гребанное) сено. У каждого на груди сияет комсомольский значок, или хотя бы пионерский галстук, запрятанный в карман. А еще вечно молодой Ленин. А еще пейзаж. Следует признать, что техника почти всегда была на уровне. Вот только тематика...

Нонконформисты явились кислородным баллоном тонущему аквангисту. Выставки на Малой Грузинской в Москве — тихая культурная революция. Если Петр пробил окно в Европу, то нонконформисты просто вошли в дверь, которую Петр проигнорировал. А потом прошло много времени. Как-то попал на выставку "200 художников Сан-Франциско". Поразился феноменальному количеству великолепных работ. Потом пошел в Вашингтонский музей на большого художника, фамилию которого не запомнил. Огромные полотна, килограммы краски, но не трогают. Аннотация к картинам

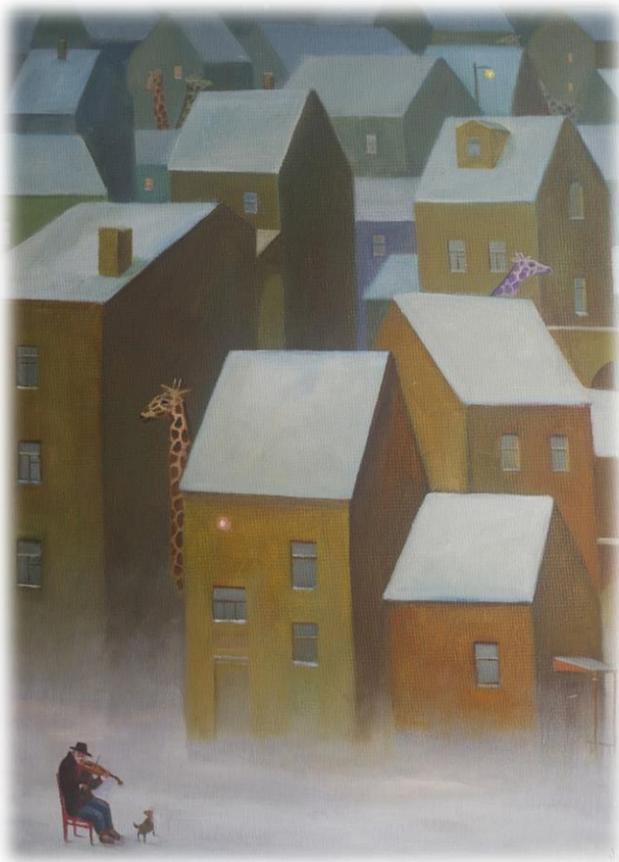
говорит о политических протестах - так мы это проходили в СССР, агрессивная экспрессия - мы это видели у Мунка, Отто Дикса и т. д. И вот я думаю, может художник стал "большим" из-за того, что кураторы

выставок плохо знакомы с художественной литературой, историей. Не способны сложить куски истории, и сделать выводы? Просто объявляют: "Приходите на выставку гениального и неповторимого", журналисты повторяют сказанное и для красоты добавляют горяченькое. Так появляется имя. И оно останется в истории. Я, как всегда, ставлю вопросы без ответа. Каждый придумывает ответ для себя.



5. Увидел на интернете забавный вопрос: почему в китайском календаре нет года человека. Теперь сижу и думаю. Может бог не знает о его существовании? Может он бросал в урну отходы от змей, лошадей,

крыс, кроликов, козлов - без козлов мужики точно бы не появились, а оно там слепилось в кучу, размножилось и расплодилось где могло?



Конечно бог пытался очистить помещение, устроил потоп. Но люди не запор, от них клизмой не отделаться. Тогда бог схитрил, объявил людей своим главным детищем, Правда кое-что перепрограммировал, а в инструкции на десять пунктов расписал, чтоб не размножались как кролики, не кричали на каждом углу: "С нами бог", не воровали.

Китайцы и индусы тут же пункт про размножение перепрограммировали назад. Некоторые расы продолжают воровать чужие жизни и территории. Неграмотные видно, заповеди не читали, до сих пор в голове операционная система DOS.

Однако те, которые стали жить по заповедям, тоже имеют проблемы. Особенно волнует баланс между "съесть" и "наоборот". Глаза говорят: - Смотри, какая вкуснятина. Ничего, что у тебя нет зубов, ты глотай. А дальше не твои проблемы.

Проглотил. Оказалось, проблемы мои: тело просто не успевает избавляться от этой вкуснятины, которая уже не вкуснятина, и складывает их в живот. Забастовки тела в виде диабета, гастритов и т. д. в расчет не принимаются. Единственное, что отвлекает человека от еды это секс. Юмористы тоже знают об этом, поэтому они не только участвуют в процессе, но и шутят на грани фола. Причем не только текстом, но и игрой, выражением лица.

Вспомним концертную маску великого Райкина. Это лицо деревенского мужичка, которому только что впервые сделали минет. Приятно, но еще непонятно почему.

Чарли Чаплин, тот всегда косил под кролика. И не только лицом. Ниже пояса он был индус. Если бы Чаплин пожил в Израиле, другим эмигрантам въезд был бы запрещен из-за перенаселения.

У моего любимого Жванецкого все желания были написаны на лице: — Я тебе сейчас скажу такое, что ты ляжешь. Ничего, что ты сидишь. Когда я тебе скажу, ты ляжешь. Так что лучше ложись сейчас и займи удобную позу.

Я шучу не смешно, потому что у меня на лице нет секса. Есть скорбь еврейского народа. Даже антисемиты, когда видит такое лицо, рыдают от сочувствия. Меня пару раз в плакальщики приглашали, но народ смотрел и никак не мог определиться, кого из нас хоронить. Единственное, что отвлекает, так это мешки под глазами. В них можно бриллианты перевозить.

Те, у кого есть подобные мешки лучше не пытайтесь — таможня отслеживает мои тексты.





Дина Дронфорт / Германия /

Дина Дронфорт – поэт, основатель литературного проекта «Невод». Родилась и выросла в Подмоскowie, окончила московский Легпром по специальности конструктор. С начала 90-х годов живет в Германии. По профессии информатик личное время отдает фотографии и литературе. Активист международного литературного Форума «Солнечный ветер». Член Союза литераторов Российской Федерации. Публикуется в ежегодной «Антологии поэзии русского зарубежья» издательства «Алетейя» (СПб.), в сетевых и печатных альманахах «Эмигрантская Лири», «45-я параллель», «Белый ворон», «Ассоль», «Новая литература», в «Литературной газете», в журналах «Крещатик», «Техтуга», «Перископ-Волга», «Литературные знакомства». В 2010 году выпустила книгу лирики «Огонь в ладонях». В издательстве «Алетейя» готовится к выпуску 2-е издание книги «Огонь в ладонях» и новый поэтический сборник «Небеса для Юлии».

НЕБЕСА ДЛЯ ЮЛИИ

Ты не знаешь, какими синими
вечерами дарил февраль.
Ты – дитя, на руках носимое.
Не понятна тебе печаль
проводящей стаю немощи.
Не разделишь со мной строки
упоения сводом, рдеющим
над излучинами реки.
Не клубится греховной пропастью
угрожающий небосклон,
вышина не лучится кротостью
сквозь молитвенный шёпот крон.
А когда-то под зимним куполом
землю выснежит круговерть
и на темя, как в детстве глупое,
чёрным пологом ляжет смерть.

Ты – дитя. Голубеют заводи
небесами недолгих лет.
Улыбнись же, безвинной памяти
ничего прозрачнее нет.

ТОПОЛЯ В ТОМИЛИНО

А если времени нарушу
закон, а если я вернусь?
Найду излом знакомой крыши,
в проулка реку окунусь.

Косые тени вольно лягут,
и в луже синего стекла
далёкое хлопот и тягот
апреля солнце. Тополя

ветвятся золотом пролитым,
парит и стынет птичья трель.
Сугроб хрустальным сталактитом
струится в талую купель...

Там день без счёта и обмана.
Там смех позволен ни о чём.
Бессмертны все. И ангел-мама
неутомима за плечом.

ТИШИНА ФАТЕРШТЕТТЕНА

Громогласие Мюнхена тонет в цикадах предместий,
благолепны герани балконов, причудны дороги.
Не добраться до этой глуши ничему, кроме вести
о рождённом от девы, распятом, но признанном Боге.

На душе тишина – ни салюта, ни птичьего солнца,
не рокошет лавина, молчат законные слёзы.
Горизонт между белым и чёрным сегодня не рвётся,
пара мушек-машин по ландшафту, и те безголоты.

Все вопросы поставлены, выданы впрок все ответы.
Растворяясь в тиши, утихают порывы и страсти.
Так приходит к смирению каждый когда-то и где-то,
осознав, что ни в чём,
даже в собственной смерти,
не властен.

ВЕРОНА

Паркет старинного гранита
в потёках влажного огня –
Верона, ливнями омыта,
вечерне встретила меня.
Бредёт проведать Скалигери
Арена – поступь тяжела,
размашиста... Но еле-еле
уже мелодия слышна
дворца Раджоне – лабиринт,
орган колонн и арок хоры,
Signore mio, per favore!..
Джюльетта девственность хранит,
скрывает темный плащ гордыню,
закат в крови...

Среди веков
утерян страсти след и ныне
лишь гулкий постук каблуков.

СНЫ

Для России заблудшие пасынки,
а чужбиной любимы займы –
лжём и верим в свои же побасенки
о привольном житье.

Но у тьмы
есть права предъявлять непрожитое,
недосбывшееся... Эти сны
нам сорочками, саваном шитыми,
по ночам холодны и тесны.

ЕЛЕНЕ

Боттичеллиева проталина.
Беспощаден июльский зной!
Кем изломана, кем изжалена?
Ты когда-то звалась Весной –
Гелла ныне!

Повек вам, смертные,
за любовь принимать каприз!
Обернулась – и грёзы светлые
рыжим хохотом расплелись.

ВЕШНИЙ НАПЕВ

От вороньего диалекта
до шафрановой стайки нот –
разомлев на припёке, ветка
кулачок листвы разожмёт.

Всё вернётся – дождём по листьям,
маргаритками в мураве.
Всё, как водится – так же быстры
те же ласточки в синеве.

В берегах лебединых стариц
та же будет бродить вода.
Те же лошади – стать и глянец!
Только я не вернусь сюда.

По примятой траве у края
утонувших в воде лещин
навестить вас придёт другая,
постарев на пяток морщин.

Мимо яблони, мимо окон,
по тропинке к вам не приду –
я останусь гулять в далёком,
зеленеющем вечно году.





Владимир Авцен /Германия /

Родился 01.05.1947, Донецк. Филолог, журналист, поэт, переводчик. Член Международной гильдии писателей. Редактор русскоязычного альманаха «Семейка» и трёхязычного (русский, немецкий, английский) альманаха «На перекрёстке культур» /“An der Kreuzung der Kulturen“ (Германия). С 2012 года руководит клубом поэзии «Вупперлиткафе». Пишет стихи, рассказы, авторские песни. Публикации: Германия, Америка, Канада, Украина, Белоруссия, Россия и др. Автор 10 книг. Призёр и лауреат всевозможных литературных и бардовских конкурсов. Книги и альманахи также становились победителями и призёрами различных конкурсов. В Германии с 2002 года.

СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ

ПРИТЧА

Давным-давно в одном из сёл,
в каком не назову,
стоял на привязи осёл
и мирно ел траву.

Шёл мимо бес – исчадьё зла,
вместилище грехов,
он взял и отвязал осла,
рыгнул и был таков.

Осёл – он тот ещё урод,
ему сам чёрт не брат,
залез в соседский огород
и лопал всё подряд.

Хозяйка, видя тот урон,
обида не снесла,
осла огрела топором –
и нетушки осла.

Сей факт хозяина осла
ужасно разозлил,

он снял ружьё и два ствола
в соседку разрядил.

Взъярилась мужнина душа,
стал свет ему не мил,
и он в ответ из калаша
соседа завалил.

Почил папаша вечным сном,
а дети – два юнца –
сожгли дотла убийцы дом
в отместку за отца.

Сосед, узрев сгоревший кров,
воскликнул «караул!»
и в дверь детишкам (кровь за кровь)
гранату зашвырнул.

Рыдмя рыдает всё село
у вырытых могил:
– Зачем ты, бес, такое зло
над нами учинил?

– Уймите свой базар-вокзал! –
лукавый им сказал. –
Осла я только отвязал,
я только отвязал...

19.10.2023

О ПОЭТЕ N

Осознав бытия скоротечность,
ощутив свою бренность, пиит,
зацепиться строкою за вечность,
на последнем витке норовит.
Но, усевшись за стол впопыхах,
он вселенскою злобою пышет,
столько жёлчи в евонных стихах,
будто гноем он собственным пишет.

07.08.2023

ПИСЬМО ПЯТОЕ, ПОКОЙНОМУ УКРАИНСКОМУ ПОЭТУ ПЕТРУ СВЕНЦИЦКОМУ. ГЕРМАНИЯ 2023

Жили на свете – я русский еврей,
ты украинец русский,
были с тобой мы вода не разлей,
пили из общей кружки.
Но нам трындец гондон-особист,
помнишь, хоть плачь, хоть смейся,
что ты – украинский националист,
а я – сионист еврейский.
Верили мы, наш союз не сломать –
мы ж не простые винтики.
Но с кем нам дружить, а кого убивать
суки решают политики.
Этих решал на земле до хрена,
и меж друзьями вчерашними
непостижимая вышла война –
наши, бля, бьются с нашими!
Переворачивается родня
наша в соседних могилах,
но с этой бойнею мы... ничего,
Петя, поделать не в силах.
Впрочем, все нити в руках у богов,
всё с их согласия деется.
Ты попроси там за нас, дураков, –
не на что ж больше надеяться...
15.04-21.04.2023

УЙДЯ С ПРИЯТЕЛЬСКОЙ ПИРУШКИ...

Петру Абрамову

Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы
или парижские театры... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство.
(А. С. Пушкин. Из письма к Вяземскому 1826 г.)

Уйдя с приятельской пирушки,
на берегу пустынных волн
невыездной отказник Пушкин
сидел печальных мыслей полн.
Ему хотелось за границу –
в Париж, в Берлин et cetera...
Чёрт догадал его родиться
в стране нелёгкой для пера.

Он ощущал себя на взлёте,
ему сверлила мысль висок,
что хорошо бы с Кюхлей к Гёте
зайти хотя бы на часок –
по счастью, этот старец мудрый
пока при силе и живой...
Поэт озяб. Клубилось утро
сырым туманом над Невой.
...Его в Михайловское вскоре,
как думал он, ему на горе,
сошлют на парочку годов,
и там он, сидючи в затворе,
с другой невыездностью в споре
на радость нам напишет море
поэм, трагедий и стихов* ...

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ

Это было давно, но в самом деле.

Жил-был у Тани попугай Гоша. Уменьский был. Ничья рука не могла приманить его. Вылетал из клетки и садился только на её руку, перебирался на локоть и долго мог так сидеть, пока рука не уставала...

Татьяна Ивлева. «Правдивая история»

*Когда я весь умру, тебя я огорошу
явлением своим – мне это по плечу:
возьму и воплощусь я в попугая Гошу
и под окно твоё однажды прилечу.
Я постучу в стекло и попрошу: «Хозяйка,
мне форточку отвори и руку протяни!»
И будем мы, как встарь, с тобой общаться, Танька,
и даже ближе чем в прижизненные дни...*

12.07.2022

К N.N.

1. Ахтунг!

О, вечно неожиданная старость,
о, смутная эта пора!

* В Михайловском Пушкиным создано около ста произведений. В том числе: трагедия «Борис Годунов», с конца 3-й и по начало 7-й главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончена поэма «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», написаны такие стихотворения, как «Деревня», «Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Вновь я посетил» и многие другие.

В ней знак, что немного осталось,
намёк неприкрытый – пора...
Но ты беззаботно гарцуешь
на молью побитом коне,
и с девой привычно флиртуешь
с безусым юнцом наравне.
А этого делать не надо б:
коварен у жизни расклад,
тут, друже, таится засада
опаснейшая из засад,
где можно случайно разбиться
о девичий взгляд из-под век,
и глупо, по-детски влюбиться –
до слёз, безнадежно, навек.

2. Пара пустяков

Вправду, не для виду, я есть таков:
мне простить обиду –
пара пустяков.
Отчего ж безбожно
так саднит в груди?
Да, простить несложно,
а забудь поди...

3. Такая беда

Когда Вам бывает особенно плохо
или даже хорошо не совсем,
я знаю, что утром у моего порога
Вы будете с Вашим наболевшим со всем.
Наливаю Вам водки, кормлю супом,
отправляю, захмелевшую, спать,
и тихо тащусь над собою глупым,
за то, что не люб Вам, но смею мечтать...
Проснётесь – в постель кофейку Вам покрепче,
вдвоём Ваших бед размотаем клубок,
признаетесь, стало немного полегче,
а это немало – полегче чуток.
Я знаю, однажды уймётся тревога,
к Вам счастье придёт не на миг – навсегда,
и больше мне Вас не встречать у порога –
не делаться счастьем... Такая беда.

4. Невозможно

Коготок увяз – всей птичке пропасть.

То сжимается сердце тревожно,
то от счастья пускается в пляс.
Не любить мне тебя невозможно,
разлюбить мне тебя невозможно –
коготок бестолковый увяз.

5. Казнить нельзя помиловать

Любовь подарком неба нам
свалилась с высоты.
«А ничего и не было...», –
назавтра скажешь ты.
Да как же так, любимая,
да что это с тобой?
Казнить нельзя, помилуй мя!
А море, а прибор,
а сброшенное платье,
на пляже на бегу,
а грешные объяття
на сонном берегу,
а горькое прощание –
аж сердце на куски,
а помнить обещание
до гробовой доски?
Сто лет живу на свете я,
но тупо всякий раз
там пестую трагедию,
где корчит рожи фарс...
28.10.2024

ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Немецкая народная песня
(с нижненемецкого)

Что я люблю тебя,
знаешь давно.

(2 раза):
Ночью приходи
и прошепчи
имя в окно.

В небе средь ночки
светит Луна.

(2 раза):
Спит мой отец,
матушка спит,
я сплю одна.

Ручки двери моей,
коснись, дружок.

(2 раза):
Папа решит
мама решит,
то ветерок.

А запоёт петух
песню с утра,

(2 раза):
ах, милый мой,
ох, милый мой,
значит – пора!

Если при выходе
щёлкнет замок,

(2 раза):
Папа решит
мама решит,
то ветерок.

МАРК ВАРШАВСКИЙ. Я МЛАДШЕНЬКУЮ ВЫДАЛ *
(с идиш)

1

Круг пошире,
Я всех счастливей в мире,
Пляшите ночку напролёт,
Со мною Бог, мне так везёт,
Душа от радости поёт! –
Я младшенькую выдал. (2–4 раза)

2

Жёнка Ева
Ты нынче королева,
ай, ай, ай, а я король,
Бог даровал нам эту роль,
нас, дочь, поцеловать изволь –
Я младшенькую выдал. (2–4 раза)

3

Мотл реб Шимес
Фиш рыбу, вина, цимес,
Поставьте без обиняков
На стол беднейших бедняков,
Закон издревле наш таков –
Я младшенькую выдал. (2–4 раза)

* Это перевод с идиш популярной еврейской песни «Младшенькую выдал!» (Die Mesinke Ojsgegeben), в народе названной «Мезинкэ». Стихи и музыка Марка Варшавского, великого еврейского барда (1848–1907). Марк Маркович Варшавский Родился в Одессе в еврейской семье, позже переехавшей в Житомир, где он получил традиционное религиозное образование. Позже Варшавский поступил на юридический факультет Императорского Новороссийского университета в Одессе, где проучился год. Закончил образование в Университете Святого Владимира в Киеве, после чего работал в Киеве присяжным поверенным. В 1903 году он переехал в Бельгию, чтобы работать там юрисконсультом в фирме, однако, болезнь (в 1905 году) вынудила его вернуться в Киев, где двумя годами позже он умер. В свободное время Варшавский сочинял и исполнял, сопровождая себя на пианино, песни на идише. Длительное время он не записывал свои песни, будучи убеждён в их невысокой художественной ценности, однако по совету киевского писателя Шолом-Алейхема решил опубликовать сборник из 25 песен с нотами, который вышел в свет в 1901 году с предисловием Шолом-Алейхема и имел большой успех среди читателей. Впоследствии сборник Марка Варшавского «Идише фолкслидер» («Еврейские народные песни») неоднократно переиздавался в расширенном виде. Песня «Слёзы мельника» в исполнении Сидора Беларского звучит в фильме братьев Кознов «Серьёзный человек». Широко известна его песня «Афн припечек» («На припечке»), которую, в частности, Стивен Спилберг использовал в фильме «Список Шиндлера» (1993). (Примечание редактора)

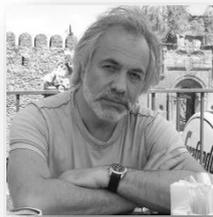
4
Ицик-шмицик,
Скрипач ленивый Ицик,
Свой спящий разбуди бедлам,
Пусть оркестр сыграет нам
Так, чтобы струны пополам! –
Я младшенькую выдал. (2–4 раза)

5
Айзик-шмайзик,
Ты что стоишь, шлемазик?
Даже бабушка у нас,
Несмотря на поздний час,
Посмотри, пустилась в пляс –
Я младшенькую выдал. (2–4 раза)

СЕКВЕНЦИЯ: VI. ЛАКРИМОЗА / ПЛАЧУЩИЙ
(с латыни)

В день прискорбия и страха,
Человек, восстав из праха,
Во смятении великом
Перед Божьим встанет ликом.
В Судный день, Господь благой,
Подари ему покой.
Аминь.





Борис Локшин / США/

Борис Локшин – кинокритик и эссеист. Родился в Москве, живёт и работает в Нью-Йорке. Публиковался в журналах Искусство кино, Новый мир, Театр, Интерполэзия, Контрапункт, а также на сайтах Colta.ru, Openspace.ru, Snob и Republic. Автор сборника эссе Кинотеатр повторного фильма (2022).

ИВАН ТОПОРЫШКИН ПОШЕЛ НА ОХОТУ.

В последние дни как-то очень хотелось пожелать главному герою этого моего старого текста... Даже не знаю, что пожелать. Пусть у него теперь все будет хорошо, насколько это возможно.

Петя:

Однажды по дорожке

Я шел к себе домой.

Смотрю и вижу: кошки

Сидят ко мне спиной.

Маша: Коля, а вам нравится Хармс?

Коля (неуверенно): Хармс? Да. (Шепотом Пете) А кто это, Хармс?

Петя (громко): Хармс – любимый Колин поэт, Горошкина!

Маша: Ой, правда? И я его очень люблю! Он замечательный поэт!

Если человек с гордостью говорит вам о «паролях», по которым «мы отделяли своих от чужих», то этот человек почти наверняка вырос в СССР между 1960-м и 1980-м годами. ОК, бумер!

Вот вам сцена: длинный балкон брежневской панельки. Один на две квартиры. На балконе два мальчика и одна девочка. Мальчики отделены от девочки стеклянной перегородкой. Один мальчик высокий, красивый и довольно половозрелый на вид. То же самое можно сказать и о девочке. Они влюблены друг в друга, но еще ни разу не разговаривали. Это Коля и Маша.

А второй мальчик на вид еще совсем ребенок. У него и голос-то даже толком не поменялся. Это пятнадцатилетний Миша Ефремов (то есть, простите, это Петя!). Он тоже влюблен в девочку. Но, к сожалению, ростом не вышел. Зато они с этой девочкой вместе выросли (это их балкон!), и они знают пароли: «Хармс!» А высокий мальчик Коля, он совсем простой паренек и паролей не знает. Как же ему с этой девочкой?

И тогда Петя приходит к нему на помощь. Он становится его толмачом и его ведущим. Он подсказывает ему пароли и даже пишет за него стихи

и передает девочке от его имени. Петя сначала делает это из мазохистского рыцарства: для него желание дамы сердца закон, а она так просила познакомиться ее с этим мальчиком. «Я хотел, чтобы все было, как ты хочешь», – объяснит он потом Маше. Но, конечно, заигрывается, вживается в роль. Потому что успех этого красивого Коли – на самом деле его успех. Ведь это он знает пароли. И это его стихи.

Фильм «Когда я стану великаном» Инессы Туманян вышел в 1978 году. Это такой немножко безумный пересказ «Сирано де Бержерака» Ростана. Петя Копейкин – Сирано, рыцарь-поэт-супермен, у которого вместо носа маленький рост, Коля Кристалов – Кристиан, Маша Горошкина – Роксана.

1970-е годы в СССР были годами массового культурного эскапизма. Действительность за окном была довольно безрадостной, а цензура довольно свирепой. Научно-техническая интеллигенция ходила в походы и пела песни у костра. Творческая и гуманитарная заново влюблялась в классику и изобретала странное, ни с чем не соотносимое понятие «духовности». Тех и других объединяла любовь к романтике и неприязнь к простому народу.

Удивительный, ни на что не похожий и практически ничему в реальности не соответствующий мир увлеченных классикой романтических подростков, созданный советским кинематографом в 1970-е годы, был идеальным местом для бегства.

О нем, об этом мире, лучше всего сказал Денис Горелов в замечательной статье о советском подростковом кино: «Внезапно нараставшая вес гуманитарная интеллигенция диктовала новую эстетику: отныне первые чувства шли под знаком верности классическим образцам чудного мгновенья. Отовсюду должен был подмигивать Пушкин, с хихиканьем носиться взапуски нимфы и фавны, и светлые песни Грига переполнять их».

Советская власть с пониманием относилась к этой тенденции и в отношении фильмов о подростках слегка ослабляла цензурные тиски и даже поощряла известное фрондерство. Классические и, безусловно, лучшие в этом жанре «Сто дней после детства» Сергея Соловьева были отмечены премией Ленинского комсомола и миллионом других разных премий.

Единственное жесткое цензурное требование относилось к безусловной сексуальной невинности подростков. Но оно совпадало с творческими намерениями создателей. В идеальном мире, в котором возвышенная романтика противостояла грубой вещной реальности, раннему подростковому сексу и так не было места. «Нам ведь друг от друга ничего не надо», – говорит Лопухин безнадежно влюбленной в него Загремухиной в финале «Ста дней после детства». Сам он безнадежно влюблен в Ерголину, влюбленную в Лунёва. «Давай мы просто запомним это лето». Не надо, и слава Богу, что не надо. Вступает

гениальный вальс Шварца. Сколько же Шварц написал гениальных вальсов в 1970-е годы!

Фильм «Когда я стану великаном», в отличие от «Ста дней после детства», «Ключа без права передачи» или «Чужих писем», не стал классикой жанра. Но его точно стоит пересмотреть, потому что он как никакой другой отразил то, что было тогда у людей в головах. К тому же, в отличие от перечисленных фильмов, он каким-то странным и несколько жутковатым эхом откликается в нынешней реальности. И самое главное, местами это просто очень хороший, хотя и отчаянно неровный фильм. Но и сцены, которые сейчас неловко смотреть, тоже очень много говорят нам о том времени.

Если сюжет «Ста дней после детства» крутится вокруг постановки лермонтовского «Маскарада» в пионерском лагере, то «Когда я стану великаном» начинается с того, что Петя Копейкин срывает премьеру школьной постановки «Сирано де Бержерака». Причем действует он из соображений, очень близких к тому, что сейчас стало принято называть «новой этикой»: исполнитель главной роли восьмиклассник Федя Ласточкин плохой человек, подонок и карьерист. А роль Феде Ласточкина исполняет Андрей Васильев, будущий медиаменеджер, директор ИД «Коммерсантъ» и, что самое главное, генеральный продюсер проекта «Гражданин поэт», в котором через тридцать с лишним лет будет блистать Михаил Ефремов, играющий Петю Копейкина.

В этом фильме состоялась первая проба юного Миши Ефремова на роль «гражданина поэта». Перед всем классом он читает «Курочку Рябу» в стиле Гомера, Маяковского и почему-то Бальмонта. Стихи эти, правда, написал не Дмитрий Быков, а будущий выдающийся русский лингвист Владимир Успенский еще в 1945-м году, когда он учился в 7-м классе. Почему-то все эти переключки и рифмы уже совсем далекого прошлого с совсем недавним вызывают во мне какое-то волнение перемешанное с ностальгией.

Это очень дурацкий фильм. Там, с одной стороны, карьерист Ласточкин и его подручные, единственные персонажи, носящие комсомольские значки (и цензура не заметила!), а с другой – Сирано Петя Копейкин и его Роксана Маша Горошкина, которые знают Хармса. Там, с одной стороны, простой народ в виде пьяного хулигана-грузчика и алкоголика-таксиста, а с другой – интеллигентная учительница английского и ночная очередь за билетами на гастроли БДТ, хором поющая Окуджаву. Но ведь когда выходил этот фильм, и я, и все мои друзья, а мы были примерно ровесниками Пети Копейкина, видели всё как раз таким. Другое дело, в кого мы все сейчас превратились.

В этом фильме Лия Ахеджакова сыграла свою, по-моему, лучшую роль. Нет, правда. Она там читает монолог Джульеты на английском языке, и одно это чтение стоит всех постановок Шекспира, которые я в своей

жизни видел. Она играет учительницу английского языка, Джульету Ашотовну по прозвищу Смайлинг, стареющую одинокую неприспособленную к жизни тетеньку, растящую сироту-племянницу в старой, заставленной книгами профессорской квартире с высоким потолками.

В такой квартире жила моя школьная учительница по литературе, которая сделала для моего воспитания больше, чем все остальные люди на земле вместе взятые. Как-то я зашел к ней, и она познакомила меня со своей подругой, режиссером Инессой Туманян, у которой только что вышел фильм «Когда я стану великаном». Я про этот фильм тогда даже и не слышал. Но это был первый живой кинорежиссер, которого я видел в своей жизни. Я помню только, что я пожаловался ей, что совсем не выходят новые хорошие фильмы. А она строго на меня посмотрела и сказала: «Как не выходят? “Спасатель”, “Пловец”!» И она была права. Но «Когда я стану великаном» понравился мне тогда гораздо больше.

Сразу после того, как Петя сорвал премьеру «Сирано де Бержерака», с ним провел воспитательную беседу представитель ГОРОНО, которого играл Олег Ефремов. Олег Николаевич – воплощенное достоинство и благородство. И как же на нем сидел его замшевый пиджак! А его сын Миша ну до того обаятелен, что можно пересматривать эту сцену десятки раз, и каждый раз млеть от восторга. Это какая-то органическая, невинная, врожденная обаятельность.

Незадолго до выхода фильма я попал на спектакль МХАТа «Медная бабушка». Долговязый Олег Николаевич играл в нем Пушкина. Но дело было не в его росте и не в чудовищно торчащих наклеенных бакенбардах, а в том, что мэтр был мертвецки пьян. Я никогда не забуду, как он поднимался из кресла с нескольких попыток, как забывал текст и как заплетающимся голосом перебивал других актеров.

И еще в этом фильме замечательная Роксана – Маша Горошкина. Эта девочка, Наташа Сеземан, с обаятельной щелью между верхними передними зубами, как у забыл какой известной французской актрисы новой волны, не особенно-то и красивая, но вся какая-то ужасно милая, больше не снялась ни в одном фильме, а стала доктором и сейчас, кажется, работает в какой-то частной клинике во Франции.

В финале фильма Петя Копейкин не погибает красиво, как Сирано. Финал скорее оптимистический, чем трагический. Петя просто сидит на полу лифта, который ездит вверх и вниз. Горошкина, которая наконец поняла, кто ее подлинный избранник, уцепилась пальцами в прутья лифта и смотрит, смотрит. А он то поднимается в этом лифте мимо нее вверх, то опускается вниз. И отвечает ей преданным собачьим влюбленным взглядом. Невероятно трогательная сцена!

Горошкина, он потрясающий артист, но он всю жизнь будет ужасно пить и в конце концов сядет пьяным за руль, устроит аварию, погубит

человека, и его отправят в тюрьму. Не связывайся с ним, Горошкина! Лучше продолжай любить своего баскетболиста! Он красивый и хороший, Горошкина!

Иван Топорышкин пошел на охоту.
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.

А вам нравится Хармс?



Кадр из фильма «Когда я стану великаном». В роли Пети Копейкина Михаил Ефремов.

БЕССЛАВНЫЙ КАПОТЕ ИЛИ НУЖНЫ ЛИ СТИГМАТЫ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЕ

Про святую Терезу Авильскую я узнал в 17 лет, когда прочитал поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». В ней лирический герой спросил Господа «Разве это мне нужно?», имея в виду всю свою жизнь и прежде всего бутерброд и розовое крепкое за рубль тридцать семь в своем чемоданчике. И, весь в синих молниях, Господь ему ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

С тех пор я вряд ли хоть раз задумывался об этой святой, зато, когда речь заходила о смысле жизни, я регулярно цитировал, хотя и не точно, этот ответ Господа Веничке: «Нужны ли стигматы святой Терезе? Они ей не нужны, но они ей желанны».

Недавно, посмотрев нашумевший телевизионный сериал антологии Райана Мерфи «Вражда: Капоте против лебедей», я узнал, что этой

святой принадлежит и другая известная цитата: «Над услышанными молитвами пролито больше слез чем над неслышанными». Сериал мне не слишком понравился, но после него мне захотелось немножко больше узнать о судьбе писателя Трумена Капоте, который молился о том, чтобы стать самым знаменитым американским писателем и самой влиятельной американской знаменитостью, и пролил много слез после того, как его молитвы были услышаны.

Самый главный роман этого писателя, его *opus magnum*, так и назывался по словам святой Терезы — «Услышанные молитвы» («Answered Prayers»). Он писал его всю свою жизнь, но так и не написал.

1. Взлет

История превращения Трумена Капоте из известного писателя в культовую фигуру легче всего начать с того ноябрьского дня 1959 года, когда, сидя у себя в Бруклинской квартире, Капоте лениво перелистывал «Нью-Йорк Таймс», и его взгляд упал на небольшую заметку о том, как в Канзасе была убита семья богатого фермера. Муж, жена и их двое детей-подростков были зверски убиты посреди ночи в их собственном доме. Перед убийством жертвы были умело связаны. Жена и дети были расстреляны в упор, а мужу перерезали горло. Из дома пропала очень небольшая сумма денег и несколько не слишком дорогих предметов. Никаких следов убийцы после себя не оставили.

Прочитав заметку, Капоте снял трубку, позвонил главному редактору «Нью-Йоркера» Уильяму Шону и предложил вечером выехать в Канзас, чтобы лично расследовать, что там происходит. Капоте было тридцать пять лет. К тому времени его небольшая повесть «Завтрак у Тиффани» уже прославил его на весь мир. Одновременно он был известен как успешный журналист и яркий персонаж нью-йоркской культурной и светской сцены. К тому же он не просто не скрывал своей сексуальной ориентации, но вел себя таким образом, что каждое его появление в обществе представляло что-то вроде индивидуального гей-парада. В то время такие вещи были еще большой редкостью. Только через пять лет Сюзан Зонтаг определит такой стиль в искусстве и в поведении как «кэмп», и этот стиль начнет стремительно входить в моду. Капоте мог по праву считать себя одним из его основоположников.

Но кем он точно не был, так это криминальным журналистом. Как и каким образом Капоте почувствовал, что это именно та история, которую он должен написать, и почему он решил посвятить расследованию этого убийства следующие пять лет своей жизни, Капоте никогда не объяснил. Видимо, это был случай какой-то гениальной интуиции. Как если бы его с неба что-то торкнуло.

Документальный роман «Хладнокровное убийство» (*In Cold Blood*), написанный в результате шестилетнего погружения Капоте в историю этого убийства, сделал его американским классиком и одновременно

самым обсуждаемым и влиятельным светским персонажем Нью-Йорка. Феноменальный успех этой книги мне до сих пор не до конца понятен. Мне видится в ней какая-то сомнительная гламурная гладкость вкупе с большой долей манипулятивного расчета. Слов нет, читается она до сих пор отлично. Великолепные предложения, сочные описания, завораживающий ритм. И, тем не менее, меня все время не оставлял вопрос: «А зачем это все?»

Говорят, что Капоте изобрел новый жанр — True Crime, «новеллизированное преступление», хотя все это существовало еще задолго до него, во всяких теле- и радиопостановках. Понятно, что «In Cold Blood» — лучший литературный образец этого жанра. Но, с другой стороны, эта книга — длинный и обстоятельный рассказ о том, как два подонка жестоко и бессмысленно убили четырех человек, целую семью, мужа, жену и двоих детей-подростков, и как их потом поймали, судили и казнили. Никакой метафизической глубины за всем этим нет — чистое, гладкое, без сучка без задоринки повествование. Убили, поймали, судили, повесили... И?

При этом за книгой стоит какая-то фальшь. Потому что автор этого повествования занимает толстовскую позицию Бога по отношению к своим реальным героям. То есть он знает про них все и может писать как бы с их точки зрения. Мне скажут: ну и что, разве не то же самое, например, делают авторы исторических романов? Нет, не то же самое. Они не претендуют на документальность, на то, что все именно так и было. А Капоте выдает свои литературные фантазии за чистую монету, и претензией на знание реальных фактов повышает стоимость этой монеты в наших глазах.

История написания этой книги рассказывается сразу в двух фильмах, которые вышли на экраны почти одновременно: «Капоте» в конце 2005 и «Бесславный» (Infamous) в 2006-м году. Одновременность выхода этих двух очень похожих фильмов можно, наверное, объяснить тем, что сняты они были как раз к сорокалетнему юбилею выхода «Хладнокровного убийства». Однако Голливуд начала XXI века трудно назвать особенно литературоцентричным местом. И такой острый его интерес к фигуре очень известного, но давно уже не культового литератора, говорит о том, что Капоте был гораздо больше, чем писателем. Благодаря своей светской, внелитературной славе Трумен Капоте навсегда вошел в историю как «культурный герой».

Из двух фильмов «Капоте», пожалуй, получился интереснее, как минимум, потому что писателя там играет гениальный Филип Сеймур Хоффман, наверное, самый яркий актер своего поколения. Впрочем, эти картины, в некотором роде, дополняют друг друга. «Капоте» Беннетта Миллера получился глубже, психологичнее, а «Бесславный» Дугласа МакГрата показался мне ярче и занимательнее. Хотя я не объективен. Второй фильм провалился в прокате, но песня «Что это за штука, любовь?», которую в самом начале фильма поет Гвинет Пэлтроу

— это безусловный шедевр, который стоит обоих этих фильмов. Впрочем, с самой историей Капоте эта песня никак не связана.

Если Капоте Хофмана постоянно сомневается, не до конца уверен себе и все время на грани нервного срыва, то Капоте в исполнении Тоби Джонса — это прежде всего эксцентрик, трикстер и крайне эффективный манипулятор.

Так или иначе, и «Капоте», и «Бесславный» содержат долгие и подробные, а на мой вкус, так и чересчур подробные сцены повешения главных героев «Хладнокровного убийства», Ричарда Хикока и Перри Смита. Действительно, Капоте присутствовал на казни по просьбе самих осужденных в качестве их ближайшего друга. Известно, что последние два года жизни этих людей представляли для Капоте некоторую проблему. С одной стороны, Капоте, пока писал свою книгу, вступил с ними в очень доверительные отношения. «Бесславный» даже намекает на романтические отношения между Капоте и Смитом, но это, на мой взгляд, уже перебор. Вообще-то, если честно, это были не люди, а то, что называется изверги, и Капоте их в своей книге сильно очеловечил. Смит, считая Капоте своим близким и единственным другом, выложил ему всю свою подноготную. Скорее всего, не будь этих дружеских отношений, не было бы и самой книги. Но чтобы книга была опубликована, она должна была иметь логическое окончание — ее героев должны были казнить. А казнь откладывали из-за бесконечных апелляций. То есть это был, может быть, единственный в истории литературы случай, когда судьба книги напрямую зависела от того, когда повесят ее главных героев.

Как писатель Капоте не мог дожидаться выхода книги, то есть он мечтал о том, чтобы убийц казнили как можно скорее и реально сходил с ума из-за того, что этого не происходит. Насколько ему на самом деле было жалко своих «друзей», и насколько он переживал за их судьбу, не узнает уже никто.

2. Триумф

Итак, в апреле 1965 года Хикока и Смита казнили, в конце года «Хладнокровное убийство» вышло в четырех выпусках «Нью-Йоркера», а в начале 1966-го — отдельной книжкой. И это был не просто успех, это был триумф. Все существующие медиа — журналы, газеты, телевидение и радио — стали, как пишет Джеральд Кларк в своей биографии Трумена Капоте, «гигантским оркестром, который играл только одну мелодию: Трумен Капоте». Плутующее личико писателя победно смотрело с обложек журналов Newsweek, Saturday Review, Book Week и The New York Times Book Review. Самый популярный в мире в то время журнал Life опубликовал самую длинную в своей истории статью, когда-либо посвященную писателю. Один из рекламных щитов на Таймс-сквер целую ночь пульсировал словами IN COLD BLOOD. И одновременно со своим литературным триумфом Капоте стал готовить свой второй, параллельный триумф —

светский.

С первых своих литературных успехов в конце сороковых годов Капоте из всех сил стремился стать частью мира богачей и знаменитостей, причем его светские амбиции были никак не ниже литературных. Можно даже сказать, что его литературные успехи служили для него мотором для светских достижений. С конца пятидесятих годов этого комичного коротышку из Алабамы, открытого гея с пронзительно высоким манерным голосом, пьяницу, наркомана и скандалиста, с распростертыми объятиями принимали в загородных домах и роскошных нью-йоркских квартирах мультимиллиардеров. Он отдыхал на их виллах, катался на их яхтах, летал на их частных самолетах.

Большую часть своей взрослой жизни Капоте как будто строил две карьеры одновременно: литературную и светскую. И последняя была для него не менее важной: ему нужно было быть не просто публичным интеллектуалом, что для серьезного писателя нормально, а именно знаменитостью, тем, что сейчас называется словом *celebrity*. Капоте хотел быть гламурным персонажем.

Его враг и ненавистник писатель Гор Видал, который некоторое время тоже был довольно известным персонажем нью-йоркского высшего света, как-то сказал про него: «Трумен Капоте с некоторым успехом пытался проникнуть в мир, из которого я с некоторым успехом пытался выбраться». Легко было так говорить отпрыску одной из известнейших и богатейших американских политических семей. Но Трумен Капоте, оставленный матерью в раннем детстве, воспитывался у дальних родственников в городишке Монровиль в Алабаме. И это была та еще дыра. Когда ему исполнилось 8 лет, мать, которая к тому моменту, как казалось, удачно вышла замуж за кубинского землевладельца по имени Хосе Гарсия Капоте, забрала его в Нью-Йорк.

Больше всего на свете его мать, провинциалка с непомерными амбициями, мечтала стать частью Нью-Йоркского светского общества. И вот ее мечты оказались как никогда близки к осуществлению. Семья поселилась на Парк-Авеню, и Хосе Гарсия усыновил маленького Трумена. Но, к сожалению, кубинец оказался довольно мутным типом. Вскоре его посадили за какие-то денежные махинации, и семья впала почти в нищету. Так что у Капоте могли быть совершенно другие взгляды на такие вещи, чем у Гора Видала.

В середине 1966 года, в ознаменовании выхода своей книги и для закрепления своего светского успеха Капоте решил дать бал, о котором все будут говорить. Свой первый в жизни бал Капоте попытался устроить для своих одноклассников, когда ему было восемь лет и он жил в Монровилле, оставленный родителями на попечение бедных родственников. Что-то у него тогда не срослось. А потом он на протяжении всей первой половины своей жизни говорил друзьям, что когда он станет богатым и знаменитым, то устроит грандиозный был

для своих богатых и знаменитых друзей.

И вот наконец его молитвы были услышаны. О том, что он собирается дать бал для самых избранных, Капоте объявил в начале лета. Тогда же он купил себе черно-белую записную книжку, с которой появлялся повсюду. Он постоянно вписывал и вычеркивал оттуда имена. Все знали, что он работает над списком гостей. И что если ты попадешь в этот список, то жизнь твоя прожита не зря. А если не попадешь, то ты никто и звать тебя никак. И сколько же светских знаменитостей просыпалось по ночам в холодном поту от ужаса, что их нет в этом списке.

Бал был назначен на 28 ноября. Для бала Капоте выбрал Большой бальный зал отеля «Плаза», на углу Пятой авеню и 59-й улицы прямо напротив Центрального Парка. Отель «Плаза» подходил. Именно в нем происходила ключевая сцена «Великого Гэтсби», книги, названной по имени главного героя, чьи молитвы, к его несчастью, были определенно услышаны. И бал прошел с ошеломительным успехом. Даже сомнения некоторых скептиков — дескать, уместно ли устраивать такие вечеринки, когда страна воюет, а война во Вьетнаме как раз развернулась всерьез, и похорожки стали приходиться во многие и многие семье, — даже эти сомнения никак не могли его омрачить. И каким-то образом, этот бал превратился в историческое событие.

Вот ведь как странно. Бал и бал. Пустая светская вечеринка. Приглашенные были в черно-белых платьях и смокингах. На лицах, по требованию хозяина, маски. Черные на женщинах, белые на мужчинах. Танцевали. Сплетничали. Демонстрировали себя и своих партнеров. Пили дорогое шампанское. В полночь подали еду: яичницу, сосиски, пирожные, спагетти с фрикадельками и куриный хаш, что бы это не значило. А об этом событии до сих пор пишут. И сколько пишут! Про него снимают фильмы. Это часть истории.

28 ноября 1966 года Трумен Капоте стал самым знаменитым в Америке писателем и самой влиятельной светской знаменитостью. Это был двойной триумф. Господь услышал его молитвы. И это была его лебединая песня. Потому что после этого Господь отнял у него его литературный дар. И в оставшиеся двадцать лет его жизни он не смог написать ничего значительного. А впоследствии он сам, хотя, наверное, и не без Божьей помощи, лишил себя доступа в светское общество и погубил свою светскую карьеру.

3. Лебеди

Тому, что Трумен Капоте стал завсегдатаем самых изысканных Нью-Йоркских салонов, он был во многом, если не в основном, обязан своей дружбе с главными красавицами нью-йоркского «большого света». Он называл этих женщин своими «лебедями». (То, что лебедь по-русски мужского рода, конечно, режет ухо и, поэтому, тут напрашивается перевод «лебедушки», но, по-моему, это звучит как-то уж очень былинно, а «лебедки» — так даже и похабно. Так что пусть они

остаются «лебедями»).

50-е — 70-е годы двадцатого века были самым интересным временем в жизни Нью-Йорка — временем, когда этот город стал не только беспспорной финансовой, но и светской и культурной столицей мира. Нью-Йорк был местом, где «всё» происходило и где «необходимо» было быть. А «лебеди» Капоте были не просто женщинами, умевшие выходить замуж за богачей, хорошо одеваться и устраивать роскошные светские приемы. Это были иконы стиля своего времени, которые создавали идеалы красоты и поведения, на которых были устремлены постоянные взгляды миллионов поклонников и читателей светских хроник и модных журналов. Большинство из них не были наследственными аристократками. Они «сделали сами себя». Они начинали свои светские карьеры работая в журнальной индустрии и «Голливуде». Собственно, эти женщины создали то, что сейчас принято называть гламуром. Попасты в круг, центром которого были эти женщины, означало для многих оказаться в самом центре вселенной.

Эти «лебеди» Капоте, выдающиеся по-своему женщины, царившие в нью-йоркском большом свете, считали его своим близким другом, сплетничали с ним, делились с ним своими самыми сокровенными тайнами. Невозможно даже представить, сколько усилий потратил Капоте на то, чтобы стать их другом, советчиком и конфидентом — и как он дорожил этими отношениями.

Вопрос, насколько сами «лебеди» дорожили своими отношениями с Капоте, остается открытым. Они приняли его в свой круг, потому что он был знаменитым писателем, автором «Завтрака у Тиффани». И еще потому, что он был очень яркой, занятой и эксцентричной личностью, остроумным собеседником и веселым собутельником. С ним было легко. К тому же его сексуальная ориентация, которой он бравировал, исключала возможность косых взглядов со стороны миллиардеров-мужей и светского общества.

История их дружбы и их разрыва рассказывается в недавно вышедшем сериале Райана Мерфи «Вражда: Капоте против лебедей». Если верить истории, которую рассказывает Мерфи вместе со своим сценаристом Джоном Робинсом Бэйтсом и режиссером Гасом ван Сентом, отношения с этими женщинами были для Капоте так важны, что он так и не смог пережить разрыва с ними, и все его дальнейшая жизнь оказалась только печальным послесловием к этому событию.

Впрочем, рассказана эта история довольно путано. Сериал, который умещает в себя больше 25 лет жизни своих героев, произвольно перепрыгивает вперед и назад из одной временной точки в другую, но исполнители главных ролей при этом почти не меняются, как будто застыли в одном, непонятно каком времени. Возможно, в этом и был какой-то замысел Гаса ван Сента, не пожелавшего чересчур «перепримиловать» героев, но производит это довольно странное

впечатление.

Хотя это отнюдь не самое главное. С сериалом «Вражда...» случилось главное несчастье, которое могло случиться с сериалом: его скучно смотреть. И прежде всего потому, что ван Сент, который режиссировал семь из восьми серий сезона, не смог или не захотел сделать то, что диктовалось темой. Его сериал недостаточно красив. Или, что самое главное, это сериал о гламуре, который недостаточно гламурен. А гламур этого не прощает.

Странно, но «лебеди» в фильме получились бледными и неубедительными. Прекрасным актрисам Дайане Лэйн (Слим Кит), Хлои Севиньи (Си Зи Гест), Калисте Флокхарт (Ли Раздвилл) и Деми Мур (Анн Вудвард) в общем-то нечего играть. Даже их платья в этом фильме и то какие-то скучные. Исключение составляет Наоми Уоттс (Бейб Пэйли), которой досталась более-менее сложная роль. Но и тут, на мой взгляд, у режиссёра что-то не склеилось. Не желая показывать гламурную жизнь, он решил подробно показать гламурную смерть. Гламурная красавица Бейб Пэйли большую часть фильма умирает от рака, оставаясь при этом гламурным персонажем, в чем Гас Ван Сент видит какой-то особенный героизм. Но никакая смерть не бывает гламурной. И лично я в эту линию не верил, да и не понимал, зачем мне это все.

Зато теперь, с выходом этого сериала со звездой «Белого Лотоса» Томом Холландером в роли Капоте, можно сравнивать сразу трех Капоте, как в советском кино сразу нескольких Лениных или Дзержинских. Капоте Тома Холландера скорее жалок и необаятелен. Впрочем, это можно объяснить тем, что «Вражда» в основном отражает последний период жизни Капоте, период его гибели, растянутой почти на двадцать лет, период «услышанных молитв». Что объединяет эти три фильма — то, что все три Капоте внешне категорически не похожи на оригинал, как бы они ни старались имитировать его голос, одежду и манеры.

4. Падение

Сразу после триумфа «Хладнокровного убийства», Капоте подписал с издательством контракт на будущий роман, и получил под него неслыханный по тем временам аванс. Роман должен был называться «Услышанные молитвы». Эта книга должна была стать главным произведением его жизни. Он сравнивал его с прустовской эпопеей и обещал произвести переворот в мировой литературе. Как и в «Поисках утраченного времени», это должен был быть «роман с ключом». Под вымышленными именами должны были быть выведены настоящие люди и настоящие события. И главным предметом его нового романа должен был стать Нью-Йоркский большой свет.

В конце концов, он сам придумал этот полудокументальный метод, когда сочинял «Хладнокровное убийство», книгу документальную и одновременно художественную. С одной стороны он настолько глубоко

проник в мир канзасских фермеров и хладнокровных убийц, что смог позволить себе писать от их лица, а с другой стороны он все время оставался сторонним наблюдателем и хроникером.

Все его светские друзья знали, что являются потенциальными героями его будущего великого произведения. А «лебеди» так, наверное, и видели себя главными героинями. И от этого все они старались еще больше любить Капоте, заботиться о нем, нравиться ему. Потому что нет на свете такого образованного и амбициозного человека, который не видел бы себя героем романа. Как минимум, романа, который человек пишет внутри своей собственной головы. Как максимум — героем бессмертной книги на все времена.

Но его триумф, литературный и светский, уже состоялся. Его молитвы были услышаны и теперь наступило время проливать слезы. Похоже, что после выхода «Хладнокровного убийства» он не мог уже ничего написать.

Еще десять лет с ноября 1966 года Капоте оставался заметной фигурой на светской сцене. Он появлялся на самых эксклюзивных светских вечеринках. О нем постоянно писали в светской хронике. Без интервью с ним не обходилось ни одно уважающее себя ток-шоу. Его снимали в Голливуде во второстепенных ролях. Он много пил и все больше подсаживался на тяжелые наркотики. Он заводил себе сомнительных и опасных любовников, которые эксплуатировали его славу и его деньги.

Он не укладывался к назначенному сроку. Передоговаривался с издателями на новый срок. Не возвращал потраченные авансы и брал новые. Снова не укладывался. Он только и делал, что всем рассказывал про этот свой роман. А романа не было. Было множество набросков. Несколько разрозненных глав. Похоже, что он просто не знал, о чем дальше писать.

И тогда он совершил роковой для себя поступок. Он решил рискнуть своей светской карьерой ради литературной. Ведь в первую очередь он все-таки оставался писателем. И в светское общество он был принят именно как писатель. И его светский триумф был связан с писательством. И нет на земле ни одного писателя, который так глубоко проник бы в самые глубокие тайны, самые скрываемые секреты «большого света». Но оказалось, что главным его писательским багажом, тем материалом, с которым он был еще способен работать, оказались самые гадкие, самые компрометирующие, самые низкие секреты его друзей.

И вот грянул гром. По странному совпадению все три главных события в этой истории случились в ноябре. Итак, в 1975 году на страницах ноябрьского номера журнала «Эксвайр» появилась глава из будущего романа «Услышанные молитвы», которая называлась по имени известного нью-йоркского ресторана La Côte Basque 1965. В этом ресторане на Ист 55-й улице напротив отеля Regency любили

встречаться на ланч «лебеди» Трумена Капоте.

Эта глава оказалась набором светских сплетен и самых что ни на есть неприличных историй, наполненных ужасающими подробностями, связанными с любимыми подругами автора. Чего там только не было, включая менестральную кровь любовницы мужа, размазанной по супружеской постели, и секс с собакой! Трудно поверить, что «лебеди» делились с Капоте своими секретами. Но легко поверить, что они с удовольствием делились с ним секретами своих подруг. Так или иначе, но можно смело сказать, что Капоте вылил на своих «лебедей», а также на их нынешних и бывших мужей и их светских знакомых и друзей целое ведро помоев. Причем больше всего досталось главным его «лебедам» — Слим Кит, Ли Радзивилл (между прочим, сестре Жаклин Кеннеди) и, в особенности, Бэйб Пэйли, с которой Капоте особенно близко дружил.

При этом литературная ценность этого произведения в общем-то оказалась довольно сомнительной. Во всяком случае, я несколько раз начинал его читать, но запутывался в том, кто есть кто, о ком речь и задавался вопросом, для чего, я, собственно, все это должен знать, уже на первых страницах. Честно говоря, я не могу себе представить, чем это могло быть интересно даже современникам, помимо, разумеется, заинтересованных лиц.

Все это скорее напоминало довольно изощренный способ светского самоубийства, и как таковой «La Côte Basque» прекрасно сработал. Капоте был немедленно изгнан из светского общества и никогда в него больше не вернулся. Все его многочисленные попытки восстановить отношения со своими «лебедами» ни к чему не привели.

«Я только скажу, что писатель вынужден работать с тем материалом, который он собрал как результат его наблюдений, и ему не может быть отказано в праве употребить его. Осудить, но не отказывать», — оправдывался Капоте. Но его беспощадно изгнали почти из всех роскошных гостиных, где раньше принимали с таким восторгом.

Капоте умер как светский персонаж в 1975 году. Но как писатель он умер гораздо раньше и ему не удалось возродиться. После выхода «Хладнокровного убийства» в 1966 году он не создал ни одного серьезного произведения, за исключением нескольких рассказов и журнальных репортажей. Из «Услышанных молитв» было опубликовано всего четыре главы. Особого впечатления, за исключением той злополучной четвертой, они ни на кого не произвели. И хотя писатель до последних дней уверял всех вокруг, что его главный роман почти написан, ни одной неопубликованной главы после его смерти найдено не было. «Услышанные молитвы» никто не услышал. Капоте умер в 1984-м от цирроза печени, не дожив до 60 лет. В последние свои годы он превратился в полную развалину, как в физическом, так и психическом смысле.

5. Послесловие

На том знаменитом черно-белом балу Трумена Капоте кого только не было: все лебеди со своими тогдашними мужьями, пятидесятилетний Фрэнк Синатра со своей новенькой двадцатилетней женой Мией Ферроу, дочери сразу трех американских Президентов, художник Энди Уорхол, махараджа Джайпура со своей махариной, актер Генри Фонда, бывший король Англии Эдуард VIII, композитор и дирижер Леонард Бернштейн, писатели Норман Мэйлер и Джон Стейнбек...

А первыми гостями, явившимися на бал, была чета Либерманов: директор издательства Conde Nast Александр Либерман и его супруга, Татьяна Либерман-дю-Плесси-Яковлева, бывшая возлюбленная Маяковского, адресатка двух его громких стихотворений, знаменитая дизайнер шляпок, икона нью-йоркской моды и хозяйка одного из самых престижных нью-йоркских салонов. В семидесятых годах эта уже пожилая дама покровительствовала молодому и почти никому не известному поэту-эмигранту Эдуарду Лимонову. У нее в салоне Лимонов увидел Трумена Капоте. Она же помогла ему добиться короткой встречи со знаменитостью.

В американской литературе у Капоте несметное количество продолжателей, начиная от Тома Вулфа и Хантера Томпсона и до вполне современных Джона Краукера и Дэвида Фостера Уоллеса. А вот среди русских писателей внимательно его прочитал, похоже, один Лимонов. Они и на самом деле очень близки — и стилистически, и чисто по-человечески. Два непомерно амбициозных талантливых маргинала из провинции, они пробивались к самым вершинам литературного и светского успеха, в равной степени используя свой талант и свою маргинальность и для того, и для другого.

Но дело даже не в этом, а в том, что и тот, и другой были очень талантливы, но видеть себя хотели гениями на все времена. Но литературными гениями они, к сожалению, не были. Поэтому один добирал недостающие очки в светской жизни, а другой в политике. И тот, и другой вроде бы и добились в этих областях определенных успехов, но, в конце концов, оба выскочки были поставлены на место. Лимонов оказался психологически и физически крепче, но это уже совсем другая история.

В своей «Книге мертвых» Лимонов пишет, что Капоте случайно прочел несколько глав из перевода «Эдички» на английский, который в то время безуспешно кочевал из одного крупного американского издательства в другое, и захотел с ним встретиться. Трудно сказать, правда это или выдумка, но телефон Капоте ему дала Татьяна Либерман. Лимонов его вызвонил, и они встретились на полчаса в каком-то кафе.

Лимонов же и оставил самое пронзительное описание Капоте в его последние годы из всех мне известных:

«Он был похож на выпавшую из гнезда птицу. Есть такие птенцы, без перьев, все в жилах, венах, кровеносных сосудах, им всего пара дней от

роду, но выглядят они стариками. Вот такой был он»
«Над услышанными молитвами пролито больше слез, чем над неуслышанными» — говорила святая Тереза. Жизнь и смерть Трумена Капоте, его триумф и его падение, чем это не иллюстрация к мысли средневековой католической святой. Всплеск популярности Капоте, не Капоте-писателя, его сейчас не так много читают, а «Капоте» — персонажа в первой четверти двадцать первого века — это, похоже, тоже отголоски его «услышанных молитв», над которыми теперь только плакать и плакать.



Трумен Капоте. Фото: Ричард Аведон (Richard Avedon), 1959 г.

ПОЭЗИЯ И ЕВТУШЕНКО?..

Виктор Шкловский как-то сказал, что даже сломанный будильник два раза в сутки показывает правильное время. В сутках 1440 минут. В переложении на чистую поэзию это означает, что поэту нужно написать 720 полных строф, чтобы хотя бы одна из них случайно оказалась хорошей. Евтушенко написал за свою жизнь столько, что хороших и годных к цитированию строф у него можно найти предостаточно. Это не мешает ему оставаться одним из самых

чудовищных графоманов, которых когда-либо носила на себе эта земля. Что поразительно, так это то, как этот любящий поэзию и тонко в ней разбирающийся человек, к тому же безусловно обладавший определенным поэтическим талантом, был способен писать такие ужасные стихи. Это какой-то удивительный природный феномен, когда человек прекрасно слышит все, кроме собственного голоса. Вот мои любимые его строчки. Они тем более важны для понимания Евгения Александровича, что тут он рассказывает о самом важном событии в своей жизни:

*Ты пригрозила, вскинув ступку:
"Бесстыжий, зыркать не моги!",
и, сделав мне в душе зарубку,
легко перешагнула юбку,
и трусики, и сапоги,
став нежным ангелом тайги.*

Тут прекрасно все: и трусики, и сапоги, и таинственная ступка, и процесс превращения в нежного ангела тайги. Полная ссылка в первом комментарии.

Что же касается «Бабьего Яра», то это на самом деле те же трусики с сапогами, только сбоку:

*А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит*

Про Анну Франк там я даже и цитировать не буду. Как-то неловко. Можно было бы считать это стихотворение гражданским поступком, если бы автора за него посадили, или, по крайней мере, не выпустили в заграничную командировку. Но нет. Не было, мне кажется, еще такого стихотворения за всю историю стихосложения, за которое автор не получил бы столько денег и незаслуженной славы. Так что пора бы уже, наконец, уняться. Советское-антисоветское тут вообще ни при чем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИК

На фильм «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»

Последний крик идущего на дно,
Он знает: в рай не пустят все равно,
Тревожь признаньем душу, не тревожь,
Как ни крути, но лишь выходит ложь.
А правда, как расплавленный металл:
Жизнь пролетела, — грешник не летал.

В чем здесь вина и кто судить посмел
Зачинщика больших и малых дел?
И за какие, Господи, грехи,
В огонь бросают все его стихи?
Ответ, как в грудь направленный кинжал:
Жизнь пролетела, — грешник не летал.

Как не летал? Он всюду был — везде!
Кресту он поклонялся и звезде.
Он восхищал музей и стадион,
Великих мира был знакомцем он.
Все это так, но крыльев Бог не дал.
Жизнь пролетела, — смертный не летал.

Михаил Рахунов. 27 октября 2013 г.





Фархат Тамендаров / Казахстан /

Родился 18 июня 1959 года. Окончил Алмаатинский энергетический институт. В 2012 году – открытую литературную школу г. Алматы (ОЛША). Вице-президент "Казахского ПЕН-клуба". Член Союза Писателей Казахстана. С 2010 года возглавлял литературный альманах "LITERANOVA". С августа 2023 года занимает пост секретаря Союза Писателей Казахстана, главного редактора республиканского литературного журнала «Простор». Награжден медалями Олжаса Сулейменова и Беллы Ахмадуллиной от Евразийского фонда культуры.

* * *

Солнце спит на моей руке,
Дышит нежно лучами в грудь.
Белый лебедь плывёт по реке,
Замер я... и боюсь спугнуть.

Спи, родная, лети во сне
К золотым в небесах облакам,
Где Любовь и Свобода в цене,
И за честность не бьют по рукам.

Этот мир наш погряз в войне,
Всюду ложь и обман, грязь и кровь.
Я с тобой улечу во сне
В мир, где царствует вечно Любовь!

* * *

Люблю я утром нежиться в постели.
Светлеют окна, певчие поют,
А время движется как будто елееле.
День настанёт, события грядут.

А я затихну в сладком полусне.
Постой мгновение, замри, остановись.
Но солнца луч вдруг улыбнулся мне:
Вставай, мой друг! Твоя проходит жизнь.

Живи и радуйся, что снова жив, здоров,
Что впереди так много добрых дел,
Что мир вокруг тебя без войн, без оков...
Пусть всё исполнится. Всё то, что ты хотел!

АККОЛЬ

Кони пасутся у горной реки,
Ели сгустились на склоне горы,
Белые овцы по небу плыли,
Солнце согрело собой пол земли.

Солнцем согрета душа ездока,
Коня вороного походка легка,
Весело вниз убегает река,
Горы стеною стоят на века.

Гордо над ними Хан-Тенгри белеет,
Гордый орёл над вершиною веет.
Белые юрты, а в центре шатыр,
Их охраняет великий батыр.

Рядом с батыром колышется флаг.
Землёй дорожи своей, гордый казах!

* * *

Дождь в декабре ложился липко
На лобовой анфас стекла.
Забиты улицы, и хлипко
Летит из-под колёс вода.

Дождь в декабре не популярен.
Колюч и так противен мне,
Был старой девою подарен
Зелёный кактус на окне...

* * *

В преддверье Наурыза выпал
Весенний новогодний снег.
Он снизу доверху засыпал
Всё то, что видит человек.

Снежинки зло в лицо нам били,
И не пускали нас домой.
О, женщины, вы согрели
Наверно лютою зимой.

И вот она опять вернулась,
Что бы напомнить о себе.
И никому не улыбнулась,
Задув все свечи на столе.

* * *

Вот так бы и жить у моря,
Шагами взбивать песок,
Не знать ни беды, ни горя,
Иметь для житья закуток.

Ловить временами рыбу,
Ведь рыбы они ничьи.
Прочесть умных книжек глыбу,
Встречать по утрам лучи.

Ныряя в лазурные воды,
Желанье одно загадать
«Дай Бог мне любви и свободы,
Чтоб жизнь свою дописать».

* * *

Здесь нет «мальдивской» бирюзовости,
Лишь нежная голубизна.
Морские волны с осторожностью
Ласкают эти берега.

Здесь убаюкивают джунгли,
И шепчет ласково прибой.
А пальмы словно на рисунке
Укрыли облако рукой.

* * *

В раю бывает тоже дождь и ветер,
Когда наш Бог сердит, нам на беду,
Но мне милее всех краёв на свете
Мой Малый Рай, все десять дней в году.

Сквозь тучи солнце яростно, державно
Копьё своё вонзает в океан,
И буйный норв океана станет плавным.
Рай на Земле моей лишь лучшим дан.

* * *

Жизнь дожить нам в раю,
Вместе с тобою здесь.
В этом волшебном краю
Рай на Земле тоже есть.

Остров, песок, вода,
Домик на берегу.
Будем здесь жить всегда,
Сколько я жить смогу.

Время наступит, уйду,
И превращусь во сны.
Пепел мой брось в бирюзу
Этой кипящей волны.

* * *

Солнце встаёт над горою.
Сердце моё, не молчи!
Как же нужны мне порою
Нежные эти лучи.

* * *

Барселона, Буэнос Диас!
Светлый город страны Каталония.
Эта встреча мне ночью снилась
С гениальным твореньем Антонио.

Я забрался на крышу отеля,
Чтоб увидеть твою панораму,
И увидел, как в небо смотрели
Десять башен Собора Соградо.

Это чудо меня так манило,
А дорога вела меня к храму,
Солнце яркое путь освятило.
Разгадал я твою анаграмму.

Зашифровано в мега квадрате
Легендарно святое число.
Ты оставил всем сёстрам и братьям
Чудоверу в его Рождество.
Он ушёл, но он должен вернуться
И спасти загнивающий мир.
Ранним утром все люди проснутся
И простят всех, чтоб Он нас простил.

* * *

Я чист и честен перед Богом,
Хотя вся жизнь моя лиха.
Я сознаюсь, грешу немного,
Брось камень тот, кто без греха.

Все мы приходим в эту жизнь
Младенцем с добрым сердцем в нём,
Но наступает реализм,
И мы черствеем с каждым днём.

Но остаются лишь поэты
Поэты с детскою душой.
Их словом наша жизнь согрета,
Согрет весь Мир, весь Мир большой.

* * *

Раннее утро. Птицы
Дружно запели намаз.
Как упоительно спится
В этот рассветный час.

Солнце встаёт над горою,
Скушав остатки ночи.
Этой весенней порою
Нежны его лучи.

Тканью укрыв голубою,
Солнышко мне говорит:
Всю твою жизнь с тобою
Рядом мой лучик горит.

* * *

Ты думаешь, что бог за облаками?
А он всегда живёт внутри тебя.
С горящим сердцем, с чистыми руками
Тебя, как ближнего навеки возлюбя.

Не нарушай устава этой жизни,
Твори добро, не ожидай наград,
Своей семье будь верным и Отчизне,
Своей судьбе будь несказанно рад.

И ты увидишь солнце отзовётся,
И ранним утром распахнёт окно,
И синий ангел темечка коснётся:
Твоё желание да сбудется оно.

* * *

Что там вверху за пеленой,
За пеленой ночного неба?
Ночного неба тишиной,
В тиши иной никто и не был.

Был только старый спутник Странник,
Проникший в край, где Солнца нет.
Нет он не Вояджер, Изгнанник,
Земли Изгнанник много лет.

Летит к неведомым планетам,
Там им посланье передать,
Да есть Земля в просторе этом,
Об этом можете узнать.

Изьяв из диска золотого
Всю информацию о ней,
Она пока жива, здорова,
Но остаётся мало дней,

Когда Земля бег остановит,
Оставив Вам лишь этот диск.
Ничто уже не остановит
Шара, катящегося вниз.

* * *

Нет лучше места на Земле,
Чем бирюзовые Мальдивы.
Давно известно это мне,
Но каждый раз как будто диво,

Возникнет остров предо мной,
Укутан пальм одеялом,
Песок белейший, неземной,
И птица в оперенье алом.

Нам птица синяя дана,
Чтоб мы искали с нею счастье,
А птица алая, она
Сидит у Бога на запястье.

И каждый раз, когда я здесь,
Я становлюсь частицей Бога.
И ангел, посланный с небес,
Меня встречает у порога.

* * *

Знаешь, Мальдивы Рая руины.
Бог здесь Адама создал из глины.
А из ребра его выточил Еву,
И подарил мужику королеву,

Чтобы всю жизнь мог служить ей и слушать,
Как она яблоки любит покушать.
Знаешь, мой милый, не знаю, что было,
Но вот тебя я из теста слепила,

Только ошибку одну совершила
Вместо сердечка гранит положила.
Вот и не можешь служить мне и слушать,
Вечно твердишь: Что у нас есть покушать?

Видишь, Любимая, эти рассветы,
Нежно окрашены розовым цветом.
Гладь бирюзовая вод океана
Белый ласкает песок неустанно.

Жить бы здесь с Богом, слоняться без дела.
Ну и зачем Ева яблоко съела?
Видишь, Любимый, ты просто мечтатель,
Гладких стихов рядовой почитатель.

Дни пролетят, и закончится рай.
Жизнь без дела не выбирай.
Сквозь непогоды на главном пути
Только к победе ты должен идти.

* * *

Тут нет войны, тут нет проблем
В божественном краю.
Мне повезло, везёт не всем,
Жить на Земле в раю.

Но бог мне дал лишь девять дней,
И каждый день, как жизнь.
Горит моя звезда, под ней
Судьба моя пишишь.

* * *

Чайки кружат над Галатским мостом.
Бурный Босфор подо мной.
Мне бы Есенин завидовал в том,
Что я сейчас над тобой.

Левой стопою Европу топчу,
Правой я в Азии, брат.
Стать европейцем давно так хочу,
Хоть по крови азиат.

Слева Софии розовый храм,
Справа мечеть голубая.
Хватит делить мир земной по цветам,
Нам нужна доля иная.

Песню подруге твоей Шаганэ
Я про Босфор нашепчу,
И на оранжевой полной Луне
Строчки любви напишу.

* * *

Синий ангел с неба
Мне махнул крылом:
Ты сегодня не был
За свои столом,

Не писал ни строчки,
Всё лежал, играл.
Волю на кусочки
Ленью разорвал.

Что ж, тебе для старта
Нужен мой пинок,
Что б к восьмому марта
Дописать ты смог

Повесть «Остров Майи»
О большой любви.
Я тебя пинаю,
Дальше сам плыви.

* * *

Будто Будда мне перебежал дорогу,
Толстый мальчик с синим рюкзаком.
Узкие глаза косят немного,
Стрижена макушка колобком.

Обернулся, словно недотрога,
Бросил на меня невинный взгляд,
Одарил Большой улыбкой Бога
И умчался снова в райский сад...

* * *

Спасибо вам врачи,
Вас бог послал на землю.
Он вам сказал: Лечи,
Советам неба внемля.

Заветам тем Творца
Верны вы, нам спасая
Разбитые сердца,
И души воскресая.

Ваш труд неоценим,
Вы день и ночь в работе.
Мы любим Вас и чтим
За то, что Вы в заботе

О нас везде, всегда.
Спасибо Вам за это!
Почётней нет труда,
Пусть Вас хранит планета.

* * *

Рыбка Облак золотая
В синем небе вдаль плывёт,
Летних птиц мятежных стая
Водит с нею хоровод.

Фиолетово-зелёная
В красных маках степь горит,
Юрта, солнцем опалённая,
Одинокая стоит.

Рядом бродят кони вольные,
Извивается река.
Степь широкая, раздольная
И родная на века.

* * *

Он нас ведёт по жизни,
Он знаки нам даёт.
И, если вдруг ошиблись,
Он тут же нас спасёт.

Всевидящий, Незримый
Всё слышит, знает всё.
Любимый, нелюбимый
Даст каждому своё.

И мы живём, не зная,
Когда уйдём на дно,
И птица вороная
Нам постучит в окно.

Что там за пеленою?
Холодный сумрак? Свет?
И с мыслью одною
Встречаем мы рассвет.

Пусть будет день счастливым,
Такой, как я хочу.
Сосульки на отливах
Пророчат нам весну...

* * *

На ветку дерева, на самую высокую
Сел чёрный ворон, словно падший ангел.
Сгущались сумерки. На все четыре стороны
Ложилась ночь угрюмая, печальная.

Я ехал в Хэмпшир перед Рождеством
В старинный замок чопорный, багровый.
И жаждал встречи там с распятым божеством,
Чтобы просить вершить мою судьбу по новой.

Я верю, чудо в нашем мире есть.
Его хранит полночная звезда.
А утром выпал лёгкий белый снег,
Играли дети, музыка была.

Родился! прозвенел в деревне колокол.
Сбив с ветки снег, взлетел на башню зимородок.
Родился в мире богочеловек,
И победил земную тьму и холод.





Василий Гавриленко / Россия /

Писатель, историк, журналист и автор популярного канала на Дзене «Еще один блог о кино». Его дебютная книга «Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории. Измена, дружба, насилие и любовь» стала бестселлером. Вторая работа «Узницы любви. От гарема до монастыря» посвящается женским судьбам в полумифическом мире Средних веков – от эпохи после падения Рима до расцвета Монгольской империи.

ПОРТРЕТ ПУШКИНА

Почти детективная история одной выдающейся картины, благодаря которой мы знаем, как на самом деле выглядел Александр Сергеевич Пушкин.

В 1877 году в Музей при Александровском лицее пришел некий артист по фамилии Леонидов. В руках он держал приличных размеров сверток.

Что ж вы, батенькас, мнетесь на пороге, проходите, любезнейший, сказал ему работник музея.

Да я ненадолго, отозвался Леонидов. – Вот, принес в дар музею картину.

Премного благодарны-с, разочаровано протянул работник (онто надеялся, что Леонидов приобретет билет). – Поставьте вашу картину в углус.

Сколько дар простоял в углу – неизвестно, однако, в конце концов, на сверток обратили внимание. Как и предполагал принявший холст работник, картина была пустяковой. Плохая копия знаменитого портрета Пушкина кисти Кипренского. К тому же полотно было изрядно загрязнено и потемнело от времени.

Все-таки музей решил заняться реставрацией портрета. Когда с картины был снят слой пыли, перед реставраторами предстал Александр Сергеевич Пушкин. Таким, каким его никто не видел. Вернее, таким, каковым его видели современники. Жуковский, Дельвиг, царь Николай Первый, Натали Гончарова, Анна Керн... Настоящий, подлинный Пушкин. Пушкин с глазами, полными грусти и боли. Глазами мыслителя, философа, пророка. Некрасивый, но, вместе с тем, невероятно красивый Пушкин! Пушкин без прикрас,

которые волейневолей допускал очарованный гением Кипренский, допускали другие художники, писавшие прижизненные портреты великого поэта.

В правой части картины мелкими буквами было написано: «писал с натуры И. Линева».

Это был прижизненный портрет Пушкина!

Газеты взорвались, общественность гудела, пресса публиковала одну статью за другой. Оказалось, что артист Леонидов получил портрет от своей супруги – дочери балетного артиста Стуколкина. Как картина оказалась у Стуколкина – история умалчивала.

Главной загадкой оставался И. Линева. Никто ничего не знал об этом художнике, никто не видел других его работ. Кто он, где и когда он мог познакомиться с Пушкиным, написать его портрет? Это оставалось тайной многого лет, но, в конце концов, правда раскрылась, и самым неожиданным образом.

В 1968 году 80-летний профессор электротехники С. Куликов решил написать книгу про известного русского изобретателя, революционера А. Линева. В процессе сбора материала он узнал, что предки Линева интересовались живописью и один из них, отставной полковник Иван Логинович Линева, даже расписал потолки в родовой усадьбе. Усадьба эта находилась неподалеку от Ленинграда.

Оставалось только найти связь Линева с Пушкиным. И она была найдена. Оказалось, что зиму Линева коротал в доме на 2й Итальянской улице, где также проживала семья Александра Ивановича Тургенева – ближайшего друга Пушкина, сопровождавшего скорбные дроги с телом поэта в Псковскую губернию, к месту похорон. У Тургенева подолгу жил Василий Андреевич Жуковский, который наверняка был знаком с Иваном Логиновичем Линевым и знал об его увлечении живописью. Жуковский и стал последней недостающей деталью пазла. Пушкинистам были отлично известны даты и обстоятельства написания всех прижизненных портретов Пушкина. О создании этих живописных работ в дневниках или письмах писали сам Пушкин, его друзья и знакомые.

Только одна работа была покрыта мраком тайны. Это была загадочная картина из двух кратких записок, которые Жуковский отправил Пушкину в 1836 году, за несколько месяцев до гибели поэта. Вот они, эти записки: «... завтра (в субботу) жду тебя также непременно к себе часу во втором поутру. У меня будет живописец, и ты должен с полчаса посидеть под пыткой его животворной кисти».

«Не забудь, что ты у меня нынче в час будешь рисоваться. Если не найдешь меня, паче чаяния, дома, то найдешь у меня живописца. Прошу пожаловать».

Кто этот загадочный живописец с «животворной кистью», какую именно картину он создал?

Благодаря неожиданному открытию профессора электротехники стало понятно: Жуковский пишет об Иване Логиновиче Линеве и о той самой картине, что хранится в Музее Александровского лица.
А это значит, что портрет, принесенный в музей артистом Леонидовым, был последним прижизненным портретом Пушкина.
Вглядываясь в это грустное, измученное, усталое, но такое бесконечно мудрое, доброе и прекрасное лицо, я ни на минуту не сомневаюсь: я вижу Пушкина. Это он. Именно таким он и был.



Горина Ирина Владимировна
(г. Санкт-Петербург – г. Москва)

Литератор, член Союза писателей России, Московское отделение. Кандидат филос. наук, член МСХ (секция искусствознания и худ. критики), историк культуры.

Лукин Евгений Валентинович
(г. Санкт-Петербург – г. Москва)

русский поэт и прозаик, эссеист, переводчик, журналист. Член Союза писателей России (с 1996г.), учредитель, издатель и главный редактор литературно-художественного журнала «Северная Аврора».

Чайдек ТИЧБОРН. Тайна последней элегии

Отпрыск старинной гемпширской католической семьи, двадцати восьми лет от роду оказался участником заговора против Елизаветы, был одним из шести человек, кто поклялся убить королеву и восстановить в Англии власть папы. Заговор был раскрыт, большинству участников удалась бежать. Тичборн, оставшийся в Лондоне из-за раненной ноги, был схвачен, помещен в Тауэр и спустя месяц жестоко казнен (его четвертовали и, еще живого, выпотрошили). Подробности казни потрясли Елизавету настолько, что она запретила казнить преступников подобным способом. 19 сентября 1586, в ночь перед казнью, Тичборн написал письмо жене Агнессе; в письмо была вложена «Элегия» – его единственное стихотворение, ставшее ныне хрестоматийным.

(Из истории английской литературы)

Tichborne's Elegy

*My prime of youth is but a frost of cares,
My feast of joy is but a dish of pain,
My crop of corn is but a field of tares,
And all my good is but vain hope of gain;
The day is past, and yet I saw no sun,
And now I live, and now my life is done.*

*My tale was heard and yet it was not told,
My fruit is fallen, and yet my leaves are green,
My youth is spent and yet I am not old,
I saw the world and yet I was not seen;
My thread is cut and yet it is not spun,
And now I live, and now my life is done.*

I sought my death and found it in my womb,
I looked for life and saw it was a shade,
I trod the earth and knew it was my tomb,
And now I die, and now I was but made;
My glass is full, and now my glass is run,
And now I live, and now my life is done.

Русскоязычному читателю это стихотворение малоизвестно, как и носителям языка оригинала. Иногда литературная судьба произведения оказывается причудливее линии жизни своего автора, невольно интригуя внешне безыскусной поэтической простотой своего читателя (кто бы он ни был: дотошный переводчик, докучливый критик или декламатор по случаю). А, впрочем, всё это пустяки, пёстрые суждения. Ведь речь идёт об «Элегии» Чайдека Тичборна (Chidiok Tichborne), написанной им 19 сентября 1586 года.

Помимо своих несомненных художественных достоинств элегия интересна тем, что это – единственное дошедшее до нас стихотворение Тичборна. Хотя написать такое на пустом месте абсолютно невозможно. Ещё бы! Кто из молодых английских аристократов времён династии Тюдор не пробовал сочинять стихи?

Трудности перевода

Легко увидеть, что подстрочник (см. ниже) очень близок к оригиналу по содержанию – только зарифмовать с минимальными потерями, и будет стихотворный перевод.

Цвет моей юности - всего лишь иней тревоги,
Мой праздник счастья - лишь блюдо боли,
Мой урожай - лишь поле плевел,
И все мое добро - лишь надежда на лучшее.
День миновал, но я не видел солнца,
Вот я живу, и вот моя жизнь завершилась.

Мою повесть слышали, но она не была рассказана,
Мой плод упал, но моя листва зелена,
Моя юность закончилась, но я не стар,
Я видел мир, но меня не видели;
Моя нить перерезана, но ее не пряли,
Вот я живу, и вот моя жизнь завершилась.

Я искал свою смерть и обрел ее в утробе,
Я искал жизнь и увидел, что она лишь тень,
Я ходил по земле и знал, что она - моя могила,
И вот я умираю, и я только что явился на свет;

Мой стакан полон, и вот мой стакан вытек,
Вот я живу, и вот моя жизнь завершилась.
Подстрочник «Элегии» Ч. Тичборна

Не тут-то было. Стихотворение, представляющее в переводе, вовсе плохим не назовешь, но оно довольно тривиально и даже заштампованно: стандартная жалоба на скоротечность и тщету жизни, выраженная в стандартных риторических фигурах и повторах. За бортом осталось как раз то, что делает эту вещь уникальной. Прежде всего, хочется обратить внимание на то, что стихотворение состоит исключительно из односложных слов. Общеизвестно, что английские слова короче русских, и процент односложных среди них значительно выше. Если копнуть глубже, легко увидеть, что практически все слова в стихотворении, за исключением, пожалуй, одного (feast) – англосаксонского происхождения. В современном английском языке, несмотря на его германские корни и грамматику, не меньше половины словаря произведено от латинских корней, в основном франко-норманнских. У Тичборна, несмотря на некоторую архаику, английский язык современный, и отбор явно делался сознательно, с учётом того, что германские слова короче романских.

Так-то оно так, но оба этих приема совершенно не производят впечатления натужности и даже, вполне образованный носитель языка не поймет, в чем тут дело. Но эффект он увидит и услышит обязательно. Неукоснительная односложность слов придает всей вещи какой-то чарующий ритм, а простота речевого словаря практически сводит на нет риторичность приемов. Иными словами, с помощью изощренных орудий, которые по руке только мастеру, создается впечатление непосредственности и безыскусности. Реальной же непосредственности здесь ноль, все отточено и выверено до микрона. Грамотный русский переводчик, конечно, должен все это учесть и воссоздать в переводе. Но средств для этого у него нет, и взять их неоткуда. Ясно, что от односложного перевода надо отказываться сразу. Хотя, даже если бы в русском языке был достаточный запас таких слов (но его нет) вышла бы какая-то дурацкая барабанная дробь.

С англо-саксонизмами в переводе еще хитрее. Казалось бы, в современном русском языке есть сравнимый пласт заимствованных слов – это церковнославянизмы. Но они спаяны с остальной лексикой до полной неразъединимости и подавляющее большинство носителей языка не имеет понятия об их существовании. Слово «преступление», к примеру, или «ограда» – не русского, а церковнославянского происхождения. И если в английском языке еще можно пытаться свести количество норманизмов к минимуму, то в русском отделаться от церковнославянизмов нет никакой возможности. Даже не потому, что гениальный переводчик свершил бы чудо, а просто потому, что никто бы не заметил и не понял, в чем дело.

Однако дело не только в филигранном изяществе поэтического рисунка элегии, но и в культурно-историческом багаже произведения. Молодой Чайдек Тичборн был участником католического заговора с целью убийства королевы Елизаветы. Он оказался втянутым в «заговор Бабингтона» – провокацию, задуманную и мастерски проведенную шефом тайной полиции Елизаветы Фрэнсисом Уолсингамом для получения решающих улик против Марии Стюарт. Семнадцать человек, надеявшихся освободить Марию из плена, были приговорены к повешению и четвертованию.

Чайдек Тичборн был казнён в 1586 году в возрасте 23 лет. Стоя на эшафоте, молодой аристократ заявил: «Я происхожу из рода, жившего в этих землях за двести лет до Завоевания, что никогда не скрашивало моих несчастий». После этого он вместе с шестью другими заговорщиками был выпотрошен, повешен и четвертован. Оставшиеся семеро были просто повешены, поскольку королеве сообщили, что столь ужасные казни вызывают сочувствие среди народа.

Можно не принадлежать к числу критиков, считающих обстоятельства написания особенно важными для оценки произведения, но в данном случае их игнорировать просто невозможно. Приведенному стихотворению, будь оно достаточно посредственным, трагические обстоятельства никак не придали бы качества. Но именно его блеск наводит на размышления о странных ресурсах, скрытых в человеке.

...у каждого в душе - свой Тичборн...

Бытует расхожее мнение, что знаменитая «Элегия, написанная в Тауэре в ночь перед казнью» Чайдека Тичборна ни в одном из русских переводов не сохраняет своего главного свойства: она целиком написана односложными словами, чтобы подчеркнуть, как мало времени осталось у автора.

Но нет у него не мало слов – у него их переизбыток!

Любопытная вещь, на первый взгляд по прочтению возникает ассоциация с древнеегипетским текстом «Разговора разочарованного со своей душой», но при дальнейшем погружении в смысл поэтики возникает странное ощущение «нулевого времени», исполненного «всех сроков», всех чувств всех состояний, но только он как рождённый, но не бывший, как живший, но не состоявшийся, как сущий, но не проявленный...

«Нулевое время» открывает не перспективу прямую и обратную, а проекцию в вечность «не бывшего». «Элегия» Тичборна - это его проекция в вечность, очная ставка с собственным не-бытием в моменте времени. Рядом с ним нет ни Бога, ни человека. Над ним не довлеет приговор суда, он пребывает в абсолютной безусловности свободы, где уже нет причин и следствий, а потому и поэтические фразы полны простоты, изящества и той ясной внутренней точности, которая более

свойственная внутренней молитвенной исповедальности.

Мой юный первоцвет побил мороз тревоги
Мой праздник радости всего лишь блюдо боли
Мой урожай - трава и сорняки
Надежды тщетные – удел моей мечты!

Моей истории рассказ был не услышан
Мой плод упал, но листья зелены
Я юность проводил, но зрелость я не встретил,
Я видел мир, но мир был слеп ко мне.

Я призрачная нить в веретене судьбы.
Живу не признанным в клубке событий,
Ненужное звено оборванной цепи
Без жизни наяву - я жизни не имею.

Я смерть свою искал - она в моей утробе,
Я жизнь искал – она лишь тень моя,
Я землю исходил – она моя могила,
Новорожденным мертвецом на свет явился я!

Стакан мой полон пустотой небытия.
Я призрак жизни стал - мертвец новорождённый,
Обрёл я истинную жизнь в земле упокоённый.

(перевод И. Гориной)

Да, данный язык соотносим со старославянским гласом: "Ныне отпускаеши Господи, раба твоего!". Он относится к запредельному опыту пост-существования, при котором, минуя собственную смерть в определении круга своего жития-небытия, человек Тичборн оказывается в проекционном измерении вечности, её эмбрионом «Непщева восхищен». Экзистенциальный круг для замкнулся с выходом в метафизику звёздного неба своей ноуменальной «вещи в себе». Встреча с самим собой, новорождённым, у него состоялась «Смертию смерть поправ!».

Приложение.

Опыты переводов «Элегии» Ч. Тичборна на русский язык

Перевод Владимира Гандельсмана

Что мой рассвет? Тревога, зноб тоски.
Цедил из блюда боль я на пирах.
Мой урожай сожрали сорняки.
Мой скарб - тщета надежды, прощя - прах.
Мой день иссяк - где солнечная взвесь?
Я жив, я здесь, но миг - и вышел весь.

Расслышан, но не сказан жизни дар.
Листва юна, но плод уже созрел.
Что мой рассвет? Угас, хоть я не стар.
Я видел мир, но мир меня не зрел.
С катушек нить - и ткань раздрябла. Днесь
я жив, я здесь, но миг - и вышел весь.

Я дорывался смерти - и отрыл
ее в своей утробе. Жизнь, ты сон.
Я путь торил, и знал куда торил:
ко гробу своему, - едва рожден.
Бокал мой полн - и пуст. Где вкус и вес?
Я жив, я здесь, но миг - и вышел весь.

Перевод Григория Кружкова

Моя весна - зима моих невзгод;
Хмельная чаша - кубок ядовитый;
Мой урожай - крапива и осот;
Мои надежды - бот, волной разбитый.
Сколь горек мне доставшийся удел:
Вот - жизнь моя, и вот - её предел.

Мой плод упал, хоть ветка зелена;
Рассказ окончен, хоть и нет начала;
Нить срезана, хотя не спрядена;
Я видел мир, но сам был виден мало.
Сколь быстро день без солнца пролетел:
Вот - жизнь моя, и вот - её предел.

Я и не знал, что смерть в себе носил,
Что под моей стопой - моя гробница;
Я изнемог, хоть полон юных сил;
Я умираю, не успев родиться.
О мой Господь! Ты этого хотел? –
Вот жизнь моя, и вот - её предел.

Перевод **Уны и Ивана Виноградовых**

Вот и полон мой кубок, до края, и пали товарищи.
Полон желчью и скорбью земной.
И в полях моих плевел, и пепел - очаг остывающий,
А надежда - обман ледяной.
Опрокинулась чаша, неловко сыграл дурака я.
Вот я здесь - и меня уже нет, дорогая.

Грешный, я ничего не успел доказать миру грешному.
Сорван плод мой, а ветвь зелена.
Раз уж вышло - неузнан уйду. Дорогая, как страшно мне.
Недопрядена нить. Не весна
И не красное лето, похоже, грядет, а другая
Жизнь моя, но уже без тебя, дорогая.

Я искал свою смерть. Оказалось, в себе я носил ее.
Я искал свою жизнь до конца.
По земле, как по гробу ступал. А судьба непосильная.
Нам по силе, по воле творца.
Вот уходит последний, идет, без огня догорая.
Я с тобой - и уже без тебя, дорогая

Перевод **Эдуарда Хвиловского**

Мой день, где юн, - лишь иней от тревоги,
Мой праздник счастья - блюдо лишь из боли,
Мой урожай - лишь плевелы с дороги.
Моё добро - надежда вне юдоли.
День миновал, но Солнце - не для дня,
Вот я живу - и больше нет меня.

Я всё сказал, но был весь век немым,
Мой плод упал, но зелены листы,
Мой час прошёл, но я не стал седым,
Я видел мир, невидим для мечты.

И нить моя ушла с веретена
не бывшей. Жизнь моя достигла дна.

Я смерть свою в рождении нашёл,
Я жизнь свою увидел лишь как тень,
Я твердь земли могилою обрёл.
Рождён и умер - в тот же самый день.
Стакан и полн, и безнадежно пуст.
Я жив, но от костей лишь смертный хруст.

Перевод Сергея Юдовича

Мой первый цвет - лишь инея узор.
Взошло зерно, да жатва уж близка.
Мой урожай - полова и лузга,
напрасные надежды и позор.
Луч на полу, но я не видел дня.
Еще я есть, а завтра нет меня.

Я не успел всего сказать.
Тяжел, срывается с цветущей ветви плод.
Не трачен пыл, на мне окончен род.
Не узнан миром, по миру прошел.
И вот я рву неспряденную нить.
И вот я есть, а завтра мне не быть.

Я смерть искал и я ее нашел
во чреве собственном. Не червь, не раб,
я по земле ступал и знал, что гроб.
Луч на стене. Погас. Мой час ушел.
Песок ушел, по горлу прозвения.
И это - я, и завтра нет меня.

Перевод Яна Пробштейна

Мой праздник жизни – это яство боли,
Заледенела юность от забот,
Мой урожай – лишь сорняки на поле,
И тщетная надежда – мой доход.
День беспросветный сгинул, явь темна,
Я жив, но жизнь моя завершена.

Все знают обо мне, но я молчал.
В цвету деревья, но плоды опали,
Еще я молод, но уже увял;
Я видел мир, меня ж не замечали.
Не спряв, сорвали нить с веретена,
Я жив, но жизнь моя завершена.

Искал я смерть – она в утробе стыла,
Искал я жизнь, и призрак мне явился,
Топтал я землю – знал, что там могила,
Вот, умираю, хоть едва родился.
Не осушил я кубок свой до дна,
Я жив, но жизнь моя завершена.

Перевод Алексея Парина

Моя заря весны – лишь хлад забот,
Мой пир веселия – лишь блюдо боли,
Мой урожай – трав сорных обмолот,
Мое добро – мечта о лучшей доле.
Затмилась жизнь, хоть вечно длилась мгла.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла.

Мой зов услышан, все ж не пересказан,
Мой плод опал, все ж зелен ствол и прям,
Мой пыл не юн, все ж старостью не связан,
Я видел мир, все ж был невидим сам.
Нить рвется, хоть неспрядена была.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла.

Я смерть искал – нашел ее, родясь,
Я жизни ждал – лишь тень ее настиг,
Я грязь топтал – и знал, что лягу в грязь,
Вот я умру, и вот я жил лишь миг.
Мой кубок полн – и убран со стола.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла.

Перевод К. Матросова

Я юн, но грудь мне сжал лишь тлен и хлад,
Я жнец, но всход весь мой был – тьма и лёд,
Пир на весь мир, но из всех блюд – лишь яд,
Я добр, но вест, зол, льёт на дол свой йод.
Мой день, я так и не смог зреть твой свет!
Я жив в сей миг, ну а чрез миг уж нет.

Мой сказ был вслух вам, но он всё же нем,
И пал мой плод, но лист не жёлт средь крон
И я не стар, но стал я чужд всех тем,
Я зрел весь мир, но впредь на что мне он!
Нить вьёт жизнь, но на дне, не всклянй мне лет.
Я жив в сей миг, ну а чрез миг уж нет.

Я смерть ждал, но во мне и смерть и сон,
Я ждал всю жизнь, но жизнь лишь тень, лишь тень.
Мой след пал в дёрн, но склеп мне дёрн, склеп он
И впредь мой взгляд не зрит ни ночь, ни день.
Тик-так, тик-так. И рок всё длит мой бред.
Я жив в сей миг, ну а чрез миг уж нет.

Бессмертный барак — проект, сохраняющий историю

Проект (<https://bessmertnybarak.ru>) появился в мае 2015 года, цель проекта – сохранить память и воспоминания, рассказы и фотографии, документы и свидетельства страшного периода нашей общей истории.

ЗОНА БЕЗ ОТДЫХА

Среди великого множества литературных мистификаций эта — особенная. Никогда не существовавшего французского поэта придумали два ээка, Яков Харон* и Юрий Вейнерт**. Сонеты, якобы переводы с французского, рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий. И даже без бумаги — использовалась инженерная синька и калька...



Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве машинисткой. Блестяще окончил гимназию, поступил в консерваторию, где увлекся музыкой кино и изучал технику звукозаписи. Вернувшись в Москву, озвучил знаменитые фильмы тех лет — «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга...

В лагере Харон создал оркестр и даже оперную труппу. И руководил конструкторским бюро, будучи технически очень грамотным человеком.



Яков Харон

Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи. Первый раз он отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки: в разговоре с друзьями сказал что-то крамольное. В промежутках между отсидками окончил ФЗУ на техникапутейца и один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Потом — опять арест.

На последнем допросе следователь заявил, что семнадцатилетний парень заслуживает высшей меры наказания. «Что ж, я передам от тебя привет!» — дерзко отвечал Юрий. «Кому?» — удивился следователь. «Товарищу Дзержинскому! Или даже самому Ленину...»

Когда в «Свободное» прибыла очередная партия заключенных, Харон познакомился с Юрием Вейнертом. Заговорили о музыке, о Шекспире и Петрарке — и мгновенно подружились.

1943 год, из Ставки поступил ответственный заказ — освоить производство минометов. При том что на заводе не было литейного производства! Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех, из Москвы даже приехали именитые специалисты перенимать опыт.



Юрий Вейнерт

Расплавленный чугун наполнил первый ковш.
— Вот так Вулкан ковал оружие богу, — вдруг продекламировал Вейнерт, перебивая грохот.

— Персей Пегаса снаряжал в дорогу, — ответил Харон устало, почти автоматически. Через пару дней друзья придумали автора сонетов, бесшабашного гасконца Гийома дю Вентре. Такая веселая литературная игра — ради выживания. А может, и ради самой игры.

ПОЭТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Биография у Вентре получилась отчаянная. Семнадцатилетний красавеццоноша, приехав из гасконской глубинки, мгновенно покоряет Париж. И шпагой, и рифмами, и искусством обольщения прекрасных дам владеет с блеском. Высший свет боится его язвительных шуток и эпиграмм. А тот, кто рискнет бросить ему вызов, получит, вопреки всем королевским эдиктам, приглашение на Преоде Клер — и останется там...

Его друзья — принцы и графы, писатели и поэты — такие, как блестящий Агриппа д'Обинье, который с ним соперничает, принцессы и герцогини, которые в него влюблены. А он посвящает множество сонетов таинственной «маркизе Л.»

*Чтоб в рай попасть мне — множество помех:
Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,
Любовь к тебе и самый тяжкий грех
Неутолимая любовь к свободе.*

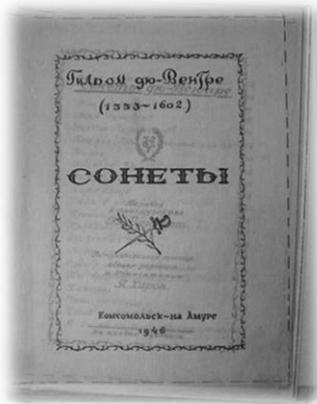


Гийом дю Вентре

Сонеты у дю Вентре самые разные: тут и сатира, и жанровая сценка, и любовное послание, и философская притча. Многие порицали его за неслыханные поэтические вольности, а другие восхищались. Но когда настала Варфоломеевская ночь, дю Вентре, эпикуреец, скептик и атеист, отважно сражался, защищая несчастных гугенотов. И сочинил множество язвительных эпиграмм, в которых высмеивал короля Карла, его всесильную мать Екатерину Медичи и герцога Гиза.

Заключение в Бастилию, смертная казнь на Гревской площади не за горами — но вступаются влиятельные друзья, и дю Вентре за «королевскую измену» приговаривают к вечному изгнанию из Франции.

*Пять чувств оставил миру Аристотель
Прощупал мир и вдоль, и поперек
И чувства все порастрепал в лохмотья
Свободы отыскать нигде не мог.
Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,
Шестое чувство — вечно голодало.*



Генрих Наваррский, бежав на юг Франции, собрал армию и отправился покорять Париж. Гийом дю Вентре нелегально вернулся из Англии, чтобы сменить перо на пистолеты.

Его друг Генрих вскоре стал королем, но через пару лет они сильно разругались. «И впрямь занятно поколение наше: король — смешон, шут королевский — страшен» ...

Дю Вентре отправился в свое захолустное поместье в западной Гаскони, коротать вечера с бутылкой бургундского и старинным фолиантом...

*Пока из рук не выбито оружие,
Пока дышать и мыслить суждено,
Я не разбавлю влагой равнодушья
Моих сонетов терпкое вино.*

В дальневосточных лагерях ГУЛАГа — в бараках и на лесоповале, в штольнях рудника и в шарашке, заключенные из интеллигенции читали сонеты дю Вентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные.

Через родственников и друзей сонеты дю Вентре разлетелись по стране. И авторы стали получать массу ответных писем с благодарностью и восхищением. Чему сами очень удивлялись. Кстати, многие маститые литераторы поверили в эту мистификацию. К примеру, стихами малоизвестного гасконца восторгался поэт Владимир Луговской. Блестящую оценку труду мнимых переводчиков дали Михаил Лозинский в Петербурге и Михаил Морозов в Москве — литературоведы мирового уровня.

А вот еще один видный ученый, крупный специалист по литературе французского Возрождения, утверждал, что еще в двадцатых годах, учась в Сорбонне, откопал томик дю Вентре у букиниста на Монмартре.

СОНЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Вейнерт переписал своим каллиграфическим почерком первые сорок сонетов на инженерных синьках, вынесенных из заводского КБ, где они с Хароном работали. Но ведь портрет поэта нужен! Тогда мистификаторы взяли тюремное фото Вейнерта, пририсовали усы и мушкетерскую эспаньолку.

В конце 1947 года их освободили. Жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах не разрешалось. Вейнерт устроился в Калинин на вагоностроительный завод, Харон — в Свердловске, на киностудию. Через год — опять арест и бессрочная ссылка. Харона отправили в местечко Абан, что в Зауралье, Вейнерта — на шахту, в четырехстах километрах от Абана.

Новые сонеты Гийома дю Вентре рождались исключительно по переписке.

Харон преподавал в школе физику и черчение, вел автокружок, ставил спектакли в самодеятельности. Словом, жил по сонету дю Вентре: «Я вам мешаю? Смерть моя — к добру? Так я — назло! — возьму и не умру». У Вейнерта была только работа в шахте — и большая любовь. Люся Хотимская, талантливый филолог, красавица и умница, пользовавшаяся большим успехом в актерских и писательских кругах. Она ждала его десять лет, а на предложения руки и сердца отвечала очередному завидному ухажеру: милый, но у меня ведь есть Юра. Люся обещала, что приедет к Вейнерту в СевероЕнисейск, как только получит гонорар за книгу — нужны были огромные деньги, три тысячи рублей. Но заболела и умерла в больнице. Вейнерт получил от Люсиной подруги по почте ее книгу. И — приступ отчаяния. Сжег все письма любимой женщины. И пошел в шахту, которую назавтра должен был запустить.

Случился то ли несчастный случай, то ли самоубийство.

В 1954 году, ровно через год после придуманного когда-то четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца — их накопилось ровно сто. Шлифовал,

обрабатывал, перепечатал, собрал в томик форматом в полмашинописного листа. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.

Харон всю жизнь был закоренелым оптимистом и весьма легкомысленным человеком. Восемнадцать лет тюрьмы, лагерей и ссылок считал досаднейшей помехой и радовался каждому прожитому дню на свободе, как ребенок. Любимая работа на «Мосфильме» и со студентами во ВГИКе, своя программа на телевидении, путешествия по Германии и Италии, медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи, профессиональные занятия биологией, которой сильно увлекся.

Семейная жизнь тоже удалась. Сын Юркамаленький, как он его называл. Любимая жена, с которой, представьте, познакомился благодаря придуманному гасконцу.

В Воркуте, в женском лагере «Кирпичный завод», образованные дамы в бараке после смены наслаждались сонетами дю Вентре. Женщина, которая читала стихи, была когда-то знакома с Хароном и рассказывала о нем взахлеб. Так сонеты дю Вентре впервые услышала Стелла Корытная. А через пару лет Яков и Стелла случайно встретились на вечеринке у общих знакомых. И потом прожили достаточно долго и очень счастливо.

*Не рано ли поэту умирать?
Еще не все написано и спето!
Хотя б еще одним блеснуть сонетом
И больше никогда пера не брать...*

Умер Харон от полученного в лагере туберкулеза, сохранив до последнего удивительную бодрость духа. А книга сонетов Гийома дю Вентре с его комментарием вышла в 1989 году.

* Харон Яков Евгеньевич



Дата рождения: 1914 г.

Дата смерти: 1972 г., на 59 году жизни.

Социальный статус: деятель советского кинематографа, звукорежиссер, писатель и поэт

Место рождения: Москва, Россия *(ранее РСФСР)*.

Место проживания: Москва, Россия *(ранее РСФСР)*.

Дата ареста: июля 1937 г.

Приговорен: Первый арест (1937) 10 лет исправительнотрудового лагеря; Второй арест:

Особым Совещанием при МГБ СССР от 23 февраля 1949 года по ст.ст. 5810, ч.1, 5811 УК

РСФСР за принадлежность к троцкистской группе направлен в ссылку на поселение в Абанский район Красноярского края. Реабилитирован: 15 октября 2004 года прокуратурой Красноярского края.

** Вейнерт Юрий Николаевич



Дата рождения: 4 сентября 1914 г.

Дата смерти: 20 января 1951 г., на 37 году жизни

Социальный статус: беспартийный, поэт

Место рождения: СанктПетербург *(ранее Ленинград)*, Россия *(ранее РСФСР)*

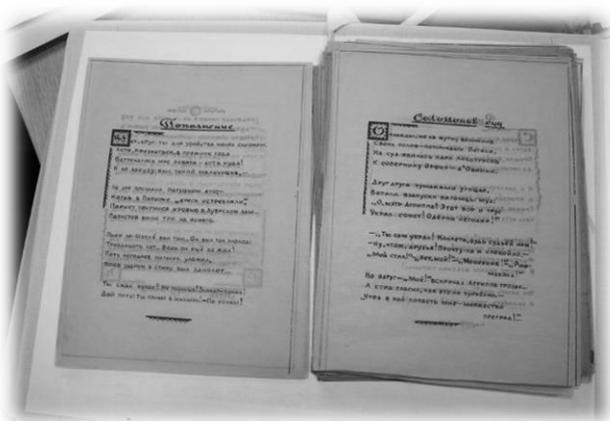
Место проживания: СанктПетербург *(ранее Ленинград)*, Россия *(ранее РСФСР)*

Место захоронения: Красноярский край, Россия *(ранее РСФСР)*.

Дата ареста: 20 ноября 1932 г.

Приговорен: Приговорен: ОС КОГПУ 10 мая 1933 г., обв.: 58–10, 11. Приговор: Сослать на 3 года в Севкрай. Пост. ОС КОГПУ от 10.02.34: замена в ИТЛ на ост. срок. В 1937 году приговорен к 10 годам исправительнотрудовых работ 11 декабря 1948 г., обв.: 5810, 11. ОС МГБ СССР 16 февраля 1949 г. ссылка. Погиб в Красноярской ссылке (Красноярский край, Россия *(ранее РСФСР)*), Архангельск, Архангельская область, Россия *(ранее РСФСР)*

Реабилитирован: 25 февраля 1992 года





Ольга Миронова / Россия /

Литературовед, искусствовед и критик. Студентка выпускного курса филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Финалист конкурса журнала "Просодия" (2023 г.), финалист конкурса Литературного института имени А. М. Горького (2025 г.), победитель Первого конкурса молодых критиков русской поэзии издательства «Алетейя» (2025 г.)

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЭДЕМА

*Тема поэта и поэзии в стихотворениях М. Рахунова,
Т. Ивлевой, Б. Левита-Броуна*

Художественный мир поэзии М. Рахунова, Т. Ивлевой, Б. Левита-Броуна оказывается неразрывно связан с творческим началом, в результате чего лирический герой осознается авторами, в первую очередь, как герой-поэт, точка зрения которого определяет характер восприятия окружающего его мира и отношений с ним.

Творчество М. Рахунова выявляет тесную связь с пушкинской традицией, которую автор наследует практически без изменений, за счет чего его поэзия приобретает гармоничный, равновесный и цельный характер зрелой лирики Пушкина. Талант лирического героя Рахунова представляется ему божественным даром, который позволяет ему в процессе творчества приподняться над реальностью. Так, в стихотворении «Немного наивная ясность...», в котором герой-поэт обращается к Господу («Я часть твоего проявления, / И отзвук пространств и времен, / И дар, что мне дан от рожденья, / Бесспорно, тобой окрылен»), устанавливается не горизонтальная связь героя с миром людей, среди которых он живет, а вертикальная, иерархическая, которая выделяет поэта как божественного избранника.

Рахунов, продолжая линию поэта-пророка, которому открывается божественный замысел, воплощенный в природном начале, сохраняет пушкинскую концепцию, сглаживая при этом ее контуры. Так, в соответствии с философией романтизма поэт Пушкина противопоставляется толпе, которой не доступны его ценности: «Поэт по лире вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал. / Он пел — а хладный и надменный / Кругом народ непосвященный/ Ему бессмысленно внимал» («Поэт и толпа» А. С. Пушкин). Так как

истинная жизнь поэта начинается в момент творчества, для него теряют свое значение материальные блага - предмет вождения толпы, вследствие чего поэт, живя среди людей, кажется бедным: «И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он» («Поэт» А. С. Пушкин). Рахунов же, изображая лирического героя, не акцентирует внимание на противостоянии поэта и общества, а эскизно описывает реальный мир, в котором жизнь поэта обращается существованием: «Где быт, суета и короста...»; «Громяхают трамваи, толпа продвигается к центру, / Там с утра разбитная торговля дары раздает...». Материальную нищету поэта Рахунов замещает внешней простотой, лаконичностью, которая отделяет от поэта ненужные, наносные приметы реальности: «Тонкий томик стихов, по наитию купленный где-то, / И немного души — еле видимый солнца лоскут...». Процесс творчества, который для поэта-пророка Пушкина становится настоящей жизнью, пробуждает в нем бурные искренние чувства: «Бежит он, дикий и суровый» («Поэт» А. С. Пушкин). Рахунов сохраняет значение внутреннего преображения лирического героя-поэта в момент творчества, но меняет его чувства на более сдержанные, которые свидетельствует о внутреннем спокойствии и направленной сосредоточенности, которые выявляют внутреннюю работу: «Сидит на скамье, его взгляд не улыбочив и строг, / На ладони его, неожиданно чудом возникший, / Расцветает и тянется к солнцу всем телом цветок». Мышление героя-поэта Рахунова оказывается созвучно строкам Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора...», так как он черпает вдохновение в простых деталях повседневной жизни, которые чаще всего связаны с природными образами: «Белый парус — кораблик плывет. / Это облачко формой новою / Нам себя навсегда раздаёт», «ПОЖЕЛАЙТЕ МНЕ... <...> Абрикосов, вишен, слив, где внутри найденыш — слово!», «Ну, что ж поживем и подышим Землей, / Ее черноземом, сосновой смолой, / Полянною гарью и пылью дорог, / И пряным шафраном ритмических строк». При этом процессе творения часто соответствует музыка, которая в данном случае может быть синонимична поэзии по своей природе: «Только музыка, музыка длится, / Изливается в душу мою». Несмотря на то что поэзия вырастает из, казалось бы, незначительных бытовых и предметных деталей, в понимании Рахунова, она имеет удивительную силу: «Да будет поэзия небом сильна, и солнечным / светом, и морем, / Упруга, как тело тугое зерна, бесстрашна, как Рим / перед боем.»

Божественный мир, в который переносится лирический герой Рахунова, как и вышний мир Ивлевой, расширяется до бескрайнего неба, которое предстает то звездным («Вот почему / Мы долго глядим, не мигая, / В бескрайнюю звездную тьму!»), то закатным («И закат из небесного ситца / Вторит ей у земли на краю»), что соотносится с традицией романтизма. Небесная высота также становится истоком вдохновения: там зарождается сила лирического героя — «метафоры,

звуки и сны». Стоит отметить, что именно пейзажные характеристики мотивируют сравнение творческого процесса со свободным полетом: «У музыки есть сила, ей дайте оглядеться / И ровным тихим шагом взойти на высоту; / И вот раскрылись крылья, / стрела вонзилась в вердце, / И вы уже в полете, рыдая на лету».

В поэзии Ивлевой также прослеживается образ поэта-пророка, чертами которого наделяется ее героиня: «Но пока искрящиеся крылья / Освещают истину во тьме, / Мы послужим, как они служили, / Флагами на крейсерской корме». Это позволяет говорить о том, что лирический герой-поэт, который в творчестве Т. Ивлевой воплощается при помощи женского образа, имеет двойственную природу, соединяющую божественное и земное начала: «Ангелы, а для людей – поэты», «Ангелы в миру ведь тоже люди, / Их об этом Бог предостерёг». Образ ангела, которым отмечены многие стихотворения автора, оказывается многогранен. В первую очередь, он целиком соотносится с образом самого поэта, который становится хранителем ценностей, заступником: «Нас, таких, совсем осталось мало, / Тех, кто мир готов закрыть собой». В то же время, в отдельных стихотворениях образ ангела переносится на отдельную часть образа героя, олицетворяя его небесную природу: «Прощай и ты, мой Ангел в небеси». В другом стихотворении ангел-хранитель представляет собой обособленный образ, который возникает, когда лирическая героиня чувствует, что лавина бед влечет ее на дно: «А там, вверху, на краешке обрыва, Меня спасая, тянет руку мне / Пресветлый ангел с веточкой оливы». Как и ветвь оливы, образ ангела, наделенного чертами матери («с глазами мамы»), становится здесь символом спасения и, одновременно с этим, выявляет постоянный мысленный диалог дочери с матерью как форму переживания утраты.

Противоречивое значение обретают белый и оранжевый ангелы, встреча с которым происходит в стенах больниц. Несмотря на то что оранжевый ангел становится символом боли, «огненной пытки», он не имеет отрицательной краски: мучительная встреча с огненным ангелом свидетельствует о скором выздоровлении и на метафизическом уровне приобретает характер очищения огнем: «Я – твоя героиня смирения, / Пережившая пытку огня, / И я знаю, что в миг исцеления / Ты, мой Ангел, отпустишь меня». Образ белого ангела актуализируется в связи с попыткой автора описать процесс погружения в сон под наркозом. Так как героиня погружается в сон, и ее восприятие внешнего мира угасает, все образы в стихотворении стремятся к статике, даже образы врачей, находящихся в непосредственной близости, отдаляются и размываются до неясных белых силуэтов. Белый ангел при этом становится незримым наблюдателем: «Таю белой снежинкой с мороза / На раскрытой ладони стола, / И, под белой вуалью наркоза, / Спит душа, обнажённо-бела». Образ ангела, развиваясь, приобретает также черты возлюбленного. В

одном случае им становится некогда любимый, но изменивший человек: «Прочь, пропавший-павший ангел, за чужим служи плечом! / За чужой за госпожой бродишь ты тропой чужой». В другом — сама лирическая героиня, явившаяся в дом возлюбленного после того, как надолго пропала без объяснений: «Я — залётный ангел твой!». При этом сюжет, описывающий попытку объяснения ангела с избранником почти дословно повторяет эпизод узнавания из стихотворения Цветаевой «Психея»: «Не самозванка — я пришла домой <...> Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, / Твой день седьмой, твое седьмое небо / — Возлюбленный! — Ужель не узнаешь? / Я ласточка твоя — Психея!». Это стихотворение достраивает образную линию «душа — ангел — возлюбленная», которая становится ключом к пониманию другого стихотворения Ивлевой — «Ночная прогулка», в котором героиня, одинокая, хрупкая и уязвимая, понимает, что в «мире обмана» она может положиться только на себя, и сама себе становится ангелом-хранителем: «Держи баланс, душа-Татьяна, / И следуй — след во след — за мной».

Образ ангела как форма воплощения лирической героини выявляет устойчивые черты ее образа. Одной из них является бездомность — во всех стихотворениях героиня предстает оторванной от родной семьи, дома, земли: «Я просыпаюсь — впрямь и наяву / Бегущей от войны бездомной нищей, / И всё ищу кого-то и зову». Изгнание и потеря близких приобретают не бытовой, а бытийный, метафизический характер, в связи с чем теряется связь с реальной возможностью обрести утерянное. Именно поэтому другой чертой героини становится вечное одиночество, которое неизменно предрекает расставание в те редкие и краткие моменты, когда героиня встречает тех, в ком узнает родственную душу: «Мы простимся на излёте лета / В сумерках вселенской суеты, / Ангелы, а для людей — поэты, / И без слов обнимемся на “ты”». В реальном мире героиня обречена быть вечно ищущей и не находящей: «Бегу сквозь мрак, в толпе теряя сына, / И крик мой нем, как Мунка полотно...». Именно эта особенность на метафизическом уровне мотивирует еще одну повторяющуюся черту образа героини — нищету. Другой же мотивацией этой черты является та же причина, что и у лирических героев Пушкина и Рахунова: поэт, наделенный божественным даром, в реальном мире не отмечен избытком материальных благ («Ни кола, ни двора, ни зонта, / Ни замка, ни капкана, ни сѣти... / Нѣ дал мудрый Господь неспроста / Мне в дорогу материи эти. / Дал глагол, каплю чистой росы / Да щелков щebetанье и пень»)). Эти строки также перекликаются с поэзией Рахунова, в которой источниками вдохновения становятся простые явления и объекты природы.

Ивлева, как и Рахунов, в другом стихотворении («Спят этажи. Безмолвствуют ключи...») рассматривает роль поэта, неприметную, с первого взгляда, на уровне реального мира, в котором поэт «быть

может, всех ничтожней», но неоспоримо значимую на метафизическом уровне: поэт, внешне неотличимый от тысяч других горожан, усилиями своей внутренней работы не дает погрузиться миру во мрак («Он ходит днём по острой грани бритвы, А по ночам вершит свои молитвы... Пока он жив, в ночи пребудет свет»).

Это стихотворение выявляет двоемирие, принципы организации которого схожи с особенностями двоемирия у Рахунова и Левита-Броуна: так же, как и в их поэзии, реальный мир, мир «вселенской суеты» оказывается неприятным, тусклым: «Опальный снег похож на плесень. / Уносит мутная вода / И сон, и явь, и звуки песен, / Уже забытых. Навсегда». Героиня Ивлевой, в моменты невозможности преодолеть реальность и перенестись в мир поэзии, пребывание в котором соотносится с настоящей жизнью, отмечает собственное угасание и обезличивание, которые ведут к потере себя и необратимому растворению в толпе: «Сонмы сонных вокруг – равнодушных, незрячих... / Все идут наугад – кто в трактор, кто в семью. / В полудрёме живут, да о брэнном судачат. / И доверить мне некому тайну мою...».

При этом лирическая героиня часто принимает обличие птицы, семантически соединяющееся с образом ангела: «Бумажной птицей оригами, / С пути сбиваясь на лету, / С промокшими насквозь ногами / Лечу, теряя высоту». В стихотворении «Оригами» само название указывает на хрупкость и непрочность бумажной птицы-героини, которая вот-вот упадет в «мутную воду» реальности, которая смывает ее, как смыла «и сон, и явь, и звуки песен» — неосязаемые, но представляющие ценность для героини детали жизни. Ту же беспомощность и тоску по былой жизни ощущает героиня в элегическом «Монологе синей птицы». Синяя птица, символизирующая неуловимое счастье в пьесе Метерлинка, в стихотворении сама оказывается уязвима перед судьбой: «Жизнь прошла. / Вдохновенный оборван полёт. / Ничего не случится. / И не повторится. / Не приснится во сне. / И крылом не взмахнёт». Мир жизни неразрывно связывается с временем прошлого, которое приобретает черты идиллии, потерянного рая, вернуться в который невозможно.

Образ птицы, также, как и образ ангела, мерцая и преломляясь, вбирает в себя множество смыслов. Так, ряд произведений определяет устойчивую семантическую параллель «птица — сердце — боль — слово», которая выявляет психологическое состояние героини. В стихотворении «Обида» беспокойной птицей, бьющейся в грудной клетке, оборачивается горе, которое лирическая героиня стремится заглушить: «Кричит и бьётся, как тот подранок... / Не заживает под сердцем рана». В «Слове забытом» возникает тот же образ птицы, которая будит тревожную боль в сердце, напоминая «Слово забытое, неосторожное — / Призрак из прошлого в небе ночном...». Стоит

отметить, что когда автор описывает птицу-напоминание, то практически цитирует стихотворение Мандельштама «Когда удар с ударами встречается...» («Отравленные дротики взвиваются <...> Одумалась и прямо в сердце просится / Стрела, описывая, круг» Мандельштам; «просится в сердце ко мне / Слово забытое — птица печальная» Ивлева), подчеркивая тем самым силу боли, которую может нанести воспоминание, и, вместе с тем, неизбежность его принятия: «Дай, накормлю тебя, птица, с руки!».

Примечательно, что прилетает птица именно ночью: согласно традиции романтизма, именно вечер и ночь становятся временем рефлексии, покоя, свободы от «дневного содома». В связи с этим автор использует пространство сна и ночи, которое становится переходным между миром реальным и миром небесным: «Сон-травой нам завещана тайна / Переправы с планеты Земля в мир далёких планет». Художественный мир представленных в подборке стихотворений Ивлевой практически полностью наследует художественному миру сборника Цветаевой «Версты». При этом мотивы нищеты, кочевья, странствия и бездомья у Цветаевой заряжаются положительным значением, так как связаны с мотивами духовных исканий и свободы. Тот же характер приобретают перечисленные мотивы в поэзии Ивлевой, трансформируясь в божественном пространстве. Например, мотив поиска, связанный в реальном мире с утратой ценного, в небесном становится мотивом духовного обогащения через стремление к новому; одиночество же, гнетущее героиню на земле, перестает ощущаться как сложность, даже если она одна.

Связь стихотворений двух авторов на тематическом уровне обуславливает и связь системы образов: безразмерная степь «Верст» превращается в пустыню, а странствующие и падающие цветаевские звезды — в многозначные символы, соединяющиеся в семантическую линию «счастливая звезда — ориентир — душа». Так, в стихотворении «Не говори “прощай!”» изображаются две души как две кометы, а в «Ночном блюзе» угадывается реминисценция на «Выхожу один я на дорогу...» Лермонтова: в строке «В такт душа с душою говорит» за счет узнаваемой формы замененное слово «звезда» продолжает считываться и обогащает смыслами сему «душа», сближая понятия.

В стихотворении «Парус», которое тоже является обращением к творчеству Лермонтова, спокойная жизнь для лирической героини, как и для героя Лермонтова, оказывается существованием: «Картинно парус мой белеет / В багетной раме на стене, / И глубина под ним мелеет, / Надежду хороня на дне»; а авторская позиция, выявляющая истинные чувства, выражается также при помощи мотива сна, который позволяет осуществить переход в вышний мир, что утверждает его главенствующее по сравнению с земным миром значение: «Мне снится не сквозняк залётный, / Но вольный ветер штормовой!». В других стихотворениях мотив ветра ассоциативно связывается с мотивом

свободы, вольного полета: «Душа на грани — на полоске взлётной / Последние теряет якоря...»; «Залётной птицей обернуться, / Расправив крылья, улететь...»; при этом мотив кочевья в «вечном пространстве», божественном мире, воспринимается не как изгнание, а как положительная гармоничная форма жизни.

Тема творчества в поэзии Левита-Броуна также напрямую связана с характером изображения реальности, потому что именно отношения героя и реальности, приобретая романтическую окраску, определяют роль, которая отводится творчеству.

В стихотворениях окружающий мир предстает подавляющим индивидуальность, обезличивающим, стремящимся к статике, и потому обволакивающим собой происходящие события: «пить бездействия отраву / жрать ненужности покой / зарабатывать право / вдруг подёрнуться травой». Его хронотоп сближается с описанным Бахтиным хронотопом провинциального городка, который характеризуется обыденно-житейским циклическим временем, где изо дня в день повторяется одно и то же и не происходит крупных событий. Пространство же этого мира оказывается неудобным, враждебным и холодным, в связи с чем в стихотворениях часто актуализируется образ поздней осени: «Улитка злого нетерпенья, / я прячусь в скользкий воротник... / Восток под тучами поник, / скамеек мохлые поленья / не разрешают мне присесть, / слюнят пальто осенним ядом».

Жизнь, протекающая согласно закономерностям этого мира, становится бездеятельным и безрадостным существованием, которое в сознании лирического героя соотносится со сном: «Жизнь этого от нас и хочет — / смолчать, перетерпеть и спать»; «О, Господи... опять весна! / Опять терзанье взбухшим жилам, / и всё уже мне не по силам — / только бы вырваться из сна!».

Настоящая же жизнь, подконтрольная герою, в которой есть место искренним чувствам, связывается автором с активным началом, пробуждение которого вынуждает лирического героя вступить в борьбу с окружающим миром. Образ идеального мира при этом скрыт от читателя, и показывается только движение к нему через преодоление реальности, что может обуславливаться влиянием идей романтизма, согласно которому идеал недостижим.

Развитие мотива борьбы также выявляет тесную связь творчества Левита-Броуна с поэзией Лермонтова, в которой мировосприятие героя-романтика всегда характеризуется контрастом, амбивалентностью, так как лирический герой никогда не бывает удовлетворен собой и жизнью, в которой разочарован. Особенно ярко это иллюстрирует стихотворение Лермонтова «Парус», герой которого одновременно «хочет бури» и стремится обрести покой. Согласно философии Лермонтова, счастье может быть достигнуто только в борьбе, именно поэтому созерцаемая гармония природы заставляет парус «просить» бури. Левит-Броун трансформирует эту концепцию,

развивая идею того, что счастье достигается в преодолении жизни как существования, что возможно только при ее разрушении: «Я жить хочу! Я страстно жить хочу! / Мне мало дня и шири голубой. / Взываю к времени, тупому палачу - / не поднимай ещё топор послушный твой!». Инструментом борьбы при этом становится поэзия, которая наделяется автором способностью изменять окружающей мир: «как будто дни опять вернулись те, / где – грешник – я мечтал о красоте, / где казнь жизнь была, / а избавленьем – слово».

Развитие процесса творчества-противостояния также сопряжено с переходом от бытового к бытийному, что реализуется посредством изменения пейзажа. Так, жизнь поэта как существование в большинстве случаев изображается на фоне города, который показан при помощи сниженно-бытовой детали. Настоящая жизнь, возникающая в процессе борьбы, почти всегда актуализирует пейзаж природы, детали которого могут обретать символическое значение: «Я выковырял небо / из невода ветвей / наскучив звоном чаш / чешуйчатого моря / прощенья у лета / просил но увядая / язвительно шутил / расшатывал ветра». Этот пример также показывает авторскую работу с традиционными символами романтизма, морем и небом, которые здесь сохраняются как атрибут, но теряют свое первостепенное значение. Также смене планов соответствует и изменение манеры повествования: от использования сниженной лексики («слюнить», «бормотанье чепухи», «жрать») до слов высокого стиля («хвала», «удел», «сулить» и т. д.); что, в свою очередь, выявляет авторское отношение к происходящему. Как правило, в рамках предложенных произведений подобный переход редко совершается внутри одного стихотворения, но прослеживается во внешней взаимосвязи стихотворений сборника как целого. Единственный пример, где можно заметить подобный прием, — это стихотворение «О, Господи... опять весна!..», где повествование начинается с мотива пробуждения, который связывается с описанием грязного тающего снега, а заканчивается их превращением в «воды», через прикосновение к которым лирический герой «постигает истину».

Переход от бытового к бытийному, который соответствует способности героя при помощи творчества изменять окружающий мир, развивает мотива креационизма. В данном случае автор приравнивает к креационизму и оценивает положительно способность героя разрушить окружающий мир, так как реальность не соотносится с идеалом: «Я выковырял небо / из невода ветвей / наскучив звоном чаш / чешуйчатого моря / прощенья у лета / просил, но увядая / язвительно шутил / расшатывал ветра».

Автор определяет творчество не только как процесс и результат, но и как состояние, которое не подконтрольно в полной мере самому поэту: «Не зацепиться за строку! / Сегодня? Нет... не зацепиться!». Эта мысль подтверждается и замечанием Левита-Броуна в предисловии к

разделу со всеми сборниками его стихотворений на его сайте: «Можно сказать — стихи покинули меня <...> Просто стихи ушли... ушли и всё. Но ведь можно надеяться, что они вернуться...».

Вдохновение, которое нисходит на поэта, также приподнимает его над реальностью и переносит в совершенно особое пространство между небом и землей, которое позволяет прикоснуться к божественной истине. Однако, так как поэт смертен, это пространство оказывается ему органически чужим, поэтому лирический герой не может в нем находиться: «Ты строил помост высоко... чересчур высоко! / Ты эпохи напутал, как реплики в пьесе. / До земли далеко и уже различимы легко / иероглифы, тайнопись... искры на звёздном навесе».

Сам образ поэта восходит к традиции изображения, согласно которой творец наделяется чертами божественного избранника, которые позволяют ему прикоснуться к высшим материям. Так, в стихотворении «Первый страх» сборника «Строфы греховной лирики» автор практически цитирует на уровне образов стихотворение Державина «Бог»: «Ужель опять очарований / запретных ты — / безгласный раб?», «ты — царь послушного пера. / Ты можешь выжить только пенем». В то же время, Левит-Броун трансформирует эту традицию: мотивы борьбы с окружающим миром и разрушения, источником которого становится творчество, наделяют образ противоречивой семантикой, что объясняет появление в тексте таких устойчивых характеристик поэта как: «вор», «клятвопреступник» и «разбойник», которые снижают его образ: «И вот я вновь клятвопреступник... вор»; «как будто дни опять вернулись те, / где — грешник — я мечтал о красоте, / где казнью жизнь была, / а избавленьем — слово».

Таким образом, тема творчества в стихотворениях Рахунова, Ивлевой и Левита-Броуна является одной из ключевых, и, раскрываясь, затрагивает широкий круг мотивов и образов, которые практически полностью характеризуют художественный мир поэзии выбранных авторов. Отмечается, что Рахунов более других авторов опирается на классические традиции изображения поэта и поэзии; Ивлева, чья концепция темы творчества созвучна идеям Рахунова, также продолжает традицию, но наследует ей не напрямую, а переосмысляя мироощущение поэтов XX века. Левит-Броун же основывает художественный мир стихотворений на принципах философии романтизма.





Лола Звонарёва / Россия /

Звонарёва Лола Уткировна – родилась в Москве (1957), закончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1982, диплом с отличием), кандидат филологических наук (1987), доктор исторических наук (1997), почетный академик Российской академии художеств (2024), действительный член Российской академии естественных наук (2004) и Петровской академии наук и искусств (2007), членкорреспондент Международной академии культуры и искусства (2023), профессор Института мировых цивилизаций и Московского международного университета, секретарь Союза писателей Москвы (2004 по настоящее время), член исполкома Русского ПЕНЦентра (2022), член Московского союза художников (секция искусствоведения) (2022), член Правления Союза художников Подмосковья (2010), член Союза журналистов России (1993), главный редактор журнала «Литературные знакомства» (с 2008, выпущено 101 номер по 288 стр. каждый), учредитель детскоюношеского журнала «Серебряные сверчки» (с 2013, выпущено 14 номеров по 150 стр. каждый), постоянная ведущая литературной гостиной в культурном центре «Булгаковский дом» (с 2008 г. по настоящее время). Автор 23 книг и 600 статей о писателях и художниках, по истории культуры, переведённых на 11 языков.

БРОСАЯ ВЫЗОВ СМЕРТИ И БОЛЕЗНИ

Сегодня много спорят об Искусственном интеллекте – писательница София Агачер, врач по первой профессии, ответила на эти споры романом «Исцеление мира: журнал Рыси и Нэта» (М.: Вече, 2025–352 с.).

Нейрокомпьютер по имени Нет, взаимодействующий напрямую с человеческим мозгом и испытывающий эмоции (он влюблён в одну из героинь книги, смертельно больную девушку Надежду) – главное действующее лицо научнофантастического пласта этой остросюжетной книги (недаром его имя вынесено в заглавие романа). А разворачиваются события – по сути самый сложный научный медицинский эксперимент в уникальных условиях Полесского радиационноэкологического заповедника.

Сегодня уже часто художественная литература стилизует себя под нонфикшен, так увлеклись мы документальными историческими расследованиями, такой повальный успех имеют в Москве ежегодные книжные выставки «Нонфикшен», на которые приходят десятки тысяч увлечённых читателей. И писательница открывает роман псевдодокументальным свидетельством, искусной литературной мистификацией: «Профиль: журнал_рыси_и_нэта. Журнал был открыт 6 июня 2006 года, заморожен 12 июня 2006 и передан Надеждой Сушкевич с разрешения Смотрителей, включая авторские права на публикацию материалов в открытом доступе, Софии Агачер в

июне 2014 года».

В сентябре 1986 года, через пять месяцев после Чернобыльской катастрофы, мне с делегацией журнала «Литературная учеба» довелось посетить город Припять, чтобы в Доме культуры провести литературнопоэтический вечер для ликвидаторов из разных городов и республик тогдашнего СССР.

Мы жили в Доме творчества «Ирпень» под Киевом и приехали в заражённую зону только на полдня, но эта поездка меня потрясла. Недавно, узнав: в зону отчуждения теперь водят экскурсии, я вспомнила свои тогдашние ощущения восторг от буйной цветущей красоты осенней белорусской природы и ужас от масштабов катастрофы, в одночасье обрекающей тысячи людей на выселение из родных мест и продолжающей быть опасной для всего живого, приближающегося к четвертому, взорвавшемуся блоку электростанции. Здесь разрешалось ходить только по недавно помытым асфальтированным дорожкам, с которых ликвидаторы в спецкостюмах постоянно сметали разноцветную осеннюю листву.

Я как руководитель нашей литературной делегации отказалась от предложенного директором ДК путешествия в «грязном» автобусе на место аварии, к четвёртому блоку. И в том, что у двоих участников нашей презентации в ДК «Припять» родились вскоре больные дети, а одна новорожденная девочка быстро умерла, я вижу непредвиденные последствия опасного путешествия в Чернобыль.

Поэтому я с огромным интересом читала роман Софии Агачер, родившейся в Гомеле, живущей в Чикаго и после написания романа поехавшей на экскурсию в Полесский радиационноэкологический заповедник, как сегодня в Республике Беларусь называют эти трагические места.

Писательница рассказывала: она работала над романом около десяти лет. Но он написан легко, живо и увлекательно.

Роман построен, если говорить языком Михаила Бахтина, по законам полифонии – мы видим одни и те же события глазами разных героев. И не только людей: мы видим происходящее и в оценке нейромонитора Нета.

Сегодня всё чаще авторы используют опыт работы в блоге, позволяющий сразу получать комментарииотклики. Вспомним «Фейсбучный роман» Сергея Чупринина.

По этому пути пошла и София Агачер, выставлявшая роман главами в «Живом журнале» и получавшая интересные комментарии.

Привычные главы здесь заменены постами – их в романе девять. Каждый написан от лица одного из персонажей, и к нему даются комментарии других участников эксперимента.

Отношения людей с миром животных и растений открываются в этой книге с неожиданной стороны. Писательница не согласна рассматривать животных в есенинском духе «как братьев наших

меньших».

По мнению Софии Агачер (это один из тезисов международного экологического движения «зелёных»), животные и растения равноправные участники существования всего живого на Земле, имеющие своё видение происходящего и своё мнение по поводу любого события. Уже в предисловии писательница утверждает: «Когда умирают срубленное дерево, убитая охотником птица или зверь, земля лишается частички души».

Об этом свидетельствует как заглавие романа («журнал Рыси и Нета»), так и названия постов глав этой необычной книги: «Пост 1. Лис», «Пост 2. Рысь», «Пост 4. Две рыси», «Пост 5. Болотные змеи», «Пост 6. Сны Рыси», «Пост 7. Под знаком белой волчицы».

Деятельно участвуют в происходящих в романе событиях и растения: старый дуб может подставить подножку коренью убегающему от преследователей животному... А герой, к примеру Польша Ванькович – беседовать с... ясенем: «Я просил прощения у дерева за то, что так долго шёл, стал рассказывать ясеню о своих предках, которых он, несомненно, видел и помнил. Тишина, наполненная гомоном птиц, встревоженных нашим появлением, взорвалась и проникла в каждую клеточку моего тела».

Моя юность прошла в Белоруссии: я училась в аспирантуре в Институте литературы имени Я. Купалы Академии наук БССР и хорошо знаю белорусский язык и фольклор. Полесье – один из самых загадочных и богатых легендами районов Белоруссии, в который был влюблён ещё А. И. Куприн, посвятивший ему и полесским ведуньям одну из лучших повестей «Олеся».

Заметно в романе Софии Агачер и влияние белорусского Булгакова – Владимира Короткевича – блистательного прозаика, автора повести с элементами мистики «Дикая охота короля Стаха», романов «Христос приземлился в Городне» и «Чёрный замок Ольшанский».

Мистика – важнейшая составляющая прозаической грани этого оригинального произведения. Телепатия, ведовство, старинные белорусские легенды, пространственновременные аномалии, естественная углублённость в историю, вчерашнюю и давнишнюю – дореволюционную с многочисленными замками, которые сегодня восстанавливает постсоветская суверенная Беларусь и организует по ним экскурсии, и знаменитого партизанского движения эпохи Великой Отечественной войны.

Чувствуется: взгляд Софии Агачер на знаменитое партизанское движение в белорусских пущах отличается от общепризнанного. Слишком многими жизнями мирных жителей, сотнями заживо сожжённых с детьми и женщинами, платила Беларусь за разовые эффектные акции партизан, отчитывающихся перед требовательным Центром. Об этом – рассказ одной из героинь романа – Анны Климентьевны, бабушки Вероники, пережившей Великую

Отечественную войну: «Дядька же твой, Лука Петрович, как ты знаешь, до сих пор в родную деревню на могилы родителей приехать не может: камнями его старухи забрасывают, уж больно много людей из-за партизан каратели сожгли заживо. Зато в Москве живёт, большим человеком стал...»

И в эту жестокую эпоху в спасении людей принимали участие и дикие животные. Так, именно Белая Лунная Волчица спасает жителей деревни от эсэсовцев, проводя их по одной ей известной тропе между болотных трясин на недоступный для карателей остров.

Недаром у людей в течение столетий были тотемы-животные, память о них сохранялась в гербах и сказаниях. Так остроумно и последовательно обыгрывает писательница образ Лиса, изображенного на родовом гербе Ваньковичей, и Белой Лунной Волчицы, медальон с изображением которой хранит мудрая знахарка бабушка Вероники Анна.

Один из героев романа – француз с белорусскими корнями Поль Ванькович, носящий «на безымянном пальце массивный золотой перстень... эмалевую пластину с красным рыцарским щитом, короной и лисом». Он возвращается в «старинный белорусский городок Хойники – былую вотчину воинственных и гонорливых шляхетских родов Вишневецкий, Ястрембжевский, Ваньковичей» в знакомый ему лишь по рассказам родителей замок предков, оказавшийся на территории Полесского заповедника.

Писательница подчёркивает внутреннюю связь героев с их тотемными животными: Вероники – с Белой волчицей, Надежды Сушкевич – с Рысью (это ее детское прозвище в семье), Поля Ваньковича – с лисом. Так: «Лучи заходящего солнца преломились в рыжей шевелюре пана Ваньковича, увенчав её золотистой короной прямо, как на гербовой пластине перстня, а длинный нос, заострённой формы ушные раковины и небольшие карие, близко посаженные глаза и многочисленные веснушки придавали ему сходство с лисом».

Медицинское образование – ещё одна важнейшая творческая составляющая, помогающая писательнице, работающей в популярной сегодня в прозе стилистике фантастического реализма, как оно помогало А. П. Чехову, М. А. Булгакову и В. В. Вересаеву.

Точность психологических характеристик героев, парадоксальность медицинских решений и экспериментов (привет профессору Преображенскому из повести «Собачье сердце» от французского врача русского происхождения Андре Бертье, осуществляющего в заповеднике небывалый научный эксперимент по перемещению ментально-эмоционального тела человека в тело животного), деликатное и убедительно прописанное состояние неизлечимо больных людей – всё это сделано прозаиком Софией Агачер мастерски. Особую актуальность роман приобретает сегодня – в эпоху драматических событий на Чёрном море из-за разлива 3,5 тысяч тонн

мазута на 54 квадратных километрах морской поверхности, когда стали исчезать редкие виды птиц, гибнет рыба, на берег выбрасывает десятки тел умерших дельфинов...

Экологическая катастрофа уровня Чернобыльской в одночасье стала реальностью.

В романе Софии Агачер всё кончается хорошо. Он пронизан верой в отечественную и зарубежную науку, возможность международного сотрудничества учёных, утверждает тупиковость равнодушнопотребительского отношения к природе базаровского толка (вспомним привычное со школьных лет: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник...»). Нет, храм, и отношение к ней должно быть деликатным и трепетным – утверждает писательница.

Убеждена: это современная, умная и добрая книга достойна того, чтобы с нею познакомились миллионы читателей разных поколений.



СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна Ивлева. Ничто не проходит бесследно	7
Светлой памяти поэта Бахыта Кенжеева	9
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ	31
Александр Мелихов	41
Жан Бахыт (Бахытжан Канапьянов)	115
Михаил Рахунóв	137
Максим Жуков	150
Людмила Банцеровва	169
Елена Ханен	176
Ольга Оливье	180
Денис Кальнов	186
Татьяна Ивлева	190
Наталья Орлова	220
Наталья Полякова	227
Артур Новиков	234
Любовь Птакул	253
Павел Кренёв	257
Алёна Рычкова-Закаблукóвская	266
Наталья Горячева	271
Мина Полянская	276
Алесь Поплавский	330
Владимир Делба	337
Саша Зеленская	346
Юрий Радзиковицкий	356
Изя Шлосберг	375
Дина Дронфóрт	383
Владимир Авцен	388
Борис Локшин	397
Фархат Тамендаров	415
Василий Гавриленко	425
Ирина Горина, Евгений Лукин	429
Бессмертный барак — проект, сохраняющий историю	439
Ольга Миронова	447
Лола Звонарёва	456

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»

<https://poezia.us/allforums/>



Заказывайте книгу:

service@poezia.us

Телефон: +18479151601

WhatsApp: +18479151601



РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

ПОЭТЫ, КРИТИКИ, ЧИТАТЕЛИ

RUSSIANPOETRY.ORG

**Вы хотите получить 20 Ваших
книг в подарок?**

Издайте свою книгу у нас, и она будет
продаваться по всему миру!

Всего за **\$649*** Ваша мечта будет
исполнена нами.

ISBN номер и номер регистрации в
библиотеке Конгресса США будут
получены по вашему требованию.

Подробности по телефону:

1-312-985-7638

Email: service.poezia.us@gmail.com

Мы вне конкуренции!

**Цена пакета временная! Обычная цена \$699.*

**POEZIA.US. 2495 Emerald In.,
Lindenhurst, IL 60089, USA**

